

Ассоциация российских географов-обществоведов (АРГО)
Северо-Кавказский НИИ экономических и социальных проблем
Южного федерального университета

АРГО – Году Культуры в России

ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ
В РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ГЕОГРАФИИ:
экспертные мнения, аналитика, концепты

Под редакцией
А. Г. Дружинина и В. Н. Стрелецкого

Ростов-на-Дону
Издательство Южного федерального университета
2014

УДК 911.3
ББК 26.8
Ф 42

Рецензенты:

академик РАН, доктор географических наук, профессор,
Вице-президент Русского географического общества
П. Я. Бакланов (ТИГ ДВО РАН);

доктор географических наук, профессор,
Вице-президент Русского географического общества,
В. М. Разумовский (СПбГЭУ)

Ф 42 Феномен культуры в российской общественной географии: экспертные мнения, аналитика, концепты / под ред. А. Г. Дружинина и В. Н. Стрелецкого; Южный федеральный университет. Издательство Южного федерального университета. – Ростов-на-Дону, 2014. – 536 с.
ISBN 978-5-9275-1267-6

В монографии представлена географическая экспликация русской культуры в современном евразийском и глобальном контексте, раскрыты основные особенности российского геокультурного пространства, охарактеризованы итоги становления, проблематика и тренды развития «культурной составляющей» общественной географии России.

Книга ориентирована на географов-обществоведов, специалистов по региональной культурологии и региональной социологии, аспирантов и студентов соответствующих специальностей, а также сотрудников органов территориального управления.

Публикуется в авторской редакции.

ISBN 978-5-9275-1267-6

УДК 911.3
ББК 26.8

© Ассоциация российских географов-обществоведов, 2014
© Северо-Кавказский НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального университета, 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие (А. Г. Дружинин, В. Н. Стрелецкий).....	6
Глава 1. «Культурная составляющая» общественной географии в России: итоги становления, проблематика, тренды развития.....	15
1.1. Вопросы к экспертам и экспертные мнения (Т. И. Герасименко, Ю. Н. Гладкий, А. Г. Дружинин, Т. Ю. Замятина, А. Е. Левинтов, А. В. Любичанковский, А. Г. Манаков, И. И. Митин, А. Н. Пилясов, В. Н. Стрелецкий, Г. А. Фоменко).....	16
1.2. «Культурная составляющая» общественной географии в современной России: итоги становления, проблемы и приоритеты развития (А. Г. Дружинин, В. Н. Стрелецкий).....	70
1.3. Культурное районирование: теория и практика (А. Г. Манаков).....	84
1.4. Гуманитарная география: пространство, воображение и взаимодействие гуманитарных наук (Д. Н. Замятин).....	97
1.5. Ландшафтная концепция в культурной географии: теоретико-методологический аспект (В. Н. Калуцков).....	128
1.6. Место как палимпсест: мифогеографический подход в культурной географии (И. И. Митин).....	147
1.7. Литературно-географический подход в культурной географии (А. В. Любичанковский).....	157

Глава 2.	Традиционное и новационное в современном российском геокультурном пространстве.....	165
2.1.	Вопросы к экспертам и экспертные мнения (Ю. Н. Гладкий, А. Г. Дружинин, А. Е. Левинтов, А. Н. Пилясов, В. Н. Стрелецкий).....	166
2.2.	Географические подходы к идентификации, сохранению и использованию культурного наследия России (Ю. А. Веденин, М. Е. Кулешова).....	190
2.3.	К новой метагеографии России: образно- географический анализ динамики пространственных представлений (Д. Н. Замятин).....	207
2.4.	Главные особенности российского культурного ландшафта как целого (В. Л. Каганский).....	255
2.5.	Конфессиональное геопространство России в постсекулярную эпоху: между традицией и современностью (Горохов С. А.).....	266
Глава 3.	Полиэтнокультурализм и этнокультурные трансформации в постсоветской России: взгляд географов-обществоведов.....	289
3.1.	Вопросы к экспертам и экспертные мнения (А. Г. Дружинин, А. Н. Пилясов, В. Н. Стрелецкий, Г. А. Фоменко).....	290
3.2.	Этноконтактные зоны в геокультурном пространстве России (Т. И. Герасименко).....	301
3.3.	Воздействие норм адата и шариата на общественно-географические практики этносов Северного Кавказа: история и современность (И. Л. Бабич).....	321

3.4.	Традиционное природопользование коренных народов российского Севера как культурно-географический феномен (К. Б. Клоков).....	338
Глава 4.	Русская культура в евразийском и глобальном контексте XXI века: общественно-географическая экспликация	347
4.1.	Вопросы к экспертам и экспертные мнения (А. Г. Дружинин, А. Е. Левинтов, А. Н. Пилясов, В. Н. Стрелецкий).....	348
4.2.	Современная русская культура: пространственный анализ (С. Я. Суций).....	356
4.3.	Русская культура в Украине: региональные тренды и идентичность (К. В. Мезенцев, А. М. Гнатюк).....	378
4.4.	Русская культура в Республике Узбекистан: общественно-географический анализ (А. С. Салиев, В. Н. Федорко).....	398
4.5.	Факторы и тренды воспроизводства русской культуры в постсоветской Молдове (С. А. Сухинин, В. Г. Фоменко).....	433
4.6.	Региональная идентичность в пограничье России и Украины: этнополитические контексты и местные факторы (А. А. Гриценко).....	452
4.7.	Русские диаспоры в дальнем зарубежье: культурный ренессанс или деградация? (А. Е. Левинтов).....	471
	Заключение (А. Г. Дружинин, В. Н. Стрелецкий).....	485
	Список литературы.....	490
	Об авторах.....	531

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые читатели!

В современной системе общественознания – культура является собой одно из наиболее фундаментальных, всеобъемлющих (независимо от того, идёт ли речь о жизнедеятельности конкретного человека, либо о бытии социума в целом) понятий. Всё многообразие проявлений преобразованной в ходе социогенеза планетарной реальности и, даже, само её восприятие общественным сознанием – неизменно детерминировано культурой, несёт на себе своеобразный «отпечаток» этого саморазвивающегося и всепроникающего феномена. С культурой связаны первопричины, следствия и механизмы разрешения всей палитры проблем современного общества (вне зависимости от их остроты, масштабов и иной конкретики). Закономерно, что именно человек, социум, культура всё более выдвигаются на передний план как объекты географических исследований.

Не случайно, что одним из наиболее быстро развивающихся исследовательских направлений мировой географической науки в последние десятилетия является ***Cultural Geography***, которая в нашей стране разными авторами обозначается, соответственно, как «***география культуры***» или «***культурная география***»¹. Развитие мировой *Cultural Geography* происходило и происходит в процессе тесного взаимодействия, прежде всего, двух больших «ветвей» научного знания – *географии* и *культурной антропологии* (в России – в процессе взаимодействия, в первую очередь, географии, этнографии и культурологии), а также ряда других, смежных с ними, научных дисциплин.

¹ Соотношение этих терминов обсуждается, в том числе и в данной монографии.

География исторически возникла как «землеописание» и длительное время считалась наукой, изучающей поверхность обитаемой нами планеты. Точка зрения, что именно поверхность Земли есть *предельный объект исследования географической науки*, очень широко распространена в научном сообществе (Алаев, 1983 и др.). В западной географии, которой издавна был присущ антропоцентризм, внимание фокусировалось не просто на земной поверхности и наблюдаемых на ней пространственных различиях как объекте географического исследования, но и на значении этих различий для человека и человеческого общества. Уильям Бунге, один из крупнейших и авторитетнейших представителей теоретической географии, в своё время писал, что американские географы фактически «единодушны в том, что объектом географии является земная поверхность и те явления на ней, которые имеют значение для человека. Такое единодушие обеспечивает однозначность в понимании сути географии» (Бунге, 1967, с. 27). Близка эта позиция и европейским географам. Еще в XIX в. Элизе Реклю было введено понятие *географической среды*, ставшее первоначально во Франции, а затем и в ряде других европейских стран ключевой, базовой категорией географической науки. Под географической средой Э. Реклю и развивавший это учение крупнейший его русский последователь Л. И. Мечников, автор фундаментального труда «Цивилизация и великие исторические реки», понимали природные условия существования людей на Земле, вовлеченные в сферу их жизнедеятельности. В советской географии концепция географической среды получила дальнейшее развитие (работы Ю. Г. Саушкина, А. А. Григорьева, В. А. Анучина и др.), но синхронно велась разработка и более общего учения о географической оболочке; сходное с последним термином содержание вкладывалось рядом отечественных географов также в категории «ландшафтная оболочка», «ландшафтная сфера».

Не вдаваясь подробно в дискуссию относительно объекта изучения географической науки в целом (что выходит за про-

блемные и тематические рамки данной коллективной монографии), подчеркнем здесь две главные, важнейшие исходные позиции, имеющие первостепенное значение для концепции нашей книги.

Во-первых, это *двуединство географической науки*; в становлении Cultural Geography оно сыграло воистину выдающуюся роль. Культурные феномены существуют в обществе, и естественно, что культурная география, которая исторически формировалась в недрах антропогеографии, развилась в одну из ключевых «ветвей» современной общественной географии (или, иначе, как её традиционно называют на Западе, – географии человека, Human Geography); но ее развитие было неразрывно связано и со всем комплексом физико-географических дисциплин, а так называемая экология локальных культур стала одним из приоритетных исследовательских культур-географических направлений.

Во-вторых, в фокусе внимания географической науки находятся, прежде всего, такие категории как «географическое пространство», «район» и «регион», «место» и «местность», «ландшафт». Выявление, исследование, постижение и репрезентация *различий между разными частями географического пространства, различными «местами», «местностями», «ландшафтами» и «районами»* – есть квинтэссенция географии, ее «альфа и омега». География «кончается» там, где исчезают и нивелируются эти различия. Географическая наука, искавшая на протяжении всей истории своего развития оптимальный баланс между полюсами идеографии (географического описания) и номотетики (поиска всеобщих пространственных закономерностей), в любом случае, интерпретирует и репрезентирует данные различия. Реконцептуализация в последней четверти XX в. – начале XXI в. многих базовых теорий и понятий географической науки (в огромной степени коснувшаяся как раз таких категорий, как «пространство», «место», «ландшафт», «регион») существенно изменила в ней научный дискурс, открыла новые исследовательские возможности, обогатила теоретический и,

особенно, методический багаж географии. Но она никоим образом «не элиминировала» проблематику географических различий как таковых; более того, задача их *осмысления*, позиционирования в пространстве смыслов, приобрела актуальность, как никогда. И именно в культурной географии данная задача обрела первостепенное значение, выдвинулась на главный план.

Другая мощнейшая ветвь научного знания, становление и эволюция которой сыграли важнейшую роль в генезисе исследовательских направлений и теоретических идей культурной географии, – наука о самой культуре (если быть точными – целая совокупность многих научных дисциплин, с разных сторон изучающих культуру). В современной философии культуры в понятие «культура» вкладывается разный смысл. Классики мировой культурной антропологии А. Крёбери и К. Клакхон в середине XX века насчитали более 150 определений «культуры» (Kroeber, Kluckhohn, 1952). Несколько позднее французский философ и социопсихолог А. Моль обобщил, проанализировал и систематизировал около 250 ее дефиниций (Моль, 1973). В наши же дни число дефиниций культуры уже перевалило за пять сотен; специальные труды посвящены систематизации и типологии философских и научных подходов к культуре, классификации ее дефиниций – глобалистских, структуралистских, функционалистских, технологических, аксиологических, семиотических и других.

В отечественной традиции наука о культуре получила, как известно, название «**культурология**». Термин «*Culturology*», предложенный американским антропологом Лесли Уайтом (White, 1949),¹ во второй половине XX столетия широко укореня-

¹ Л. Уайт не был «изобретателем» самого этого термина. В своей классической статье 1949 г. он ссылается (White, 1949, p.379) на немецкого химика и Нобелевского лауреата Вильгельма Оствальда, предлагавшего ещё в 1915 г. (в работе «Система наук») ввести термин культурология» (нем. Kulturologie) для обозначения синтетической «науки о человеческой цивилизации». Позднее это название использовал также американский социолог Рид Бейн, но, как отмечает Л. Уайт, в применении термина «Culturology» Р. Бейном нет четкости; где-то культурология отождествляется им с социологией, где-то – с экологией человека.

ется в советском обществознании, в том числе благодаря работам ведущих теоретиков и методологов исследований культуры (труды Э. С. Маркаряна, П. С. Гуревича, Б. С. Ерасова, А. Я. Флиера и мн. др.). Под «культурологией» российскими авторами понимается «наука, сложившаяся на стыке социального и гуманитарного знания о человеке и обществе и изучающая культуру как целостность, как специфическую функцию и модальность человеческого бытия» (Культурология, 1997, с. 248).

Хотя термин «культурология» изначально появился на Западе, тем не менее, ни в Западной Европе, ни в США данное название как-то не прижилось. И, видимо, дело здесь отнюдь не только в самом термине, с его «слабыми» или, напротив, «сильными» сторонами. *На Западе не существует единой, универсальной «науки о культуре» с общепризнанной теорией и методологией*; соответственно, нет и полного аналога нашей культурологии, если и не являющейся де-факто «всеобъемлющей» наукой, изучающей культуру как целостность, то, по крайней мере, позиционирующей себя в качестве таковой. Феномены культуры – объект изучения многих гуманитарных и общественных наук, каждая из которых имеет свой исследовательский предмет, методы и цели; отечественная культурология в этом отношении является совокупностью частных дисциплин, весьма различающихся между собой теорией и методологией.

Кроме того, в западной традиции научное знание о культуре исторически формировалось, прежде всего, «в недрах» антропологии; изучение культуры было неразрывно связано, в первую очередь, с изучением человека, людских сообществ и народов. Термин «антропология» – один из самых «почтенных» по возрасту (это название употреблял еще Аристотель), но становление антропологии (собственно, как науки) пришлось на XVIII в. – начало XIX в. Изначально антропология трактовалась как универсальная наука о человеке – о его естественной истории, физической организации и биологической природе, а также психологии, языке и, конечно же, культуре. Впоследствии антро-

пология разделилась на две принципиально различные «ветви», изучающие, во-первых, биологию человека и, во-вторых, его социальную и культурную деятельность. Последняя (вторая «ветвь» антропологии) и стала в странах Западной Европы и Северной Америки ядром, сердцевиной всего обширного комплекса наук о культуре. В XX веке в странах Запада бурное развитие получили частные культуроведческие (в отечественной терминологии – «культурологические») дисциплины, в том числе и те из них, в которых предмет изучения предполагает известное обособление культурных феноменов от человека (как их создателя). Однако, научное наследие и «инерция» антропологических подходов к изучению культуры были (и остаются) настолько значительными, что безусловное лидерство культурной (социальной) антропологии (в ряду наук, изучающих разнообразные культурные феномены) в западных странах (особенно в англосаксонских) до сих пор никем не оспаривается. Не удивительно поэтому, что на фоне многих смежных наук именно с культурной (социальной) антропологией наиболее тесно связана в своем развитии и культурная география (Cultural Geography).

В Северной Америке (прежде всего в США), в некоторых других регионах и странах, эта наука (в фокусе внимания которой находится широчайший спектр процессов взаимоотношений человека, его социальной организации и культуры) известна под названием «**культурная антропология**» (*Cultural Anthropology*). В Великобритании фактическим аналогом североамериканской *Cultural Anthropology* (по проблемному и тематическому охвату, а отчасти и по теоретико-методологическому арсеналу) выступает наука, именуемая *Social Anthropology* (социальная антропология). Последний термин широко используется и в континентальных европейских странах¹, в которых, впрочем,

¹ Не случайно европейские исследования в области социальной и культурной антропологии, этнологии и этнографии координирует ассоциация, именующая себя «Европейской ассоциацией социальных антропологов», а издаваемый ею научный журнал – ее главный печатный орган – носит название «Social Anthropology».

культурная антропология в «узком» смысле (изучение человеческих обычаев, культурных традиций и др.) иногда рассматривается как составная часть, одна из субдисциплин социальной антропологии в целом.

Акцентируем, что науки о культуре в настоящее время не представляют собой стройной, сложившейся и общепризнанной системы теоретического знания. Культурная антропология, будучи стержневой дисциплиной всего комплекса наук о культуре, не является исключением. В чем-то схожа ситуация и в мировой географической науке, с ее двумя «ветвями», извечными спорами о «единстве географии» и острым соперничеством теоретических идей, мировоззренческих установок и научных парадигм. Не удивительно, в этой связи, что нет единства взглядов относительно объекта и предмета изучения географии культуры / культурной географии. Если нет академической «строгости» и единой, универсальной методологии в самих науках-«прародительницах» культурной географии, то откуда же им взяться в последней? Велик разброс и в тематике конкретных культурно-географических исследований, их методике, используемом понятийно-терминологическом аппарате.

В нашей стране культурно-географическая «ветвь» общественной географии лишь с конца 1980-х годов стала активно пробивать себе дорогу; до конца прошлого века она обозначалась, преимущественно, как «география культуры»; с начала нынешнего столетия широкое признание получило и название «культурная география» (хотя оба термина по-прежнему имеют «параллельное» хождение).

За последние четверть века в России было опубликовано много глубоких и интересных работ по культурно-географической проблематике, причем как теоретической, так и конкретной регионоведческой направленности. Тем не менее, российская география культуры / культурная география отстает от ведущих зарубежных научных школ в этой области; особенно сказывается

фактическое отсутствие в нашей стране капитальных, сводных, обобщающих трудов по географии отечественной культуры.

Предлагаемая вниманию читателей монография опубликована под эгидой (и по решению) **Ассоциации российских географов-обществоведов**, созданной в мае 2010 года в целях содействия развитию российской социально-экономической географии, пропаганды её научных достижений, распространения и внедрения научных результатов в практику. Информация о подготовке данного издания (событийно приуроченного к 2014 году, провозглашённому в России «**Годом культуры**») была предельно открытой; возможность принять в нём участие получили все без исключения российские географы-обществоведы. С удовлетворением подчёркивая, что авторский коллектив объединил ведущих в России специалистов в области географии культуры (культурной географии) и зарубежных коллег, редакторы монографии одновременно констатируют всё ещё недостаточную вовлечённость российского общественно-географического сообщества в культурно-географическую проблематику, фактическую неготовность значительной части коллег включиться в обсуждение обозначенного тематикой и структурой книги спектра фундаментальных, предельно актуализированных в последние годы вопросов. Основная миссия данной коллективной монографии видится, в этой связи, не только в иллюстрации «палитры» наработанных в современной России «культурно-географических» подходов и идей, в фокусировке внимания на основных особенностях российского геокультурного пространства, факторах и трендах развития русской культуры в современном евразийском и глобальном контексте, но и в преодолении контрпродуктивной дистанции между географией культуры / культурной географией и иными «ветвями» общественной географии.

Искренне полагая, что презентуемый вниманию уважаемых читателей коллективный труд послужит катализатором дальнейшего развития культурно-географических исследований в

нашей стране, мы выражаем нашу признательность всем его авторам (как представителям ведущих университетов и академических институтов России, так и коллегам из Молдовы, Украины и Узбекистана), внёсшим свой интеллектуальный вклад в подготовку монографии. Особые слова нашей благодарности – вице-президентам Русского географического общества Академику П. Я. Бакланову и профессору В. М. Разумовскому, поддержавшим данное издание в качестве его официальных рецензентов.

Надеемся, что книга «Феномен культуры в российской общественной географии: экспертные мнения, аналитика, концепты» окажется полезной не только для географов-обществоведов, но и для специалистов по региональной культурологии и региональной социологии, аспирантов и студентов соответствующих специальностей, а также сотрудников органов территориального управления.

А. Г. Дружинин,
*доктор географических наук, профессор,
директор Северо-Кавказского НИИ
экономических и социальных проблем
Южного федерального университета,
Председатель Координационного совета
Ассоциации российских географов-обществоведов*

В. Н. Стрелецкий,
*доктор географических наук,
заведующий отделом
социально-экономической географии
Института географии РАН*

Глава 1.
«Культурная составляющая»
общественной географии в России:
итоги становления, проблематика,
тренды развития

1.1. ВОПРОСЫ К ЭКСПЕРТАМ И ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ

1.1.1. Каковы итоги и достижения в «освоении» культурно-географической проблематики в России; какие задачи до сих пор не реализованы?

Т. И. Герасименко

В европейской и американской географии культурно-географические исследования получили широкое распространение в конце XIX – начале XX вв. в связи с необходимостью интеркультурных контактов, обусловленных ростом колониальных владений. После их крушения интерес к этой проблематике несколько снизился, однако в современную эпоху глобализации, которой подвергается не только мировая экономика, но и культура, наблюдается новый виток такого рода исследований. Прежде всего, возродились концепции диффузионизма и неозволюционизма. В отечественной науке культурно-географическим проблемам традиционно уделялось серьезное внимание – например, в трудах Л. И. Мечникова, Н. Я. Данилевского, страноведческих исследованиях целого ряда географов. Культурно-географические исследования были обусловлены расширением территории России, колонизацией новых земель, формированием этноконтактных зон и полиэтничных регионов. В период социализма отношение к культуре, а следовательно и культурно-географическим исследованиям, менялось. Первоначально проявлялся большой интерес к культурам и языкам проживавших на советском пространстве народов. Для многих из них была создана письменность, представители национальных меньшинств обладали целым рядом льгот. Их интересы были учтены в административно-территориальном делении СССР. Однако постепенно ситуация изменилась. Существовал длительный «перерыв» в такого рода исследованиях. На передний план вышли новые задачи, связанные с необходимостью обоснования развития народно-хозяйственного

комплекса. Население рассматривалось лишь как фактор развития производства, трудовой ресурс; декларировался атеизм и идея формирования единой общности – советского народа, выравнивание уровня развития и сглаживание диспропорций. Выявление любых, в том числе культурных, различий были свернуты. Центр тяжести в изучении культуры переместился в разряд исторических наук. Тем не менее, исследования проводились. Изучались особенности природопользования, культурные ландшафты, выполнялись этногеографические работы. Сформировался целый ряд концепций. Усложнение культурного пространства и бурные процессы его геодинамики приводят к необходимости возобновления культурно-географических исследований как в рамках традиционных, так и специальных исследований. В определенном смысле можно говорить о культурно-географическом исследовательском буме последних десятилетий. Появился целый ряд географических публикаций. Несмотря на большое количество работ в этой области, до настоящего времени нет четкого и единого мнения об объекте и предмете исследования. Все более или менее сходятся на том, что объектом исследования является культура, а предметом – её территориальная организация. Однако проблема заключается в том, что существует множество дефиниций самого понятия культуры (это обусловлено сложностью и многогранностью этого явления) и ее состава, что и порождает проблему идентификации объекта исследования. География культуры призвана изучать культурные ареалы, их взаимодействие, границы, территориальную организацию культуры как системы явлений (процессов) и объектов, сложившихся в результате организации и самоорганизации, взаимосвязи (отношения между элементами системы) и пространственно-временное взаимовлияние различных культур (систем). Как известно, организация формируется под воздействием внешних факторов, а самоорганизация – внутренних. Процессы самоорганизации и организации влияют на формирование территориальных структур. Действи-

тельно, в досоветский период географический рисунок культуры predetermined процессы самоорганизации (внутренние, они шли естественным путем). В годы социализма главными стали процессы организации. Формировались территориальные структуры под воздействием внешних факторов, прежде всего административного. Стал преобладать «метод приоритетов», который носил внеэкономический характер. В настоящее время формирование происходит под воздействием как тех, так и других процессов. Делимитация и дифференциация советского культурного пространства, перемещение огромных масс населения, новые условия привели к ускорению формирования культурной географии. Появились труды целого ряда учёных – таких как А. Г. Дружинин, В. Н. Калущков, А. Г. Манаков, М. В. Рагулина, В. Н. Стрелецкий, В. Д. Сухоруков, П. М. Шульгин и др. Проводятся не только эксплоративные исследования, появляются и оригинальные концепции. В качестве примера приведу концепции геокультурного пространства, культурного и этнокультурного ландшафта, территориально-культурных комплексов. Культурная география диверсифицируется и уже (по мнению некоторых авторов) складываются ее направления. Они формируются как в рамках географии, так и на стыке наук. Ее ядро составляют теоретические культурно-географические исследования, к которым примыкают разные ветви и направления, такие как география политической культуры, география культурного наследия, география городской культуры и др. Существенное место занимают этнокультурно-географические исследования.

Важное направление, которое складывается в рамках культурной географии, связано с культурным районированием. Появились сетки отраслевого и интегрального культурного районирования отдельных регионов. Разработаны некоторые подходы, однако до настоящего времени не выработано единых критериев и отсутствует культурное районирование Российской Федерации в целом. Предпринимаются попытки историко-культурного

районирования (например, сотрудниками Института наследия), однако они проводятся для отдельных регионов, разрознены и имеют разные признаки. Представляется необходимым объединение усилий и создание сетки районов для всей территории России.

Пограничным направлением культурно-географических исследований, формирующимся на стыке наук, следует считать изучение идентичности, региональный маркетинг и брендинг, когнитивную, имажинальную и ментальную географию, а также зарождающуюся информационную географию.

Ю. Н. Гладкий

Многие не без оснований полагают, что прогресса в искусстве вообще не бывает, равно как и в культуре, если иметь в виду рядоположенность цивилизаций и культур. Учитывая ментально-феноменологический «дух» культурной географии, ее пристрастие к искусству, оценивать успехи направления – это даже не то, что выбирать букет в цветочном магазине, а как бы сравнивать «душевные извивы», любясь приснопамятным квадратом или Джокондой. А все потому, что в культуре нет никакой субстанции – она лишь отражает субъективную способность человека к символической деятельности, а предмет научного осмысления имеет размытые системно-структурные характеристики, изобилует многими «подводными камнями».

Тем не менее, повторим ранее уже высказывавшееся суждение: едва ли какое отечественное направление в гуманитарной географии сделало за последние десятилетия столь же впечатляющий рывок в своем развитии, как культурно-географическое. Связано это, на наш взгляд, с ослаблением идеологических тисков после известных событий 1991 г. Кроме этого, сказалось неизбывное желание наших авторов «столбить» новые ответвления в науке, тем более, что российская конкретика предоставила для этого обильную «пищу».

Что же касается нереализованных задач культурной географии, то они, на наш взгляд, коренятся, во-первых, в заданном ей мейнстриме – ментальная география победоносно подавляет географию объективированной культуры, что лишний раз подтверждает широко распространенное мнение, что русской культурной традиции свойствен именно художественно-ориентированный, а не рационально-критический тип сознания. Во-вторых, слабым местом культурной географии является *антиприкладной* характер ведущихся изысканий, что уводит культурную географию больше в описание смысловых значений между сознанием и наблюдаемыми артефактами, а то и вообще в «лоно» искусства. С другой стороны, оторванность от реальной жизни – «родимое пятно» всей отечественной географии (что гуманитарной, что естественной), и это оставляет мало надежд на «добычу хлеба насущного» (гранты, правительственные субсидии и т. д.).

А. Г. Дружинин

Сложившаяся в постсоветской России социально-экономическая и нравственно-психологическая ситуация – скорее препятствует, чем благоприятствует продуктивному научному творчеству. Осознавая это, свершившийся в нашей стране за последнее двадцатипятилетие «прорыв» в разработке культурно-географической проблематики, развёртывание разноаспектных (а иного и не дано, поскольку феномен культуры предельно многогранен и сложен) исследований, формирование оригинальных подходов и идей – можно оценить как безусловное и весьма существенное достижение. К сожалению, в силу многих причин, между «культурной географией» (в её ныне сложившемся виде) и иными «ветвями» общественной географии образовался «зазор»; все последние годы он продолжает последовательно углубляться, множа дезинтеграционные эффекты, существенно снижая эвристический потенциал нашей науки. Его преодоление, выстраивание реальных методологических,

информационных, институциональных, кадровых и иных «скрепов», позволяющих инкорпорировать уже наработанные культурно-географические подходы в общественную географию, обеспечить эффективный синтез сциентистской, позитивистской традиции с новациями постмодерна – задача приоритетнейшая, до сих пор практически не реализованная.

Т. Ю. Замятина

На мой взгляд, российская культурная география остается очень изолированной частью географии, слабо связанной с остальными направлениями и потому воспринимаемой, в лучшем случае, как некое симпатичное, но необязательное дополнение – эдакая «розочка» поверх слоеного пирога физико-экономико-политически-рекреационной и прочая географии. Европейская и американская география не только составляет значительно более мощный и питательный кусок «human geography» – там заметнее ее сопряжение с другими географическими отраслями.

Возьмем хотя бы географию населения, миграционные процессы: здесь вовсю привлекаются культурно-географические понятия и концепции – например, в качестве фактора миграции / не-миграции рассматриваются притягательность города и местная идентичность, а наряду со статистикой используются качественные методы культурной антропологии. Сложные регрессионные модели включают типичные для культурной географии личностные, биографические данные: в частности, на материалах разных стран доказано, что проведенное в определенном месте детство значительно снижает вероятность миграции из него в молодости. Даже в случае кризиса на местном рынке труда детские воспоминания и установки на привязанность к месту, как считается, являются важным фактором в процессе выбора между миграцией и вахтованием (коммутированием, «отходничеством»); коренные склонны выбирать вахтование.

Поведенческие установки, образы, идентичности, социальный и символический капитал, проявление власти в ландшафте – темы, актуальные для изучения формирования современных промышленных районов и региональной конкурентоспособности, диверсификации производства и городского развития, инновационного развития и экологической устойчивости.

Освоение и разработка подходов к сопряжению культурной географии со всеми прочими, где она может стать важнейшим объяснительным инструментом наблюдаемых закономерностей – важнейшая задача российской культурной географии, более того – условие ее выживания.

А. Е. Левинтов

Культурная география развивалась во многом как диффузия и продолжение экономической и социальной географии. Например, поиски закономерностей размещения объектов культурной географии, на наш взгляд, анахроничны или во всяком случае неинтересны; не сделано главное: нет принципиально нового теоретического фундамента, и это следует рассматривать как важнейшее направление развития культурной географии.

А. В. Любичанковский

Самым главным достижением в «освоении» культурно-географической проблематики в России, на мой взгляд, является признание этого направления равноправным, наряду с другими традиционными ветвями развития географической науки в нашей стране. С таким трудом и с таким противоборством утверждающее право на существование направление развития, работающее над решением огромного числа актуальных задач, стоящих перед нашей наукой, наконец-то признано большинством специалистов. Показательно в этом отношении высказывание классика географии – 90 летнего В. М. Максакковского

(2006) – который отмечает, что в 90-х годах XX в. в России сформировалась отечественная школа культурной географии.

Исходя из отмеченного выше признания культурно-географической проблематики в качестве актуальной, главными нерешенными задачами культурной географии в нашей стране является кодификация наработок этого направления и установление прямых и обратных связей с другими направлениями географической науки, чему в значительной степени способствует предлагаемое читателю издание.

А. Г. Манаков

Развитие культурной географии в России предопределено полиэтничностью, поликультурностью государства и огромными размерами его территории с колоссальным природным разнообразием (что также является одним из факторов геокультурной дифференциации страны). Этим же объясняется, почему культурная тематика всегда находилась в сфере интересов российской науки. Вспомним также, что традиционным для отечественной географической школы, задающим её специфику, стал районный подход. И современная культурная география в России не вправе не опираться на эти традиции, которые сложились вовсе не случайно, а стали научным отражением культурного многообразия страны. Только в этом случае российская культурная география сможет сохранить свою специфику, уникальность на фоне мировой географической науки.

Отечественная культурная география, приобретя статус самостоятельного научного направления в 1990-е годы, испытала стремительный взлёт в первом десятилетии XXI века, но во втором десятилетии постепенно начинает утрачивать интерес со стороны географов-обществоведов. Почему это происходит? Здесь можно отметить причины внешнего и внутреннего порядка. Остановимся для начала на внутренних причинах, что напрямую связано с дискуссионными вопросами развития самого научного направления. На мой взгляд, потенциал геокультурно-

системного подхода, сложившегося на рубеже XX–XXI веков, далеко не исчерпан. Развитие феноменологического, перцепционного, метафизического и др. подходов в культурной географии нельзя не приветствовать, но оно должно происходить не вместо, а вместе с этим подходом. Плюрализм в культурной географии – это не её недостаток, а преимущество на фоне назревшей необходимости коренной трансформации общественного крыла географии. Нужен поиск новых идей, которые позволили бы «оживить» общественную географию, поставив её в ряд наиболее востребованных, в том числе и на практике, научных дисциплин.

В этой связи нет ничего страшного, что в современной культурной географии нет единой, устоявшейся терминологии, теории, методологии, то есть того, что обычно характеризует полностью оформившуюся научную дисциплину. Культурная география сейчас не только находится в состоянии поиска своей идентичности, её задачи намного шире. Оказавшись одним из наиболее динамично развивающихся направлений «нефизической» географии, культурная география, по сути, берёт на себя ответственность и за судьбу в ближайшей перспективе всей российской общественной географии. Это наиболее ощущаешь, работая в региональной географии, когда фактически приходится быть «многостаночником», отвечая за широкий спектр общественно-географических дисциплин. Благодаря своей нетривиальности, геокультурный подход позволяет вносить новизну не только в эти дисциплины, но и во многие смежные с ними гуманитарные науки, и нет нужды искусственно сужать предмет культурной географии в поисках её «нового лица».

В качестве одной из нерешённых в настоящее время задач культурной географии отмечу, прежде всего, разработку системы интегрального культурного районирования. Желательно, чтобы сетка культурно-географических районов покрывала всю территорию России и была бы не менее известна, чем в своё время принятая на официальном уровне схема экономического

районирования страны. Кроме того, разработка интегрального культурного районирования могла бы стать завершающим звеном в оформлении теории и методологии региональной культурной географии (культурно-гео-графической регионалистики). Это вполне по силам современным культур-географов, и это же позволит начать решение проблем, связанных с внешними факторами развития географической науки.

И. И. Митин

Основной итог чуть более чем 20-летней «новейшей» истории культур-ной географии в России, на наш взгляд, – это формирование достаточно автономной и весьма специфичной национальной школы, получившей название *гуманитарной географии*. Несмотря на то, что споры о названии всё ещё продолжаются, если говорить о содержательной стороне дела, ясно, что специфическое научное направление сформировалось, и оно заменяет собой культурную географию в традиционном смысле в масштабах страны (Митин, 2012).

Гуманитарная география может быть определена как «совокупность тесно взаимосвязанных направлений географии, изучающих закономерности формирования и развития систем представлений о географическом пространстве (в сознании отдельных людей, социальных, этнокультурных, расовых групп и др.), согласно которым человек организует свою деятельность на конкретной территории» (Замятина, Митин, 2007, с. 151). При этом ключевая особенность гуманитарной географии – *в методе, а не в объекте*: «Методологический подход к исследованию взаимодействия культуры и географического пространства, предполагает выделение системы кодов и символов (языка) как промежуточного звена в системе «субъект – объект исследования». Принцип изучения культуры через язык её кодов и символов широко распространён в гуманитарных науках. Гуманитарная география изучает знаки и символы (архетипы – устойчивые основополагающие понятия, стереотипы, ми-

фы, образы и др.), которые отражают представления людей о конкретных территориях, странах и регионах» (Замятина, Митин, 2007, с. 151).

По содержанию гуманитарно-географические работы появляются в конце 1990-х годов без упоминания и *без номенклатурной «привязки» к культурной географии*, несмотря на близость предметной области последней. В то же время, по В. Н. Стрелецкому, культурная география определяется как «междисциплинарное научное направление, объектом изучения которого является *пространственное разнообразие культуры и ее распространение по земной поверхности*» (Стрелецкий, 2002). Характеризуя же предметную область культурной географии, В. Н. Стрелецкий *расширяет сформулированное определение*, фактически включая и гуманитарную географию в поле культурной. Четко выделяется непосредственно связанная с выделенным объектом предметная область культурной географии – «территориальное распространение отдельных элементов материальной и духовной культуры, их выраженность в ландшафте и связь с географической средой» (Стрелецкий, 2001); пространственная дифференциация «элементов культуры – как артефактов, так и ментифактов» (Стрелецкий, 2002). Однако, помимо этого, к предметной области культурной географии также отнесено изучение *«представлений о географическом пространстве в разных культурных контекстах, образов различных местностей и территорий, отношения местных сообществ к той природной и социальной среде, в которых живут люди – носители той или иной культуры»* (Стрелецкий, 2002).

Предпринятое В. Н. Стрелецким определение культурной географии, на наш взгляд, точно отражает *содержание* гуманитарно-географических = культурно-географических исследований в России в 1990–2000-е годы.

Гуманитарная география может претендовать на междисциплинарность: основное ядро её лежит в рамках культурной географии в англо-американском смысле и при этом постепен-

но расширяет предметную область последней. При этом культурной географии вне рамок гуманитарной географии в России практически нет (разве что остатки так называемой «географии культуры» конца 1980-х?). В то же время, темы, концепции и методология гуманитарной географии весьма специфичны даже для культурной географии и, очевидно, серьёзно расширяют её предметную область (как мы показали выше).

Среди других особенностей гуманитарной географии в *контексте развития культурной географии в целом* отметим следующее. В её рамках практически отсутствуют традиционные для культурной географии работы по изучению исторических и традиционных типов природопользования и расселения, этнических и субкультурных способов хозяйствования, региональных и местных особенностей архитектуры и планировки поселений, размещения конкретных артефактов культуры и т. п. Вместо этого акцент делается на все виды *представлений* о реальном пространстве. При этом особое внимание уделяется не массовым стереотипам, выявляемым путём обширных опросов, а формированию *отдельных* пространственных мифов и географических образов, которые либо выявляются в ходе экспертных интервью и анализа литературных источников, либо конструируются самими исследователями на основе данных полевых исследований.

Есть отличия гуманитарной географии и от близких её школ зарубежной географии – «новой культурной» и гуманистической географии. Помимо очевидных кардинальных историко-географических различий, в гуманитарной географии сложился «перекос» в сторону теоретико-методологических работ, а прикладных гуманитарно-географических исследований и особенно законченных методических разработок пока не хватает. Англо-американская культурная география, напротив, активно вовлечена в прикладные проекты, причём основанные, как правило, на социологических методах исследования и сфокусированные на конкретные ландшафты и / или конкретные груп-

пы людей. В российской гуманитарной географии наблюдается преобладание *case-study*, связанных с анализом вторичных источников, в частности, литературных произведений.

Гуманитарная география в России распространяет своё влияние на некоторые геополитические и – реже – экономико-географические исследовательские сюжеты; в то время как западная культурная / гуманистическая география наиболее тесно связана с социальной географией.

Среди не освоенных гуманитарной географией направлений отметим:

1) традиционные культурно-географические темы, восходящие ещё к зауэровским традициям (см. выше);

2) прикладные методики и работы, прежде всего, в области территориального маркетинга и брендинга, в туризме, в стратегическом региональном и городском планировании;

3) методы конкретных полевых исследований, прежде всего, современного городского пространства, повседневных практик людей, на микрогеографическом уровне.

А. Н. Пилясов

Мои критерии оценки «освоения» культурно-географической проблематики российскими исследователями очень простые: чем в большей степени эти исследования работают на понимание современных драйверов регионального, местного развития, тем лучше. Соответственно из всех сюжетов, которые разрабатываются российскими культур-географами, я поднимаю наверх именно те, которые максимально сцеплены с тематикой социально-экономического развития регионов и муниципальных образований: почему в одних случаях состоялось успешное, динамичное развитие городов и регионов, а в других нет – какую роль в этом играют факторы культуры, культурных традиций, наследия и идентичности? Можно упрекнуть такой подход в излишней прагматичности, узости, утилитарности и т. д. Однако я убежден, что для того, чтобы наша наука была инте-

ресна молодому поколению исследователей, чтобы с ней считались представители смежных наук, она сегодня обязана быть именно такой.

Исходя из такого принципиального подхода, считаю, что разработка тематики местной идентичности, микроисследования культурных особенностей местных сообществ (при которых происходит увязка тематики культурно-географической и темы экономического роста и развития), роль культурных факторов, культурного наследия в реструктуризации старопромышленных городов и промышленных зон в крупных городах России – исключительно важные и актуальные направления культурно-географических исследований. И те наши коллеги, которые штурмуют эти направления культурной географии, должны получить максимальную поддержку нашего научного сообщества.

Не реализовано в культурно-географических исследованиях новое понимание экономической роли культуры как креативной силы в местном развитии, как фактора, который стимулирует творческое предпринимательство местных сообществ. Нет широкого понимания новой роли культуры в современную экономическую эпоху постиндустриальной трансформации и возникающей экономики знания.

Здесь хочу ответить на часто звучащие упреки: все эти заморские подарки у нас не работают, у России своя специфика и свой путь. Я думаю, так считать опасно. Современные тренды развития стран и регионов в эпоху глобализации, как никогда ранее, имеют в существенной степени схожий характер, – конечно, при значительной национальной специфике. Будет большой самонадеянностью, однако, считать, что Россия полностью выпадает из мировых тенденций. Разумнее признать необходимость очень тщательно учитывать обозначившиеся мировые тренды, в том числе в нарастающей экономической роли культуры в региональном и местном развитии, допуская существенную российскую вариацию внутри этого тренда.

В. Н. Стрелецкий

Главный итог – культурная география в нашей стране стала в конце XX – XXI вв. одним из новых «фокусов» и драйверов развития общественной географии в целом. «Прерывность» традиции освоения антропо- и культурно-географической проблематики имела для отечественной географической науки воистину трагические последствия, преодоление которых наметилось только в позднесоветский период, а настоящий подъем этого исследовательского направления произошел уже в постсоветской России.

Из наиболее важных достижений отмечу несколько. Во-первых, это актуализация, переосмысление, реконцептуализация богатого научного наследия русской антропогеографии (дореволюционного и раннесоветского периодов), опора на традиции, заложенные нашими антропогеографами, в развитии культурной географии уже на современном этапе.

Во-вторых, это произошедший, наконец, разворот российской культурной географии в сторону проблематики и тематики, уже освоенной (но и продолжающейся осваиваться – это процесс, разумеется, непрерывен) в мировой *Cultural Geography*. Дело не просто во «встраивании» нашей дисциплины в некий глобальный «мейнстрим» как таковой, всё гораздо серьезнее. Не может существовать отдельно – мировой науки и ее российского аналога, мировая наука едина. В начале XXI в. можно констатировать, что отечественная культурная география, при всех сложностях и перипетиях своего развития, более-менее интегрировалась в мировую *Cultural Geography*, мы и наши зарубежные коллеги – культур-географы находимся теперь на одном, если угодно, эпистемологическом и «проблемном» поле – несмотря на всю разногласицу и чрезвычайное разнообразие научных подходов, мировоззренческих установок, исследовательских парадигм, а также несмотря на разные исторически сложившиеся традиции отдельных национальных школ.

В-третьих, как важный и продуктивный тренд двух–трёх последних десятилетий я бы отметил начавшийся и затем сравнительно успешно развивавшийся междисциплинарный диалог российских культур-географов с гораздо более многочисленным научным сообществом социогуманитарной исследовательской сферы – культур- и социоантропологами, культурологами и социологами, этнографами и этнологами, представителями других негеографических социальных и гуманитарных дисциплин. У нас с ними множество точек соприкосновения и взаимодействия, и не случайно, культур-географы активно участвовали в 1990-е – 2000-е годы в реализации многих междисциплинарных научных и исследовательских проектов. Вместе с тем, конечно же, возможности такого междисциплинарного взаимодействия используются еще далеко не полностью, колоссальная часть его потенциала, к сожалению, совершенно не реализована.

Теперь об основных проблемах, трудностях роста, слабых и уязвимых местах, нерешенных задачах российской культурной географии.

Нас, российских культур-географов, удручающе мало. Место, которое отечественная культурная география занимает в российской общественной географии, гораздо более скромное, в сравнении с местом, занимаемым мировой *Cultural Geography* в мировой *Human Geography* в целом.

Мы резко отстаем (по крайней мере, в количественном выражении) от стран, задающих тон в мировой *Cultural Geography*, в том, что касается издания научной продукции. Причем это отставание «по всем фронтам» – в подготовке и публикации трудов теоретико-методологической направленности, результатов эмпирических исследований по разным проблемным и тематическим культурно-географическим сегментам (как по крупным, «сквозным» блокам, так и по достаточно частным сюжетам) и, прежде всего, работ по региональной культурной географии. Особенно бросается в глаза явный дефицит сводных, обобщающих трудов по культурной географии России и её регионов.

Характерной особенностью развития российской культурной географии на рубеже веков и в начале XXI столетия была её чрезмерная дистанцированность от других ветвей географической науки (причем не только в физической, но и в общественной географии). Разумеется, это не означает, что отечественная культурная география развивалась сугубо автономно, но она явно недостаточно фокусировала свое внимание на многих актуальнейших вопросах пространственной организации российского общества в целом и регионального развития, в решение которых могла бы внести свой весомый вклад. Ключевой блок проблем здесь – влияние культурных факторов, географических представлений, культурных традиций, идентичности на экономические процессы, социальную и пространственную мобильность населения, политическую сферу и др. в региональном измерении.

Разные направления и конкретные научные школы культурной географии сильно различаются по используемому научному аппарату, своему методическому арсеналу и даже полемизируют друг с другом в теоретических и методологических вопросах. Можно считать это известной слабостью и проявлением незавершенности процесса формирования научной дисциплины, но я хотел бы обратить внимание на том, что конкуренция исследовательских парадигм всегда была и остается драйвером прогресса науки. Да и само представление о некоей стадии «завершенности» формирования той или иной научной дисциплины мне кажется крайне сомнительным. Научный процесс непрерывен, и грань между «сложившимися» и якобы еще «не вполне сложившимися» научными дисциплинами крайне условна.

Некоторые полагают, что серьезным изъяном теории современной культурной географии является отсутствие в ней общепризнанной трактовки и дефиниции культуры. Я так не считаю. Это не задача культурной географии, да и в самих науках о культуре (в том числе в зарубежной культурной антропологии, в отечественной культурологии) нет и не может быть

ее универсальной дефиниции. Культура – настолько многогранный, полисемантический и сложно устроенный феномен, что многообразие и «существование» ее научных интерпретаций естественно и закономерно. К исследованию таких феноменов необходимо подходить именно с разных сторон, что в принципе исключает однозначность теоретических трактовок и поиск «универсальных» интерпретаций. И точно так же, как экономико- и социогеографам многообразие интерпретаций и дефиниций экономической и социальной реальности не мешает проводить ценные научные исследования, культур-географы, даже расходясь друг с другом в определении и трактовках сущности разных культурных феноменов, не испытывают серьезного дискомфорта в исследованиях самых разных пластов и аспектов культуры как географической реальности.

1.1.2. Необходимо ли современной общественной географии ускоренное развитие «культурной составляющей»?

Т. И. Герасименко

Культурно-географические исследования, несомненно, необходимо развивать. Это важное стратегическое направление общественной географии. Актуализируют эту проблематику задачи культурной географии, вытекающие из объекта и предмета исследования этого научного направления. Остановлюсь лишь на некоторых из них. В формировании, развитии и трансформации геопространства огромную роль играет этнокультурный фактор, имеющий определяющее значение для безконфликтного развития и выработки концептуальных основ региональной политики. Подталкивает развитие «культурной составляющей» и необходимость изучения этноконтактных зон, трансграничных регионов, «цивилизационных рубежей разломов», очагов кризисов, маргинальных территорий, выявление потенциально конфликтных ситуаций. Происходящие в этих зо-

нах процессы носят явно выраженный комплексный, системный характер, необходим их комплексный мониторинг и анализ. Не менее важной задачей следует считать изучение поликультурных регионов с толерантными отношениями, их опыта и территориальной организации с целью выработки и корректировки региональной политики и управления поликультурными территориями. Еще одной важной задачей является изучение взаимодействия и взаимовлияния культур. В эпоху глобализации реальностью стала активизация межкультурных контактов, в том числе в связи с ростом миграций населения. Мигранты обладают культурной спецификой, отличной от местной, что усложняет сущность и характер межкультурных отношений. Это требует разумной миграционной и культурной региональной политики и, следовательно, дальнейших научных исследований. Необходимо увязывать исследование культурных процессов с геополитическими особенностями, что позволит определить специфику региональной политики, выработать рекомендации и комплекс мероприятий, направленных на адаптацию регионов к новым геополитическим и экономическим реалиям. Анализ этнокультурных аспектов административ-но-территориального устройства регионов и культурное районирование необходимо для целей управления развитием. Культурное разнообразие – это богатейший ресурс и источник роста экономики территорий, что подтверждает опыт целого ряда стран (например, Непала и Бутана), которые благодаря этому ресурсу смогли сделать рывок в социально-экономическом развитии, обустроить территорию, повысить уровень жизни населения. В силу некоторых свойств культурное разнообразие, по аналогии с классификацией природных ресурсов, можно считать исчерпаемым возобновимым ресурсом. Его тщательное изучение позволяет предложить рекомендации по его использованию. И это одна из важных задач культурной географии. Важными направлениями являются также изучение идентичности, брендинг и маркетинг территорий. Шансы на широкое распространение имеет информационная

география, поскольку она опирается на реальные пространственные различия и географическую методологию, что показала защита докторской диссертации А. А. Соколовой в декабре 2013 года.

Ю. Н. Гладкий

Скорее всего, это риторическая постановка вопроса, поскольку к этому обязывают поликультурный и мультиэтничный характер нашего федеративного государства, стремительно зреющие в нем узлы противоречий и самые настоящие «гроздья гнева». Впрочем, речь идет не только о России, но о глобальном охвате проблемы с учетом опасного торжества идей С. Хантингтона, краха политик ассимиляции и мультикультурализма в Западной Европе и англосаксонской Америке. Но востребованы будут не «пуританские» работы, в точности соответствующие безнадежно устаревшему шифру 25.00.24 классификатора наук), а междисциплинарные разработки на стыке географии, этнологии, социологии, демографии, психологии, экономики, истории, поскольку конструирование жизнеспособных адаптационных систем без них просто нереально.

А. Г. Дружинин

Культура, а конкретнее, оконтуриваемое данным понятием всё многообразие способов, технологий и результатов человеческого поведения и мышления – выступает основополагающим фактором и организации, и восприятия геопространства. В этой связи перспективы общественной географии (как фундаментальной науки) в существенной мере связаны именно с последовательной её «культуризацией», а соответственно, и с более тесной стыковкой со всей системой современного общественно-географического анализа в равной мере важно вывести не только **восприятие** Человеком окружающей географической действительности, но и её творческое, воплотившееся во «вмещающем» культурном ландшафте **преобразование**,

равно как и многоаспектные **действия** (культурно детерминируемую способность к ним) представителей определённых территориальных общностей в инвариантных хозяйственных, бытовых и иных ситуациях. В предметную сферу общественной географии должны быть также включены пространственные **отношения**, в которые Человек (в его экономической, политической, этнической и иных ипостасях) вступает с другими людьми (иными территориальными общностями), их геокультурная обусловленность и проекция, а также необходимые для организации пространственного бытия общества и его культуры **институты**.

Т. Ю. Замятина

Постановка вопроса предполагает ответ «да», поэтому сразу перейдем к комментариям. Именно культурная география должна дать ответы на многие вопросы, которые в традиционных областях общественной географии стыдливо списываются на неконкретизируемые «институциональные факторы» или вовсе остаются без ответа. Огромная централизация, гипертрофированная роль Москвы, конкурентоспособность отдельных регионов, территориальные особенности модернизации – все эти феномены просто необъяснимы без вмешательства культурной географии.

Конечно, нельзя сводить все особенности регионального, странового развития исключительно к роли культурных факторов. Культурный детерминизм столь же односторонен и неполноценен, как и детерминизм экономический, долгое время господствовавший в отечественной «нефизической» географии, где, как выразился Н. Н. Баранский, «Человека забыли!». Одно должно дополнять другое; по словам американского социолога Р. Инглхарта, культура и экономика не отделимы друг от друга как, например, костная и мышечные системы одного организма: кости не будут двигаться без мышц, но без костей и мышцы не будут держаться в форме тела.

А. Е. Левинтов

Мне представляется, что культурная география, по «безлюдности» самой культуры, относится, как и география деятельности (которая столь же «безлюдна»), а также география творчества, не к общественной географии (там присутствует социо-культурная сфера), а к гуманитарной географии.

А. В. Любичанковский

Роль «культурной составляющей» в современной общественной географии сложно переоценить. Именно культура как совокупность всех форм освоения человеком действительности задает предельную сложность проявления любого пространства и возможность выделения внутри него специфических подпространств: ментального, сакрального, электорального и пр. Сегодня наблюдается недоиспользование потенциала этого направления. Это вызвано как объективными причинами (ёмкость и многогранность содержания понятия культуры выявляет такое количество фактов для анализа, что информационно заслоняет специфику предмета), так и субъективными факторами (некоторой инерцией научных географических исследований, традиционно в своей основной массе опирающихся на экономическую интерпретацию общественно-географических феноменов, что, в свою очередь, затрудняет просачивание накопленных материалов для практического использования).

А. Г. Манаков

«Экономизация» и «менеджеризация», охватившие в последнем десятилетии высшее образование благодаря небывалому (но оправданному ли?) запросу общества, низвела географический фактор, а вместе с ним и культурно-географическую составляющую, на периферию общественного сознания. Резко снизился уровень географической грамотности населения страны. География в России стала «непрестижной» наукой. Если физическая география оказалась в этом положении заодно с другими

естественными науками, то у экономической географии обозначилась иная судьба – она постепенно превращается в придаток экономической науки. Причём ставшая в одночасье популярной экономика, скорее всего, со временем постарается избавиться от своих непрестижных звеньев, и новоявленная «региональная экономика» полностью вытеснит экономическую географию, со всем научным багажом последней. В таких условиях у культурной географии определилась миссия – вывести общественное крыло географии из состояния кризиса, вызванного, в первую очередь, её невостребованностью (скорее ментальной, чем реальной) со стороны современного российского общества.

Культурное разнообразие территории – нацеленный в постиндустриальное будущее ресурс развития страны не в меньшей степени, чем полезные ископаемые (особенно нефть и газ) в настоящее время. Культурный фактор играет большую роль и в накоплении «человеческого капитала» (понятия, ныне чрезмерно экономизированного и потому незаслуженно привязанного почти исключительно к крупнейшим городам). Такие «эффективные» с точки зрения современной экономической науки процессы, как ускоренная искусственная поляризация страны, «оптимизация» (а по сути, просто укрупнение с целью облегчения управления) субъектов федерации, целенаправленная политика по концентрации населения в городах-миллионниках, через несколько десятилетий могут обернуться потерей культурного многообразия России. Наступит критический момент, когда «регионы» перестанут подпитывать «человеческий капитал» в «столицах» хотя бы по причине своего демографического оскудения. И тогда неизбежен «культурный коллапс», который потянет за собой и масштабный «политический коллапс», ведущий к потере Россией своей государственности.

Культурная география должна быть полноценно представлена в университетском образовании, и не только при подготовке географов, но и бакалавров и магистров по целому ряду направлений (туризм, социология, культурология, политология, зару-

бежное и отечественное регионоведение, этнография и др.). Последнее важно для повышения квалификации «гуманитариев» (так как все эти направления или сферы деятельности в той или иной степени имеют территориальный аспект), а также вызовет рост потребности в кадрах, имеющих культурно-географическую подготовку. Можно, например, поставить задачу, чтобы каждый субъект Российской Федерации был бы представлен как минимум одним культур-географом, активно работающим в научной и образовательной сферах. И в целом по стране необходимо повышение «плотности» культур-географов, хорошо знающих местную геокультурную специфику, что заметно облегчит задачу культурно-географического изучения территории России и популяризации культурной географии в её регионах.

А. Н. Пилясов

Абсолютно необходимо. Однако сказать, что культурная составляющая важна для развития российской общественной географии, – мало. Главный вопрос, в какой форме должно идти развитие темы культуры в социально-экономической географии – в традиционной или в уже новой, сориентированной на современные вызовы. Ведь если сущностных изменений в разработке культурно-географической тематики не будет, тогда проку от этих исследований для статуса нашей науки в семействе других общественных наук будет мало.

Хочу подойти к разработке темы культуры и географии и с другой стороны. В развитии в последние десятилетия различных «географий» внутри общественной географии можно увидеть не только моду (практически каждое десятилетие к ваковскому перечню в названии нашей специальности добавлялось еще одно слово: сначала экономическая; потом социальная и экономическая; потом социальная, экономическая и политическая; далее социальная, экономическая, политическая и рекреационная) – но и отражение объективной тенденции «опространствления» специалистами общественных наук своих привычных сюжетов.

Они выходят на пространственную парадигму: возникает потребность в расширении трактовки привычных, давно известных сюжетов за счет обращения к фундаментальной категории пространства. Это хорошо показало наше взаимодействие со специалистами-смежниками в период работы по проектам по программе пространственного синтеза Президиума РАН.

Поэтому не только географии необходимо развитие культурной составляющей, но и культурологам исключительно конструктивно обращаться к категориям пространства, входить в культурную географию для обогащения своих интеллектуальных представлений о пружинах развития современного общества. Это двусторонний процесс!

В. Н. Стрелецкий

Вообще-то все «ветви» общественной географии должны развиваться синхронно и комплиментарно друг другу. Но в нашей стране, в которой антропокультурные подходы и традиции дореволюционной русской географии в советский период фактически были преданы забвению, ускоренное развитие культурно-географической составляющей общественной географии стало жизненно необходимым. Именно это мы и наблюдаем на протяжении последней четверти века.

Требуется ли дальнейшее усиление культурно-географического акцента в развитии российской общественной географии. Нет ни малейших сомнений, что да, требуется. В ответе на первый вопрос я уже отмечал, что, несмотря на известные достижения за последние 20–25 лет, культурная география в нашей стране все еще занимает очень скромные позиции и, кроме того, развивается сравнительно изолированно от смежных географических, социальных и гуманитарных дисциплин. Это ненормальная ситуация, и ее необходимо менять.

Позволю себе одну ремарку по, казалось бы, сугубо частному вопросу. Сколько уже слов было сказано и текстов написано в последние годы относительно весьма странного, мягко го-

вора, официального наименования ВАКовской специальности 25.00.24 – «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география». Название «специальности» в формате перечисления конкретных «субдисциплин» вообще вызывает глубокий скепсис, но я сейчас о другом. В мировой *Human Geography* наиболее распространено четырехзвенное членение всей «географии человека» (по-нашему, общественной географии, или гуманитарной географии, по Ю. Н. Гладкому) – на социальную, экономическую, культурную и политическую географию. Далеко не все с таким членением согласны, но на Западе это все же мейнстрим. Казалось бы, если в формате перечисления – то вот она, четырехчленка. Но все дело в том, что в нашей стране реально кандидатских и докторских диссертаций по рекреационной географии пока защищается все еще больше, чем по культурной географии. При всей курьезности официального ВАКовского наименования, оно в большей мере описывает реальную ситуацию с потоком диссертаций, чем в случае, если бы рекреационную географию там заменили бы на культурную. Была бы культурная география в России гораздо более мощным и представительным научно-исследовательским направлением, такой ситуации, конечно же, не возникло бы.

Впрочем, мне представляется, что социальные и гуманитарные науки в нашей стране нуждаются в «географизации» своих исследовательских полей даже в большей степени, чем географическая наука – в «культуризации».

Г. А. Фоменко

Безусловно, в том числе в рамках институционального подхода в географических исследованиях. Институты имеют ценностно-нормативные основания, обусловленные свойственной культуре системой ценностей и убеждений. Поэтому, для лучшего понимания трендов развития институциональных систем важно акцентировать внимание на исследовании культурной составляющей таких процессов. Это тем более актуально, по-

скольку именно роль культурной составляющей развития осознается сегодня все острее. Не случайно теория устойчивого развития предполагает изменение подходов к саморазвитию территориальных институциональных систем в рамках единого для планеты мейнстрима (mainstream). Во многом это объясняется реакцией на неудачные попытки институционального импортирования из зарубежного опыта, предпринимавшиеся полупериферийными и периферийными странами в стремлении догнать наиболее развитые. Как справедливо заметил Дж. Тойнби, «...к сожалению, профессиональные западные советники ... упускали из вида, что весьма сложные структуры законов, институтов и обычаев, которые веками формировались в капиталистических странах, суть важнейшие устои современных рыночных систем» (Тойнби, 1995, с. 75). Последнее особенно существенно, поскольку в инструментальном плане управление, например, природоохранной деятельностью в каждой стране зависит не только от понимания важности установления экологических ограничений и регламентаций развития институциональных территориальных систем, но и от культурных кодов, ограничивающих диапазон выбора приемлемых решений, даже несмотря на существенно расширившиеся возможности получения новой информации (Интернет и т. п.). Поэтому подход к организации управления природоохранной деятельностью, акцентирующий внимание на социокультурной основе выбора природоохранных институтов, может быть назван социокультурным (Фоменко, 2004, 2012). Такая методология управления природоохранной деятельностью акцентирует внимание на поддержании на конкретной территории оптимального соотношения природоохранных универсальных и социокультурно обусловленных институтов с опорой на моральные ограничения и приоритеты, в основе которых – культурные традиции и социально-экономические условия. Тем не менее, направления воздействия социокультурных особенностей территорий на

институциональные природоохранные изменения в настоящее время все еще мало изучены. Это объясняется тем, что экологическая этика, поведенческая география, экономика, несмотря на существенные изменения в подходах к изучению поведения человека в окружающей среде и наблюдающиеся в последнее время попытки сближения методологий, развиваются в значительной степени независимо друг от друга.

1.1.3. Современный аппарат культурно-географических исследований: есть ли он и как его развивать?

Т. И. Герасименко

Культурная география призвана исследовать территориальную организацию культуры как сложнейшей иерархически построенной системы, пространственно-временные взаимосвязи (отношения) как между элементами системы, так и с другими аналогичными системами, факторы, определяющие её развитие и функционирование, а также географические различия отдельных элементов системы. Культурно-географические, как и любые другие географические исследования, используют аппарат, включающий теоретико-методологическую и методическую основу, состоящую из общенаучных, междисциплинарных, собственно географических и заимствованных методов и подходов. Функциональный метод сфокусирован на исследовании кратковременных процессов взаимодействия культур, их пространственной организации и потоках или перемещениях. Эволюционный, ставящий во главу угла происхождение и распространение культур и их поступательное развитие или угасание, позволяет выявить многие историко-географические закономерности. Важной составной частью исследований стала система социологических методов, в том числе анкетирование, опросы, интервью, методика «снежного кома». Важны лингвистические методы, топонимический, контент-анализ, систе-

ма информационно-географических методов. Использование всего арсенала методов и подходов позволяет сделать выводы относительно возможных тенденций и перспектив динамики территориальной структуры культурного пространства, проанализировать варианты и возможные сценарии развития, а также сформулировать рекомендации относительно направлений региональной и международной культурной политики. В целом можно считать аппарат культурно-географических исследований сформированным в своей основе, однако есть слабые места, о которых следует помнить. К таковым, в частности, относится недостаточно разработанная система картографирования, которая пока остается слабым звеном культурной географии. Учитывая специфику и междисциплинарный характер самого феномена культуры, понятна огромная сложность ее географического изучения. К сожалению, исследования географов нередко уходят в сторону от географии и попадают то в область культурологии, то лингвистики, то психологии. Между тем у географии есть методический аппарат, который позволяет занять свою нишу, выполнять оригинальные исследования, недоступные другим наукам и выгодно отличает географическую работу от любой другой. Главные инструменты географии – это хронологический метод, районирование и картографирование объектов, что сформулировано А. Геттнером, Н. Н. Баранским, Б. Б. Родманом. Отличительная особенность культурно-географических исследований – выявление и изучение культурных ареалов и их взаиморасположения и взаимодействия в пространстве, уточнение и типология культурных границ, изучение совокупности факторов, определяющих территориальную организацию культуры, выявление культурных районов. Не стоит забывать о самом важном принципе в такого рода исследованиях – «игре аккордами». Если помнить об этих простых правилах, удастся не только сохранить географию и избежать «растаскивания» и «расползания» географии в область смежных дисциплин, но и усилить позиции и авторитет нашей науки.

Ю. Н. Гладкий

Было бы наивно делать упор на автохтонность методологического аппарата культурно-географических исследований, особенно с учетом того, что они, по сути, являются специфическим пластом гуманитарно-географической науки. Кстати, пытаться экспроприировать культуру у последней – значит, цинично «надругаться» над классической отраслью знания, поскольку в результате подобной вивисекции от гуманитарной географии останется один «чехол». Косвенно эту мысль подтверждают и слова М. Бахтина (1986): «внутренней территории у культурной области нет: вся она расположена на границах, границы проходят повсюду, через каждый момент ее, систематическое единство культуры уходит в атомы культурной жизни...». Базовые понятия культурной географии имеют большое сходство с понятиями смежных дисциплин и не нуждаются в каком-то «революционном препарировании».

В нашем представлении, культурная география исследует корреляционные связи элементов культуры – артефактов, социофактов и ментифактов (включая человеческие общности с надбиологическими стереотипами поведения и мышления) с *географической средой*. В этой связи, в углубленном изучении нуждаются те элементы дисциплинарной онтологии, которые будут способствовать *географизации* («заземлению») отношений между субъективностью познания и объективностью содержания культурной географии.

Т. Ю. Замятина

Аппарат культурной географии в значительной степени формировался под влиянием общественных наук – при том разных, аппарат которых, в свою очередь, не всегда согласован. Не удивительно, что работа с культурно-географической тематикой постоянно вызывает желание иметь под рукой словарь переводчика, который бы позволил сопоставить пришедшие из разных наук в культурный ландшафт дискурсы и контексты, поля и

арены, гендер и феминизм, власть и территориализацию, образы и концепты. Зачастую разные понятия обозначают схожие явления, и различия связаны лишь с особенностями «внешней» ориентации автора на Фуко или Делеза, на идею власти или гендера и т. д. Каждый раз за употреблением термина стоят определенные нюансы, поэтому призывать к уменьшению количества терминов было бы чревато редукционизмом – но словарь понятий, параллельно используемых в разных концепциях, насущно необходим.

Помимо работы с параллельными понятиями, сплошь и рядом необходим перевод понятий на географический язык и не менее часто – наоборот, «развод» понятий, используемых в географии и социальных науках. Возьмем, например, понятие «ментальное пространство». Для географа обычно полная неожиданность, что для не-географа данное понятие, оказывается, введено в науку Ж. Фоконье (1985) и широко используется в гуманитарном знании. Оно, однако, столь же негеографично, как и «социальное пространство», «пространство диалога» и т. п., где пространство – просто метафора, условность. За пределами географии ментальное пространство – система взаимосвязанных концептов, понятий, рамка осмысления определенной ситуации безотносительно к географическому пространству. Аналогична и ситуация с «ментальной картой», которая за пределами географии означает просто схему понимания ситуации («ментальная карта решения проблем ЖКХ»). Чтобы не оказаться наедине со своим малопонятным прочим людям диалектом, культурной географии желательно учитывать особенности словоупотребления в смежных областях знания.

Конечно, сложившаяся ситуация – не повод отказываться от пространственного мышления в угоду какому-то другому варианту – равно как не следует и вдаваться в другую крайность и заменять все «атмосферы» на «колоземицы». Но генеральная «приборка» в терминах с созданием словаря – пожалуй, пер-

вый шаг, который необходимо сделать для дальнейшего строительства концептуального аппарата культурной географии.

А. Е. Левинтов

В отличие от экономической географии, держащейся на идеях географического разделения труда и, стало быть, теориях размещения географических объектов, главным образом, производственных или связанных с производством (естественные ресурсы, население как производительная сила, транспорт как производная от производства и т. д.), в культурной, деятельностной и творческой географии вообще нет объектов как таковых, но есть субъекты, озабоченные своим вхождением в человечество, его историю и культуру, сплочением человечества по культурным, деятельностным или творческим основаниям. В так понимаемой географии исследователь должен занять позицию диалога с субъектом или субъектами культуры, деятельности или творчества, а не описывать их как объекты наблюдения и изучения.

А. В. Любичанковский

Время сжимает идею. Первоначальное знание рождается не в концентрированной форме и лишь спустя определенный промежуток времени может быть емко выражено. Культурно-географическая отечественная школа начала складываться в России в 90-е годы XX века. И хотя для научного направления это небольшой срок, уже назрела необходимость кодификации накопленных исследований. Этот процесс осложняется наличием множества «нащупывающих» предметную область методик. Оставляя за скобками содержание формирующихся направлений, а также множество приемов, выбор и комбинация которых дело личного вкуса исследователя, можно обозначить методологический аппарат культурно-географических исследований: культурно-экологический подход к сохранению культурного наследия, литературно-географический, структурный,

ландшафтный, динамический, гуманитарно-образный подходы и др. Система этих подходов еще формируется, поэтому каждое оригинальное исследование в этих областях вносит свой вклад в их развитие.

А. Г. Манаков

Особенностью современной культурной географии является широкое заимствование исследовательского аппарата из целого ряда смежных научных направлений, прежде всего, гуманитарных. С одной стороны, это полезно для новационного развития научного направления, так как обогащает географию новыми методами исследования, но с другой стороны, это вызывает некоторую настороженность. Разные направления географии, глубоко ушедшие в изучение своего «узкого» объекта, продолжают связывать именно общие методы исследования, которые можно назвать собственно географическими (картографический, метод районирования и т. п.). Поэтому, полностью отказываясь от традиционных в географии методов исследования, новое научное направление рискует, в конце концов, выпасть из лона географических наук. Не хотелось бы, чтобы «новую культурную географию» постигла такая участь.

Предостережение по этому поводу высказал ещё два десятилетия назад А. В. Новиков, который к тому же впервые в русскоязычной литературе озвучил название научной дисциплины «культурная география». Лучше привести полностью этот текст, так как здесь имеет значение каждое слово. «Подобно путешественнику, стремящемуся посетить все уголки мира, география в своём развитии совершает экспансию в новые предметные области – математику, экономику, социологию, психологию и вот теперь в культурологию. С каждым новым витком экспансии задор «конкистадоров» заметно утихал, так как новые «научные страны» не только не пожелали войти в состав географической «империи», но и даже не заметили проникновения географии в свои владения. Сами же колонисты откровенно начали рвать

связь с «метрополией», рискуя оставить её без предмета и метода. Подобно Испанскому королевству, похоронившего в грудах награбленного в колониях золота экономическую инициативу собственного народа, география, запутавшаяся в ворохе привнесённых методологических новшеств и фактов, потеряла свою идентичность» (Новиков, 1993, с. 84).

Так уж получилось, что в числе моих первых научных трудов были работы по перцепционной географии (Манаков, 1991 и др.), которые были опубликованы задолго до проявления в России массового интереса к когнитивной, имажинальной, сакральной и т. п. географии. Ныне набор этих дисциплин составляет ядро «гуманитарной географии», ставшей мейнстримом культурной географии и даже претендующей на подмену последней (во всяком случае, в том виде, в котором она начала оформляться в 1990-е годы). А что дальше? Чем дольше работаю в сфере культурной географии, тем всё больше убеждаюсь, что исследовательский аппарат, заимствованный в смежных гуманитарных науках, должен выполнять не основную, а вспомогательную функцию в географических исследованиях. Тем не менее, привнесённый в культурную географию инструментарий может и даже обязан работать на развитие географии, но для этого его надо максимально «географизировать» (привязать к территории). На мой взгляд, именно такую задачу должен ставить перед собой исследователь, обладающий географическим мышлением и обеспокоенный судьбой географической науки в России.

И. И. Митин

В современной российской культурной / гуманитарной географии сложился своеобразный понятийно-концептуальный и категориальный аппарат. Он строится и развивается вокруг основных категорий, описывающих различные виды *пространственных представлений*: *культурный ландшафт, географический образ, пространственный миф, региональная (локаль-*

ная) *идентичность*. Каждой из этих категорий соответствует, однако, не одна, а сразу несколько (до пяти) активно развивающихся концепций.

Проблема аппарата культурной географии в России сегодня – в его *неоднозначности, не(до)определённости, несогласованности*. Соответственно, основная задача его развития на нынешнем этапе – консолидация и структурирование, проще говоря, установка чётких логических связей между различными концепциями.

Необходимо зафиксировать основные различия между базовыми концепциями каждой категории и соотношения всех категорий между собой с учётом различающихся концепций. Эта задача стоит особенно остро, и без её решения дальнейшее развитие культурной / гуманитарной географии погрязнет в номенклатурных спорах о дефинициях.

А. Н. Пилясов

Считаю, что пока такого аппарата нет. По очень простой причине: имеют место разрозненные, обособленные усилия, порой исключительно талантливые, по отдельным направлениям, но нет усилий по систематизации работ разных авторов в единой сводной монографии. Это задача на будущее.

Но что уже можно отметить как тенденцию. Этот аппарат будет преимущественно связан с работами на микроуровне местных сообществ, потому что получить оригинальные результаты на уже достаточно хорошо исследованном национальном уровне трудно. Но это означает, что он будет испытывать сильное влияние социологических, демографических, этнографических, возможно археологических исследовательских методов. Таким образом, другой важнейшей тенденцией станет выход за рамки сугубо культурологического инструментария, классического аппарата социально-экономической географии, к конструктивному синтезу с другими общественными науками.

И частное замечание. Как показывает зарубежный опыт, очень интересные выводы способны дать новые методы тщательного учета представителей творческих индустрий – артистов, фотографов, писателей, дизайнеров, архитекторов, проектировщиков и др. – с точки зрения понимания их роли в местном экономическом развитии и росте. Здесь можно отметить пионерные работы Энн Маркусен по оценке региональных дивидендов от артистов, которые она выполнила на примере штата Калифорния.

В. Н. Стрелецкий

Культурная география, по своим теоретическим основаниям и методологическому арсеналу, очень разнообразна и полистична, причем в глобальном, мировом масштабе, а не только в нашей стране. «Единой» культурной географии с универсальной теорией и методологией не существует; конкуренция разных мировоззренческих установок и связанных с ними исследовательских парадигм, как мне уже приходилось отмечать, находит прямое отражение в научном, понятийном, методическом аппарате культурно-географических исследований.

В обоснование данного тезиса сравним две доминирующие в мировой культурной географии – сциентистскую и феноменологическую.

Сциентистская парадигма основана на объективистской и ценностно-нейтральной методологии изучения причинно-следственных и функциональных связей между свойствами (качествами, особенностями) географического пространства и культурными явлениями; она ориентирована на рациональное познание и деятельность. К числу ключевых признаков, характеризующих сциентистскую парадигму в культурной географии, должны быть отнесены следующие: рационализм; ориентация на объективное знание как фундаментальную ценность; каузальность как важнейший мировоззренческий принцип; экспликативность; отказ от априорных и умозрительных установок,

идеологическая и аксиологическая нейтральность; эмпирицизм и опора на эксперимент как «способы» исследовательской работы; широкое распространение «системных» научных подходов, разного рода логических и классификационных схем.

Подчеркну, что этот перечень заведомо неполный; он может быть дополнен многими другими характеристиками, имеющими, однако, на мой взгляд, не такое первостепенное значение, как характеристики, приведенные выше.

Одна сциентистская линия разработки проблемы взаимодействия геопространства и культуры – *изучение роли географического фактора в культурном процессе*. Диапазон взглядов здесь – от географического детерминизма (в том числе современного энвайронментализма) до географического индетерминизма (нигилизма), отводящего природным условиям пренебрежимо малую роль в генезисе культурных различий в геопространстве. Промежуточное положение занимает географический POSSИБИЛИЗМ, сторонники которого исходят из представлений об относительной автономности человека от влияния природной среды, а последнюю трактуют как пространственный континуум природных и культурных ландшафтов, признавая многовариантность ее воздействия на социум (Э. Реклю и П. Видаль де ла Блаш во Франции, О. Шлютер и Л. Вайбель в Германии, И. Боумен и К. Зауэр в США).

Другое распространенное в культурной географии «сциентистское» направление – *пространственный анализ культуры*, изучение ее территориальной организации и структуры, отношений и связей между ее элементами, «культурной морфологии» земной поверхности. Идеологи пространственного анализа культуры обычно рассматривают культурную географию либо в тесной «связке» с социальной географией, либо считают первую составной частью второй. В рамках этого направления исследуется пространственная дифференциация «материальной» и «духовной» культуры, роль инноваций в трансформации традиционных институтов и пространственной

диффузии культуры, устойчивость локальных очагов сельской культуры в условиях «пресса» урбанизации и модернизации, этнические, конфессиональные, социальные, экономические факторы и предпосылки пространственного разнообразия культуры и многое другое. Заметное влияние школы пространственного анализа культуры испытали и многие последователи концепции культурного ландшафта (в интерпретации К. Зауэра – К. Солтера). Последние фактически разделяют две наиболее давно укоренившиеся сциентистские традиции географической науки – пространственную и средовую.

Однако жестко детерминистский сциентистский подход к географическому изучению столь сложного и многообразного явления как культура имеет серьезные изъяны и ограничения. Так или иначе, исследователи, придерживающиеся данной методологии, вынуждены подходить к культуре в значительной степени как к *объекту*. Такая методология, позволяющая адекватно решать аналитические задачи, например в географии промышленности, изучении систем расселения или транспортных сетей, заводит исследователя нередко в тупик, когда объектом его анализа становится культура. Ведь ее носители – люди, активные *субъекты*, со своим самосознанием, ценностными установками и рефлексивными возможностями.

Феноменологическая парадигма в культурной географии используется как способ работы прежде всего в «смысловом поле» пространственных отношений и значений фактов и явлений культуры. Геопространство *культурных феноменов* – это не пространство материальных объектов как таковых, а *пространство смыслов*. Главная методологическая установка сторонников феноменологического подхода, как уже более тридцати лет тому назад писал выдающийся канадский географ Эдвард Тед Релф, – отказ от любых притязаний на выявление законов объективного мира безотносительно к сознанию человека (Relph, 1981). Важнейшей целью культурной географии при таком подходе становится выявление и описание смысловых значений

между сознанием и наблюдаемыми на земной поверхности артефактами.

Феноменологическая парадигма, в известном смысле, формировалась как альтернатива основанному на позитивистских и неопозитивистских подходах сциентизму, потенциал творческих инноваций которого, применительно к географии человека в целом (Human geography) и культурной географии в частности (Cultural geography), к началу последней четверти прошлого века отчасти себя уже исчерпал. На первый план выдвинулись иные установки и подходы, в корне отличные от укоренившихся на принципах сциентизма исследовательских традиций. В их ряду важнейшими характерными особенностями феноменологического подхода в культурной географии представляются следующие:

- последовательно «субъектная» и антропоцентристская мировоззренческая ориентация, перенос исследовательского акцента на самого человека (индивида);
- приоритетное внимание к «жизненному миру» человека – детерминированному прежде всего культурой пространству его повседневной жизни;
- сознание людей, особенности их ментальности, эмоции и чувства, связанные с окружающим их географическим пространством, становятся важнейшими темами культурно-географических исследований;
- первостепенное значение приобретает рефлексия над культурными смыслами и значениями различных пространственных явлений, соотношений и конфигураций;
- происходит «реабилитация» дискриптивных практик, что находит отражение, в частности, в своего рода ренессансе искусства географического описания, но уже с подчеркнуто гуманитарных, антропоцентристских позиций и при принципиальном отказе от каких-либо паттернов логической схематизации, шаблонизации таких описаний «по единому лекалу».

Огромная эвристическая ценность феноменологического подхода в культурной географии заключается в том, что он позволяет избежать крайностей социального (а то и социоприродного) редукционизма при изучении пространственной дифференциации культуры. Это особенно актуально для отечественной географии, поскольку в ней культура зачастую интерпретировалась как нечто не самостоятельное, но вторичное, производное, обусловленное внешними факторами (физико-географическими, социально-экономическими, политико-идеологическими и т. д.). Да и сами географические описания культурных комплексов выполнялись при этом в значительной степени формально. От исследователя ускользало главное в культуре – процессы смыслообразования, закрепления и «трансляции» смыслов во времени и пространстве.

В последние десятилетия XX в. в корне изменился взгляд даже на, казалось бы, традиционные для культурной географии аспекты исследования, в частности на проблему взаимоотношений между жизнедеятельностью людей и окружающей средой. В центре внимания культур-географов теперь оказались не «объективные» параметры данных взаимосвязей, а прежде всего сюжеты, характеризующие отношение тех или иных социальных общностей к среде их обитания, ценностные ориентации социальных групп, роль мировоззренческих, религиозных, этических парадигм в процессах «освоения» (причем не только и не столько материального, сколько ментального) ими географического пространства.

Понятно, в этой связи, что научно-методический исследовательский аппарат «сциентистской» и «феноменологической» культурной географии – совершенно разный. И единого, универсального научного аппарата здесь быть просто не может.

Г. А. Фоменко

Современный аппарат культурно-географических исследований находится в стадии становления. До недавнего време-

ни воздействие культуры на развитие стран и народов оценивалось исключительно качественными методами, однако в последние десятилетия наметился прорыв в количественном измерении влияния социокультурных факторов на поведение людей. Одним из перспективных направлений в данном аспекте следует назвать расширение применения инструментария этнометрии, которая реализует идею о том, что ценность может быть распределена по измерениям культуры. Наибольшее распространение получили подходы, предложенные Г. Хофстеде, которого заслуженно считают основоположником этнометрии, в дальнейшем модифицированные Р. Инглхартом, Р. Хоузом и др. (Hofstede, 1980; Inglehart 1990; House, 1999).

Инструментарий этнометрии (например, шесть культурных индексов Г. Хофстеде, дополненные индексом «стабильность прав собственности») (Фоменко, 2014) позволяет измерять влияние социокультурных факторов на развитие институциональных систем, в том числе в природоохранной сфере, что позволяет глубже понять основу природоохранной деятельности на той или иной территории, оценить влияние культур на решение экологических проблем, уточнить и расширить представления об институциональных ограничениях и тенденциях развития природоохранных институциональных систем и, на этой основе, определить диапазон приемлемых решений для распорядителей ресурсов. Это открывает новые возможности в исследовании территориальных институциональных систем, включая оценку их состояния и динамики развития, лучшее понимание исторических предпосылок и культурных основ. В прикладном аспекте становится возможным: (1) уточнение социокультурных факторов, от которых зависит результативность применения тех или иных природоохранных институтов в конкретных обществах; (2) выявление, в сопоставимых индикаторах, влияния культур на экологическую устойчивость; (3) определение диапазона выбора приемлемых решений в сфере природопользования, а также пределов установления природоохранных ограничений и регламентаций развития социоприродных систем, обусловленных ценностными установками, доминирующими в том или ином обществе.

Зависимость природоохранных институциональных изменений от культурных индексов носит, безусловно, весьма общий характер, поэтому применение универсальной шкалы ценностей к оценке поведения людей требует осмотрительности. В каждом конкретном случае целесообразно исходить из особенностей сложившейся ситуации, рассматривая культурные измерения только как индикаторы, помогающие оценить культурную среду для облегчения принятия решений. Важно также учитывать, что социокультурные индексы не могут предсказать поведение отдельных лиц с учетом личностных особенностей каждого конкретного человека. Следует принимать во внимание и существенную региональную дифференциацию социокультурных условий России, особенно глобальный процесс нарастания поведенческих различий между жителями крупных городов (постиндустриальные тенденции) и сельским населением.

Целесообразно, рассматривая любое институциональное заимствование (из собственной истории, чужого опыта или теории), выявить, насколько исторически обусловленный путь и сложившийся тип личности ограничивают и регламентируют институциональные изменения; иными словами, определить диапазон выбора социокультурно приемлемых решений на всех уровнях территориальной организации и возможность ее институционального расширения в связи с постиндустриальным переходом, а также определить характер, содержание и институциональные ограничения заимствованных институтов таким образом, чтобы не утратить культурной идентичности и самобытности.

1.1.4. Каковы новые концептуальные подходы и точки роста географических исследований культуры?

Т. И. Герасименко

Культурная география как отрасль знания, формирующаяся на стыке наук, использует общенаучные теоретико-методологические подходы и концепции, междисциплинарные, соб-

ственно географические и заимствованные, в соответствии с которыми складывается и методический аппарат. В силу изолированного развития отечественной географической науки, наряду с отрицательными сторонами этого обстоятельства, в ней сложились уникальные школы и направления. В частности, как абсолютно точно отмечено у В. С. Преображенского и соавторов (1997), она развивается в соответствии со сложившимися на базе национальной научной культуры установками. Пространственно-комплексная предполагает подход к изучению объектов как к комплексам; процессоведческая заключается в акцентировании внимания на процессах, объединяющих разнородные элементы в одно целое; эволюционная ориентирована на изучение изменений в системах. Кроме того, используется районный подход, предполагающий выявление районов как объективно существующих образований. Широко используются как собственно географические теоретико-методологические достижения, так и концепции других дисциплин, требующие географической адаптации – этнологии, истории, культурологии, философии, социологии, синергетики и др. Широкомасштабное исследование культуры предопределяет использование как фактологического культурно-географического и факторного анализа, так и феноменологического подхода. В арсенале культурной географии идеи эволюционизма, диффузионизма, функционализма и другие подходы в сочетании с собственно географическими – такими как системный, историко-географический, комплексный, районный, культурно-ландшафтный. И в этом сочетании заключается её огромное преимущество. Все подходы, концепции, методический аппарат, информационная база интерпретируются в рамках пространственной парадигмы, позволяющей выявлять пространственные различия.

Т. Ю. Замятина

Развитие культурной географии может идти двумя путями. С одной стороны, она, как губка, вбирает все новые и новые кон-

цептуальные подходы общественных наук. Особенно это, конечно, заметно по западной культурной географии, где теснятся основанные на разной методологической базе гуманистическая, феминистская, пост-структуралистская, постмодернистская и прочие географии. С другой стороны, возможен прирост и в другую сторону – в ходе послойной интеграции культурной географии с другими направлениями географии. Именно этот путь представляется сегодня более органичным для отечественной науки, страдающей раздробленностью. В самом наипростейшем варианте здесь возможны попарные (и иные) сопряжения культурной географии с отраслевыми географиями, развивающимися пока каждая в своем поле: культурная география и география населения, культурная география и география определенной отрасли экономики и т. д.

Методологическое изучение отдельных сопряжений возможно на основе самых разнообразных подходов – в частности, здесь неожиданно оказывается возможным использовать багаж советской экономической географии. Классические понятия географического положения, территориальной структуры могут быть легко втянуты в орбиту культурной географии и положены в основу для межотраслевых сопоставлений: как соотносится, например, сеть дорог с представлениями об устройстве пространства, характерными для соответствующего общества. Здесь задача культур-географов – понять, как, благодаря каким культурным установкам и процессам в определенном обществе становятся возможны определенные пространственные конфигурации экономических и социальных систем. Какие территориальные структуры легитимны в данной культуре (детский вопрос: почему в России невозможна столица в маленьком городе типа Оттавы?) Как переосмысливается в культуре экономико-географическое положение (еще один простой вопрос: почему соседство с «заграницей» почти всегда оценивается в России как положительный фактор экономического развития, как будто «заграница нам поможет»)?

Разумеется, движение на интеграцию должно идти с разных сторон: культурную географию сложно соотнести с социальной, если последняя оперирует исключительно индексом развития человеческого потенциала и младенческой смертностью. Социальная география в целом также должна расширить свою методологическую базу. Очень перспективным мне представляется использование понятий социального и символического капитала, габитуса, власти и т. д. На их основе возможно выстроить пока несуществующую систему их географических аналогов.

Допустим, «социальный капитал территории» (совокупность внешних территорий, в которых у представителей сообщества данной территории сложились сильные социальные связи: родственники, друзья, сокурсники и т. д.) покажет, какие из территориальных сообществ теснее связаны между собой социальными связями, или, проще, какие города «дружат» между собой. В условиях России такая коллективная «дружба» существенно влияет на формирование ее миграционных потоков и, возможно, территориальной структуры ее внешних связей в целом.

Можно ввести «культурный» аналог экономико-географического положения города, определяемого через отношение его к «вне его лежащим данностям», но имеющим не экономическое значение, а символический капитал. Тогда интерпретация имиджа (образа) места, как его символического капитала, позволит привлечь к анализу географических образов мощную методологию, работающую с переходом символического капитала в экономический и т. д.

Подобные ходы позволяют «переводить» культурно-географические понятия в социально-экономическую сферу и обратно, легко выстраивая отношения между самыми непонятными, «постмодернистскими» веяниями культурной географии с добротной понятийной базой советской географии. При этом радикально, на порядок возрастает потенциал географии в сфере объяснения и прогнозирования современных социально-

экономических явлений и процессов – тем самым выигрывает не только и не столько культурная география, сколько общественная география в целом.

А. В. Любичанковский

Точки роста географических исследований культуры – это обозначенный в предшествующем вопросе методологический аппарат культурно-географических исследований. А вот причисление какого-либо из указанных направлений к концептуальному подходу географического исследования культуры, с моей точки зрения, преждевременно. Сведение материала в систему и построение концепции есть средняя стадия осмысления проблемы, предшествующая философскому обобщению, которую еще предстоит осуществить культурной географии. Междисциплинарные взаимодействия культурной географии могут быть замечательным подспорьем для рождения настоящей культурно-географической концепции. Одним из перспективных путей, вбирающих в себя ментальную географию и вопросы, связанные с региональной идентичностью, а также образно-географические исследования, представления о культурном ландшафте – в общем все предметное поле общественной географии, является цивилизационный подход. Уточнение пространственных параметров динамики цивилизационных процессов даст возможность в рамках общественной географии создать условия для рождения концепции, способной объединить физико-географическую и общественно-географическую ветви развития единой географии в стереоскопическое представление об антропосфере, фрагментированной на цивилизации в различных вмещающих ландшафтах Земли.

А. Г. Манаков

Отвечая на вопрос о точках роста географических исследований культуры, приходится отчасти давать прогноз развития всей российской культурной географии. А прогноз, как известно, дело

неблагодарное. Тем не менее, можно попробовать оценить перспективы развития разных направлений культурной географии хотя бы в ближайшие десять лет. Учитывая малочисленность культур-географов в России, приходится констатировать, что перспективы развития субдисциплин культурной географии во многом связаны с активностью отдельных учёных – авторов концепций, а также с количеством адептов этих концепций, что зависит и от интереса молодых исследователей к конкретным темам в рамках культурной географии.

Культурная география занимает уникальную позицию в системе географических наук. Формально входя в состав общественной географии, она фактически является связующим звеном между двумя основными ветвями географии (достаточно вспомнить концепцию культурных ландшафтов; связь с естественным крылом географии прослеживается и в концепции геокультурного пространства), а также интегрирует достижения множества смежных, преимущественно гуманитарных наук. Поэтому, безусловно, что точки роста культурной географии будут находиться в этих стыковых зонах.

Во-первых, рассмотрим ядро культурной географии, сформировавшееся на рубеже XX и XXI столетий (в то время с названием «география культуры»), которое составляют концепции культурного ландшафта, геоэтнокультурных систем, социо-культурных систем, геокультурного пространства и др., и ряд связанных с ними концепций (например, концепции этноконтактных зон, культурного районирования). В этом традиционном ядре культурной географии возможно стабильное развитие за счёт расширения исследований историко-геокультурной тематики (в т. ч. Среди негеографов – естественников и гуманитариев) и прикладных геокультурных исследований (например, на стыке с геополитикой, социологией, географией туризма, лингвистикой, топонимикой и т. д.).

Во-вторых, оценим перспективы развития «гуманитарной географии», вобравшей в себя целый ряд наиболее молодых

ответвлений культурной географии. Подъёмная волна развития «гуманитарной географии» приходится на первое десятилетие XXI века, и это означает, что пик её развития придётся на второе десятилетие настоящего столетия. В этот период определится окончательно, выйдет ли «гуманитарная география» из состава культурной географии, получив статус самостоятельной научной дисциплины, или же останется одним из направлений культурной географии. Последнее зависит ещё и от того, сможет ли «гуманитарная география» найти своё практическое применение вне традиционной геокультурной тематической области (например, в набирающем популярность брендинге территорий).

И. И. Митин

Вся культурная / гуманитарная география в России в известном смысле всё ещё может считаться новой. Она начала формироваться в современном виде около 20 лет назад, причём практически без «оглядки» на предшествующие работы в области культурной географии. С «географией культуры» 1980-х годов эта новая гуманитарная география практически ничего общего не имела; на декларации о необходимости социально-культурной географии советского времени не опиралась (Митин, 2011). Историческими предшественниками возникающей гуманитарной географии были объявлены хронологическая концепция А. Геттнера и, в меньшей степени, русская антропогеографическая школа Л. С. Берга – однако, и от того, и от другого крайне мало что было заимствовано (Митин, 2012).

Эта «оторванность от корней» существенно влияет на прогноз будущего развития культурной / гуманитарной географии в России. Обратимся тут к опыту западной «новой культурной» и гуманистической географии, близких к современной российской ситуации.

Становление культурной / гуманистической географии тесно связано с развитием географии в целом: она серьёзно «вписана» в контекст смены парадигм в географии (Price, Lewis, 1993;

Tuan, 2003; Gregory, 1981). Так, создание «новой культурной географии» связано с критикой традиционной школы К. Зауэра за излишнюю материалистичность; а возникновение гуманистической географии стало ответом на попытку бихевиористской географии описать математически поведение человека в пространстве.

И вот в конце 1990-х – начале 2000-х годов сама культурная / гуманистическая география теряет популярность в связи с развитием так называемой критической географии (выросшей к тому времени из узкой и маргинальной поначалу радикальной географии). Критики указали на избыточное «увлечение» гуманистической географии репрезентациями в ущерб материальности ландшафтов и изучение геополитических образов власти вместо повседневных практик людей.

В России же гуманитарная география в большей степени «увязана» и укоренена в структуралистской и постструктуралистской философии и семиотике, чем в каком бы то ни было направлении самой географии (Митин, 2012). В результате нынешний фокус на исследованиях репрезентаций пространства и места не привёл в России к фактическому отказу от внимания к материальной основе ландшафтов, особенно в концепциях культурного ландшафта и мифогеографии. А ведь это был главный механизм расцвета «новой культурной» географии и главная причина её последовавшей через десятилетие критики!

Так же и теперь: если в России появятся направления, близкие западной критической географии, то они, вероятно, будут органично встроены в гуманитарную географию, а не станут её антагонистами. Поэтому мы считаем, что главной «точкой роста» российской культурной / гуманитарной географии в ближайшее десятилетие станет крен в сторону так называемой критической географии.

Основные отличительные черты последней следует обозначить как возможные направления развития культурной географии в России:

1) отказ от гипертрофированного внимания к репрезентациям, визуальным и ментальным образам, символическим значениям пространства (культурные ландшафты, а не географические образы);

2) идеологический отказ от участия в государственном планировании, разработках прикладной геостратегии государств (в российских условиях, впрочем, это маловероятно);

3) внимание к проявляющимся географически проблемам неравенства – социального, политического, межэтнического, межконфессионального и др. (при известной интеграции с социальной географией – в России, пожалуй, это наиболее ожидаемо и легко осуществимо);

4) внимание к гражданским (негосударственным) инициативам по преобразованию пространства как на глобальном (например, экологические, антиглобалистские, феминистские движения), так и на региональном и локальном уровнях;

5) методологический акцент на исследовании конкретной деятельности («практик», «повседневности») сообществ людей (особенно меньшинств, например, этнических, социально-профессиональных) по самостоятельной организации пространственных взаимоотношений в локальных городских сообществах (в российских условиях – очевидно, при обязательном активном участии, а то и при подмене географов в этом направлении – социологами, антропологами, урбанистами);

6) использование и разработка исследовательских методик качественной социологии, направленных на выявление повседневных практик людей в пространстве (кейс-стади, включенное наблюдение, визуальные методы и др.);

7) преимущественно микрогеографический, локальный масштаб исследований в городской среде.

А. Н. Пилясов

Сразу отмечу, что у меня все эти направления очень прагматичные. Как показывает анализ 14 публикаций книги «Creative

cities, Cultural Clusters and Local Economic Development» (2008), зарубежная исследовательская разработка темы культуры и пространства идет по пяти основным блокам: 1) культура и ее роль в формировании региональной инновационной системы; 2) особый феномен культурного района; 3) культура, креативность местного сообщества, креативные индустрии, феномен креативного города; 4) культура как фактор городской регенерации; 5) тема, которая зонтично охватывает все предыдущие, но обособляется как отдельная, – культура и (как драйвер) местное (региональное) экономическое развитие.

Считаю, что для нас в России все эти темы представляют значительный интерес и актуальность. Как можно судить по работам основоположника теории региональной инновационной системы Филиппа Кука, она выросла из «культурного субстрата» – сначала автор занимался изучением региональной культуры, потом (естественным образом), в результате расширения своих исследовательских интересов, вышел на тему региональных инноваций и регионального развития в результате актуализации местного культурного потенциала. С культурой теснейшим образом связана современная креативная экономика, творческие индустрии. Без развития культуры нет современного креативного города. Тесно сцеплены в зарубежных исследованиях факторы культуры и регенерации старопромышленных зон и городов Европы.

В. Н. Стрелецкий

В последние десятилетия отечественная географическая наука стала постепенно осваивать новые теоретико-методические подходы, альтернативные давно укоренившемуся «сциентизму», что имело важные последствия и для культурной географии. Выход за его рамки существенно расширил само предметное поле культурной географии. Ведь описания отечественных просторов, культурная рефлексия пространства широко представлены и в художественной литературе, и в документальной

прозе, например, в мемуарах, письмах, путевых дневниках, описаниях путешествий, в фольклоре и поэзии. Среди публикаций последних лет есть примеры вдумчивой и плодотворной работы географов с «ненаучными» литературными текстами, анализа художественных образов территории. Думаю, что это исследовательское направление будет и далее успешно развиваться, хотя, конечно же, оно не станет ключевым для последующего развития всей отечественной культурной географии.

Гуманитаризация географии проявляется и в растущем интересе с ее стороны к изучению *народной (традиционной) культуры*. В отличие от профессиональной культуры, традиционная культура в нашей стране изучалась преимущественно в рамках этнографической науки; географами она исследовалась извне, отстраненно, с позиций современной урбанистической цивилизации. Но в культурной географии возможен и чрезвычайно перспективен и альтернативный подход, когда традиционная культура становится объектом исследования как бы изнутри, с точки зрения самих творцов этой культуры, носителей ее ценностей и идеалов. Яркий пример такого подхода – вышедшая уже двадцать лет назад (но, по большому счету, до сих пор так и не оцененная в должной мере) монография Н. М. Теребихина «Сакральная география Русского Севера» (1993). Основанная на богатейшем историко-географическом и этнографическом материале, фольклорных и литературных текстах, эта книга, изданная в Архангельске, уникальна своей попыткой реконструкции религиозно-мифологического ландшафта Севера Европейской России. Взгляд на культуру этноса, субэтноса, любой локальной общности людей изнутри требует от исследователя постижения глубинного смысла культурной традиции, его расшифровки. Ведь пространство культуры – это не только и не столько пространство объектов и фактов, сколько пространство смыслов. В этой связи вполне закономерен начавшийся разворот культурной географии в сторону собственно культурологии, прежде всего семиотики, герменевтики, феноменологии культуры.

В мировой культурной географии одной из главных «точек роста» в последние несколько десятилетий было научное направление, сфокусированное на *исследовании феномена территориальной идентичности* на разных масштабных уровнях. В отечественной культурной географии в этом отношении в начале XXI в. сделаны фактически только самые-самые первые шаги (особенно нужно отметить вызвавшую большой резонанс в научном географическом сообществе докторскую диссертацию М. П. Крылова и его монографию «Региональная идентичность в Европейской России»). Думаю и очень надеюсь, что в этой области исследований, учитывая ее исключительную актуальность и беспрецедентную востребованность в нашей стране, в ближайшие годы должно появиться множество глубоких исследований с культурно-географической фокусировкой. Правда, очень серьезную конкуренцию на этом пути культур-географы испытывают (и, несомненно, будут продолжать испытывать) со стороны смежников-негеографов – специалистов в области региональной социологии, политической регионалистики и других дисциплин. Пока именно им, нашим смежникам, принадлежит «пальма первенства» в изучении процессов территориальной самоидентификации населения в регионах России, и географам необходимо внимательно и ответственно подойти к критическому анализу опыта их исследований (равно как и к анализу богатейших, в том числе и методических, наработок зарубежных авторов в данной области, особенно тех, что выполнены учеными-географами). Следует иметь в виду, что в подавляющем большинстве работ отечественных региональных социологов и политологов роль фактора пространственных различий в самоидентификации населения акцентируется довольно слабо, так что профессиональные культур-географы найдут здесь богатейшее «поле» новаторских и практически очень важных и востребованных научных исследований.

С другой стороны, важный «полюс роста» российской культурной географии, который, как мне представляется, можно

уверенно прогнозировать на ближайшие 10–15 лет, будет связан с проблематикой *прямого и косвенного влияния культурных факторов (и в частности, креативного потенциала социокультурной сферы) на процессы регионального социально-экономического развития*. Этот блок вопросов – несомненно междисциплинарный и требует совместных исследований как культур-географов, так и ученых, представляющих смежные области научного знания. Но именно культурно-географический исследовательский подход был бы в данном случае наиболее продуктивным, и на этом направлении можно ожидать действительно весомых научных прорывов.

1.2. «КУЛЬТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ» ОБЩЕСТВЕННОЙ ГЕОГРАФИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ИТОГИ СТАНОВЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

Понимание (и признание) необходимости «освоения» культурологической проблематики имманентно нашей национальной традиции; методологические установки и подходы по инкорпорированию феномена культуры в предметную сферу географической науки получили отражение в трудах целой когорты ведущих, новационно и масштабно мыслящих отечественных географов XX столетия: Л. С. Берга (1915), Н. Н. Баранского (1960), Р. М. Кабо (1947), Ю. Г. Саушкина (1946), С. Б. Лаврова (1982), Н. Т. Агафонова (1984), Ю. Д. Дмитриевского (1983). Тем не менее, лишь в конце 1980-х были опубликованы работы, ознаменовавшие собой системную, целенаправленную активность по изучению культурно-географической реальности (Веденин, Середина, 1989; Дружинин, 1989; Дружинин, 1989 б; Дружинин, 1989 в; Веденин, 1990; Дружинин, 1990; Дмитриевская, Дмитриевский, 1990). К середине 1990-х состоялись первые в России защиты диссертаций по географии культуры (в том числе и на соискание степени доктора географических наук – Дружинин, 1995), реализован цикл исследований географии русской культуры (Сущий, Дружинин, 1994), появился ряд иных, широких по палитре, оригинальных по объектной сфере и замыслу статей и монографий (Веденин, Шульгин, 1992; Новиков, 1993; Теребинхин, 1993; Туровский, 1993; Гольц, 1994; Гачёв, 1995). Процесс становления нового научного направления (в целом созвучный логике «социологизации» и «гуманизации» географии, её дифференциации, равно как и фрагментарно реализуемым установкам на общегеографический синтез) был, таким образом, «запущен»; ныне, почти четверть века спустя, его итоги впечатляют, вдохновляют и, одновременно, настораживают, требуют разностороннего (в том числе критического) анализа.

Пройдя процесс становления в непростые для российской науки кризисные и «посткризисные» годы конца XX – начала XXI столетия, культурологическая «ветвь» в отечественной географии оказалась поддержанной, развитой, обогащенной новыми теоретическими концептами, представленной многообразием предметных областей и инструментальных подходов исследования; вне всякого сомнения, она не только состоялась, но и явила опережающий (по сравнению с подавляющей частью иных направлений общественной географии), позитивный по своему вектору тренд.

Начиная с середины 1990-х гг. в России по культурно-географической и близкой к ней тематике опубликовано около полусотни разноплановых монографий, в том числе масштабных, программных, обобщающих (Каганский, 1997, 2001; Туровский, 1998; Дружинин, 1999; Замятин, 1999, 2003; 2004, 2006; Веденин, Туровский, 2001; Манаков, 2002; Митин, 2004; Рагулина, 2004; Соколова, 2007; Калуцков, 2008; Крылов, 2010; Лаврёнова, 2010); подготовлены многочисленные диссертационные работы (лишь в рамках специальности 25.00.24 защищено 15 докторских диссертаций). Сложились и компоненты необходимой для воспроизводства этого научного направления инфраструктуры: в качестве общедоказательного центра исследований культурологической проблематики полномасштабно проявил себя созданный в 1992 г. Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва; с 2012 г. начато издание специализированного электронного журнала «Культурная и гуманитарная география». На различных временных этапах (и с неравновесной степенью включённости) в развитии культурологических идей и подходов (в том числе и архиважной в России этнокультурной тематике) участвовали до 150 представителей нашего профессионального географического сообщества (и это немало, если учитывать, что общая численность, к примеру, географов-обществоведов в стране не превышает порядка 700–800 (Трейвиш, 2012)). Впрочем, число исследователей, для кого данная проблематика оказалась про-

фильной – существенно меньше; ещё малочисленнее плеяда тех, кто ныне уверенно относит себя к числу представителей «**культурной географии**». Ситуация эта во многом закономерна, предопределяется историей формирования данной научной субдисциплины, её современными когнитивными установками, позиционированием в системе географических наук.

Так сложилось, что процесс становления культурно-географического направления в современной России оказался фактически двухэтапным, под воздействием ряда объективных и субъективных факторов происходившим *одномоментно* с кардинальной трансформацией только-только начавших формироваться «стартовых» методологических подходов; ситуация эта хорошо отражена в имеющихся историографических обзорах (Стрелецкий, 2008; Митин, 2011); подтверждает её и проделанный нами ретроспективный анализ профильных научных публикаций и диссертаций.

Базировавшаяся на методологии советской экономической и социальной географии и в существенной мере сфокусированная на предельно актуализированной в тот период этнокультурной тематике, **география культуры** (подобное наименование культурологической «ветви» географической науки в целом превалировало вплоть до конца 1990-х) уже на рубеже веков оказалась существенным образом «переформатирована» на основе активного заимствования наработок зарубежной *cultural geography* (испытавшей, в том числе, и влияние идей постмодерна). В результате, сциентистская исследовательская парадигма (нацеливающая на пространственный анализ культуры, изучение ее территориальной организации и структуры, отношений и связей между ее элементами, «культурной морфологии» земной поверхности (Стрелецкий, 2012) первоначально оказалась дополненной (а впоследствии – и потесненной) феноменологическими, перцепционными и метафизическими подходами; доминирующими в культурологической «ветви» российской географии, при этом, оказались понятия «восприятие территории», «географический образ», «историко-культурное наследие», «куль-

турный ландшафт», «идентичность». Параллельно расширились (одновременно, всё более становясь «размытыми») предметно-содержательные границы субдисциплины. Проявилась «неучитываемая», реализуемая вне формальных рамок географических специальностей, активность (симптоматичны, в этом отношении, защиты докторских диссертаций по культурологии Д. Н. Забелиным, философии – О. А. Лавреновой и С. Я. Сущим). Наряду с декларируемым мейнстримом, сохраняла присутствие и «неявная» (не всеми, и не во всех ситуациях воспринимаемая как «своя») культурно-географическая проблематика, в том числе и культивируемая преимущественно в системе общественной географии: пространственной дифференциации качества и образа жизни, традиционного природопользования, локализации этносов и этнических культур, инноваций и т. п. Кстати, именно она (судя по ВАКовской диссертационной статистике по специальности 25.00.24) абсолютно доминировала в 1990-е гг., продолжая и в дальнейшем (на фоне растущего числа защит по ментальной географии, ландшафтоведческой тематике, ряду других направлений) сохранять свою преимущественную популярность у новых генераций соискателей (табл. 1). Правда, происходило это, в целом, уже практически вне какой-либо осознанной сопричастности с видоизменившей свой предмет культурологической «ветвью» географии.

«Трансформация объекта исследования, – подчёркивал С. Б. Лавров, – неминуемо влечёт за собой трансформацию самой науки» (Лавров, 1984, с. 31); справедливость этого тезиса подтверждается и в рассматриваемой сфере. Итогом разноаспектных изменений стал, прежде всего, своего рода *ребрендинг* научного направления: впервые озвученное в русскоязычной литературе в 1993 г. (Новиков, 1993) понятие «культурная география», впоследствии практически полностью заменило ранее популярное (и, честно говоря, более логичное, приемлемое и для «фиксации» предмета, и с точки зрения русского языка) словосочетание «география культуры».

Таблица 1.

Распределение диссертаций «культурологического профиля»
специальности 25.00.24 по доминантной тематике

Годы	Дис-сер-тации, все-го	в том числе								
		Этно-культурные процессы	Каче-ство и об-раз-жиз-ни	Мен-таль-ная гео-гра-фия	Кон-фесси-ональная геогра-фия	Гео-графия инно-ваций	Культур-ное насле-дие	Тради-ционное при-родоль-зование	Геокультурная обстановка, геопространство и социокультур-ное развитие территории	Культурно-ландшафто-ведческий анализ
1995–1997	6	3	1	1	-	1	-	-	-	-
1998–2000	6	4	2	-	1	-	-	-	-	-
2001–2003	21	5	4		1	4	1	3	3	-
2004–2006	19	3	6	1	1	1	2	1	2	2
2007–2009	16	4	4	2	-	-	3	1	-	2
2010–2012	5	1	2	1	-	-	-	-	1	-
Всего за 1995–2012	73	19	19	5	3	6	6	5	6	4

Рубеж 2000–2001 года (когда на коротком временном интервале наблюдался «терминологический дуализм», в том числе и в публикациях одних и тех же авторов (Стрелецкий, 2001, 2002; Манаков, 2004) оказался в этом отношении «переломным», хотя практика оперирования двумя альтернативными названиями и в последующие годы рудиментарно поддерживалась некоторыми географами-культурологами «первой волны» (на пример, А. Г. Манаковым, 2004).

Всё больше фокусируясь на *пространстве смыслов*, «культурная география» кардинально видоизменялась: внутри неё складывалась (начиная доминировать, вытесняя иные возможные аспекты тематики на периферию субдисциплины и вовне её) т. н. «гуманитарная география» (в понимании её создателя и лидера Д. Н. Замятина, его ближайших коллег и единомышленников). Как это констатирует один из ныне наиболее активных «культурно-гуманитарных географов» И. И. Митин, «создание специфического по своему концептуальному аппарату и охвату предметной области междисциплинарного научного направления под наименованием гуманитарной географии и стало основной особенностью развития культурной географии в постсоветской России» (Митин, 2011, с. 23).

То есть (акцентируем!), фактически, «культурная география» (первоначально) преодолела объективные историко-методологические ограничения «географии культуры», а затем, преобразаясь в процессе своей последующей эволюции, явила столь видоизмененную сущность, что потребовалось вновь переименовывать данную область научного поиска. При этом возникает дилемма – либо с появлением «гуманитарной географии» логика становления культурной географии уже практически исчерпана, либо, напротив, предметная область культурной составляющей в географии в последние годы оказалась произвольно сужена? И, соответственно, в этой связи актуализирована необходимость своего рода «неокультуризации» географии, в первую очередь – её общественно-географической

составляющей. Придерживаясь второй позиции, полагаем возможным (и крайне актуальным) дальнейшее развитие исследований культурно-географической тематики как «вширь», так и «вглубь», прежде всего на основе всё более тесной стыковки с другими направлениями общественной географии.

«Новая парадигма, – совершенно справедливо подметил Д. Харвей, – может обеспечить чрезвычайно эффективные методы изучения отдельных вопросов, но в целом за выигрыш в концентрации усилий мы жертвуем полнотой охвата проблем» (Харвей, 1974, с. 34). Испытав метаморфозу и, при этом, генерируя оригинальные инструментальные подходы, российская «культурная география», с одной стороны, стала значимой «площадкой» трансферта различного рода инноваций, одним из «полюсов развития» в современной системе географического знания. С другой – оказалась в существенной мере фрагментированной, асимметричной по своей тематике, сфокусированной лишь на одном (пусть новом и важном!) её аспекте. Культура же, «будучи потенциально всем ... не может быть сведена ни к какому отдельному виду природного или общественного бытия» (Межуев, 1990). В итоге, произошла практическая подмена частью – целого; потенциал исследования всей реальной многоликости географического бытия культуры в рамках современной российской «культурной географии» оказался реализован лишь частично, а соответственно, и само направление в существенной мере недоформировано. Показательно, в этом отношении, мнение В. Н. Стрелецкого (изложенное в сравнительно недавно защищённой докторской диссертации – Стрелецкий, 2012): культурная география в России до сих пор находится в стадии становления, в фазе поиска своей идентичности. Полагаем, что наиболее ярким проявлением подобного «незрелого», транзитивного состояния субдисциплины выступает характерная для неё чрезмерная увлечённость мимолётными интеллектуальными модами, отсутствие устоявшихся общих теоретических положений, внутрикорпоративной «договорён-

ности» по поводу понятий, дефицит (за исключением, разве что, проблематики «природного и историко-культурного наследия») логичного, апробированного и хорошо тиражируемого исследовательского инструментария.

Всё перечисленное благоприятствует углублению дистанции между наиболее активными и продуктивными адептами современной «культурной географии» и остальной частью профессионального сообщества (зримое проявление тому – стремление позиционировать «культурную географию» как сепарированную от общественной географии сферу научного поиска – Митин, 2011). Существенно усложняется и необходимый процесс диффузии геокультурных подходов в иные составляющие общественной географии, тормозя, тем самым, развитие нашей науки в целом и её культурологической субдисциплины, в частности.

Судя по диссертационной статистике (формальному индикатору исследовательской активности и тематических предпочтений), популярность мейнстрима современной российской «культурной географии» (изучение геообразов и территориальной идентичности, культурно-ландшафтоведческий анализ, проблематика «наследия») у поколений молодых авторов (и, разумеется, у их научных руководителей, членов диссертационных советов) – весьма незначительна. За последние восемнадцать лет из всего немислимого «вала» (для нашей численно очень скромной профессиональной корпорации) кандидатских и докторских диссертаций по специальности 25.00.24 (772 !) – на долю перечисленной выше тематики пришлось лишь 15 работ, т. е. менее 2 %. «Пиковым» же (в плане защит) оказалось начало 2000-х; в дальнейшем интерес к «культурологической» проблематике начал ощутимо иссякать (табл. 2), косвенно свидетельствуя как о кризисе субдисциплины, так и о выраженном неблагополучии общественной географии в целом.

На этом противоречивом фоне потребность в опережающем развитии «культурной составляющей» в общественной геогра-

фии не просто сохраняется, но и стабильно (корреспондируя с трансформациями как российского, так и планетарного масштаба) растёт.

Таблица. 2.

Количество и удельный вес диссертаций
по географии культуры в общем объёме диссертационных
работ, защищённых в России по специальности 25.00.24
за 1995–2012 гг.

Годы	Общее число за- щищённых диссертаций	Диссертации по геокульту- рологической тематике	Удельный вес диссертаций по геокультурологической темати- ке в общем количестве защи- щённых диссертаций, %
1992– 1994	45	0	–
1995– 1997	73	6	8,2
1998– 2000	92	6	6,5
2001– 2003	140	21	15,0
2004– 2006	215	19	8,8
2007– 2009	144	16	11,1
2010– 2012	108	5	4,6
Всего за 1995– 2012	772	73	9,5

Следует, в частности, учитывать, что перманентное воз-
действие глобальных геоэкономических, геополитических и
геокультурных трендов на общественно-географическое про-
странство России (страны, по А. И. Трейвишу – многососедско-

го положения (Трейвиш, 2009)) дополняется его углубляющейся поляризацией и фрагментацией, предопределяемой, в том числе, и этнокультурными факторами, возрастающим влиянием сопредельных «центров силы», а также стран и регионов – миграционных «доноров». Испытывая абсолютную и, в ещё большей мере, относительную депопуляцию (за 1900–2010 гг. доля России в её современных территориальных «рамках» в мировом населении уменьшилась с 4,5 до 2 %; к 2030 г. данный показатель, вероятно, не превысит 1,5 % (Дружинин, 2012)) и, одновременно, выступая как активно заселяемая извне страна (практически каждый десятый из прошедших процедуру переписи в 2010 году – мигрант постсоветского периода), в XXI веке Российская Федерация оказалась перед лицом реальной перспективы масштабной этнокультурной трансформации. Глобализирующаяся и уже по целому ряду аспектов в существенной мере «вестернизированная» страна параллельно устойчиво воспроизводит свою «евразийскую» этнодемографическую структуру, наращивает исламскую составляющую (Дружинин, 2013), что множит ситуации этнокультурного замещения, порождает эффекты «культурного соседства» (когда одно и то же пространство освоено двумя разными способами, имеет два разных облика (Лерсарян, 2002)). Ведущие российские города всё плотнее инкорпорируются в глобальные иерархии урбанистических сетей, а масштабнейшая, в постсоветский период рельефно проявившаяся, расширившая свои пределы российская периферия (по оценке Т. Г. Нефёдовой (2008), 70 % территории России можно отнести к внешней периферии и еще около 15 % к – внутренней) в своей ощутимой части начинает обретать **поли-зависимый** (в геоэкономическом и геокультурном отношении) характер (Дружинин, 2013). При этом, как в Российской Федерации, так и в мире в целом на всех таксономических уровнях (от поселенного до метарегионального) активизируется территориальная конкуренция; успех в ней всё в возрастающей мере предопределяется «качеством» населения, экономики, инфраструктуры, социальных и экономических институтов; параллель-

но усиливается роль инноваций и информации (Кастельс, 2000), а образы пространства обретают способность напрямую влиять на экономические взаимоотношения и принятие решений (Замятин, 2006). Являя свою поливекторность и многополюсность, геокультурная динамика, в итоге, всё ощутимее проецируется и на геоэкономику, и на геополитику, выступает их совокупной результирующей, обретая ипостась базового фактора, стержневого элемента и целевого вектора эволюции всей общественно-географической реальности.

Необходимо признать – ни исследовательским инструментарием, ни выбором структурно-тематических приоритетов отечественная общественная география (по многим, ранее названным причинам (Дружинин, 2008, 2011)) «не поспевает» за подобными переменами, а образ российского геопространства и в массовом сознании, и у тех, кто принимает управленческие решения, и, увы, у подавляющей части наших географов – продолжает (как это неоднократно подмечено (Каганский, 2001; Пространство России, 2012) оставаться крайне упрощённым. К сожалению, лишь аспектно состоявшаяся «культуризация» пока также не решила важнейшую для российской географии двуединую проблему её «очеловечивания» (по удачному выражению В. П. Максаковского (1998, с. 33)) и одновременной «географизации», фактически – фокусировки на многообразии факторов, сторон, свойств и структур территориальной организации общества в целом и его культуры в частности. Концентрируясь на обосновании, идентификации и конструировании многообразных геообразов и геоконцептов (и решая, тем самым, задачу столь же актуальную и новационную, сколь и фрагментарную), культурная география в своём сложившемся ныне виде оказалась чрезмерно локализована организационно и тематически; её, безусловно, увлекательное, но не всегда продуктивное блуждание в «королевстве кривых зеркал» – ещё больше продуцирует риски отрыва нашей науки от реальности, недоучёта её важнейших детерминант. Современная же ситуация как никогда ранее требует тщательного общественно-географического (в том чис-

ле и геокультурного) мониторинга, экспертизы, концептуального обоснования, прогноза; это для профессионального сообщества – и проблема, и вызов одновременно. Ведь нерешённость базовой, фундаментальной задачи бумерангом бьёт по позициям, перспективе не только самой российской общественной географии, но и, вне всякого сомнения, в целом России, усложняя необходимое понимание современного её положения равно как и разумный геостратегический выбор.

Необходимым, в итоге, видится не только более широкий «разворот» нашей науки к современному российскому контексту, но и дальнейшая её «культуризация», в том числе на основе преодоления контрпродуктивной, в существенной мере искусственной дистанции между «культурной географией» и иными «ветвями» общественно-географического знания. Трансферт социогуманитарных идей, включая укоренение ментальных подходов как в традиционные, так и сравнительно недавно оформившиеся направления общественной географии (ориентированные, в том числе, и на исследование невещественной, сверхчувственной и субъективной стороны реальности) должен сопровождаться достижением разумного баланса между «субъектно-объектной» и «субъектно-рефлексивной» (по терминологии В. Н. Стрелецкого (2012)) методологическими установками в культурно-географических исследованиях. Базовой «площадкой» реализации интеграционных подходов, при этом, полагаем, способна стать предельно актуализированная и, по ряду аспектов, уже отчасти формирующаяся проблемно ориентированная междисциплинарная область исследований (наиболее подходящее для неё название – **геокультурное российеведение** (Дружинин, 2013), сфокусированная на выявлении пространственных факторов, особенностей, тенденций и перспектив развития русской культуры, её взаимодействия с другими этнокультурными комплексами, в том числе и в евразийском, и в глобальном масштабе (Дружинин, 2013). Приоритетными здесь могут стать такие аспекты как постсоветская (в том числе инициированная глобализацией) реконфигурация

отечественного геокультурного пространства, соразвитие в нём традиционных и новационных составляющих. Важно, при этом, не только ограничиться констатацией и иллюстрацией пространственной динамики, но и постараться дать культурно-нравственную оценку продолжающейся деградации российской деревни, равно как и концентрации ресурсов инновационного развития (в том числе и «человеческого капитала») в немногих ведущих городах-метрополиях. Требуют разносторонней культурно-географической экспертизы такие доминантные для постсоветской России процессы как деиндустриализация и «деаграризация» экономики, её «натурализация» и «теневизация». Первостепенного внимания заслуживает также учёт воздействия на геокультурную ситуацию трудовых миграций (в том числе принявшего практически повсеместный и массовый характер т.н. «отходничества»), рекреации, локализации диаспор. Для подлинного развития *российской географии культуры* столь же необходимо совершенствование географической экспертизы «качества» различных компонент территориальной организации общества. Пролонгация и (во многих ситуациях) усугубление природохозяйственных проблем актуализирует географические исследования экологической культуры.

Реализация базовой установки на более глубокое и детализированное выявление «человеческого измерения» общественно-географических структур и процессов инициирует также установление степени свободы-несвободы «среднестатистического» представителя территориальной общности от ограничений со стороны институциональных, структурных, рентных, транзакционных, транспортных и иных территориально-экономических обстоятельств (с «поправкой» на социокультурную, этническую и конфессиональную специфику). Существенен также и учёт влияния культурно-детерминируемых (и территориально локализованных) способов воспроизводства и социализации новых поколений, организации хозяйственной повседневности, в том числе и на полиэтничных территориях, в ареалах трансграничных контактов. Параллельно обретает ещё большую актуальность

проблематика генерирования, идентификации и конвергенции множества форм и образов общественно-географической реальности. Акцентируем, в русле развития вышеназванного направления необходимой видится «полиэтнизация» российской географии культуры: фиксация широкой географической палитры этнокультурных комплексов (в т. ч. взгляд на них «изнутри») и формирование поливариантных (сквозь призму различных этнокультурных и культурно-цивилизационных контекстов) образов российского геокультурного пространства. Ментальная картина, при этом, должна обретать возможно большую реалистичность, а для этого, в том числе, трансформироваться, становиться полицентричной (отражающей «взгляд» на российское геопространство различных территориальных общностей, ведущих политических сил, доминирующих корпораций, постсоветских и других соседних с Россией государств, региональных и глобальных лидеров) и полиэтничной. Безусловно, требуется пролонгация исследований (в том числе и инсайдерских) особенностей динамики «конфессионального ландшафта», равно как и эволюций этнических (этнокультурных) границ (этих «территориальных проявлений изменчивых идентичностей» (Российско-украинское приграничье, 2011).

Для России XXI век, вероятно, будет непростым, во многом переломным, полным вызовов, рисков, трансформаций. И на фоне множества экономических, социальных, демографических и иных актуализированных аспектных проблем нашего настоящего и грядущего бытия, фундаментальный характер обретает именно культурологическая тематика, вопрос перспективы имманентного Российской Федерации этнокультурного комплекса, в том числе его стержня, «несущего элемента» – русской культуры. Это обстоятельство предопределяет целевой вектор развития отечественной общественной географии (в том числе и её культуроведческой составляющей), тематические приоритеты, императивы междисциплинарной интеграции.

1.3. КУЛЬТУРНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Разработка системы интегрального районирования имеет принципиальное значение для культурной географии. В системе интегрального культурного районирования должен быть разрешён ряд проблем, имеющих как методологический, так и методический характер. Во-первых, это проблема *«увязки» узловых и однородных культурных районов*. Во-вторых, это проблема *набора признаков* районирования на разных *уровнях иерархии* культурных районов. В-третьих, это проблема *соотношения границ* интегральных культурных районов и границ частных («отраслевых») культурных районов.

В географии в настоящее время предложено сразу несколько концепций культурного районирования территории, характеризующихся своими собственными объектами, признаками, приёмами районирования и иерархиями районов. Свести их в единую (интегральную) систему культурного районирования представляется крайне сложной задачей по причине многогранности феномена культуры.

Методологические подходы к районированию. Рассмотрим те системы географического районирования, которые включают культуру как значимый компонент, имеют сложную иерархию районов и, при этом, претендуют на интегральность (комплексность). Такие системы районирования обычно оперируют множеством районообразующих факторов и признаков районирования, обладают специфической методикой районирования.

Среди относительно разработанных систем районирования, имеющих интегральный характер, выделим, в первую очередь, культурно-ландшафтное и историко-культурное районирование. Также обратим внимание на системы общественного и историко-географического районирования, где культура выступает в качестве значимого компонента при выделении районов разного иерархического уровня.

Для начала отметим, что для культурной географии важны теоретические и методологические положения, разработанные

в конце 1980-х гг. в рамках концепции **общественного районирования** (где в качестве одного из трёх компонентов общества, вместе с экономикой и социумом, выступает культура) (Смирнягин, 1989). Большинство исследователей, занимающихся культурным районированием, используют предложенную Л. В. Смирнягиным методику «плавающих признаков», позволяющую разнообразить признаки районирования в зависимости от специфики территории.

В 1990-е гг. в отечественной географии начала набирать популярность концепция *культурных ландшафтов* (Ю. А. Веденин, М. Е. Кулешова, Р. Ф. Туровский и др.). Как считают разработчики информационно-аксиологического подхода к изучению культурных ландшафтов, **культурно-ландшафтное районирование** должно являться одним из видов интегрального районирования, отражающим пространственные историко-культурные, ландшафтные, социально-экономические и хозяйственные различия территорий. В набор признаков культурно-ландшафтного районирования входят: природные системы как культуроформирующие комплексы, освоенность территории, соотношение элементов традиционной культуры и современных геокультурных явлений, историко-культурный потенциал (элементы, сохранность, формы использования) и т. д.

В системе культурно-ландшафтного районирования присутствуют одновременно элементы однородного и узлового характера, к примеру, монастыри, первоначально являющиеся центрами новационной культуры, в дальнейшем превратились в очаги традиционной культуры (Веденин, 1990). Однако природная основа культурно-ландшафтных районов смещает центр тяжести в системе районирования в сторону «гомогенного фокуса», и культурно-ландшафтные районы предстают как преимущественно однородные образования.

Разработанные ныне системы культурно-ландшафтного районирования редко выходят за рамки одного из субъектов Российской Федерации (например, Тверской (Чалая, Веденин, 1997), Вологодской (Соколова, 2004), Архангельской (Калуцков, 2007),

Псковской (Андреев, 2011) и др. областей), и, зачастую, не являются универсальными, т. е. применимыми к другим регионам страны. В качестве попыток выйти на более высокие уровни культурно-ландшафтного районирования отметим работы Р. Ф. Туровского (1998), Ю. А. Веденина (2004) и А. А. Андреева (2012). Районирование Р. Ф. Туровского в наибольшей степени сближается с историко-культурным районированием, т. к. учитывает разнообразные признаки районирования, соответствующие сложной морфологической и исторической структуре культурного ландшафта.

Система **историко-культурного районирования** была разработана в рамках концепции *геокультурного пространства* на рубеже XX–XXI вв. Геокультурное пространство рассматривается как «...совокупность взаимодействующих геокультурных систем, состоящих из геокультурных общностей людей разного порядка и элементов антропогенного (искусственного) происхождения» (Манаков, 2006, с. 89). Геокультурное пространство обладает сложной компонентной и морфологической структурой. Отражением сложности компонентной структуры геокультурного пространства является его многослойность, морфологической структуры – такие его характеристики, как иерархичность, мозаичность, концентричность и др.

Наиболее важные слои геокультурного пространства, которые учитываются при осуществлении историко-культурного районирования: этнический, конфессиональный, этнографический и лингвистический. Данные слои сами обладают собственной сложной структурой, поэтому требуют отдельного изучения. Природный ландшафт в концепции геокультурного пространства рассматривается только как основа для формирования геокультурных систем, что отличает её от концепции культурных ландшафтов, где по определению должна признаваться равнозначность природной и культурной составляющих (хотя это не всегда выдерживается, особенно в новых подходах к трактовке культурного ландшафта).

Историко-культурное районирование позволяет выявить роль исторического фактора в процессе политического, этнического, культурного и социального развития территории. Тем самым может быть облегчена задача осмысления районообразования на данной территории. Таким образом, интегральный характер историко-культурного районирования определяется не только детальной проработкой в процессе районирования целого ряда слоёв геокультурного пространства, но и учётом временной составляющей, что сближает этот вид районирования с разрабатываемым ныне в отечественной науке историко-географическим районированием.

Концепция интегрального **историко-географического районирования** начала формироваться в первом десятилетии XXI в. (Вампилова, 2004), а в 2010-е гг. в её разработке стали активное участие принимать географы разной специализации, как естественнонаучной, так и гуманитарной (Вампилова, Манаков, 2012). По сравнению с историко-культурным районированием, в историко-географическом районировании усиливается роль ландшафтной основы, что позволяет больше внимания уделять также и хозяйственно-историческому компоненту (в частности, истории природопользования). При этом культура не просто является одним из компонентов историко-географического районирования, но и служит в качестве связующего звена между природной (ландшафтной) и хозяйственной (экономической) составляющими в данной системе районирования.

Признаки районирования. Интегральные культурные районы должны выделяться по всей совокупности признаков, используемых в частных видах культурного районирования. К примеру, культурно-ландшафтное районирование на мезо- и микроуровне строится на основе не менее чем пяти признаков: ландшафтном, этногенетическом, политико-историческом, профессиональном и лингвистическом (Манаков, Андреев, 2011).

Существуют заметные различия в признаках и приёмах районирования в зависимости от уровня (масштаба) выделяемых

культурных районов. Так, доминирование этнического фактора как основного культурно-генетического признака присутствует на высших уровнях культурного районирования. Иерархия культурных районов (геоэтнокультурных систем) здесь определяется иерархией этнических общностей (метаэтнические общности, этносы, субэтносы). Этнический признак по своей сути является комплексным и позволяет интегрировать одновременно множество элементов материальной и духовной культуры населения. Серьёзные проблемы с набором признаков районирования возникают только при выявлении субэтнических общностей.

В больших многонациональных государствах субэтнические ареалы могут значительно превосходить по размерам ареалы проживания малочисленных этносов, что и определяет необходимость районирования территории на основе субэтнических признаков. Сложность такого районирования связана с обилием и несовместимостью субэтнических (или этнографических) границ, выявленных этнографами и лингвистами на основе множества признаков, дающих в основном представление о традиционной культуре населения.

Субэтническим регионам в пределах России в какой-то степени могут соответствовать выделенные этнографами и этногеографами историко-культурные области (ИКО), называемые также историко-этнографическими областями (Козлов, 1994). По своим географическим характеристикам (площадь, локализация, природная основа и др.) ИКО очень схожи с социокультурными регионами, выделенными в работе С. Я. Сущего, А. Г. Дружинина (1994), а историко-культурные «провинции» (группы ИКО) примерно соответствуют выделенным там же суперрегионам.

При осуществлении культурного районирования территории на уровне ниже субэтнического можно опираться на достижения по изучению региональной идентичности населения. Исследование региональной идентичности является одним из очевидных полюсов роста в современной культурной геогра-

фии (Стрелецкий, 2012). Наиболее часто в качестве полигонов для отработки методик по изучению региональной идентичности выступают приграничные территории, особенно новое российское порубежье (Кувенева, Манаков, 2003; Манаков, Евдокимов, 2013; Крылов, Гриценко, 2012). Также в настоящее время проведены исследования по изучению территориальной идентичности исторического ядра России (Крылов, 2005, 2010).

Для выявления регионов России, соответствующих историко-культурным районам, можно опираться на использование критерия возраста территории от начала упоминания о ней в качестве формальной или неформальной единицы (Крылов, 1997). Возраст территорий определяет развитие местного самосознания. В то же время для формирования территориальной идентичности любого уровня принципиальное значение имеет историческая зрелость или же устойчивость политико-административных границ, определяемая давностью и длительностью существования (возрастом) этих границ (Манаков, Евдокимов, 2010).

Всё чаще в исследованиях, связанных с проблематикой региональной идентичности, используется понятие «вернакулярный район» (Калуцков, 2013; Павлюк, 2007). Вернакулярные районы – одна из форм пространственной самоорганизации общества, которая выявляется через изучение его пространственных представлений. Обычно под вернакулярным районом понимается та часть территории, население которой осознает её как собственное место жительства, и в этом качестве она может быть представлена как часть общественного сознания данной социальной группы (Мирошниченко, 2013).

Хотя тематика региональной идентичности сейчас является одной из наиболее популярных в культурной географии, результаты исследований региональной идентичности достаточно сложно применить в практике культурного районирования. Во-первых, такие исследования едва ли возможно провести на всей территории страны из-за трудоёмкости методик выявле-

ния региональной идентичности, а значит, районирование будет выборочным, и даже возможна его подмена ареализацией. Во-вторых, более вероятно, что границы таких регионов будут иметь гравитационный характер, что также будет осложнять осуществление культурного районирования.

В целом же на региональном уровне культурных районов можно встретить как пороговые, так и гравитационные границы. Гравитационными являются границы политико-культурных систем как разновидности узловых социокультурных районов, в качестве ядер которых служат центры новационной культуры. К типу пороговых границ можно отнести политико-административные рубежи, выделяющие в сетке культурных районов субъекты федерации («регионы» страны). Пороговый характер административных границ придаёт «регионам» облик однородных территориальных образований, скрывая при этом системно-узловые реалии за чёткими контурами, проведёнными в виде «волосняных линий».

Иерархия районов. В разных системах культурного районирования используются различные таксоны культурных районов. Причём фактически каждый исследователь, осуществляющий районирование на уровне не ниже субъекта федерации, предлагает свою систему районирования со специфической иерархией районов. Поэтому сведём таксоны, используемые в разных системах районирования, в одну таблицу, где можно увидеть ряд таксонов, наиболее часто встречающихся у разных разработчиков систем районирования. Для удобства распределим все предложенные таксоны по трём основным уровням районирования: макро-, мезо- и микроуровень (нижней ступенькой последнего является топоуровень районирования).

Отметим общую закономерность – таксономия в значительной степени зависит от роли природной составляющей в соответствии с концепцией районирования. Там, где признаётся значимость ландшафтной основы в культурном разнообразии территории, таксономия близка к принятой в физической географии (ландшафтоведении).

Таблица 3.

Таксономия районов в разных системах
культурного районирования

Уровень районирования	Таксон в общественном районировании (по Смирнову Л. В.) (1989)	Аналог в культурно-ландшафтном районировании			Аналог в историко-культурном районировании (по Манакову А. Г.) (2002)	Аналог в историко-географическом районировании (по Вампилову Л. Б.) (2004)
		По Туровскому Р.Ф. (1998)	По Калужков В. Н. (2007)	По Андрееву А. А. (2011)		
Макроуровень		Культурный мир	Цивилизация	Культурно-ландшафтный мир	Культурный мир	
	Макрорегион	Область	Субцивилизация	Макрорегион	Область	Область
Мезоуровень	Мезорегион	Страна	Страна	Мезорегион	Подобласть	Подобласть
	Макрорайон	Край		Микрорегион	Край	
	Мезорайон		Провинция	Провинция	Провинция	Провинция
Микроуровень	Подрайон	Земля	Область	Округ	Земля	Округ
	Микрорайон	Местность	Земля	Культурно-ландшафтный район	Местность	Подокруг
Топоуровень	Ареал	Община	Край, местность	Культурный ландшафт	Ареал	

В общих чертах иерархия ландшафтных районов строится по схеме: страна – область – провинция – округ – ландшафт. В системах культурного районирования чаще такая таксономия используется на нижних уровнях иерархии. В особенности, это касается систем культурно-ландшафтного и историко-географического районирования.

Другой крайностью являются таксоны, принятые в экономической географии, где районирование обычно сводится к трём ступеням: макрорайон – мезорайон – микрорайон. В наибольшей степени такая таксономия характеризует систему общественного районирования. Тем не менее, в каждый таксон в разных системах районирования вкладывается своё собственное содержание, поэтому сходство названий единиц районирования ещё не свидетельствует об одинаковом наборе признаков районирования или одинаковых методических приёмах при выделении районов.

Рассмотрим для примера таксономию историко-культурного районирования, разработанного в соответствии с концепцией геокультурного пространства (Манаков, 2002). Историко-культурное районирование, как одна из разновидностей интегрального культурного районирования, старается отразить системы отраслевых вариантов культурного районирования: историко-этнографического, этнолингвистического, культурно-ландшафтного и др.

На высшей ступеньке иерархии историко-культурных районов предложено рассматривать историко-этнографические области, выделенные в концепции хозяйственно-культурных типов и историко-культурных областей (Левин, Чебоксаров, 1955), на второй ступеньке – историко-этнографические подобласти. Следующие ступени иерархии историко-культурных районов строятся по схеме: историко-культурная провинция – историко-культурная земля – местность – ареал.

Сетка историко-культурных районов на средних уровнях строится в соответствии с широтной зональностью русской

культуры (северная, средняя и южнорусская зоны) (Манаков, 2012), задающей определённую субэтническую «окраску» историко-культурных провинций или даже отдельных земель. В качестве одного из важнейших признаков выделения историко-культурных земель, как основных ячеек нижнего уровня культурного районирования, часто служат ареалы групп говоров (или ареалы переходных говоров). Группы говоров являются низовым типом лингво-территориальных объединений и представляют собой относительно мелкие ареалы, которые всегда вписаны в территории наречий и диалектных зон (Русская диалектология, 1989).

Политический фактор районообразования может быть рассмотрен в процессе выделения *исторических краёв*, которые напрямую могут и не вписываться в предложенную выше иерархическую систему историко-культурных районов. Например, в качестве краёв могут выступать группы историко-культурных земель, имеющих на протяжении длительного времени общую административно-политическую судьбу. Однако в этом случае при осуществлении районирования возникает множество спорных ситуаций, заставляющих, по аналогии с культурно-ландшафтным районированием Р. Ф. Туровского (1998), прибегать к выделению переходных зон-поясов, что заметно осложняет в целом систему районирования.

Методические приёмы районирования. Очевидно, что культурное районирование должно осуществляться одновременно и «сверху вниз», и «снизу вверх». С одной стороны, культурные районы, выделенные «снизу», должны вписываться в более крупные геокультурные образования, определяемые факторами районирования на макроуровне. С другой стороны, районирование «сверху» является достаточно схематичным и не позволяет провести точные границы районов нижнего уровня, поэтому оно должно обязательно конкретизироваться «снизу».

Таким образом, перед тем, как начать работу по районированию «снизу вверх» (что обычно проводится в пределах

субъектов федерации), основанному на местном материале, желательно определиться с сеткой культурных районов более высокого уровня, выделенных «сверху». Если географам удастся договориться о сетке культурно-географических районов на макроуровне (в пределах всей России или её крупных частей), то заметно облегчится задача культурного районирования каждого субъекта федерации по отдельности.

Можно обозначить три основных метода культурного районирования. Это методы «наложения», «ведущего признака» и «плавающих признаков». *Метод наложения* означает выделение интегральных культурных районов путём совмещения границ частных («отраслевых») культурных районов. Метод наложения имеет огромное значение при определении границ низовых единиц культурного районирования, однако не позволяет решить вопрос иерархии культурных районов без увязки с другими методами районирования.

Метод ведущего признака, который нацелен на выделение культурных районов по какому-то одному компоненту, позволяет не только осуществить один из вариантов отраслевого культурного районирования, но и подойти вплотную к решению задачи иерархизации культурных районов. Определив, какие признаки являются «ведущими» на макро-, мезо- и микроуровнях культурных районов, можно перейти к осмыслению культурного районообразования в целом.

Достаточно жёсткие по своей сути методы «наложения» и «ведущего признака» при переходе к более гибкой системе районирования, каковой должна являться система интегрального культурного районирования, трансформируются в *метод плавающих признаков*. Данный метод позволяет, с одной стороны, «разнести» ведущие признаки на разные уровни иерархии культурных районов, и с другой стороны, учесть одновременно зональные и азональные признаки культурного районирования.

Методический приём районирования, основанный на соединении в единой сетке районов зональных и азональных при-

знаков районирования, используется в физико-географическом (ландшафтном) районировании. Аналогичный подход применён в концепции историко-культурного районирования. Широтную зональность культуры в Европейской России можно рассматривать как феномен современной русской культуры, имеющей свои корни в пластах традиционной этнической и хозяйственной культуры населения и, в значительной степени, связанной с природной основой.

Физико-географическая основа геокультурного пространства очень напоминает «трафарет» с линиями-рубежами, за которые цепляются культурные границы разных эпох. Некоторые из этих культурных границ закрепляются на длительный период, другие существуют непродолжительное время, но также оставляют свой «след», готовые проявиться через какой-то срок. Зональность традиционной культуры проявляется, например, в географическом распространении хозяйственно-культурных типов, а также наречий, диалектов и т. п. С другой стороны, многие признаки историко-культурного районирования (этнический, этногенетический, конфессиональный, историко-политический и административный) имеют азональный характер (Манаков, 2004).

Итоговая классификация историко-культурных районов уровня земель может быть представлена в виде таблицы, где с одной стороны обозначаются зональные характеристики (северорусская, среднерусская и южнорусская культурные зоны), с другой стороны – азональные культурные районы более высокого порядка (например, историко-этнографические области).

Иная методика должна быть разработана для культурного районирования, опирающегося на дихотомию «инновация-традиционализм» и имеющего узловый характер. В качестве ядер районов здесь выступают центры новационной культуры. Наиболее удалённые участки периферии районов соответствуют ареалам традиционной культуры (различной степени архаичности в зависимости от уровня периферийности). Та-

кие районы можно назвать социокультурными, а всю систему районирования – социально-культурной. Ключевой проблемой социально-культурного районирования является разграничение (а значит, и изображение) отдельных районов в силу их преимущественно узлового характера.

Выводы. Культурное районирование территории на любом иерархическом уровне является совокупностью достаточно сложных процедур из-за необходимости интеграции сразу двух видов районирования – узлового и однородного. Попытка совмещения их результатов в единой сетке ведёт к необходимости разрешения одной из ключевых проблем культурного районирования – проблемы границ геокультурных образований.

Сложность объекта районирования, каковым является геокультурная система, требует гибкой методики районирования. Возможно, что в этом случае будет недостаточно опираться на традиционные приёмы районирования, хорошо отработанные в отечественной географии. Необходим новый подход к культурному районированию, нацеленный на отражение максимального количества характеристик, отражающих многогранность феномена культуры.

1.4. ГУМАНИТАРНАЯ ГЕОГРАФИЯ: ПРОСТРАНСТВО, ВОООБРАЖЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Гуманитарная география: формирование предмета и метода. *Гуманитарная география* – междисциплинарное научное направление, изучающее различные способы представления и интерпретации земных пространств в человеческой деятельности, включая мысленную (ментальную) деятельность (Замятин, 1999, 2003 и др.). Базовые понятия, которыми оперирует гуманитарная география – это культурный ландшафт (также этнокультурный ландшафт), географический образ, региональная (пространственная) идентичность, пространственный или локальный миф (региональная мифология). Понятие «гуманитарная география» тесно связано и пересекается с понятиями «культурная география», «география человека», «социокультурная (социальная) география», «общественная география», «гуманистическая география» (Lowenthal, 1961; Daniels, 1992 и др.).

Первоначально гуманитарная география развивалась в рамках антропогеографии (начало XX в.), позднее – в рамках экономической и социально-экономической географии (с 20-х гг. XX в.). Значительные научные достижения в понимании цели и задач гуманитарной географии связаны с развитием культурного ландшафтоведения, географии населения, географии городов, географии туризма и отдыха, культурной географии, поведенческой (перцепционной) географии, географии искусства (Голд, 1990 и др.).

В начале XXI в. понятие «гуманитарная география» часто воспринимается как синоним понятия «культурная география». В отличие от культурной географии, гуманитарная география: 1) может включать различные аспекты изучения политической, социальной и экономической географии, связанные с интерпретациями земных пространств; 2) позиционируется как междис-

циплинарная научная область, не входящая целиком или основной своей частью в комплекс географических наук; 3) смещает центр исследовательской активности в сторону процессов формирования и развития ментальных конструкторов, описывающих, характеризующих и структурирующих первичные комплексы пространственных восприятий и представлений.

К научно-идеологическому ядру гуманитарной географии можно отнести: культурное ландшафтоведение, образную (имагинальную) географию, когнитивную географию (Замятина, 2002), мифогеографию (Митин, 2004), сакральную географию. Гуманитарная география развивается во взаимодействии с такими научными областями и направлениями, как когнитивная наука, культурная антропология, культурология, филология, политология и международные отношения, геополитика и политическая география, искусствоведение, история.

Имагинальная география как когнитивное ядро гуманитарной географии. *Имагинальная или образная география* – междисциплинарное научное направление в рамках гуманитарной географии (Замятина, 2002). Имагинальная география изучает особенности и закономерности формирования *географических образов*, структуры географических образов, специфику моделирования географических образов, способы и типы репрезентации и интерпретации географических образов. Имагинальная география развивается на стыке культурной географии, культурологии, культурной антропологии, культурного ландшафтоведения, *когнитивной географии*, *мифогеографии*, истории, философии, политологии, когнитивных наук, искусствоведения, языкознания и литературоведения, социологии, психологии. Синонимы названия «имагинальная география» – образная география, география воображения, имажинативная география, имажинальная спациология, философическая география. В семантическом отношении наиболее широким термином является термин «образная география», наиболее узким – термин «география во-

ображения» (этим термином могут обозначаться различные дисциплинарные – филологические, психологические, политологические и т. д. – case-study в рамках общей тематики имажинальной географии) (Андерсон, 2001 и др.).

Центральное понятие имажинальной географии – *географический образ*. В качестве содержательной основы имажинальной географии рассматривается моделирование географических образов. Один из базовых методов имажинальной географии – *образно-географическое картографирование*. В концептуальное поле имажинальной географии входят такие хорошо известные и разработанные понятия гуманитарных наук, как «гений места», «поэтика пространства», «гетеротопия»; а также основные понятия гуманитарной географии – локальный миф (пространственный миф), региональная идентичность (региональное самосознание), культурный ландшафт (ландшафт, этнокультурный ландшафт). В понятийный аппарат имажинальной географии включены понятия образно-географической системы, образного пространства (образно-географического пространства), ментально-географического пространства, метапространства.

Латентный период становления имажинальной географии относится ко второй половине XIX – началу XX века, когда развитие хорологической концепции в географии, широкое использование понятия ландшафта, появление французской школы географии человека и антропогеографии, феноменологии, зарождение неклассических научных методов исследования привлекло внимание научных сообществ к проблематике образных репрезентаций земного пространства. Пара-латентный или полускрытый период становления имажинальной географии – это 1920-е – 1940-е гг., когда развитие культурного ландшафтоведения, культурной географии, сакральной географии, геоистории (французская школа Анналов), регионалистики и краеведения, гештальт-психологии и бихевиоризма, экзистенциальной философии (Германия, Франция, СССР – только в

1920-х гг., Великобритания, США) позволило научно сформулировать проблему исследования образов пространства. Базовый период становления имажинальной географии относится к 1950–1980-м гг.: в это время происходит быстрое развитие культурной географии, гуманистической географии и их выдвижение на первые роли в рамках западной географии в целом; появляется понятие постмодерна, позволяющее широко разрабатывать проблематику имажинальных теорий и практик; появляются целевые научные исследования образов мест, территорий и пространств в культурной и гуманистической географии, географии искусства и эстетической географии, социологии, психологии, культурной антропологии, истории, литературоведении; резко актуализируются понятия региональной идентичности и региональной (пространственной) мифологии; начинают доминировать знаково-символические интерпретации культурных ландшафтов; формируется комплекс когнитивных наук, в рамках которого возможны более эффективные методы имажинальных исследований. Когнитивно-институциональный период становления имажинальной географии – 1990-е – 2000-е гг., когда появляются монографии по имажинальной географии, начинают формироваться смежные научные направления (когнитивная география, мифогеография); возникает общее гуманитарно-географическое концептуальное (исследовательское) поле, позволяющее чётко идентифицировать и разместить имажинально-географическую проблематику; разрабатываются основы моделирования географических образов.

В начале XXI века имажинальная география оказывала концептуальное влияние на развитие культурной антропологии, культурологии, политологии, истории (особенно региональной и локальной истории), литературоведения, комплексного градоведения и регионоведения. Прикладные проекты в сфере имажинальной географии связаны с маркетингом территорий, стран, регионов и мест, разработкой имиджей территорий в рекламе, PR, туристическом бизнесе, инвестиционной деятель-

ности. Концептуальное развитие имажинальной географии связано с художественными практиками и проектами в сфере литературы, визуальных искусств (кино, видео, живописи и графики), архитектуры. В переходной ментальной зоне, на границе между имажинальной географией и художественными практиками формируются гибридные художественно-исследовательские направления – метагеография и метакраеведение.

Географический образ – центральное понятие имажинальной географии. *Географический образ* – система взаимосвязанных и взаимодействующих знаков, символов, архетипов и стереотипов, ярко и в то же время достаточно просто характеризующих какую-либо территорию (место, ландшафт, регион, страну). Географический образ – центральное понятие *имажинальной географии*. Как правило, отдельные географические образы могут формировать, в свою очередь, образно-географические системы (метасистемы). Один из методов изучения географических образов – построение *образно-географических карт* (см. далее).

Близким по смыслу к понятию географического образа является понятие географического имиджа (имиджа территории). Синонимы географического образа – образ территории, образ региона, образ места, образ пространства. Как инвариант понятия «географический образ» может рассматриваться понятие *культурного ландшафта*. В содержательном плане наиболее продуктивно использование понятия географического образа совместно с понятиями *когнитивно-географического контекста* и локального (регионального, пространственного) мифа.

Географический образ есть феномен культуры, характеризующий стадийное (общий аспект) и уникальное (частный аспект) состояния общества. Данный феномен является важным критерием цивилизационного анализа любого общества. Качественные характеристики географических образов в культуре, способы репрезентации и интерпретации географических образов, структуры художественного и политического мышления

в категориях географических образов являются существенными для географического, культурологического, исторического, политологического анализа развития общества.

В методологическом плане формирование и развитие систем географических образов определяется развитием культуры (культур). По мере развития культуры, в процессе человеческой деятельности географическое пространство всё в большей степени осознается как система (системы) образов. Первоначально, как правило, формируются простые, примитивные географические образы, «привязанные» к прикладным аспектам деятельности человека, к наиболее насущным потребностям общества. В дальнейшем, по мере возникновения и развития духовной культуры, искусства создаются и развиваются географические образы, в значительной степени дистанцированные по отношению к непосредственным, явно видимым нуждам общества. Наряду с этим, ранее возникшие виды и типы человеческой деятельности, усложняясь, способствуют зарождению и развитию более сложных и более автономных географических образов – например, образы стран и регионов в культурной, политической и экономической деятельности.

Целенаправленная человеческая деятельность включает в себя элементы сознательного создания и развития конкретных географических образов. При этом формирующиеся в стратегическом плане образные системы можно назвать субъект-объектными, так как субъект (создатель, творец, разработчик) этих образов находится как бы внутри своего объекта – определенной территории (пространства). Роль и значение подобных стратегий состоит в выборе и известном культивировании наиболее «выигрышных» в контексте сферы деятельности элементов географического пространства, которые замещаются сериями усиливающих друг друга, взаимодействующих географических образов. В рамках определенных стратегий создания и развития географических образов в различных сферах человеческой деятельности формируется, как правило, несколько

доминирующих форм репрезентации и интерпретации соответствующих географических образов.

Образно-географическая карта как метод исследования в имагинальной и гуманитарной географии. *Образно-географическая карта (или карта географических образов)* – графическая модель *географических образов* какой-либо территории или акватории (места, ландшафта, местности, реки, населённого пункта, города, региона, страны, континента и т. д.). Она может рассматриваться и как графическое отображение структурной модели какого-либо географического образа, а также репрезентировать образно-географическое пространство вербальных текстов (письменных, визуальных, картографических), например, художественных произведений или стенограмм политических переговоров. Как когнитивное средство образно-географическая карта направлена на выявление и построение в виде системы взаимосвязанных элементов содержательных для конкретного географического пространства знаков, символов, стереотипов и архетипов (Замятин, 2005).

Образно-географическая карта является автономной частью процесса моделирования географических образов, также – графическим инвариантом словесной (устной или письменной) модели географического образа, одним из инструментов изучения имиджевых ресурсов территории. Процедуры разработки и построения образно-географических карт относятся к методике *имагинальной (образной) географии*. В когнитивном отношении образно-географическая карта – результат концентрации знаний об определённом географическом пространстве в специфической знаково-символической форме. Создание конкретной образно-географической карты можно рассматривать как процесс интерпретации изучаемых географических образов.

Направленность на содержательные знаково-символические репрезентации географического пространства определяет дискретность картографического поля образно-географической карты и частичное и необязательное соблюдение традицион-

ной для европейской картографии Нового времени ориентации по сторонам света (см. таблицу). По таким параметрам как отношение к традиционным картографическим правилам и проекциям и дистанция между картографируемым объектом и его изображением образно-географические карты близки к ментальным (когнитивным) картам и *картоидам*.

Таблица 4.

Сравнительные характеристики различных видов картографирования

Виды картографирования	Ориентация карты	Отношение к традиционным картографическим правилам и проекциям	Континуальность или дискретность картографического поля	Дистанция между картографируемым объектом и его изображением
Традиционное	Традиционная (север – вверх)	Соблюдение традиционных правил и проекций	Континуальность	Минимальная
Ментальное (когнитивное)	Традиционная	Частичное соблюдение правил, несоблюдение проекций	Частичная континуальность	Средняя
Картоиды	Традиционная	Частичное соблюдение правил, несоблюдение проекций	Частичная континуальность	Средняя
Образно-географическое	Традиционная	Частичное соблюдение правил, несоблюдение проекций	Дискретность	Максимальная

Формально образно-географические карты представляют собой математические графы или диаграммы Венна. Эти способы

графического изображения позволяют показать пересечения и вхождения географических образов друг в друга, их взаимную ориентацию и взаимодействие. Как и любая географическая карта, образно-географическая карта может иметь соответствующую легенду, включающую типологию или классификацию изображенных знаков и символов, а также типологию или классификацию знаково-символических связей.

Для изучения динамики конкретных географических образов создаются серии последовательных образно-географических карт. Одно и то же географическое или образно-географическое пространство может репрезентироваться или интерпретироваться потенциально бесконечным множеством образно-географических карт – в зависимости от целей и задач образно-географического картографирования, а также специфики воображения конкретного создателя карты.

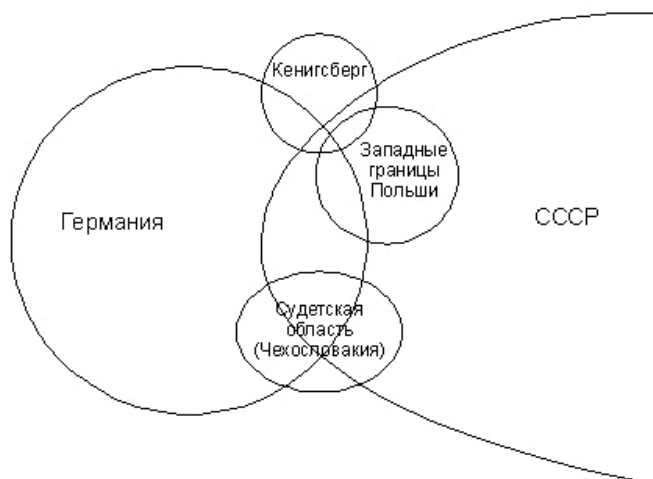


Рис. 1. Образно-географическая карта обсуждения границ Германии на переговорах Черчилля, Сталина и Трумэна во время Потсдамской мирной конференции 1945 г. (Замятин, 1998).

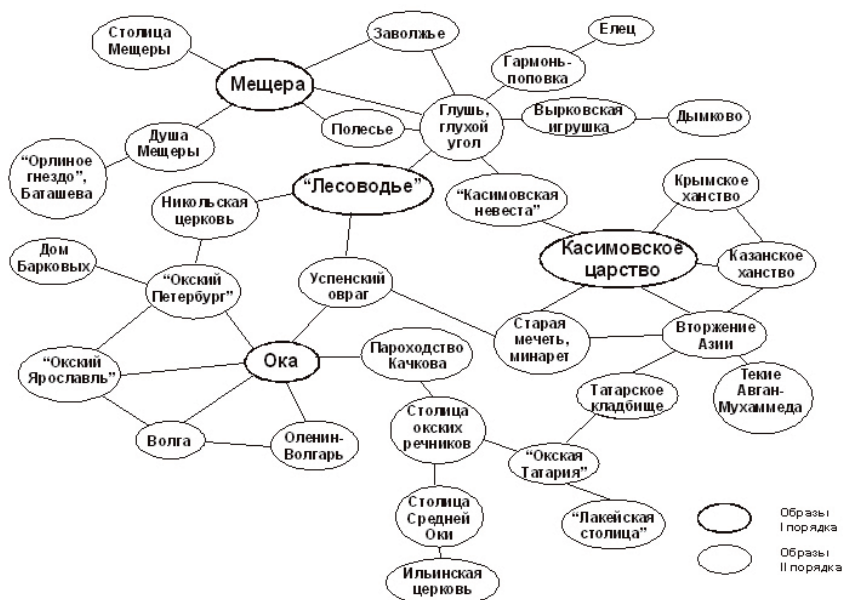


Рис. 2. Образно-географическая карта г. Касимов (Рязанская обл.) (Замятин, 2004)

Выявление содержательных взаимосвязей между различными образно-географическими картами, относящимися к одному и тому же географическому / образно-географическому пространству, а также процедуры их согласования в прикладных целях предполагают построение графических моделей метагеографических пространств.

Моделирование географических образов. Моделирование географических образов – область *имагинальной (образной) географии*, занимающаяся изучением процессов формирования, развития и структурирования *географических образов*. Моделирование географических образов включает в себя две основные части: 1) теория моделирования географических образов и 2) методика и прикладные аспекты моделирования географических образов. В качестве материала для изучения в моделировании географических образов используются тек-

сты различного типа (как вербальные, так и не вербальные), а также визуальное искусство, кино, фотография, музыка, архитектура. Объектом исследования в м.г.о. может выступать как конкретная географическая территория (*ландшафт, культурный ландшафт*, населённый пункт, город, район, страна), так и определенное художественное произведение или определенный текст (письменный, визуальный и т. д.). Промежуточным (переходным) объектом исследования в м.г.о. могут быть человеческие сообщества различного ранга и размерности (этническая, культурная или социальная группа, территориальное сообщество, население города, профессиональное сообщество, виртуальное сообщество, нация и т. п.).

Теория моделирования географических образов является частью более общей теории имажинальной (образной) географии. В то же время эта теория может частично выходить за ее концептуальные рамки; в этом случае теорию моделирования географических образов можно рассматривать и как часть более общей теории моделирования общественных (социокультурных, политических, экономических) процессов. Основные проблемы теории моделирования географических образов – выявление базовых, наиболее распространенных и устойчивых моделей географических образов; формулирование закономерностей формирования и развития географических образов; первичные алгоритмы структурирования моделей географических образов; выявление и описание ключевых контекстов функционирования и развития моделей географических образов в рамках более общих моделей общественного развития.

Методика и прикладные аспекты моделирования географических образов входят в общую методику имажинальной (образной) географии. Наряду с этим, они могут использоваться в *когнитивной географии, мифогеографии* в рамках прикладной гуманитарной географии. Основные методические и прикладные задачи моделирования географических образов – разработка типовых алгоритмов создания моделей географи-

ческих образов в конкретных научных и прикладных областях (например, в художественных текстах, или в сфере маркетинга территорий); построение системы мониторинговых образно-географических исследований в целях первичного обнаружения и описания вновь возникающих как уникальных, так и типовых географических образов в различных сферах общественного развития.

В данной научной области используются разнообразные средства изучения: текстовые описания (как научные, так и художественные), фото- и видеосъемка, *образно-географическое картографирование*, компьютерные модели, социологические опросы и глубинные интервью, контент-анализ, построение *географических картоидов*, живопись и графика, музыкальные произведения. Теория моделирования географических образов предполагает совмещение и / или сосуществование двух разных методологических подходов: 1) реконструирование, выявление модели географического образа (предполагается, что исследователь относится к модели как уже существующей независимо от него – условный «объективистский» подход) и 2) конструирование модели географического образа, которое может сопровождаться его деконструкцией (конструктивистский подход, дополняемый постструктуралистскими и постмодернистскими подходами – в целом можно назвать «субъективистским» подходом). Методика и прикладные аспекты моделирования географических образов предполагает как создание оригинальных, новых произведений (текстовых, визуальных, картографических и т. д.) в качестве отдельных элементов модели географического образа, так и использование в данном процессе ранее созданных произведений или их фрагментов, не принадлежащих исследователю как автору. Основное методологическое допущение при этом – признание потенциальной множественности / бесконечности моделей одного и того же объекта исследования, в зависимости от целей и задач исследователя – методологически связанное с пониманием самого географическо-

го образа как бесконечного пространственного разнообразия, фиксируемого каждый раз в конкретный момент времени (принимаемого, в свою очередь, как пространство событий).

В рамках гуманитарной географии описываемая научная область интенсивно взаимодействует с когнитивной географией и мифогеографией. В теории и практике моделирования географических образов, наряду с понятием географического образа, активно используются понятия *когнитивно-географического контекста, локального (пространственного, регионального) мифа, гения места, знакового места*. Моделирование географических образов в той или иной степени применяется в современных геополитических исследованиях, международных исследованиях, социологии, культурологии, психологии, филологии. Наиболее важные научные теоретические и прикладные области, в которых оно может выступать как один из ключевых подходов – география искусства и литературы, градостроительство, география городов, районная планировка и архитектура, маркетинг и брендинг территорий, музейное проектирование.

Понятие знакового места: прикладная символика географического воображения. *Знаковое место* – пространство (территория, акватория, ландшафт, урочище), имеющее определённые семиотические характеристики в рамках конкретного метaprостранства (пространства, обладающего по отношению к знаковому месту большей семиотической размерностью) (Замятин, 2005; Замятин, Замятина, 2007 и др.). В геометрическом плане знаковое место может представлять собой с известной степенью абстракции точку, линию и / или определённую площадь. Знаковым местом могут быть здание (светское здание, религиозное здание – церковь, храм, колокольня; просто здание – визуальная доминанта ландшафта), площадка перед зданием, комплекс зданий (замок, центр средневекового города, монастырь и т. д.), искусственное сооружение (например, насыпной курган или пирамида из камней, поминальный крест и т. д.), вершина горы, холма, или сам холм, болото, водный ис-

точник (ключ), река, озеро или их береговая линия, какой-либо памятник или территория с ним рядом или вокруг него, разграничительная линия искусственного происхождения (например, Берлинская стена), населённый пункт, природное урочище (поле, поляна, луг, лесная опушка, балка, овраг и т. д.) – в целом, любое географическое пространство, осмысляемое (наполняемое экзистенциальными смыслами) с помощью историко-культурного, социального, политического, географического воображения на основе реальных или вымышленных событий (например, место битвы, место политического решения, место рождения или кончины конкретного человека, место, связанное с экзистенциальным жизненным поворотом, место вознесения святого на небо и т. д.).

Знаковые места являются неотъемлемыми элементами *культурных ландшафтов* (Cosgrove, 1984 и др.); благодаря знаковым местам культурные ландшафты обладают базовыми семиотическими уровнями, на основе которых возможны дальнейшие геосемиотические, мифогеографические и образно-географические интерпретации. К знаковым местам можно в широком смысле отнести *культовые и сакральные места*; знаковость культовых мест, как правило, довольно насыщена, однако ограничена в силу естественной ограниченности самих религиозных сообществ. Знаковость места в целом определяется теми сообществами или отдельными личностями, которые могут либо воспринимать семиотические / смысловые коннотации, задаваемые данным местом (в том числе и в рамках культурного туризма, с помощью экскурсовода или без него), либо устойчиво их воспроизводить в целях поддержания собственной *территориальной (региональной) идентичности*, либо автономно создавать и разрабатывать семиотические коннотации данного места (исходя из конкретных знаний о месте, образа / *географического образа* места) в каких-либо профессиональных, социокультурных, политических и экономических целях, либо конструировать непосредственные экзистенциаль-

ные стратегии, опирающиеся на образ данного места (в таком случае место становится тотально, абсолютно знаковым, как бы диктуя свою собственную, в онтологической перспективе, событийность) (Tuan Yi-Fu, 2002). Знаковые места являются также культурно-ландшафтными репрезентациями локальных (пространственных, региональных) мифов (Рахматуллин, 2001 и др.), функционирование и воспроизводство которых как устойчивых нарративов невозможно без конкретных, достаточно регулярных и семиотически насыщенных топографических событий и манифестаций (в том числе религиозных и светских праздников, гуляний, крестных ходов, торжественных молебнов, различных местных конкурсов, связанных с известным знаковым / мифологическим событием, установок памятников или памятных знаков, научных / краеведческих конференций и т. д.). Смысловыми коррелятами понятия знакового места можно рассматривать понятия *места памяти* и *символической топографии*, поскольку семиотические и другие интерпретации знаковости определённого места связаны, как правило, с конкретными локальными традициями (как индивидуальными, так и групповыми) мемориализации и символизации важнейших событий прошлого, становящихся, таким образом, актуально, или хотя бы потенциально, значимыми в настоящем (Франция-память, 1999).

Понятие знакового места используется в *культурной географии* и *культурном ландшафтоведении*, географии туризма, *гуманитарной географии*, в том числе в *мифогеографии*, *когнитивной географии* и *имажинальной (образной) географии*, в архитектуре и районной планировке, маркетинге территорий (Котлер и др., 2005), когнитивной психологии, локальной истории и микроистории. Проблематика знаковых мест оказывается ключевой при анализе столь важного для современных гуманитарных наук понятия как гетеротопия.

На стыке гуманитарных наук: к пониманию гетеротопии.
Гетеротопия – пространство, репрезентируемое различными

образами мест, причём эти образы мест могут быть несовместимыми или слабо совместимыми друг с другом. Первоначально понятие гетеротопии развивалось в рамках биологии и медицины, где под ней подразумевается изменение места закладки и развития органа у животных в процессе онтогенеза. Сам термин введен немецким естествоиспытателем Э. Геккелем в 1874 г. Впервые понятие гетеротопии переосмыслено в рамках гуманитарных наук французским философом и историком Мишелем Фуко в работе «Другие пространства» (написана в 1967, впервые опубликована в 1984 г.). Описание гетеротопии, по Фуко, называется *гетеротопологией*. Возможность появления гетеротопии связана с тем, что одно и то же пространство (территория, акватория, *ландшафт*) может использоваться, восприниматься и воображаться различными сообществами, группами или отдельными людьми с разными целями и в рамках совершенно различных представлений (бытовых, возрастных, гендерных, профессиональных, социокультурных и т. д.) (Геннеп, 1999). Как правило, развитию гетеротопии могут способствовать разные, часто не совпадающие или лишь частично пересекающиеся временные ритмы деятельности сообществ, групп или отдельных людей, связанной с данным пространством (утро – вечер, день – ночь). Кроме того, смена исторических эпох часто ведёт к трансформациям, искажениям, забвениям старых смыслов и образов; возникновению новых смыслов и образов, связанных с определённым пространством (например, кладбище, лепрозорий, место инициации, центральная площадь, фонтан, пивной павильон, кафе, улица, место около памятника выдающемуся человеку), деритуализациям старых пространств и ритуализациям новых пространств и, в итоге, формированию сложного конгломерата образно-смысловых конструкций и напластований (отдельные образные «слои» или «пласты» могут соприкасаться лишь хронологически и топографически, никак не сообщаясь в содержательном плане).

В историко-культурном контексте осмысление понятия гетеротопии стало возможным в эпоху модерна, когда вновь ре-

конструируемые, воспроизводимые, воображаемые пространства стали рассматриваться как достаточно автономные – вне жёстких профессиональных, бытовых и социокультурных норм и установлений, определявших в том числе и жёсткую дифференциацию географического пространства, включая его строгую общественную и сакральную иерархизацию (Подорога, 1993). Быстрая трансформация понятия гетротопии связана уже с эпохами первичной и вторичной глобализаций конца XIX – начала XXI века, когда резкое, взрывное увеличение социальной, профессиональной и географической мобильности, а также интенсивные межкультурные и межкультурные контакты создали расширенные урбанистические и субурбанистические пространства, в которых акты индивидуальной и групповой коммуникации воспринимались и воображались уже вне какой-либо общей жёсткой системы общественных норм, ритуалов и правил, регулирующей (хотя бы в идеале) все коммуникативные акты без исключения (Bauman, 2007 и др.). В известном смысле, гетротопия может рассматриваться как своего рода «шизофрения» геокультурного и геосоциального пространства, как бы продуцирующего «поток» автономных актов сознания, постоянно расщепляющий образ первоначального «материнского» пространства (будь то город в целом или какая-либо его часть, или же загородное пространство) (Lefebvre, 1991 и др.).

В плане воображения гетротопия способствует формированию различных метафизик, связанных с конкретным типом пространства или территории вообще – метафизики города, района, региона, территории, ландшафта (Метафизика Петербурга, 1993 и др.). В плане изучения современных социокультурных практик понятие гетротопии может использоваться при описаниях и характеристиках различных субкультур, тяготеющих к урбанистическим ареалам и зонам, пространствам крупных городских агломераций и мегалополисов (подростковые и молодёжные субкультуры, этнические диаспоры, сообщества спортивных, особенно футбольных болельщиков, иногда рели-

гиозные и парарелигиозные секты) (Вахштайн, 2003 и др.). В качестве прообраза современных гетротопий можно рассматривать различные варианты развития культа *гения места*, а также формирование культурных гнёзд и очагов в провинции (Щукин, 1997). Понятие и образ гетеротопии является одной из скрытых (латентных) концептуальных основ современной массовой культуры – прежде всего, в рамках жанров фэнтези, триллера, хоррора (литература, кино, анимация, комиксы, живопись, визуальные искусства, цифровая фотография, видео-арт и т. д.)

Понятие гетеротопии применяется в теоретической и прикладной социологии, культурологии, *гуманитарной и имажинальной (образной) географии*, социальной географии (Верлен, 2001), теории коммуникации, искусствознании, политологии, философии. Гетеротопии различного социокультурного происхождения в процессе своего развития способствуют формированию устойчивых локальных мифологий, совмещающихся, взаимодействующих и порой конфликтующих на одних и тех же территориях.

Локальные мифы в эпоху модерна: к рождению онтологии метагеографических пространств. Эпоха модерна – время радикального слома, решающих трансформаций представлений о земном пространстве. Не вдаваясь в подробную характеристику самого модерна (Козловски, 2003), следует, в первую очередь, отметить, что беспрецедентные для любых человеческих историй географические открытия XV–XX вв. стали не просто уничтожением, «закрытием» практически всех *terra incognita*, но и предпосылкой для мультиплицированного развития ранее не возможных, или же слабо представимых образов пространства (Шмит, 2008 и др.). Эта уникальная когнитивная ситуация с феноменологической точки зрения являлась, а до некоторой степени является и до сих пор, «источником» и в то же время условием порождения всё новых и новых способов представления, репрезентаций земного пространства, которые сами по себе также становятся всё более и более пространственными, образно-географическими (Замятин, 2006).

Локальные мифы, будучи одним из устойчивых типов пространственных представлений на протяжении, по крайней мере, всех известных письменных историй (Фрейдсберг, 1998), претерпевают в эпоху модерна столь существенные системно-структурные изменения, что оказываются не только вполне традиционными ментальными нарративами, описывающими и характеризующими определённые места и территории, но и принципиально, жизненно, экзистенциально важными компонентами видения не только прошлого и настоящего, а также и будущего – будущее начинает как бы закрепляться, «фиксироваться» соответствующими легендарными событиями и историями, уверенно проецируемыми в пространство ещё не сбывшегося, не состоявшегося, однако весьма возможного и желательного. Если понимать под локальными мифами систему специфических устойчивых нарративов, распространённых на определённой территории, характерных для соответствующих локальных и региональных сообществ и достаточно регулярно воспроизводимых ими как для внутренних социокультурных потребностей, так и в ходе целенаправленных репрезентаций, адресованных внешнему миру, то основную суть когнитивных изменений, происходящих с локальными мифами и в них самих в эпоху модерна, в их самом первоначальном и грубом виде, можно свести к наглядным ментальным преобразованиям пространственной онтологии локальных мифов, их условных хтонических оснований (McLean, 1999 и др.). Иначе говоря, пространство локальных мифов начинает быстро расширяться не возможными ранее темпами – не в смысле хорошо известной специалистам (филологам, искусствоведам, культурологам, психологам, историкам, этнологам, географам) повторяемости базовых архетипических сюжетов, воспроизводящихся в совершенно разных цивилизациях и культурах и на сильно удалённых друг от друга территориях, в совершенно различных порой природных и культурных ландшафтах (Леви-Строс, 2002), а в смысле их семантической и образной экспансии в ранее не до-

стижимые для них области ментальной и материальной жизни региональных сообществ.

В эпоху модерна происходит переход от собственно локальных мифов к мифам транслокальным, или панлокальным, то есть к таким устойчивым нарративам и образам, которые как бы заранее воспринимаются и воображаются в качестве необходимой, неотъемлемой и неотменимой онтологии пространства, «фиксируемого» не только и не столько конкретными мифологическими и легендарными местами, сколько интенсивными коммуникативными стратегиями проникновения, выхода в пространства смежные, пограничные, или метагеографические (Замятин, 2004). Этот переход растягивается, по-видимому, на весь приблизительно выделяемый период модерна, однако только в XIX веке, по мере быстрого расширения колониальных европейских империй, начинается и географическая экспансия подобных локально-мифологических трансформаций, ведущая к появлению очень интересных гибридных, «креолизированных» ментальных образований. Другими словами, начинает работать принципиально иное, чем до сих пор, географическое воображение, основанное, с одной стороны, на включении, переработке, усвоении, преобразовании туземных, аборигенных мифов в рамках картины мира условного европейского сознания,¹ а, с другой стороны, ориентированное на производство, сотворение, очевидно, новых локальных мифов, призванных как-то объяснить, рассказать, описать известный культурный и цивилизационный шок европейского колонизатора, культуртрегера, исследователя, художника, писателя перед совершенно иными

¹ Косвенными признаками такой социокультурной ситуации можно считать увлечение ряда значительных европейских художников искусством Востока, Африки, Дальнего Востока (Китая, Японии), островов Тихого океана, начиная примерно с середины XIX века. Характерные примеры: стиль «шинуазри» во французском искусстве; творчество Поля Гогена. См. также: Фишман О. Л. Китай в Европе: миф и реальность (XIII–XVIII вв.). СПб.: Петербургское востоковедение, 2003.

когнитивными и онтологическими установками наблюдаемых и разрушаемых ими автохтонных сообществ.¹

Цивилизации Модерна и локальные мифологии: проблема цивилизационной аутентичности. Ранний и развитой модерн, несомненно, способствовал формированию и оформлению (в рамках «высокой культуры») локальных мифов – сначала чаще всего в романтических обработках народного фольклора (это характерно для европейского модерна уже в конце XVIII – начале XIX века) (Романтизм, 2005 и др.), однако в эпоху позднего модерна функциональная роль географических / локальных мифов изменяется: они призваны теперь не только способствовать развитию национального воображения и национальной идентичности, но и как бы поддерживать весь комплекс цивилизационных «установок» и практик, воспроизводимых всеми возможными для индустриальной эпохи средствами (Murrey, 2003 и др.). Нетрудно показать, что, как и географические образы, локальные мифы в период цивилизационных напряжений и «надломов» становятся амбивалентными, неоднозначными, как бы чересчур содержательно мощными и в то же время не совсем понятными – указывая в ментальном плане на определенные цивилизационные «прорехи» и «лакуны». Было бы, тем не менее, слишком просто сводить функциональную роль локальных мифов к некоей цивилизационной «лакумсовой бумажке», частному цивилизационному индикатору. На наш взгляд, любая достаточно хорошо репрезентирующая себя цивилизация – по крайней мере, в рамках модерна и постмодер-

¹ Классический пример – творчество английского писателя Джозефа Конрада (особенно – повесть «Сердце тьмы» и роман «Лорд Джим»). Параллельная «жесткая» сциентистская версия подобного мифотворчества на границе эпох Модерна и Постмодерна принадлежит Э. Саиду, чьи работы стали концептуальным основанием для развития целой школы постколониалистских исследований; см.: Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. М.: Русский мир, 2006. Более приемлемая, «мягкая» сциентистская версия для разработки соответствующих локально-мифологических концепций создана Б. Андерсоном, см.: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001.

на – мыслит себя, в известной степени, самодовлеющим мифом, чьё реальное («физико-географическое») пространство трансформируется в сложный образно-географический комплекс, irradiрующий, излучающий вовне, в свою очередь, пучок локальных мифов, становящихся транслокальными, или панлокальными (Миф Европы, 2004 и др.). Это не значит, конечно, что при целенаправленном или интуитивном, неосознанном культивировании локальных мифов не используются общеизвестные еще в эпоху древних цивилизаций мифологические сюжеты-архетипы (мифы о спасении, мифы основания, мифы о вечном возвращении и т. д.) (Желева-Мартинс Виана, 1999). Содержательная суть геомифологических процессов позднего модерна, а затем, в некоторой степени, и постмодерна, заключается во «вставлении», размещении в некие, уже как бы заранее данные, цивилизационные контексты определенных локальных мифов, играющих затем ключевые роли как признаки и неотъемлемые атрибуты цивилизации-как-уникальности в историческом времени и географическом пространстве. Иначе говоря, цивилизации-образы модерна и постмодерна немислимы без локально-мифологического компонента, обеспечивающего в феноменологическом и нарративном аспектах воспроизводство и постоянное расширение ментальных ареалов цивилизационной аутентичности.

Когнитивная модель пространственных представлений в локально-мифологическом контексте. Если структурировать в ментальном отношении основные понятия, описывающие образы пространства, производимые и поддерживаемые человеческими сообществами различных иерархических уровней, разного цивилизационного происхождения и локализации, то можно выделить на условной вертикальной оси, направленной вверх (внизу – бессознательное, вверху – сознание), четыре слоя-страты, образующих треугольник (или пирамиду, если строить трехмерную схему), размещенный своим основанием на горизонтали. Нижняя, самая протяженная по горизонтали

страта, как бы утопающая в бессознательном – это географические образы; на ней, немного выше, располагается «локально-мифологическая» страта, менее протяженная; еще выше, ближе к уровню некоего идеального сознания – страта региональной идентичности; наконец, на самом верху, «колпачок» этого треугольника образов пространства – культурные ландшафты, находящиеся ближе всего, в силу своей доминирующей визуальности, к сознательным репрезентациям и интерпретациям различных локальных сообществ и их отдельных представителей. Понятно, что возможны и другие варианты схем, описывающие подобные соотношения указанных понятий. Здесь важно, однако, подчеркнуть, что, с одной стороны, всевозможные порождения оригинальных локальных или региональных мифов во многом базируются именно на географическом воображении, причём процесс разработки, оформления локального мифа представляет собой, по всей видимости, «полусознательную» или «полубессознательную» когнитивную «вытяжку» из определённых географических образов, являющихся неким «пластом бессознательного» для данной территории или места. Скорее всего, онтологическая проблема взаимодействия географических образов и локальных мифов – если пытаться интерпретировать описанную выше схему – состоит в том, как из условного образно-географического «месива», не предполагающего каких-либо логически подобных последовательностей (пространственность здесь проявляется как наличие, насущность пространств, чьи образы не нуждаются ни в соотносительности, ни в иерархии, ни в ориентации / направлении), попытаться сформировать некоторые образно-географические «цепочки» в их предположительной (возможно, и не очень правдоподобной) последовательности, а затем, параллельно им, соотносясь с ними, попытаться рассказать вполне конкретную локальную историю, чьё содержание может быть мифологичным. Иначе говоря, при переходе от географических образов к локальным мифам и мифологиям должен произойти

ментальный сдвиг, смещение – всякий локальный миф создается как разрыв между рядоположенными географическими образами, как когнитивное заполнение образно-географической лакуны соответствующим легендарным, сказочным, фольклорным нарративом.

Если продолжить первичную интерпретацию предложенной выше ментальной схемы образов пространства, сосредоточившись на позиционировании в её рамках локальных мифов, то стоит обратить внимание, что, очевидно, локальные мифы и целые локальные мифологии могут быть базой для развития соответствующих региональных идентичностей. Ясно, что и в этом случае, при перемещении в сторону более осознанных, более «репрезентативных» образов пространства, должен происходить определённый ментальный сдвиг. На наш взгляд, он может заключаться в «неожиданных» – исходя из непосредственного содержания самих локальных мифов – образно-логических и часто весьма упрощённых трактовках этих историй, определяемых современными региональными политическими, социокультурными, экономическими контекстами и обстановками. Другими словами, региональные идентичности, формируемые конкретными целенаправленными событиями и манифестациями (установка мемориального знака или памятника, городское празднество, восстановление старого или строительство нового храма, интервью регионального политического или культурного деятеля в местной прессе и т. д.), с одной стороны, как бы выпрямляют локальные мифы в когнитивном отношении, ставя их «на службу» конкретным локальным и региональным сообществам, а, с другой стороны, само существование, воспроизводство и развитие региональных идентичностей, по-видимому, невозможно без выявления, реконструкции или деконструкции старых, хорошо закреплённых в региональном сознании мифов (Елистратов, 1997 и др.), и основания и разработки новых локальных мифов, часть которых может постепенно закрепиться в региональном сознании, а часть – оказавшись слабо соот-

ветствовавшей местным географическим образам-архетипам и действительным потребностям поддержания региональной идентичности – практически исчезнуть.

Основные интерпретации образа гуманитарной географии.

География сама по себе – сильный и мощный образ знания, «привязанного» к восприятию, воображению и интерпретациям земного пространства. Этот образ никогда не был – по крайней мере, в пределах надежно воспроизводимой истории цивилизаций – полностью или абсолютно рационализированным, даже в эпохи жесткого научного позитивизма и постпозитивистских научных идеологий. Основная методологическая проблема географии, осознанная и сформулированная сравнительно поздно, только к середине XIX – началу XX века, заключалась, по всей видимости, в том, что земное или географическое пространство не «поддавалось» классическим дискурсам гуманитарных наук, сложившимся, так или иначе, в своих первоначальных «развёртках» к концу Века Просвещения.

Нет сомнения, что до определённого периода – примерно до начала XX века – география как быстро формировавшаяся и дифференцировавшаяся научная дисциплина вполне успешно могла обходиться методологиями и методиками естественных наук, прямо ориентировавшихся на позитивистские стратегии и идеалы получения и развития научного знания. Кроме того, большинство так называемых гуманитарных наук вплоть до середины XX века, как минимум, также ориентировалось на явно или неявно естественнонаучные / позитивистские идеалы научного знания – порой даже вне зависимости от степени успешности их использования и применения (Бейтсон, 2000). Наконец, такие науки, как демография, статистика и этнография, в институциональном «лоне» которых сравнительно долго – в течение большей части XIX века – «вынашивалась» география, также предпочитали, а, частично, и до сих пор предпочитают сравнительно массовидные методы исследования, восходящие, прямо или косвенно, к идеологии позитивизма.

Не следует, однако, недооценивать роли и значения позитивизма как научной идеологии в том, что к концу XX – началу XXI века можно было назвать гуманитарной географией. По сути дела, сам позитивизм был мощным и закономерным следствием общего процесса секуляризации и гуманитаризации науки как специфической ментальной и социокультурной деятельности, начавшимся еще в эпоху европейского Возрождения. В этом смысле, не прибегая пока к более развёрнутым формулировкам, гуманитарную географию можно пока назвать постпозитивистской версией классической географии XIX века, учитывающей позитивизм как безусловное ментальное ядро или методологическую «почву», от которой, несомненно, надо отталкиваться и отдаляться, но лишение, забвение или уничтожение которой – по крайней мере, пока – еще не возможно и не нужно.

Понимание образа гуманитарной географии неотъемлемо от осознания – пусть постепенного и всегда как бы не полного – значимости интерпретаций земного пространства, становящегося тем самым географическим. Именно в этой постоянно наращиваемой, постоянно преследуемой всевозможными образами и символами географичности «ускользающего» земного пространства и заключается возрастающий «шанс» гуманитарной географии. Но такой когнитивный, или образный шанс не обретается сам по себе в некоей «безвоздушной среде» чистого познания или чистого искусства: гуманитарная география развивается в той мере, в какой человеческие сообщества «опространствляют» свою деятельность, или же рассматривают пространство как существенную и значимую репрезентацию их деятельности, включая, естественно, и непосредственные пространственные репрезентации (Шмит, 2008).

Не будет преувеличением отметить, что так называемые древние общества (а частично, и средневековые) рассматривали или же оценивали земное пространство как, в основном, некий внешний образ, репрезентируемый либо какими-либо

прямыми и косвенными возможностями, ограничениями, «угрозами» и, наоборот, благоприятными экологическими обстоятельствами, либо яркими и выпуклыми нарративами религиозного, мифологического, философского, исторического, художественного характера. Традиционное восприятие земного пространства отличается непосредственностью географического воображения, проявляющегося в несомненной древности и практической вечности ментальных основ сакральной географии (Генон, 2006). Можно сказать, что в случае сакральной географии акт восприятия и акт воображения пространства являются безусловным единым «гештальтом», обеспечивающим относительную общественную эффективность сочленения и соотнесения нарративов «видимых» (условная материальная деятельность) и «невидимых» (условная духовная, культурная, автономная ментальная деятельность).

Было бы достаточно легко – по крайней мере, методологически – представить хорошо известную и документированную историю человеческих сообществ как историю вполне закономерной интериоризации земного пространства (как определённого ментального конструкта) в тех или иных вариациях (этнокультурные ландшафты, культурные ландшафты, ландшафты культуры, географические образы, локальные мифы, региональные идентичности, типичные или типовые пейзажи – например, эллинистический пейзаж, геоэтнические или геокультурные панорамы (Топоров, 1993). Обобщая, можно вывести подобные анализы на уровень закономерностей развития специфических геокультур, сменяющих друг друга, или, что более правдоподобно, сосуществующих друг с другом – по мере того, как возникают всё новые и новые геокультуры, а некоторые более старые геокультуры могут и отмирать, исчезать – не имея более «конкурентноспособных» в общественном смысле, постоянно воспроизводимых в социологическом плане репрезентаций (Замятин, 2002). Наконец, можно говорить и о параллельном, иногда вполне изолированном друг от друга, развитии так на-

зываемых способов видения (взятых, интерпретированных в широком ключе, хотя и с опорой на несомненных зрительных образах), обусловленных конкретными социокультурными и / или цивилизационными установками в духе Освальда Шпенглера.

Не замыкаясь на истории собственно географии, взятой в её научном, донаучном или паранаучном срезе, и пытаюсь мыслить гуманитарную географию как широкий образ ментальной деятельности, «озабоченной» всевозможными интерпретациями земного пространства, следует всё же не ограничиваться очевидным плодотворным историзмом, позволяющим развёртывать логически состоятельные и убедительные варианты развития гуманитарных представлений пространства. Не следует ли постоянно «откидывать», отбрасывать в ментальном плане (а лучше – онтологически) вновь возникающие художественные, философские, научные феноменологии образов пространства – как бы назад, к истокам, в «лоно» их первоначального ментального бытия, где эти образы «слипаются» с пространством самой мысли о них, или же любая ментальная деятельность неразличима вне самого пространства такой деятельности? Не является ли пространство в этом случае онтологическим условием существования гуманитарной географии, а сама гуманитарная география может быть лишь приблизительным эквивалентом общественной, цивилизационной, локальной возможности пространственного представления как такового?

Похоже, что речь может идти не об отрицании историзма как такового, без чего невозможно представить сами пространственные нарративы, но о некоей внутренней географии пространства, в которой сами образы, символы, мифы пространства конструируются, размещаются, соотносятся в метапространстве, создавая все новые и новые метапространственные конфигурации. Однако не значит ли это, что возникает просто ещё один уровень исследования, прямо, просто и логично вытекающий из предыдущего, на котором всевозможные интерпретации фе-

номенов земного пространства рассматриваются «по отдельности»? Можно до бесконечности, подобно античным гностикам, наращивать слои или сферы подобных когнитивных переходов, действуя слишком механистически и фактически воспроизводя одно и то же на всех последующих уровнях.

По-видимому, стоит обратить внимание на чрезвычайно важное понятие «внутренняя география пространства» – с тем, чтобы осознать в когнитивном и образном планах не только системность самого перехода к метапространствам, но и попытаться онтологизировать сам этот переход, осуществить его «опространствление». Зная о безусловной ущербности и уязвимости всякого претендующего на излишнюю точность и четкость определения, попробуем все же сформулировать в самых общих чертах, что же понимается в данном случае. Итак, внутренняя география пространства – это процесс автономного образования пространств, не имеющих прямого отношения к непосредственной географии восприятия и / или поведения, а также к географии логических выводов и умозаключений на основе понятия физического пространства, трансформируемого традиционными картографическими проекциями, господствующими примерно с XVI века – сначала в Европе, а затем и в остальных регионах мира. Важно подчеркнуть, что рассматриваемый процесс автономного образования пространств носит пространственный характер; иначе говоря, любое пространство может подвергаться пространственным же интерпретациям, вне зависимости от того, носило ли оно первоначально признаки конкретного физического и / или психологического пространства, или же было полностью и сразу ментально сконструированным (что не отрицает, а только подтверждает его несомненные генетические связи с традиционными версиями земных пространств).

Возникает вопрос: а как это можно репрезентировать? Можно ли «увидеть» внутреннюю географию пространства, описать ее или же картографировать? Наконец, зачем нужна такая гео-

графия – если даже оперировать только методологическими и теоретическими контекстами?

Нет сомнения, что нужно «отталкиваться» от тех опытов онтологического видения земного пространства, в которых пространство, грубо говоря, становится «героем», неким самостоятельным, действенным актором, активно влияющим не только на внешнее течение событий, но и «претендующим» на самые архетипы и структуры происходящих событий. В таких случаях временные нарративы как бы выходят из-под контроля автора опыта, становясь своего рода «садом расходящихся тропок». Однако если бы речь шла только лишь о неких искажениях традиционного пространственного опыта человеческих сообществ, уже хорошо описываемых и представляемых современной теоретической физикой – даже если это параллельные миры-пространства, соединяемые между собой «кротовыми норами» и прекрасно уже отработанные современной массовой культурой в жанре фэнтези – то в таком случае можно было бы обойтись подробными описаниями конкретных пространственных аберраций, иллюзий и искажений – хотя бы они носили исключительно художественный и творческий характер – не прибегая, по принципу бритвы Оккама, к усложнению теории.

Хорхе Луис Борхес замечательно показал алгоритмы появления и развития внутренней географии пространства, отнюдь не сводящейся к порождению параллельных пространств-миров, лишь изредка напоминающих друг другу о собственном существовании или же задающих неразрешимые загадки героям его произведений, чьё воображение силится выбраться и остаётся по большей части «барахтаться» в рамках традиционной земной географии. Другой пример – тексты Андрея Платонова, Франца Кафки, Джеймса Джойса, Бруно Шульца, в которых, если не прибегать сейчас к более детальному анализу отдельных произведений, пространство кардинальным образом меняет сюжет, чуть ли не заменяя его, становясь, по сути, вторым «автором» этих текстов. Каким было бы пространство наших

мыслей, образов, действий, если бы мы соразмеряли их с самим пространством или же представляли такое пространство максимально пространственно? – вот, по существу, главный вопрос внутренней географии пространства.

1.5. ЛАНДШАФТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ В КУЛЬТУРНОЙ ГЕОГРАФИИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Исторически сложилось, что в русской географической традиции (в отличие от англо-американской или французской) ландшафтная концепция большую часть XX века развивалась в недрах физической географии. И по сей день одна из ведущих кафедр географического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, отражая данный исторический факт, так и называется – кафедра физической географии и ландшафтоведения. Столь длительное «сосуществование» концепта¹ ландшафта и физико-географических идей и подходов оставило глубокие следы в сознании сообщества советских, а затем и российских географов. Вплоть до конца XX века ландшафт понимается прежде всего как природный объект, а в его исследованиях преобладают физико-географические подходы и методы (Исаченко, 1980; Дьяконов, Пузаченко, 2004). Можно утверждать, что в России ландшафтная концепция полноценно реализована и продолжает развиваться в рамках физической географии.

Совсем в другом ключе развивалось взаимодействие концепта ландшафта в русской культурной (шире – общественной) географии, хотя прогнозы такого союза, высказанные в 1920-е гг., были оптимистичными (Каменецкий, 1929). После яркого всплеска работ антропогеографов (В. П. Семенова-Тян-Шанского, Л. С. Берга, П. Н. Савицкого, А. А. Крубера) культурно-географическая тематика к началу 1930-х гг. была свернута (Дронин, 1999; Калущков, 2008). И только в конце 1980 – начале 1990-х годов в отечественной географии наблюдается возрождение интереса к культурному ландшафту как самоценному объекту специальных и междисциплинарных исследований. Можно утверждать о вторичном «открытии» культурного ландшафта в российской географии. За короткий период сделано немало: в науч-

¹ Под концептом нами понимается система устойчивых смыслов и значений слова, существующих в определенном языке и культуре.

ный оборот введены связанные с культурным ландшафтом теоретические представления и методологические принципы, проведены полевые исследования в ряде регионов, описаны конкретные культурные ландшафты, выполнены работы по культурно-ландшафтному районированию на разных иерархических уровнях.

Произошли существенные сдвиги и в институциональном плане. Культурно-ландшафтная тематика стала входить в научные планы крупнейших университетов страны, в темы грантов, научных докладов на статусных географических конференциях. Большую роль в продвижении концепции культурного ландшафта и поддержке молодых исследователей сыграл организованный группой энтузиастов в 1994 году на площадке Географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова междисциплинарный семинар с «говорящим» названием «Культурный ландшафт».

«Открытие» культурного ландшафта было сделано целым рядом исследователей – Ю. А. Ведениным, М. А. Кулешовой, Б. Б. Родоманом, В. Л. Каганским, Р. Б. Туровским, Т. М. Красовской, В. Н. Калущковым и другими. Это совпало с тенденциями развития мировой географии, хотя только для русской географической школы была характерна полувековая лакуна в исследованиях культурного ландшафта.

Очевидно, что возрождение культурно-ландшафтных работ нужно рассматривать в более широком контексте процессов гуманизации российской географии, в стремлении преодолеть ее узкие места, в желании развивать общественную (культурную, гуманитарную) географию.

Обратим внимание еще на один науковедческий парадокс: именно неландшафтоведы (географы-теоретики, историко-географы, культур-географы и даже негеографы по своему образованию) оказались основными участниками культурно-ландшафтного движения последних десятилетий.

Место и статус ландшафтной концепции в культурной географии. Для понимания места ландшафтной концепции в оте-

чественной культурной географии важную роль сыграла первая в России монография М. В. Рагулиной «Культурная география: теория, методы, региональный синтез», в которой проведен теоретико-методологический анализ ситуации в современной культурной географии (Рагулина, 2004). Рассматривая тенденции ее развития в целом и в наиболее мощных национальных географических школах в частности (англо-американской, немецкой, французской и русской), автор в качестве единицы методологического анализа выбирает представление об исследовательской традиции. «Под традицией в культурной географии мы понимаем сложившийся спектр исследовательских предпочтений в определенном участке предметного поля науки, который преемственно разрабатывается в течение относительно длительного времени» (Рагулина, 2004, с. 18). Рассмотрение научной деятельности сквозь призму традиции ориентирует на ее институциональную устойчивость. Соответственно выделяется 7 основных исследовательских традиций в культурной географии – пространственная, средовая, культурно-ландшафтная, оболочечная (культурно-этносферная), региональная, топологическая и временная.

Рассмотрение предметного поля культурной географии на основе представления о научной концепции предполагает анализ теоретико-методологических оснований каждой из них. В нашем понимании в основе любой научной концепции лежат представления об одном или нескольких концептах. Тем самым через понятие концепта вскрывается механизм трактовки предмета культурной географии, различный для каждой из выделенных культурно-географических концепций.

Так, для пространственной, или хорологической концепции в таком качестве выступают концепты пространства и территории, а базовыми концептами культурно-ландшафтной концепции выступают концепты ландшафта и места (табл. 5).

Рассматривая статус ландшафтной (культурно-ландшафтной) концепции можно утверждать, что она обладает высоким стату-

сом, являясь стрелковой, системообразующей в современной российской культурной географии. Включая в себя аспекты всех названных концепций, она полноценно реализует свои многоплановые возможности. Это проявляется и в разнообразии теоретических разработок и моделей культурного ландшафта, созданных в последние годы, и в высоком интеграционном междисциплинарном потенциале культурно-ландшафтной концепции, втягивающим в «ландшафтное поле» географов разных специализаций, а также представителей других наук и сфер деятельности.

Таблица 5.

Соотношение основных культурно-географических концепций в культурной географии и лежащих в их основаниях концептов

Культурно-географические концепции	Базовые концепты
Ландшафтная (культурно-ландшафтная)	Ландшафт, место
Пространственная (хорологическая)	Пространство, территория
Средовая (экологическая)	Среда, окружающая среда
Цивилизационная (глобалистская)	Цивилизация, мир, этносфера
Региональная	Регион, ареал
Топологическая	Место
Временная	Время

Разработки современных российских географов по теории и методологии культурного ландшафта. За последние годы российскими географами было разработано множество моделей культурного ландшафта, включающих как классические, так и модернистские образцы.

Применительно к культурному ландшафту концептуальные схематические разработки можно разделить на две группы – структурные и морфологические, с одной стороны, и пространственные, – с другой (Калуцков, 2011). Первые нацелены на соз-

дание представления о структуре или морфологии культурного ландшафта, а вторые – ориентированы на выявление закономерностей его пространственной организации.

Поляризованный культурный ландшафт Б. Б. Родомана.

Модель поляризованного экофильного ландшафта Б. Б. Родомана (2002) – одна из самых известных и, можно утверждать, классических моделей культурного ландшафта. Она возникла в результате творческого переосмысления идей И. Г. Тюнена о зональном распределении хозяйственной деятельности и гексагональной модели центральных мест В. Кристаллера (рис. 3). В ее основе лежат представления о разумной пространственной организации человеческого общества, основанной на приоритетах сохранения природного и культурного наследия. Среди несомненных достоинств модели – ее кажущаяся простота и логичность. Между тем автор при разработке модели считал, что в поляризованном ландшафте должны сосуществовать три линейно-узловых пространства, три мира.

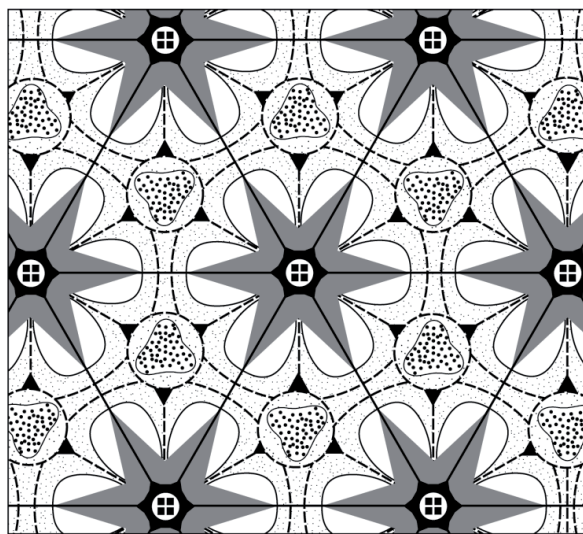


Рис. 3. Поляризованный культурный ландшафт
(Родоман, 2002)

Первый мир предназначен для повседневной жизни, он тяготеет к дорогам и общественным центрам, которые совпадают с транспортными узлами. Этот мир подчиняется принципу экономии энергии и времени.

Второй мир – мир сохранения природного наследия, экологический каркас культурного ландшафта. Он формируется слабо нарушенными природными территориальными комплексами, локализованными на пространственной периферии культурного ландшафта. Его образуют охраняемые территории – природные парки, заповедники, заказники. Повседневное пространство и экологическое пространство поляризованного культурного ландшафта окружены сельскохозяйственными землями.

Третий мир, по мнению автора, образует рекреационное линейно-узловое пространство, объединяя культурные и природные территории.

Автор предупреждает, что геометрические формы предложенной модели не нужно понимать буквально. При практическом применении она должна модифицироваться, трансформироваться, максимально учитывая местные географические условия. Тем более, что в ее основе лежит представление об однородной равнине, упрощенной транспортной сети и иерархической системе поселений.

Пространственно-статусная схема культурного ландшафта В. Л. Каганского. В своем определении культурного ландшафта В. Л. Каганский обращает внимание на роль человеческого сообщества в его создании и поддержании: «Всякое земное пространство, жизненная среда достаточно большой (самосохраняющейся) группы людей – культурный ландшафт, если это пространство одновременно цельно и дифференцировано, а группа освоила это пространство утилитарно, семантически и символически». Подчеркивается сплошность пространства культурного ландшафта и принципиальная несводимость его к отдельным феноменам, артефактам: «Культурный ландшафт – такое культурное пространство, где культура явлена те-

лесно и сплошно, дана не множеством отдельных артефактов, а непрерывным покровом, тканью» (Каганский, 2001, с. 60). При таком понимании противопоставление культуры и природы в ландшафте не имеет смысла.

Важнейшая для понимания работ В. Л. Каганского матрица состоит из четырёх базовых элементов:

Центр	Провинция
Периферия	Граница

Матрица легко разворачивается в пространственную (пространственно-статусную по В. Л. Каганскому) схему:

центр – провинция – периферия – граница

Для каждого пространственного элемента приводятся метафорически-смысловые ряды:

центр – метрополия, районообразующий узел, столица, фокус, ядро;

провинция – база, базовая территория, середина, средняя зона, ядро, ядро типичности;

периферия – зона освоения, колония, окраина, резервная территория, экотон;

граница – барьер, маргинальная зона, край, рубеж, экотон (Каганский, 2001, с. 65).

Эту схему можно интерпретировать как пространственную зонально-статусную модель культурного ландшафта. Предложенная схема хорошо работает в ряде исследовательских ситуаций, например, в геополитических, культурно-географических, социо-географических исследованиях. Возможно её использование и в усеченных, более традиционных вариантах, например, Центр – Периферия или Центр – Периферия – Граница.

Вариантов и типов использования предложенной модели множество. К примеру, основная проблематика культурного

ландшафта лежит в системе «Центр – Провинция», что соответствует инновационному городскому и традиционному деревенскому началам культуры. При проведении кросс-ландшафтных исследований (при сравнении разных культурных ландшафтов) необходимо расширение пространственной модели за счет Границы.

«Нейронная» пространственная модель культурного ландшафта. Для объяснения пространственной организации культурного ландшафта молодой культур-географ К. А. Павлов предлагает авторскую пространственную модель, созданную на основе представлений о нуклеарной геосистеме, используя образ нервной клетки – нейрона (Павлов, 2009). По аналогии с нейроном он выделяет ядро, окруженное полем «сомой» с расходящимися в разные стороны «дендритами» и выростом вдоль основного коммуникационного пути – «аксоном».

Автор показывает, что можно провести параллели между процессами, происходящими в нервной клетке и функционированием культурного ландшафта. Так, *ядра* связаны с территориальным местным сообществом, локализованным в селении («сома»), *пути коммуникации* (физические, информационные, управленческие) соотносятся с «дендритами» и «аксоном», а *полевые структуры ландшафта* представляют собой зоны влияния и распространения определенных элементов культуры, зависящие от силы ядер и свойств пространства, стимулирующих диффузию элементов или препятствующих ей.

При таком подходе, конфигурация пространственной структуры культурного ландшафта будет выглядеть подобно амебе (рис. 4). Простираясь выростами-ложноножками вдоль путей коммуникации, они включают в свои полевые структуры пространства, вовлеченные в хозяйственную и творческую деятельность местного сообщества. Полевые структуры культурного ландшафта могут принимать самые разные очертания, как и ложноножки амёбы они могут быть лопастными, нитевидными, лучевидными, могут образовывать сети.

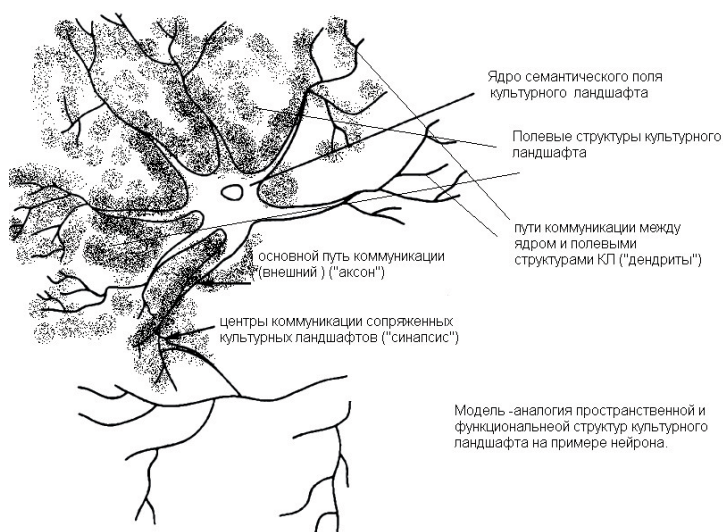


Рис. 4. «Нейронная» пространственная модель культурного ландшафта (по К. А. Павлову, 2009)

Модель Павлова демонстрирует, что при удалении от ядра свойственное ему ландшафтное поле проявляет себя все слабее, как бы растворяясь в пространстве, где могут появляться физические элементы и смыслы сопредельных культурных ландшафтов. Основными факторами, определяющими градиент ослабления поля (его величину и направление), являются совокупная характеристика природных и культурных особенностей, а также путей коммуникации в пределах данной территории, которые могут иметь как транзитный (контактный), так и барьерный эффект. Так, например, горный хребет, лес с отсутствием дорог и просек, труднопроходимое болото, крупная река – приводят к поглощению семантического поля культурного ландшафта и его изоляции.

Модель вертикальной структуры культурного ландшафта (по Ю. А. Веденину). Данная модель была одной из первых структурных моделей культурного ландшафта, разработанных

российскими географами (Веденин, 1997). В состав компонентов культурного ландшафта впервые в отечественной географии введен компонент духовной культуры, а в описании его модели внимание акцентируется на потенциале интеллектуально-духовной энергии культурного ландшафта.

В вертикальной структуре культурного ландшафта автор выделяет два основных слоя – природный и культурный, хотя допускает возможность выделения самостоятельного технического, или природно-технического слоя (рис. 3). Мощность культурного слоя определяется длительностью освоения и собственно культурными факторами. Природный слой рассматривается как совокупность природных компонентов, главные из которых представлены естественной и преобразованной природой. Этот слой, вероятно, имея в виду его «неклассическую природность», Р. Ф. Туровский (1998) предлагает называть супраприродным, подчеркивая значимость не происхождения и состояния природных компонентов, а их место в культурном ландшафте: к примеру, рельеф города во многом сформирован искусственно, но его роль в культурном ландшафте города от этого не снижается.

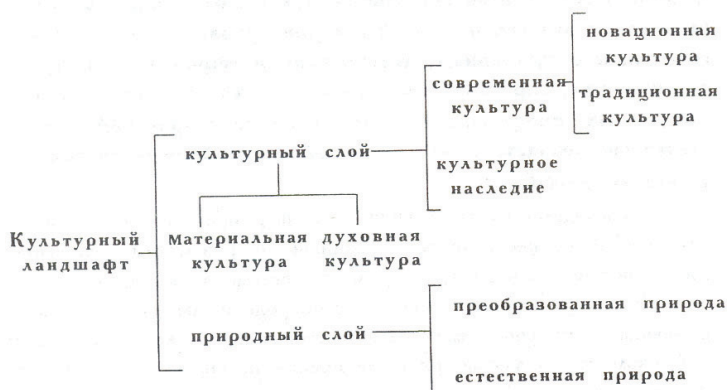


Рис. 5. Вертикальная структура культурного ландшафта (по Ю. А. Веденину)

Культурный слой ландшафта может быть разбит еще на три компонента:

- ментифакты, отражающие наиболее устойчивые элементы культуры (религия, язык, фольклор, традиции искусства и др.);
- социофакты, характеризующие обусловленные культурой связи между людьми (структура семьи, принципы воспитания детей, политическое устройство, система образования);
- артефакты, опосредующие связь людей с материальной средой (виды производственной деятельности, орудия труда, жилище, одежда и т. д.).

В схеме культурного ландшафта Ю. А. Веденина особо обозначается место культурного наследия, специально рассматриваются компоненты культурного наследия и современной культуры, новационной и традиционной культуры.

Все рассмотренные выше аспекты схемы нашли место в развернутом определении культурного ландшафта: «Культурный ландшафт – природно-культурный территориальный комплекс, сформировавшийся в результате эволюционного взаимодействия природы и человека, его социокультурной и хозяйственной деятельности и состоящий из характерных сочетаний природных и культурных компонентов, находящихся в устойчивой взаимосвязи и взаимообусловленности» (Веденин, Кулешова, 2004).

Компонентные модели культурного ландшафта. В зависимости от подхода при проведении культурно-ландшафтных исследований компонентный состав культурного ландшафта может меняться. При этом выделяются два различных исследовательских подхода к культурному ландшафту – природоцентричный и культуроцентричный.

В первом случае природное начало оказывается в центре исследования, а культурное – на периферии. Соответственно более полную развертку сохраняют все природные компоненты культурного ландшафта, а культурные компоненты предстают в свернутом виде и рассматриваются как культурная среда. Струк-

тура культурного ландшафта при природоцентричном подходе выглядит следующим образом: **горные породы, рельеф, климат, воды, почвы, растительность, животный мир, культурная среда**. Например, в природоцентричном подходе И. Ю. Гладкий определяет компонентную структуру этноландшафта как основного объекта этноэкологии следующим образом: рельеф, климат, воды, почва, растительность, животный мир и этническое сообщество (рис. 6а).

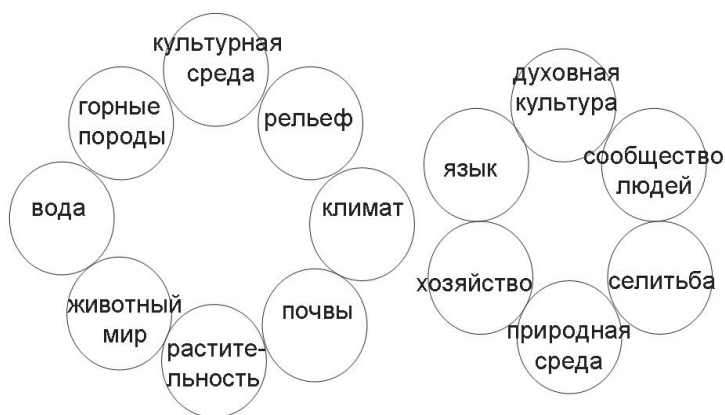


Рис. 6. Примеры природоцентричной (а) и культуроцентричной (б) структурных моделей культурного ландшафта

При культуроцентричном подходе, когда культурному началу ландшафта уделяется приоритетное внимание и компонентная развертка культурного ландшафта предполагает более полную представленность культурных компонентов, природа рассматривается как физико-географическая обстановка, или природная среда культуры. При культуроцентричной развертке структура культурного ландшафта состоит из таких компонентов как

природная среда, этнос, хозяйство, селитьба, язык, духовная культура – рис. 6 (б). Эта схема получила название «ромашки» (Калуцков, 2008).

Природная среда через совокупность природных условий и ресурсов во многом определяет формирование типа традиционного **хозяйства**, а на зональном уровне – хозяйственно-культурного типа. Сохранение даже в неполной форме традиционного хозяйства (земледельческого, промыслового, оленеводческого, скотоводческого, домашнего хозяйства) способствует поддержанию и других культурных компонентов и традиционного культурного ландшафта в целом. Напротив, разрушение традиционного хозяйства приводит (по отношению к традиционной этнической культуре) к катастрофическим последствиям и «запустению» культурного ландшафта.

Сообщество людей может быть рассмотрено в этническом, социальном, семейном, профессиональном и прочих аспектах. Любой культурный ландшафт обладает собственным сообществом, неразрывно, как часть целого, с ним связанным и которое воспринимает ландшафтную территорию как свою.

Селитебный компонент (**селитьба**) через систему расселения способствует формированию пространственной инфраструктуры культурных ландшафтов и может рассматриваться как способ пространственной организации / самоорганизации сообщества.

Для этнокультурного ландшафтоведения важно, что даже небольшое селение представляет собой центр мировосприятия и миропонимания, источник формирования собственной картины мира. Собственная картина мира формируется с помощью **языка**. Местная народная географическая терминология, топонимическая система отражает природные и культурные особенности культурного ландшафта.

Духовная культура культурного ландшафта охватывает вопросы верований сообщества, ритуальной практики, фольклора, других видов народного искусства.

Два последних компонента (язык и духовная культура) являются также универсальными способами описания, сохранения и ретрансляции культурного ландшафта во времени и пространстве.

При проведении конкретных исследований компонентный состав культурного ландшафта может быть еще более детализован: главное при этом – следовать принципу базовых компонентов (природа и культура – базовые компоненты культурного ландшафта) и представлению о ландшафтном объекте как **природно-культурном территориальном комплексе**.

Обобщенная модель культурного ландшафта при проведении комплексных междисциплинарных исследований на локальном уровне детализируется. Соответственно понятийно-терминологическая система выстраивается на основе локальных характеристик. Язык (языковая система) «превращается» в местную языковую систему, хозяйство – в местное хозяйство, сообщество людей – в местное (локальное) сообщество, селитьба – в селение, а природная среда «становится» природным ландшафтом, или ландшафтами.

Практическое значение модели заключается в том, что она задает требования на комплексность при исследовании объекта, ориентируя исследователя на учет всей системы внутриландшафтных взаимосвязей. При монодисциплинарном подходе природная среда оказывается в зоне интересов географии, языковая система – диалектологии, фольклор – фольклористики и т. д. При изучении культурного ландшафта, взятого в его целостности, в поле зрения исследователя оказываются не только отдельные компоненты, но и их внутренние (системные) связи. Сопряжением нескольких компонентов, а следовательно, и научных дисциплин, достигается проблемное междисциплинарное комплексирование.

Представленная шестикомпонентная модель (она получила название «ромашки» (Калуцков, 2008)) очень удобна для проведения междисциплинарных исследований в силу пластич-

ности, поскольку позволяет по-разному расставлять акценты в зависимости от того, ученый какого профиля с ней работает. Другое преимущество предложенной модели состоит в том, что она дает возможность изучать и представлять культурные традиции в конкретных и типологических пространственных проекциях, например: культурный ландшафт отдельного селения и поморский культурный ландшафт.

Любой культурный ландшафт может быть представлен в двух ипостасях – как **«внешний»**, так и **«внутренний»**. В западной географической традиции «внутренние» ландшафты нередко называются вернакулярными, или обыденными. Заметим, что внешняя позиция в отношении к ландшафту как к объекту в большей степени характерна для ученых – представителей естественнонаучного подхода (и связанного с ним управленческого); местным жителям, а также исследователям-гуманитариям более близка внутриландшафтная (субъектно-объектная) позиция.

По это причине у внутриландшафтников в оценке ландшафта преобладают социальные и хозяйственные факторы, в то время как для вторых определяющее значение имеют визуальные и физические факторы. Такое разделение носит упрощенный характер, оно не учитывает более мощные обстоятельства, к которым относятся разные ценностные установки по отношению к ландшафту.

Таким образом, объективное существование двух позиций – внутри- и внеландшафтной – по отношению к культурному ландшафту является, на наш взгляд, главной причиной существования на одной и той же территории «двух» ландшафтов – вернакулярного, или внутреннего, и внешнего. Первый – живой, содержательный, мифологический, топонимический, фольклорный, этнический. Второй – внешний, пейзажно-визуальный, формальный (оформленный), «управленческий».

Вместе с тем, выделение двух исследовательских позиций по отношению к культурному ландшафту способствует лучше-

му пониманию его природы. При организационном взгляде на ситуацию, «внешняя» исследовательская позиция означает лишь первый шаг, начало исследования культурного ландшафта с внешних, наиболее доступных для наблюдения его сторон и свойств с имеющимися, возможно, не вполне адекватными, теоретическими и методическими наработками.

Второй шаг совершается при углублении исследования, при переводе его на другой уровень – при «погружении» в ландшафт. Параллельно осуществляется теоретическое осмысление нового материала, разработка дополнительного методического аппарата, соответствующего «внутреннему» культурному ландшафту.

В результате методологического экскурса в проблему «объект – исследователь» предлагается методологическая модель культурного ландшафта, которая выстроена на основе шестикомпонентной модели «ромашки» – рис. 7 (б). Эта модель центрирована и в ее центре находится основной системообразующий элемент культурного ландшафта, удерживающий его целостность, – сообщество людей (на местном уровне – местное сообщество). Практическое значение методологической модели другое. Она подчеркивает тот факт, что любой культурный ландшафт уже имеет коллективного «исследователя», в роли которого выступает сообщество людей, которое создает, осваивает, осмысливает культурный ландшафт и «овеществляет» информацию о нем в разнообразных арте-, социо- и ментифактах – предметах материальной культуры, диалектах, топонимии, преданиях и т. д. Тем самым сообщество в данной модели «удваивается», играя одновременно пассивную (объектную) и активную роли.

«Внутренняя» исследовательская позиция может быть охарактеризована как «встроенный» исследователь. Это позволяет лучше понимать глубинные свойства культурного ландшафта, скрытые при внешней позиции, и, сохраняя при этом рефлексивный взгляд, выступать для внешнего мира ландшафтным

«переводчиком», то есть интерпретатором культурных кодов культурного ландшафта.

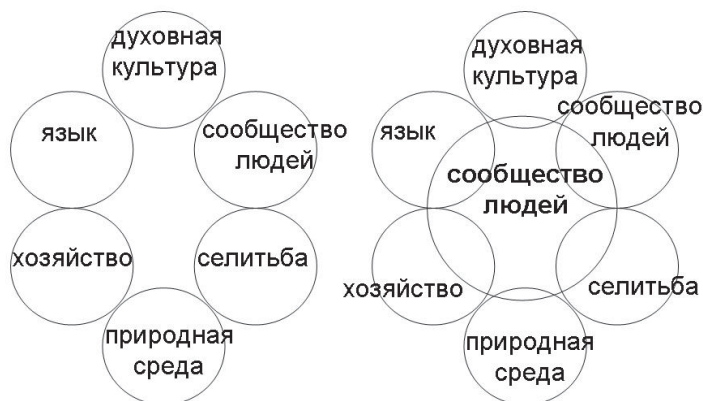


Рис. 7. Объектная (а) и методологическая (б) модели культурного ландшафта

Модель культурного ландшафта М. В. Рагулиной. Под культурным ландшафтом автором понимается самоорганизующийся природно-культурный комплекс, целостно репрезентируемый в сознании членов социума и их соседей (ауто- и гетерообразы), в рамках которого осуществляется жизнеобеспечивающая деятельность человеческого коллектива (Рагулина, 2004).

Модель носит методологический характер. Методология культурно-ландшафтного исследования базируется на четырёх «гранях»: территория, деятельность, репрезентация и жизненная среда (рис. 8). Круг вопросов, которые при этом последовательно рассматриваются, довольно широк и требует междисциплинарных усилий. Среди важнейших иссле-

довательских тем выделяются вопросы ареальной динамики территории, внутренней структуры и природных предпосылок развития этнокультурного сообщества, систем природопользования и жизнеобеспечения сообщества в пространственном и временном аспектах, проблемы образов окружающего мира и родного места и их топонимическая индикация. Для решения поставленных задач наряду с традиционными географическими методами, включая методы комплексного профилирования и картографирования, применяются методы этнолингвистики, топонимические методы, методы полевой фольклористики, этнологический анализ.

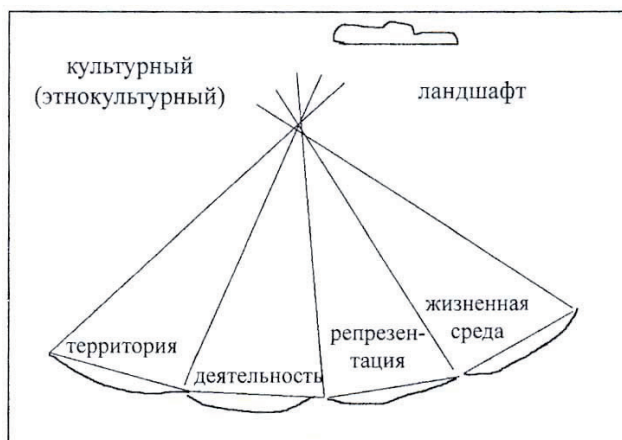


Рис. 8. Грани исследования культурного (этнокультурного) ландшафта (Рагулина, 2004)

Модель отработана в процессе этноландшафтных исследований традиционных этнических групп и старожильческого русского населения Сибири. Заметим, что постановка вопроса репрезентации культурного ландшафта соотносит данную модель с методологической моделью культурного ландшафта – рис. 7 (б).

Некоторые выводы. Представленные разнообразные теоретико-методологические разработки, выполненные в последние годы российскими географами, свидетельствуют о быстром и продуктивном развитии культурно-ландшафтной концепции в российской географии. Заметим, что и за пределами географии (в культурологии, этнографии, фольклористике, истории) концепт культурного ландшафта все чаще находит отклик. Все это не может не вызывать оптимизма в отношении дальнейшего развития культурно-ландшафтной концепции как в научной, так и в практической сферах.

1.6. МЕСТО КАК ПАЛИМПСЕСТ: МИФОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД В КУЛЬТУРНОЙ ГЕОГРАФИИ

Мифогеография в гуманитарной географии. «Большая Российская энциклопедия» определяет гуманитарную географию как «совокупность тесно взаимосвязанных направлений географии, изучающих закономерности формирования и развития систем представлений о географическом пространстве (в сознании отдельных людей, социальных, этнокультурных, расовых групп и др.), согласно которым человек организует свою деятельность на конкретной территории» (Замятина, Митин, 2007). Мы считаем подобную – в узком смысле – гуманитарную географию специфической для современной России научной школой в рамках мировой культурной географии (Митин, 2012). Особенности (вос)становления культурной географии в России в 1990-е гг. привели к формированию *вместо традиционной культурной географии* – специфической школы гуманитарной географии. Культурной географии вне рамок гуманитарной географии в России практически нет; в то же время, темы, концепции и методология гуманитарной географии весьма специфичны даже для культурной географии. Они, очевидно, серьёзно расширяют её предметную область (Стрелецкий, 2002) и отличаются от пространственных в близких по содержанию западных направлениях «новой культурной» и гуманистической географии.

Мифогеография занимает особое место в структуре гуманитарной географии. Её неверно определять исключительно как направление, имеющее «в фокусе» своего исследования *пространственные мифы*, т. е. сводить к специфике *объекта*, которым она занята. Мифогеография специфична *особенным взглядом* на «наполнение» картины конструируемых реальностей каждого места, созданным посредством обращения к *мифологическим* моделям коммуникации и теориям *семиозиса* (современных) мифов (Митин, 2006). Этот специфический способ видения географической реальности, присущий мифо-

географии (Митин, 2005), формирует своеобразный подход в культурной географии в самом широком смысле.

Модель места как палимпсеста. Ключевое понятие мифо-географии – *палимпсест*, или модель «Место как палимпсест» (Mitin, 2010). Термин «палимпсест» стал достаточно распространённой метафорой культурного ландшафта как многослойной (многозначной) структуры. В теории архитектуры и в истории городов метафора палимпсеста была призвана подчеркнуть сохранение в городском ландшафте элементов утраченных архитектурных компонентов, планировочной структуры и других существенно материальных компонентов. Следы исторических смыслов «проглядывали» сквозь современные ландшафты и сохраняли, таким образом, память о ландшафтах прошлого.

В географический обиход термин «палимпсест» ввёл Д. Мейниг в предисловии к знаменитой книге «Интерпретация обыкновенных ландшафтов» (1979). Мейниг описал процесс формирования ландшафта как растянутый во времени, в связи с чем в ландшафте всегда сохраняются следы его прошлых состояний.

Метафора палимпсеста отражает видение *ландшафта как многослойной структуры*, хранящей следы различных эпох. Место представляется как «сочетание стертых, преувеличенных, аномальных и избыточных элементов» (Crang, 1998); уже не просто как текст, а как *«интертекст»*, сочетание текстуальных наслоений, различающихся по времени создания и сохранности (Brockmeier, 2001). Место – это «многослойный феномен, объединяющий прошлые и современные функции, идеологии и физические контексты» (Urban и др., 2004).

Метафора палимпсеста открывает путь разработкам в области *трансформации* значений места: он «позволяет стереть и переписать существующие тексты, имея в виду не только различные исторические эпохи, но и разных исторических и современных акторов» (Schein, 1997). Однако, всё же, метафора палимпсеста используется как отражение *истории* ландшафта. Наиболее красочно на практике это понимание палимпсеста

демонстрирует А. Баглаевский: «...Текстуальный Гданьск – скажем с самого начала – есть место-палимпсест перемешанных и затаённых цивилизационно-материальных культурных пластов, своеобразный сплав следов, фрагментов, элементов, которые можно «выгрести» из-под новоявленных напластований и которые можно читать на разных языках <...> Эти пласты только разом, а не каждый в отдельности, становятся «Гданьском»» (Баглаевский, 1998).

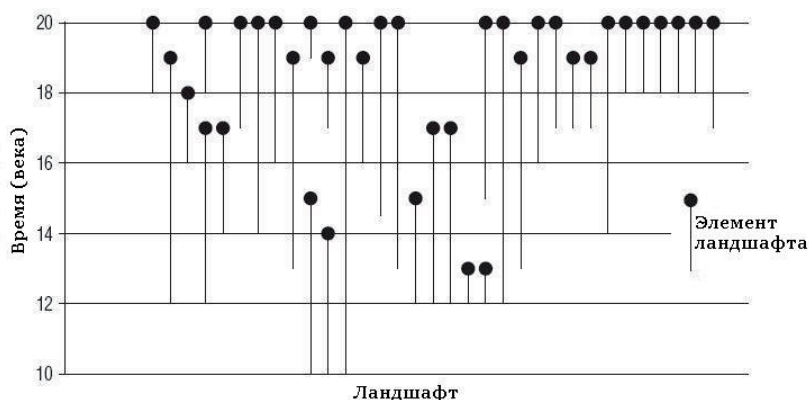


Рис. 9. Палимпсест Дж. Вервло (Urbanc, 2004)

Попытки перевести метафору палимпсеста до уровня *модели* пока что представляются нам весьма фрагментарными. Так, М. Урбанч и группа исследователей ландшафтов постсоциалистических стран Центральной и Восточной Европы применяют метафору палимпсеста к наслоениям в идеологии и архитектуре. Отмечается, что метафора палимпсеста может быть «нагружена» ценностным аспектом: «То, что имеет ценность – остается; то, что не имеет ценности – исчезнет» (Urbanc, 2004). Попытка визуального представления палимпсеста осуществлена Дж. Вервло (Vervloet, 1986), который отразил на ней такие историко-географические трансформации ландшафта: «Неко-

торые элементы ландшафта остались прежними, пережив все социально-экономические трансформации. Некоторые были забыты или разрушены новыми укладами. Некоторые были заменены другими. Другие сохранили свои физические черты, но изменили своё значение. Ландшафт, в результате, есть сочетание следов разных укладов, в которых можно распознать знаки ушедших исторических эпох» (Urbanси др., 2004). Графически эта попытка моделирования палимпсеста представлена на рис. 9.

В основе *мифогеографической модели* палимпсеста – представление о множественности интерпретаций каждого места. В процессе бесконечного семиозиса пространственных мифов (бесконечной интерпретации, описании, акнализе представлений) создаётся множество реальностей одного места. Происходит семиотическое переосмысление (новое означивание) свойств места и / или его уже созданных интерпретаций при сохранении прежних.

Семиозис пространственных мифов. Однозначной трактовки процесса возникновения и преобразования мифологического знания не существует (Зенкин, 2000). Мы считаем наиболее удобной для интерпретации пространственных мифов и их семиозиса концепцию, предложенную Р. Бартом в его книге «Мифологии» (Барт, 2000). По Р. Барту, всякий *миф* – это *вторичная семиологическая система*, построенная, как показано на рис. 10, 11 (Барт, 2000).

Язык { МИФ {	1.	2.	
	Означающее	Означаемое	
	3. Знак		
	I. ОЗНАЧАЮЩЕЕ		II. ОЗНАЧАЕМОЕ
	III. ЗНАК		

Рис. 10. Вторичная семиологическая система

Язык {	Означающее	Означаемое	
МИФ {	Смысл		ПОНЯТИЕ
	ФОРМА		
	ЗНАЧЕНИЕ		

Рис. 11. Миф как вторичная семиологическая система

В пространственном мифе в качестве первичной семиологической системы – с определённой условностью – можно рассматривать не только *язык*, но и *пространство* (Митин, 2006).

Превращение смысла в форму (рис. 11) может *повторяться многократно* – никакой пространственный миф, полученный в процессе семиозиса, *не будет конечным*. Каждый знак в определённом контексте может быть превращён в означающее (рис. 10) и наполнен новым смыслом – на очередном витке *интерпретации* пространственных представлений. Всякий раз будет просто *заново* реализован *тот же* механизм, который до этого породил исходный для данной ступени интерпретации миф. Это и есть процесс *семиозиса*.

Понимание сущности интерпретации пространства как *семиотико-мифологической процедуры* показывает, что процесс *семиозиса*, в котором на каждый знак наслаиваются снова новые значение и понятие – *бесконечен*. В географии это особенно просто: как только предметом исследования становится *не* пространство, а *повествование* о пространстве (например, комплексная географическая характеристика) – можно говорить о следующем уровне в иерархии семиологических систем. «Множественность уровней возникает как плата, внесённая мифической мыслью, чтобы иметь возможность перейти от непрерывного к прерывному» (Леви-Строс, 1999).

Возникают, таким образом, предпосылки для формирования *множественных реальностей* одного и того же места. Место представляется как совокупность множества автономных пла-

стов (мы называли их *контекстами* (Митин, 2008), обладающая вариативной иерархией. Каждый из пластов – это, во-первых, система *материальных* элементов (например, ландшафт); во-вторых, одна из комплексных культурно-географических *характеристик* места; в третьих, некоторое пространственное представление (географический образ, пространственный миф или др.). Источник множественности пластов палимпсеста и суть конструирования характеристик – в *интерпретации*, осуществляемой посредством постоянного наделения тех или иных элементов места новыми смыслами и значениями (*семиозис*)

Однако подобное видение множественных реальностей, на наш взгляд, *видоизменяет само понимание места* в культурной географии, что, собственно, и позволяет нам говорить о мифогеографии как подходе, изменяющем теоретические основы и вносящем существенный вклад в развитие российской культурной / гуманитарной географии в целом.

Территориальные культурные системы. Попытки «встроить» две базовые модели мифогеографии, описанные выше, в историческое существо культурной географии указывают на необходимость корректировки определения самой культурной географии и её *объекта*.

Культурная география, коль скоро она является географической дисциплиной, не может иметь своим объектом культуру, ибо это переводит её в разряд культурологических (культурно-антропологических) наук. Проблема определения территориальной организации культуры как объекта культурной географии состоит во внутренней сложности культурной географии: перцепционная и феноменологическая традиция в культурной географии не вполне «вписывается» в узкие рамки географии культуры; кроме того, представления о географическом пространстве в различных культурах, входящие в состав предметной области культурной географии (Стрелецкий, 2001), также едва ли могут рассматриваться как элемент территориальной организации культуры. Следовательно, нам необходимо опре-

деление (трактовка объекта и предмета), обращающая культурную географию к географическим объектам, но исходящая не из концепции территориальной организации общества (Дружинин, 1989). Такой вариант возможен, исходя из понимания *территориальных социально-экономических систем* как объекта социально-экономической географии.

Объектом культурной географии можно считать территориальные культурные системы.

Ввиду особенностей самой культуры, внутренняя структура таких территориальных культурных систем должна быть весьма специфичной – она должна включать в себя как артефакты, так и ментифакты; как материальные объекты культуры, так и их нематериальные *отражения* (представления об объектах), продуцированные сознанием. Учитывая, что *геосистема* – это «система, у которой отношение между элементами опосредовано геотерией (территорией, акваторией и т. п.)» (Алаев, 1983), можно предложить следующее определение территориальных культурных систем. *Территориальная культурная система – это система, состоящая из элементов (артефактов и ментифактов) культуры, отношение между которыми опосредовано территорией.* Такая расширительная трактовка территориальных культурных систем *объемлет* все диверсифицированные виды объектов, изучаемых культурной географией – культурные ландшафты во всех трактовках, культурные районы, культурные ареалы и др. Под такое определение территориальных культурных систем подпадают *и реальные материальные объекты, и представления о них, существующие в культуре.* Другими словами, одной из ключевых особенностей территориальных культурных систем в семействе объектов географических наук является то, что они включают в себя и ландшафты, и их характеристики; и города, и их географические описания; и реально существующие объекты, и присутствующие только в сознании людей представления о них.

Отечественные разработки в области культурной географии уже обладают опытом в формулировке определений подобных систем, однако, не имеющих всеобъемлющего (в рамках культурной географии) свойства. Так, А. Г. Дружинин рассматривает *геоэтнокультурные системы* (1989); однако, они представлены как *конкретные* «срезы» «актуальной культуры», как продукты геокультурной ситуации, как составляющие конкретных национальных культур (Дружинин, Сущий, 1993). Подобным образом А. Г. Манаков предлагает термин «*геокультурная система*», рассматривая таковую как «геосистему, состоящую из совокупности взаимодействующих геокультурных общностей людей и элементов антропогенного (искусственного) происхождения» (Манаков, 2002).

Для территориальных культурных систем необходимо говорить не только о *саморазвитии*, но и о *конструировании*, что обусловлено, в первую очередь, включением в состав территориальных культурных систем элементов *интерпретации* материальных объектов, создаваемой человеком. Учитывая этот аспект, мы предлагаем нижеуказанное рабочее определение культурной географии.

Культурная география – это одна из географических наук, изучающая закономерности формирования и развития, а также правила конструирования и трансформации территориальных культурных систем.

Введение элементов конструирования и трансформации территориальных культурных систем в предметную область культурной географии обусловлено изучением ею представлений о пространстве и месте, а также и созданием различного свойства характеристик изучаемых объектов; а в трактовке современных подходов западной культурной географии – конструируемых людьми мест и ландшафтов с их семиотическими (символическими, информационными) значениями.

В этом контексте *мифогеография* представляется как методологический подход в культурной географии, представляю-

щий её объект – территориальную культурную систему – как палимпсест, т. е. совокупность автономных целостных пластов «материальной реальности», её характеристик (описаний) и пространственных представлений (мифов, образов, идентичностей и проч.).

Мифогеография за пределами репрезентаций. Мифогеография как подход – как и было показано выше – глубоко укоренена в отечественной гуманитарной географии и созвучна западной «новой культурной» и гуманистической географии. Обозначенные англо-американские подходы, однако, вот уже два десятилетия подвергаются критике за излишнее увлечение репрезентациями, «картинками в голове» в ущерб реальности материальных объектов. Развивается представление о «третьем» – «реальном-и-воображаемом» пространстве (Lefebvre, 1996), в котором «на самом деле» живут и действуют люди. В этом контексте вся занятая представлениями культурная / гуманистическая география интерпретируется как своеобразная геополитика, поставленная властью на службу своим корыстным интересам посредством СМИ (Lacoste, 2000).

В обозначенных условиях обнаруживается тенденция к *ре-материализации географии* (Lees, 2002) и возникновению так называемой *критической географии* (Cultural Geography, 2005). Вырастая из радикальной географии (Harvey, 2006), она становится одной из ведущих парадигм в англо-американской географии, в фокусе которой оказываются проявляющиеся географически проблемы неравенства в пространстве, повседневная жизнь («практики») сообществ людей, их самоорганизация в пространстве и само конструирование *мест* обычными людьми, созвучное «праву на город», провозглашённому ещё А. Лефевром (Lefebvre, 2000).

В этом контексте, на удивление, мифогеографический подход демонстрирует свою *эффективность*: он позволяет актуализировать те интерпретации конкретного места, те из его множественных реальностей, которые связаны именно

с повседневной жизнью осваивающих его людей. Мифогеография позволяет российской гуманитарной географии постепенно «завоевывать» и традиционные поля критической географии – без того противостояния географии представлений, которое случилось на Западе.

1.7. ЛИТЕРАТУРНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД В КУЛЬТУРНОЙ ГЕОГРАФИИ

В настоящее время взаимодействие географии и художественной литературы – свершившийся факт. Известный американский географ И Фу Туан (1988) метко отметил, что география обратилась к литературе как к хранилищу неучтенного пространственного опыта, способного по-новому осветить вопрос о взаимоотношении человека и окружающего его пространства. Динамика развития географо-литературоведческого подхода, его творческая внутренняя сущность позволяет предположить большие возможности значительного обогащения этим подходом географической науки.

Рассматривая взаимодействие географии и художественной литературы как один из главных аспектов культурно-образного подхода в науке (дополняющий «сциентистскую» концепцию страноведения), Н. С. Мироненко (2001) полагает, что литературно-географические исследования имеют определенную традицию в нашей стране, однако в настоящее время она, к сожалению, недостаточно проявлена.

По мнению Ю. А. Веденина (2006), особый интерес представляет проблема сохранения реальных литературных пейзажей, сформированных в результате сотворчества писателя с конкретными природными и социокультурными процессами, происходящими на вполне определенной территории. Возникающие при этом культурные ландшафты имеют конкретное содержание, пространственную структуру, границы. Их можно сохранить, а можно и уничтожить, стереть с лица Земли. Однако в отличие от других природных и культурных ландшафтов, их границы, предметы охраны создаются в процессе творческой деятельности художника. Многие из них имеют чрезвычайно значимый информационный слой, созданный в результате литературного труда писателя или поэта. Особую ценность при этом приобретают те ландшафты, в которых сохраняются мате-

риальные тела или явления – носители этой информации. Среди них могут быть природные и антропогенные элементы ландшафта, панорамы, пейзажи, отраженные в художественных произведениях, и даже реальные люди, когда-то жившие в этих местах, а впоследствии ставшие прообразами литературных героев и оставившие о себе память в материальных объектах, в воспоминаниях современников, в устных преданиях. «Можно привести немало примеров, когда общественное признание ценности природных и культурных ландшафтов, включение их в систему национального наследия были достигнуты, прежде всего, благодаря творческой деятельности писателя. Примером могут служить «Мещёра» К. Г. Паустовского или «Бежин луг» И. С. Тургенева» (Максаковский, 2006) Многие писатели давали точную характеристику ландшафтов, что представляет большую научную ценность, особенно в тех случаях, когда речь идет об исторических описаниях территорий, мало исследованных классическим ландшафтоведением.

«Рассматривая связку «география – художественная литература», – полагает В. П. Максаковский (2006), нужно иметь в виду одно важное обстоятельство: географический сюжет в литературном произведении может фигурировать в двух видах – обобщенном и конкретном. В первом случае изображается типологизированное (виртуальное) пространство, во втором – совершенно реальное, существующее».

Д. С. Лихачев в своих «Заметках о русском» (1984) приводит описания чувства природы, причем не только русскими, но и рядом других народов. В этих заметках есть размышления о русском национальном характере, рассуждения о национальном идеале и национальной действительности, восприятии природы А. С. Пушкиным и другие вопросы, примыкающие вплотную к отечественной гуманитарной традиции восприятия и изучения образа пространства. Масштаб личности академика Д. С. Лихачева, его авторитет в исследованиях древнерусской литературы и культуры в целом, несомненная универсальная гуманитарная

развитость делает его заметки как бы экспертным методом в постижении национального образа пространства.

В «сухом остатке» анализа исследований, посвященных литературно-географическому подходу, оказываются следующие выводы:

- художественная литература в географической науке может использоваться для изображения внешнего облика ландшафта, его колористических, морфологических и прочих особенностей, что тождественно понятию «словесной живописи» у В. П. Семёнова-Тян-Шанского (1928);

- художественная литература способна осветить вопросы значения места в человеческой жизни, то есть имеет преимущественно культурный, а не специальный научный интерес, представляя географу модели «географического описания нового типа» (Jens, 1979);

- позволяет расширить типологию культурных ландшафтов за счет введения понятия «художественно-ассоциативный ландшафт» (Диванова, 2011), где произведение искусства может быть признано полноценным предметом анализа конкретного культурного ландшафта, формируя образ культуры этого ландшафта, влияя на его наполнение и понимание;

- используется в качестве культуроведческого краеведения или «экскурсий в культуру»;

- выявление литературных ландшафтов писателей прошлых эпох может являться важным историческим свидетельством о пространстве в «досовременнонаучный» период;

- литературные описания ландшафтов нужны географии в качестве вдохновляющих ресурсов (Степные шедевры, 2009).

Представляется, что значение литературно-географического подхода выходит далеко за рамки «атмосферы места», «вдохновляющих ресурсов» и в целом культурно-образного подхода в науке, и может дать практические результаты в области ментальной географии и вопросов изучения региональной идентичности. Важным направлением «использования» литературных

ландшафтов является вскрытие с их помощью многообразия проявлений стереотипа поведения (ментальности)¹ людей определенного пространства-времени.

Ментальность – глубинный уровень коллективного и индивидуального сознания, включающий и бессознательное; относительно устойчивая совокупность установок и предрасположенностей индивида или социальной группы воспринимать мир определенным образом. Ментальность формируется в зависимости от традиций культуры, социальных структур и всей среды жизнедеятельности человека, и сама в свою очередь их формирует, выступая как порождающее начало, как трудноопределимый исток культурно-исторической динамики (Новая философская энциклопедия, 2001).

Интуитивность в выявлении стереотипа поведения делает чрезвычайно трудной задачу выделения научного критерия для его определения. Частично решить эту проблему позволяет использование в практике исследований результатов художественного творчества, так как подобная форма освоения человеком действительности представляет собой целостное интуитивное постижение определенного участка реальности. Научная форма освоения человеком действительности выделяет «отдельности», систематизирует, моделирует. Для того чтобы лучше изучить территорию, нужно не только знать «анатомию» места – важен выход на метафизику пространства.² Автор считает, что здесь особую роль играют произведения искусства, которые признаются большинством населения и специалистами в качестве выразителей национально-культурных доминант.

Стереотип поведения этноса по Л. Н. Гумилеву – это его этническая доминанта, то есть словесные выражения тех или иных идеалов, которые имеют единообразное значение и сходную смысловую динамику внутри этнической системы. Сменить

¹ В контексте данного исследования автор считает термины ментальность и стереотип поведения синонимичными.

² Б. Рассел определял метафизику как попытку охватить мир как целое посредством мышления.

идеал можно только лицемерно, потому что он кажется последователю не столько индикатором, сколько символом его жизнеутверждения. Под доминантой Л. Н. Гумилев понимает такое явление или комплекс явлений (религиозный, идеологический, военный, бытовой и т. п.), который определяет переход исходного для процесса этногенеза этнокультурного многообразия в целеустремленное единообразие (Гумилев, 2008).

Стереотип поведения этноса динамичен. Обряды, обычаи и нормы взаимоотношений меняются то медленно и постепенно, то очень быстро. Поэтому исключительно важно, диагностируя стереотип поведения этноса, указывать эпоху.

Ценность литературных ландшафтов заключается в том, что они позволяют обозначить идеалы общества именно словесно. Музыка, живопись, скульптура, архитектура, киноискусство менее вербальны, поэтому затруднительно их использовать в научной практике, хотя они также составляют цивилизационную матрицу.

Взяв за основу структуру стереотипа поведения, предложенную Л. Н. Гумилевым (добавив ряд существенных с нашей точки зрения позиций) и признав писателя выразителем национально-культурных доминант, можно исследовать литературные ландшафты его произведений. Главным является выявление стереотипа поведения, который предполагает определение норм отношений: между коллективом и индивидом, индивидов между собой, внутриэтнических групп между собой, между этносом и внутриэтническими группами, между этносами разных суперэтносов (цивилизаций), между этносом и вмещающим ландшафтом, а также выявление специфического ощущения времени этноса и его бытовых примет. Эти нормы, в каждом случае своеобразные, изменяясь то быстро, то очень медленно, негласно существуют во всех областях жизни и быта, воспринимаясь в каждом этносе и в каждую отдельную эпоху как единственно возможный способ общежития, поэтому для членов этноса они отнюдь не тягостны. Каждый этнос имеет

свою собственную внутреннюю структуру и свой неповторимый стереотип поведения. Иногда структура и стереотип поведения этноса меняются от поколения к поколению. Это указывает на то, что этнос развивается, а этногенез не затухает. Иногда структура этноса стабильна, потому что новое поколение воспроизводит жизненный цикл предшествовавшего (Гумилёв, 2008).

«Инвариант – это то постоянное, что стоит за разными вариантами». Понятие «поэтический мир» раскрывается как целая система инвариантных мотивов, характеризующая тексты одного автора. Этот метод (применительно к произведениям Маркеса с точки зрения инвариантных смыслов и содержательной основы) выявляет главную тему его произведений – тему одиночества. Одиночество полковника – ветерана гражданских войн в повести «Полковнику никто не пишет», одиночество жителей Макондо в романе «Сто лет одиночества», одиночество власти в поэме в прозе «Осень патриарха». Сам Маркес признает эту тему главной в своем творчестве. Трудно назвать другую тему, которая столь же неодолимо влечет писателя и пронизывает все его творчество.

Еще одним важным практическим значением использования литературно-географического подхода является выявление региональной идентичности. Методика здесь аналогична методике выявления стереотипа поведения населения по литературным произведениям писателей, признанных выразителей национально-культурных доминант.

В качестве примера вновь обратимся к творчеству Г. Г. Маркеса. На этот раз используем не художественное произведение, а некую писательскую рефлексию автора по поводу своего места в мировом пространстве, которая была представлена в его речи «Латинская Америка существует» на семинаре группы «Контандора» на тему «Существует ли Латинская Америка?» в Панаме 28 марта 1995 г.

«Что касается Карибского бассейна, я думаю, его область обозначена неправильно, ибо на самом деле она должна быть

не географическим, а культурным понятием. Она должна начинаться на юге Соединенных Штатов и простирается до севера Бразилии. Центральная Америка, которую мы считаем частью Тихоокеанского региона, имеет с ним мало общего, являясь частью карибской культуры. Реализация этого законного требования имела бы по крайней мере то преимущество, что Фолкнер и другие великие писатели юга Соединенных Штатов стали бы частью братства магического реализма... Судьба боливарианской идеи интеграции вызывает все больше сомнений, кроме области искусства и литературы, где культурная интеграция продвигается самостоятельно и на свой страх и риск... Они выражают свои чувства криком от Рио-Браво до Патагонии в нашей музыке, нашей живописи, театре и танцах, в романах и телесериалах. ... Это самые простые и богатые формы народного выражения континентального полилингвизма. Задолго до того, как политическая и экономическая интеграция станут явью, процесс культурной интеграции будет необратимым... Латинская Америка существует. Быть может, ее эдипова судьба заключается в поиске своей идентичности, и найти ее навсегда станет нашей судьбой и творчеством, сделает нас отличными от всего мира. Разбитая и распыленная, еще не закончившая путь, в вечном поиске этики жизни, Латинская Америка существует» (Маркес, 2013).

Приведённые цитаты демонстрируют понимание Г. Г. Маркесом культурно-географического единства сквозь государственные и экономические границы (региональной идентичности карибских жителей), а также цивилизационное видение пространства всей Латинской Америки. Свидетельство писателя такого масштаба – большой аргумент в справедливости такого видения, прежде всего в силу роли писателя как выразителя национально-культурных доминант Колумбии, Карибского культурно-географического региона и всей Латинской Америки как цивилизационного пространства более высокого иерархического уровня.

В заключении отметим, что еще одной новаторской ролью литературно-географического подхода является его философско-методологическая значимость. География – одна из немногих наук, предмет исследования которой представляет собой единство естественно-научной и гуманитарной составляющей. Взаимодействие географии с художественной литературой расширяет целостность предмета исследования всей науки, так как это не просто взаимодействие с литературоведением (работа с текстом этим не ограничивается); специфика литературно-географического подхода в сотворчестве двух форм освоения человеком действительности – художественной и научной, что может открыть новые горизонты возможностям географического познания вообще.

Глава 2.
Традиционное и новационное
в современном российском
геокультурном пространстве

2.1. ВОПРОСЫ К ЭКСПЕРТАМ И ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ

2.1.1. Каково «качество» современной российской территориальной организации общества? Какова проекция постсоветских общественно-географических изменений на Человека, его Культуру, образ жизни, Среду обитания?

Ю. Н. Гладкий

К сожалению, «гуттаперчевые» рамки понятия *«территориальная организация общества»*, прочно укоренившегося в советской гуманитарной географии, не способствуют тому, чтобы дать вразумительный ответ на первую часть вопроса. Дело в том, что оно отражает всю картину социальной реальности, объемля сразу все три основные подсистемы – и экономику, и социально-политическую подсистему, и культуру. И хотя все подсистемы тесно связаны между собой, синтетическая оценка их совокупного качества вряд ли будет отличаться корректностью. И уж во всяком случае, ни одна из них не заслуживает положительной оценки.

А вот проекция социально-экономического «хаоса» 90-х гг. на корреляционные связи во все трех подсистемах отразилась самым прискорбным образом. В экономике в одночасье были дискредитированы и разорваны временем отлаженные межсредовые, межотраслевые и межрегиональные связи. Псевдолибералы, по «диагонали» начитавшиеся М. Фридмена, П. Самуэльсона, Ф. Хайека и др. и провозгласившие путеводной идеей отделение собственности от власти (а на практике присвоившие при антинародной приватизации недр, захватившие госкомпании, государственные здания и др. фонды), не смогли предложить ничего путного взамен «трубе, качающей нефть». На западе постфордистская система организации производства давно заменила массовое производство «гибкой» специализацией на производстве широкого ассортимента товаров, пере-

форматировав и переориентировав большинство межотраслевых и межрегиональных связей. Увы, в России ничего такого не наблюдается и, что еще горше, не предвидится.

Что же касается корреляционных связей в культурно-географической среде, то плоды многовекового духовного отбора, великой селекции добра и совести в России уже не первый раз оказываются во многом загубленными очередной катастрофой социального потрясения конца XX века, в частности – плохо просчитанными (или напротив – хорошо!) экономическими экспериментами 90-х гг. В стране, с ее социальной неустойчивостью, экономическими неурядицами, межэтническим клубком проблем, где заводы стоят, и вокруг – одни «гитаристы», художественно ориентированное сознание часто вступает в явное противоречие с необходимостью «рационально-критического» осмысления горькой действительности.

Заметно изменились структуралистские, функциональные и аксиологические интерпретации культуры. На постсоветском пространстве (и не только на нем) подверглись деформации сами основы культурного районирования в результате ослабления барьерной функции, в том числе с Западной Европой. Речь идет о потере способности католической (и не только католической) церкви в ряде западных стран противостоять прогрессирующему духовному кризису и массовому нравственному упадку самого мерзкого свойства. Антихристианский процесс разрушения традиционной европейской и родственной ей русской культуры происходит путем создания глобальной сатанинской религии поклонения порокам, извращающим мировоззрение молодых поколений, поощрения вседозволенности, корыстолюбия, нравственной грязи, права на насилие, поклонения наркотикам и психику разрушающей музыке.

Эти аспекты, казалось бы, находятся в стороне от судьбы обсуждаемого научного направления, на самом же деле, это и есть, на наш взгляд, передовой фронт культурно-прикладных исследований, ассоциирующихся с пространственной диффу-

зией процессов модернизации и традиционализма в региональном контексте. Как известно, античный мир Греции и Рима, создававшийся более тысячи лет, рухнул не в последнюю очередь из-за падения нравственных устоев и морали. На «пепелище» древней Цивилизации появились полудоминированные-полуварварские народы темного средневековья, охваченные мглой невежества и фанатизма. Хотим ли мы этого?

Проекция разрухи 1990-х гг. на корреляционные связи в системе «Человек – Среда обитания» достаточно специфична. С одной стороны, глубокий промышленный кризис несколько оздоровил экосреду; с другой, за последнюю четверть века в Россию незаметно переместился центр «мусорной цивилизации» (похоже власти еще не осознали этого в полной мере), а в последние годы при молчаливом согласии экспертного сообщества (в т. ч. РАН) в страну хлынул поток ГМ-продуктов (притом, что консенсуса о безвредности их еще не достигнуто). В то же самое время в стране практически ничего не сделано, для того чтобы устранить одно из главных замалчиваемых социально-экологических отличий пол-России от цивилизованного мира – *«удобства во дворе»*.

А. Г. Дружинин

Наиболее значимые трансформации территориальной организации общества (ТОО) оказались инициированы, прежде всего, распадом СССР, появлением новых границ, повлекших за собой фактическую дезинтеграцию ранее единой системы расселения, инфраструктуры, переориентацию хозяйственных и культурно-гуманитарных связей. Колоссальные (вероятно, уже невозможные) потери понесла система русской культуры. Столь же фундаментальное воздействие на культурные процессы оказали (и продолжают оказывать) рыночные реформы и глобализация экономики, включая предопределяемую её логикой коррекцию позиций страны в международном разделении труда (сопровождаемую, в том числе, и «экономико-

демографическим опустыниванием» обширных пространств России).

В сопоставлении с предшествующим периодом, постсоветская ТОО в целом в существенной мере более «экономизирована». Доминантной её мотивацией стала последовательная установка на экономическую (причём, в подавляющей массе ситуаций, групповую, персонифицированную) выгоду, а основным актором (наряду с традиционно доминирующим государством) выступили крупные (явившие транснациональную ипостась) бизнес-структуры. На этом фоне свойства «товара» обрели не только компоненты природного потенциала, хозяйственные и инфраструктурные объекты, трудовые ресурсы, но и в целом территориальные социально-экономические системы; параллельно возросло «расслоение» российских территорий по статусно-административной позиции, местоположению (в том числе и относительно «центров прибыли»), транспортному обеспечению. В неявном (из-за углубляющейся экологической деструкции, роста социальных контрастов, негативных эффектов миграции), но, всё же, выигрыше оказались важнейшие узловые элементы российской ТОО, способные улавливать и аккумулировать ренту по местоположению: столичные центры с развитыми управленческо-перераспределительными функциями, портовые города, любые иные крупные «сгустки» населения и инфраструктуры с хорошей логистикой. Вне их, в ситуации по-прежнему доминирующей депопуляции (имеющей место в 55 субъектах РФ), нестыковки спроса и предложения на те или иные профессиональные компетенции, эрозии и «расслоения» системы образования и здравоохранения – идёт устойчивая деградация «фактора труд» и декапитализация. Таков основной негатив; его прямым следствием является фрагментация российского геокультурного пространства, дополняемая аспектной сепарацией и деградацией его отдельных пространственно-локализованных составляющих. На этом фоне усиливается потенциал влияния на ситуацию в регионах страны (особенно

приграничных, «национальных») внешних (по отношению к России) «центров силы», причём, не только традиционных, но и новых (Турции, государств Персидского залива и др.). Позитивные процессы (также, безусловно, имеющие место) пока в существенной мере фрагментарны, латентны, неоднозначны по своим долгосрочным последствиям. В их ряду особого внимания заслуживает заметно возросший «спрос» современной экономики на «культуру», прогрессирующее восприятие последней как важнейшего «драйвера» позитивной территориально социально-экономической динамики.

А. Н. Пилясов

Его трудно оценивать, потому что территориальная организация российского общества находится еще в процессе трансформации. Лучше видно, под влиянием каких драйверов происходят изменения.

Территориальная организация общества остается не слишком комфортной для человека: хрестоматийны примеры смерти людей на границах районов ввиду того, что свой районный больнично-медцентр далеко, а соседнего района – близко, но скорая повезет в свой райцентр. Это яркий индикатор современных несуразностей.

Очень мало в современной территориальной организации российского общества разнообразия – в виде, например, различных сервисных районов поверх сугубо административных; очень мало проявлений народной воли, подлинного негосударственного самоуправления; недостаточно новаторства, предприимчивости людей и власти. Советская «административная» четкость территориальной организации жизни общества потеряна, а новая структурированность еще пока не возникла.

Думаю, что мы сейчас не можем оперировать понятиями такой степени общности при описании нового российского пространства. Почему? Потому что в СССР была единая система расселения, единая сетка экономических районов, сеть ТПК.

Все они чётко формировали территориальную организацию общества, о чем и свидетельствовала в том числе монография Б. С. Хорева. Этому способствовала определенность сформированной в позднесоветские десятилетия территориальной структуры хозяйства.

Сейчас про это говорить нельзя. Территориальная организация российского общества пока еще только собирается в новую целостность, в новую структурированность. Как «Войну и мир» можно было написать только спустя полвека после событий 1812 года, так и представление о российской территориальной организации общества можно будет получить далеко не сразу.

Но и ведь в СССР эти представления не были сформированы в предвоенные годы, а лишь уже далеко после войны! Пространство шло вослед изменениям в экономике и новый его портрет устанавливался очень постепенно.

Какие важнейшие изменения в пространстве России, которые оказывают сильное воздействие на человека, культуру, его образ жизни и среду обитания я бы отметил? Российское пространство стало частью мирового (как никогда в последние столетия не было). Мы привыкли считать, что глобализация – это «когда мир на нас сверху давит», но глобализация – это и когда наше (уже ставшее частью мирового) пространство воздействует на нас, наше поведение, культуру, образ жизни. Одно дело, когда на нас влияло чисто российское пространство, совсем другое – когда оно влияет, уже став частью мирового. Это очень важные, отнюдь не философские вещи.

Разброд и шатание в российском обществе в последние два десятилетия отчасти происходили и поэтому – очень непривычно чувствовать себя в условиях полной открытости миру; здесь есть как свои выгоды, так и издержки.

Другое фундаментальное изменение – российское пространство стало рыночным, что ощущается, прежде всего, в крупных городах, городских агломерациях, на местных рынках труда и рынках жилья. Воздействие этого фактора на поведение чело-

века, современного россиянина многократно описано экономистами.

Теперь о влиянии этих перемен в пространстве на культуру. Когда Россия открылась миру, национальная культура стала, как и многие другие атрибуты нашей духовной и материальной жизни, испытывать возрастающую конкуренцию со стороны центров мировой силы. Многие позиции были сданы не по причине слабости национальной культуры, а по причине быстроты открывания пространства, просто шоковой.

Мы хорошо понимаем по своим кошелькам последствия в одну ночь одномоментной либерализации цен и за это ругаем реформы Гайдара. Но мы существенно меньше понимаем не менее драматичные последствия одномоментного открывания нашего пространства навстречу всем ветрам не только мировой экономики, но также и культуры. Российская культура, как и экономика, не была готова к этому; мировой поток ее захлестнул в очень многих направлениях, видах деятельности. Лишь теперь, спустя два десятилетия, некоторые направления возрождаются, а некоторые, видимо, утрачены навсегда.

Что делать? Одновременно с культурой – частью мирового потока – стремиться сохранить те ее элементы, которые являются важной частью местной и национальной идентичности.

Воздействие изменений в пространстве на образ жизни. Почти-глобальный человек тот, кто в России хочет им стать. Уже никого не удивляет юрист Екатеринбурга, который работает в Британской Колумбии по арктическому праву.

Скажу про феномен диаспоры – о нем нужно говорить существенно больше и предметнее, чем сегодня в России. На западе десятки книг, в которых он изучается со многих позиций – социологической, демографической, экономической, интеллектуальной (информационной) и др. А мы так и не сформировали в России свое отношение к русским вне России. «Диаспора и инновационный поиск» – АннаЛи Саксениан в «Новых аргонавтах» – была одной из первых, за ней последовали десятки дру-

гих авторов в разработке этой темы. Экономическая география российской диаспоры – увлекательная тема, в том числе и для культурной географии. И, самое главное, очень прагматичная – учитывая ту роль, которую диаспоры сыграли в экономическом возрождении Китая, Польши и многих других стран.

И еще один тренд общественно-пространственных изменений в последние 20 лет: растущая небезопасность человеческой жизни. В этом есть ирония – в условиях завершения глобальных конфронтаций человеческая жизнь стала не более, а менее безопасной, прежде всего, в результате пространственной эскалации терроризма против мирных граждан. Мы слабо разрабатываем тему географии террора в аспекте сетей, институтов, финансовых ресурсов (наработки географии преступности времен СССР здесь нам в помощь, но нужно идти дальше).

Воздействие новых свойств пространства на среду обитания. Многие ранее плотно и интенсивно освоенные участки российского пространства сейчас стоят как бы под «паром». С одной стороны, это расточительное неиспользование активов территории, за которые в современном мире могут строго спросить Россию (Япония, Китай, Индия, Голландия и некоторые другие страны, а также и все мировое сообщество). С другой стороны, при этом может происходить процесс самовосстановления ранее антропогенно поврежденной среды (хотя на практике это не всегда случается).

Общий вектор перемен в свойствах российского пространства – мы идем от пространства мест к пространству потоков, о чем пишет и М. Кастельс. Это значит нарастающее дискретное, осколочное воздействие на пространство индивидуально освоенного отдельного мобильного домохозяйства, которое отследить и проконтролировать существенно труднее, чем локализованное масштабное воздействие промышленности. Мобильный террорист с ядерным чемоданчиком, о котором писал П. Л. Капица еще 50 лет назад, становится не потенциальной, а

реальной угрозой современному обществу и в России, и на Западе.

Очень многое из того, о чем я пишу, созвучно мыслям А. И. Солженицына в его последних очерках и эссе по России. Мне его подход и его тревоги очень близки.

Нужно говорить еще и о влиянии технологических изменений на пространственное поведение, культуру, образ жизни, территориальную организацию жизни общества. Этот сюжет в России традиционно недооценивается, но он очень важен: например, как будет строиться управление городами России будущего, когда можно будет по мобильным устройствам знать траектории перемещения в городском пространстве просто каждого?

В. Н. Стрелецкий

Два с лишним десятилетия, прошедшие после распада СССР, при всей важности отмечавшихся в культурном пространстве России структурных и иных сдвигов, не ознаменовались его полномасштабной трансформацией; многие пространственные структуры, формировавшиеся в советский период, сохраняли (и сохраняют) свое значение и на протяжении 1990-х – 2000-х годов. «Инерция» советской эпохи прослеживается и в ином аспекте. Единое государство-то распалось, но дезинтеграция общего культурного пространства – процесс несоизмеримо более длительный; этнокультурное присутствие России в ближнем зарубежье так или иначе сохраняется.

1990-е годы в России стали, как известно, периодом «бума» регионализации. В первое постсоветское десятилетие регионализация страны была естественной и закономерной реакцией на крайности централизма предшествующей эпохи. Деструкция командно-административной системы, переход от плановой экономики к рыночным экономическим механизмам, политические преобразования позднесоветских и первых постсоветских лет дали мощный импульс регионализации страны. Синхронно с этим процессом шел процесс федерализации, становления

федеративных отношений (в СССР прокламировавшихся, но, по сути, не существовавших де-факто) в специфических новых российских условиях. Курс на выстраивание властной вертикали и противодействие чрезмерной «вольнице» регионов, осуществляемый российским руководством с начала XXI века, не мог и не может перечеркнуть всех эффектов регионализации, имеющей, возможно, и свою логику саморазвития: по А. И. Трейвишу, существуют циклы «регионализации – централизации»; когда централизация становится доминирующим процессом, регионализм «встраивается» в ее территориальную иерархию (что, на мой взгляд, и происходит в первые полтора десятилетия XXI в.). В этом смысле регионализм в целом действительно неустраним, а культурный регионализм в крупных странах (таких, как Россия, и не только) – важнейшая имманентная черта пространства последних.

Политико- и экономико-географические аспекты постсоветской российской регионализации оказались в фокусе внимания отечественных географов в первую очередь. Ее культурно-географическим аспектам внимания уделялось меньше; между тем, культурный «срез» регионализации был очень весом и значим. Постсоветская регионализация в России имеет очевидные (по крайней мере, внешние) аналогии с подъемом регионализма во второй половине (а особенно в последней четверти) XX века в западных странах, прежде всего в западноевропейских, и ее культурные параметры в обоих случаях имеют очень большое значение (рост регионального самосознания, растущий интерес широкой общественности к региональной истории и культуре, региональные программы сохранения природного и культурного наследия, подъем региональных движений во главе с интеллектуалами, деятелями культуры и мн. др.).

Методологически важно, однако, разграничить, где здесь факторы процесса, а где – его содержание. Рост регионального самосознания (отчетливо проявившийся прежде всего в конце прошлого века – в первое постсоветское десятилетие) мо-

жет рассматриваться как один из индикаторов сдвигов в самой структуре геокультурного пространства (т. е. характеризует сам процесс, одну из его содержательных сторон). Институциональные же, политические, экономические изменения, повлиявшие на этот процесс, безусловно, в данном случае должны трактоваться как факторы; и то, и другое часто описывается – в разных контекстах – в терминах «регионализации».

Регионализация 1990-х гг. огромное значение имела для национальных республик в составе Российской Федерации, не только добившихся в то время высокой степени политической и экономической самостоятельности по отношению к федеральному Центру, но и переживших период быстрого подъема этнического самосознания, переориентации на исторически унаследованные (но в разной степени ранее поддерживавшиеся) этнические традиции, возрождения некоторых пластов национальной культурной жизни. Большее внимание региональными властями стало уделяться развитию родных языков «титulyных» народов национальных республик, их духовной, а также традиционной материальной культуры и т. д. Национально-культурное возрождение в регионах, имевших в советский период статус автономных республик и автономных областей (преобразованных ныне в республики – субъекты федерации), стало одним из самых ярких и «осязаемых» индикаторов сдвигов в российском культурном пространстве в постсоветский период.

Религиозное возрождение в постсоветской России также имело важное территориальное измерение и было «вписано» в контекст регионализации. При этом значимость конфессиональной компоненты в российском культурном пространстве, по сравнению с советским периодом, когда сама сфера религиозного сознания и религиозной деятельности была сужена, выросла многократно. Вместе с тем, пережив в XX веке ускоренную модернизацию общества, приведшую к деструкции традиционалистских ценностей, институтов и сознания, Россия стала качественно иной страной – урбанизированной и преимуще-

ственно секулярной. Поэтому даже быстрый «ренессанс» конфессий, разнообразных религиозных практик и религиозной инфраструктуры в России на рубеже XX–XXI веков не мог привести к восстановлению прежних конфессиональных структур (в том числе и в пространственном измерении) и, тем более, их прежней значимости.

2.1.2. Культурный регионализм в России: в чём его специфика, какова его динамика?

Ю. Н. Гладкий

Наиболее яркое отражение проблема культурного регионализма в России нашла в работах В. Н. Стрелецкого. Но нередко «дьявол кроется в деталях». Если исходить из творческого наследия Бердяева, Ключевского, Соловьева и др., то, действительно, можно делать вывод о том, что «культурный регионализм в России формировался в условиях более гомогенного, чем в Западной Европе, физико-географического пространства, и что культурные районы в России обычно слабее привязаны к своей природной основе». Но ведь российские просторы не ограничиваются Русской равниной, к которой апеллировали авторитетные историки. А применим ли подобный вывод к «ущельевым» культурам Северного Кавказа, циркумполярным культурам, культурам южносибирских и дальневосточных народов – это большой вопрос. Эти территории по занимаемой площади отнюдь не меньше Западной Европы.

Спорен тезис о более слабой привязанности культурных районов в России к своей природной основе, хотя бы из-за его несоответствия аксиоматическому утверждению, что этносы в силу стадияльного запаздывания в социально-экономическом развитии сохраняют более жесткие и прямолинейные связи с природной средой. Напрашивается парадоксальный вывод, что культурные районы в России слабее привязаны к своей природ-

ной основе, потому что они находятся на более высокой ступени развития (?).

Трудно разделить также тезис глубоко уважаемого нами Владимира Николаевича Стрелецкого о том, что «роль культурных границ в российском пространстве менее значима, чем в германском пространстве». Ведь сам автор пишет о том, что «культурные рубежи в России ...приобретают отчетливый характер, главным образом, в местах этнических разломов», но подобного известному российскому разлому – в Западной Европе пока не существует. Отсюда «значимость» depends on circumstances.

А. Г. Дружинин

Важно изначально признать: феномен культурного регионализма осмыслен и исследован в России крайне слабо; огромная (и разная!) страна не «видит» (и по многим причинам в настоящее время лишена способности увидеть) «палитру» напластований своей геоистории, фактического этнокультурного многообразия, разноскоростной (и разнонаправленной) культурно-территориальной динамики. Российская общественная география (её «культурная» составляющая) выступает «виновником» данной ситуации в той же мере сколь и её жертвой. Вопрос полномасштабного и внятного культурного районирования Российской Федерации (равно как и адекватного современным реалиям экономического районирования страны) не может быть успешно решён усилиями отдельных (пусть даже весьма квалифицированных) экспертов: необходимо инструментально и информационно «оснащённое», действующее в унисон сетевое профессиональное сообщество; нужны исследовательские стационары, масштабные (и многолетние) социологические замеры, экспедиции, тщательный анализ информационного (Интернет, СМИ, художественная литература и др.) контента. Это требует иного (чем ныне) уровня нашей внутрикорпоративной сплочённости и профессиональной компетентности и, разумеется, другого масштаба инвестиций в познание географии Рос-

сии. Столь же существенно и преодоление доминирующей ныне тупиковой, пагубной для отечественной общественной географии установки на «принижение» проблематики общества, его культуры, а также укореняющейся практики фактической подмены познания и целенаправленного изменения общественно-географической реальности конструированием и воспроизводством её искажённых и упрощённых образов, используемых в социально-политических манипуляциях.

А. Н. Пилясов

Еще в школе нас учили, что по диалектам можно изучать различия российских мест. Но вот теперь никто уже почти и не вспоминает про диалекты, настолько мало осталось в стране мест, не взвихренных миграционными потоками.

Два тренда явственно обозначаются одновременно в современном российском пространстве: глобализация и локализация. Однако сила их проявления разная в разных регионах России. Есть места слабой глобализации, но сильной локализации, социальной укоренённости. Есть, наоборот, места, где сильно влияние глобальных факторов и существенно слабее проявляют себя локальные факторы.

Главная специфика в России – культура абсолютно не стала активом регионального развития. Нигде ни в Европе, ни в США, Канаде, Австралии в такой степени нет разорванности факторов местной культуры и местного бизнес-развития. Поэтому культур-технологии и культур-технологи, которые способны грамотно соединить потенциал региональной культуры, ее активов и местного развития, – на вес золота. Они же, нередко, и родители новых направлений местного развития и местных видов экономической деятельности – силами малого бизнеса.

При том, что в российских местах и местечках культурных ресурсов пруд пруди под ногами – усилий по их коммерциализации не делается вообще: индикатор – мизерное развитие внутреннего туризма в стране, которая остается земляничной поляной человечества и уже поэтому имеет естественную для

него привлекательность. Культурный регионализм не стал экономическим активом, но существует лишь втуне, во лбах яйцеголовых интеллектуалов.

Поэтому динамику культурного регионализма вижу в его выходе из тени, из современного маргинального состояния – к рыночному потребителю в лице российского и иностранного туриста. Как можно судить по опыту других федераций, фактор больших пространств не является препятствием для коммерциализации культурного потенциала: т. е. нельзя списать наше неумение превращать культуру в актив экономического развития на большие необустроенные пространства России. Инфраструктурная необустроенность, конечно, тормоз, но еще больший тормоз – технологическое, техническое неумение, незнание алгоритмов, как нужно это делать. Здесь передовой опыт, передовые зарубежные практики могут и должны помочь.

В. Н. Стрелецкий

Прежде всего, отмечу, что регионализация культуры протекала в историческом ядре России в условиях более гомогенного, чем в Западной Европе, физико-географического пространства. Поэтому *культурные районы* в Европейской России (особенно в пределах Восточноевропейской равнины) в целом *слабее привязаны к своей природной основе*, чем в зарубежной Европе.

Роль *культурных границ* в российском пространстве менее значима, чем в зарубежной Европе. Культурные рубежи в России, в целом, более размыты и приобретают отчетливый характер, главным образом, в местах *этнических разломов*. Вместе с тем, для России, особенно для ее европейской части, очень большое значение имеют *ядра типичности* культурных районов. В этой связи культурные районы маркируются не столько четко выраженными границами, сколько переходными зонами, зачастую довольно обширными.

Исторически для России была характерна иная, чем в Западной Европе, *«модель» освоения пространства*. Характерная особенность русского сознания – ориентация на экстенсивный

способ освоения территории: чаще «вширь», чем «вглубь». В отличие от многих европейских стран, генезис культурных районов в России (особенно в пределах обширной полосы колонизации новых земель) происходил на сравнительно слабо, часто лишь фрагментарно освоенном и заселенном пространстве.

Влияние процесса колонизации новых земель на развитие культурного регионализма в России было двояким и крайне противоречивым. С одной стороны, недостаточная «укоренённость» колонистов на новых землях, их высокая миграционная подвижность, незавершенность процесса «обустройства» переселенцами ареалов своего проживания выступали существенными факторами, в известном смысле *сдерживавшими, тормозившими, замедлявшими регионализацию культуры* в полосе нового освоения.

С другой стороны, освоение новых земель переселенцами из исторического ядра России расширяло среду и сам спектр этно- и социокультурных взаимодействий в полосе колонизации. Взаимодействие русских колонистов с местными (аборигенными, автохтонными) народами стало мощным фактором, *предопределившим глубокое культурное своеобразие новоосваиваемых земель.* Однако при этом разреженность социокультурных связей в районах «поздней» русской колонизации затрудняла взаимную аккультурацию отдельных этнических и региональных сообществ (как формальную, так и материальную), что отчасти благоприятствовало сохранению архаических укладов, но тормозило культурную модернизацию и инновации.

2.1.3. Культурный потенциал российских территорий (регионов, городов, сельских поселений); утрачивается ли он, либо, напротив, сохраняется; каковы возможности его использования в решении задач социально-экономического развития территории?

А. Г. Дружинин

Проблематику культурного потенциала в России невозможно рассматривать в отрыве от её демографической динамики, ми-

грационных процессов, эволюции системы расселения, трендов глобализации, возрастающих межэтнических и трансграничных взаимодействий. Российское общество (в его культурной проекции) ныне транзитивно, динамично и, в этой связи, отдельные «пласты» былого культурного потенциала неизбежно утрачиваются. Параллельно «обнажаются», выходят на авансцену новые существенные для пространственного развития общества явления и процессы. Эффективному воспроизводству культурного потенциала, его использованию в решении задач социально-экономического развития территории, при этом, несомненно, препятствует сложившийся мощный центростремительный градиент («высасывающий» из сельской местности, из малых и средних городов, в целом из провинции, креативную молодёжь и финансовые ресурсы), растущая бюрократическая «зарегулированность» хозяйственной сферы и, в целом, общественной жизни, а также продолжающаяся периферизация подавляющей части российских пространств на фоне нарастающих проявлений их культурной фрагментации.

А. Н. Пилясов

В СССР говорили «наука становится непосредственной производительной силой»; так теперь можно сказать, что культура стала непосредственной производительной силой.

Нужно понимать, что потенциал – это только одна сторона рынка, сторона предложения. Это в советское время считалось, что наличие потенциала уже само по себе автоматически обеспечит развитие территории, поскольку государственные ресурсы по освоению потенциала полагались немереными и бесконечными.

Сегодня мы понимаем, что само по себе наличие потенциала еще ничего не гарантирует и даже не обещает. Развитие начинается с конвертации потенциала в активы. Для этого нужны инфраструктура, технологии, люди, другие ресурсы. Поэтому я бы не акцентировал более внимания на оценках регионально-

го, местного культурного потенциала, понимая, что это способно ввести в мистификацию.

Главный вызов – как вывести потенциал к рыночному спросу на услуги культуры, т. е. как найти интеграторов, механизмы увязки сторон предложения и спроса. Это площадки, люди, институты и другие инструменты создания местных рынков культурных продуктов, услуг культуры. При этом нужно понимать, что рынок услуг культуры абсолютно специфичен и отличается от всех остальных, например, товарных, ближе к знанию по своей природе.

Рассчитывать на прежние инструменты исключительно государственной поддержки культуры и ее потенциала более не получается. Здесь, как и в других вопросах, важнейшая дилемма, на которую нужно дать ответ: какие предпосылки в России к тому, чтобы услуги культуры стали рыночным продуктом, получили возможности коммерциализации, перестали однозначно зависеть от государства. Где, по каким направлениям, в каких пространствах России уже сегодня возможна частичная коммерциализация, т. е. возникновение отдельных рынков отдельных видов услуг культуры?

Какие бы частные вопросы культурной географии мы не рассматривали, мы неизбежно выходим на этот магистральный, этот интегральный вопрос – а можно ли иначе, чем в советское время, когда только государством, раскрепощать культурный потенциал в интересах местного развития? Что, где и как для этого нужно? Здесь многочисленные зарубежные кейсы местного развития нам в помощь. При этом, конечно, нужно признать неизбежные пределы практики строительства рынка услуг культуры – лишь в отдельных участках, областях и видах экономической деятельности. Но очевидно одно: коммерциализация (услуг) культуры возможна лишь при ее интеграции с другими направлениями развития.

Культура из всех направлений социальной сферы обладает максимальной «верткостью», пластичностью, способностью к

интеграции (наведению мостов) с другими направлениями экономического развития – например, в виде бренда, маркетинга территории и др. И это её свойство ей в помощь при попытках превращении услуг и потенциала культуры в актив социально-экономического развития. На меня сильнейшее впечатление произвел «Гранд Макет Россия» в Петербурге как удачный проект коммерциализации культуры, культурного наследия, культурных факторов. Считаю, что культурные индустрии в России имеют огромный потенциал роста, и ближайшие десятилетия это продемонстрируют. Для успеха этой стратегии важно иметь в крупных и средних городах культурные, экспериментальные площадки / пространства, где будут осуществляться проекты конвертации культурного потенциала в актив экономического развития.

Долгосрочный источник жизнеспособности местной культуры – в ее экспансии в разные сферы муниципальной и региональной экономики. Нужно всемерно поддерживать взаимодействие культуры и других видов деятельности в местной экономике, стимулировать поиск и освоение новых сфер и видов сотрудничества. Должно получить развитие широкое понимание местной культуры, только оно позволит этой сфере стать экономически устойчивой.

Например, городская культура включает памятники индустриального наследия, культурные бренды города, которые способствуют продвижению образа города в стране и мире, эстетику театров, административных зданий, жилых домов, архитектурное исполнение уличной подсветки зданий, памятников, жилых домов. Расширяющаяся трактовка городской культуры позволит выйти за рамки просто сохранения отдельных элементов культурного наследия к проблеме сохранения всего культурного наследия индустриальной эпохи, в которое составной частью входят архитектурные памятники, экспозиции краеведческого музея, памятные места города, охранный зона недвижимых памятников истории. От отдельных объектов культуры необходи-

мо переходить к целостной зоне культурного наследия. Такая широкая трактовка городской культуры неизбежно превратит дело сохранения культурного наследия из ответственности одного структурного подразделения мэрии в общее дело многих структурных подразделений, территориального общественного самоуправления в микрорайонах города, некоммерческих организаций города, образовательных и научных учреждений, бизнес-сообщества, всей городской общественности.

Особое место должно занять меценатство, роль которого могла бы сводиться к различным формам финансового участия, вкладам в художественную культуру через создание культурных центров, музеев, выставок, интерьеров и т.д. Необходимо сформировать правовое поле для меценатов, которое бы стимулировало их деятельность по поддержке местной культуры. Финансовой устойчивости местной культуры может способствовать профессиональная подготовка руководителей учреждений культуры по теме «Менеджмент в области культуры и искусства».

В одном из докладов Европейского конгресса Всемирной ассоциации региональной науки (Конгресса 2012 года в Братиславе) были обобщены представления о теоретических моделях, созданных на платформе эндогенного экономического роста, и присущих им факторах – основных драйверах (табл. 6). Данные таблицы свидетельствуют о важной новой тенденции, обозначившейся в европейских региональных исследованиях последнего десятилетия: в возрастающей степени драйверами регионального экономического роста (а значит, и причиной межрегиональных различий) теперь признаются нематериальные факторы знания, культуры, человеческого капитала, предпринимательства и предприимчивости местного сообщества, агломерационного эффекта, институтов и сетей.

Конечно, речь не идет о том, что прежние факторы физического капитала, трудовых ресурсов, производственной инфраструктуры перестают действовать.

Компоненты теорий местного экономического развития
(Taylor, Ersoy, 2011)

Основные факторы-драйверы	Теоретические модели						Креатив- ный класс
	Конкурентное преимущество	Обучае- мые регионы	Гибкая специали- зация	Жиз- ненный цикл	Полюс роста	Сегмента- ция фирмы	
Технологическое лидерство	x	x	x	X	x	X	x
Создание знания и доступ к информации	x	x		X	x		x
Местная интеграция (сети) малых фирм	x	x	x				
Институциональная поддержка и институциональная плотность	x	x	x				x
Человеческий капитал	x	x	x	X			x
Власть (могущество) крупных корпораций				X	x	X	
Доступность рынка	x			X			
Местная специализация	x	x					

Но привнесение факторов нематериальной природы существенно усиливает позитивное воздействие и традиционных драйверов регионального экономического роста; наоборот, их недоучет может значительно ослабить их положительный эффект. Нематериальные факторы регионального экономического роста взаимодействуют не только с факторами материальной природы, но и друг с другом.

Поэтому иногда используемое в работах наших российских коллег жесткое разграничение драйверов регионального экономического роста на факторы первой и второй природы, как будто абсолютно обособленные друг от друга, неверно: на самом деле, в реальной жизни, они тесно взаимодействуют (усиливая или ослабляя совокупный эффект) друг с другом.

В. Н. Стрелецкий

Культурное пространство России, особенно в европейской части страны, к сожалению, стремительно поляризуется. Огромные по площади пространства подвержены депопуляции и стремительно растрачивают культурный потенциал, все более концентрирующийся в небольших зонах относительного благополучия и в крупных мегаполисах. Правда, в долгосрочной перспективе, возможно, этот процесс, нельзя рассматривать только сквозь призму катастрофизма и алармистских настроений. Все гораздо сложнее. Новый виток исторической модернизации всегда предполагал и предполагает в качестве одной из ее предпосылок резкое усиление пространственной концентрации, качественное «расслоение» геокультурного пространства.

В любом случае, качество человеческого капитала будет ключевым условием успешного развития тех или иных российских территорий в течение нескольких ближайших декад XXI в.

Важный, на мой взгляд, аспект сдвигов в российском культурном пространстве в постсоветский период – изменения в пространственной иерархии ведущих культурных центров страны. Данный сюжет заслуживает совершенно самостояте-

льных и фундаментальных исследований. Одно из исследовательских направлений, в области которых уже существуют весомые научные «заделы» в отечественной географии, – расчеты и сопоставление совокупного социально-культурного потенциала центров разного звена пространственной иерархии. Это междисциплинарный исследовательский сюжет, требующий известной синхронизации работ по географии населения (анализ территориальных систем расселения и их динамики) и географии культуры и социально-культурной инфраструктуры. Отечественными географами предпринимались исследования в этой области еще в 1980-е годы (работы В. А. Мячина и др.); с историко-географических позиций такие исследования были проведены С. Я. Сущим и А. Г. Дружининым (в частности, расчет интегрального социокультурного потенциала крупнейших центров первых столетий отечественной истории – с XI в. по XVII в., количественный анализ результатов творческой отдачи отдельных территорий Российской геоэтнокультурной системы в XIX – первой половине XX в. – в имперский и частично уже в постимперский периоды (См.: Сущий, Дружинин, 1994).

Пространственная иерархия культурных центров страны тесно связана с пространственной иерархией системы расселения в целом, но не является простым «слепок» последней. В территориальной системе расселения среди центров одного иерархического ранга (звена) один из них может иметь выдающееся значение как культурный центр и довольно скромное значение как центр, к примеру, экономический; другой – наоборот, и т. д. Тем не менее, в конфигурации каркаса обеих территориальных систем сходства больше, чем различий. При этом они обе формировались на протяжении длительного исторического периода, причем в рамках всей бывшей Российской империи, а затем всего Советского Союза. С распадом СССР за пределами страны оказались не просто многие крупные города, но города – важнейшие культурные центры общенационального значения, включая столицы бывших союзных республик, вы-

полнявшие ключевые социокультурные функции в рамках единой пространственной системы. Как следствие, разрыв между Москвой и Санкт-Петербургом как центрами с наивысшим социокультурным потенциалом и другими городами – крупными культурными центрами в современной Российской Федерации значительно глубже и контрастнее, чем это имело место в Советском Союзе.

2.2. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИДЕНТИФИКАЦИИ, СОХРАНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ

Важнейшими признаками географии как науки являются её системность, ориентация на изучение *территориальности, комплексности и взаимодействия* объектов, расположенных на поверхности Земли, в пределах её географической оболочки. За последние годы заметно усилилась роль географии в изучении наследия. Установлено особое значение наследия в формировании культурного пространства страны, во многом определяющего дальнейшее развитие общества и его жизненной среды. Традиционные объекты географических исследований – ландшафты – вошли в систему культурного и природного наследия как вполне признанные объекты охраны (Культурный ландшафт, 2004; World Heritage, 2012). Их статус закреплён в международных и национальных законодательствах, в частности, в Руководящих указаниях по применению Конвенции о Всемирном наследии ЮНЕСКО, в Европейской ландшафтной конвенции, в федеральном законе РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Недооценка наследия при территориальном планировании, реконструкции городов, трансформации сельской местности, развитии промышленных районов может привести к деградации уникальной природной или разрушению ценной историко-культурной среды и, тем самым, обесценить имеющиеся там ресурсы, отрицательно сказаться на условиях жизни не только проживающего там населения, но и всего человечества. Игнорирование культурных традиционных ценностей, веками складывающихся социокультурных стереотипов может привести к принятию ошибочных решений, что отражается на ходе реформирования хозяйственных институтов, оказывает влияние на эффективность политических преобразований, на успешность правоприменения вновь разрабатываемых законодательных актов.

Наследие представляет собой систему материальных и нематериальных ценностей, созданных и сохранённых нашими предшественниками, универсальная значимость которых признана современным обществом и рассматривается как необходимое условие для жизни будущих поколений (Веденин, 2012). Дискурс рассмотрения наследия в современном обществе достаточно разнообразен и наиболее исследован в западной культуре (хороший аналитический обзор этой темы представлен у Р. Чепайтене, 2010), мы же ограничимся некоторыми научно-географическими аспектами, отражающими актуальные пути выявления, сохранения и использования наследия.

Для выявления объектов наследия необходимо сформулировать систему критериев ценности, соответствие которым служит аргументом для придания объекту соответствующего статуса. Для территориальных объектов наследия система критериев должна отражать их географические особенности. Эта система со временем может изменяться и дополняться, поскольку изменяются наши знания, ожидания и представления о том, что составляет ценность. При создании охраняемых территорий базовыми критериями в 70–80-х годах XX века служили уникальность – разнообразие – репрезентативность, затем к ним добавились сохранность и целостность, а позднее и многие другие показатели, часто соподчинённые между собой. Однако не только одна ценность служит мотивацией к выделению объекта наследия. Уязвимость объекта или территориального комплекса, угроза их утраты во многих случаях служит побудительной причиной для их постановки на охрану. Широкое распространение в последние годы получили критерии, зафиксированные в инструментарии Конвенции о Всемирном наследии (Operational Guidelines, 2008). В их ряду 10 вариантных критериев выдающейся универсальной ценности, часть которых применяется в отношении объектов культурного наследия, часть – к природным объектам. Номинируемый объект должен соответствовать одному или нескольким из этих критериев. Кроме того, установлено несколько

критериев-условий: аутентичность (для объектов культурного наследия), целостность, гарантированная сохранность и отсутствие близких аналогов (это последнее условие подчеркивает географическую исключительность). Своя система критериев действует и при выделении V-й категории охраняемых территорий в системе МСОП – охраняемых ландшафтов. Она включает 8 основных и 5 вспомогательных критериев, отчасти дублирует систему критериев ЮНЕСКО, но более ориентирована на функциональные признаки территорий и обеспечение их экологического использования (Management Guidelines, 2002). Другие принципы положены в основу оценки объектов мирового нематериального наследия – там основная роль отведена критерию уязвимости и процедурно-политическим аспектам (Convention, 2003). Важно и то, что в ряду нематериальных объектов наследия выделены культурные пространства, которые мы рассматриваем как аналоги культурным ландшафтам. Разделение наследия на природное и культурное, материальное и нематериальное – достаточно условная процедура, подчинённая сложившимся ведомственным принципам управления и отраслям знания. Объекты наследия интегрируются в территории, служат элементами географической оболочки, зачастую являясь одновременно природными и культурными, материальными и нематериальными. Поэтому для идентификации ценности любого объекта, определяющего географическое разнообразие земной поверхности, полезно применить единую систему критериев (Кулешова, 2004). Особого внимания заслуживают ситуации, когда весь территориальный комплекс – культурный ландшафт – рассматривается в качестве феномена наследия.

Обобщённая система критериев ценности природного и культурного наследия:

1. *Общественное признание объекта шедевром творения – творческого гения человека, творческих сил природы или, для культурного ландшафта, – сотворчества человека и природы, приумножающего или преобразующего красоту,*

разнообразие, продуктивность и комфортность ландшафта. В системе критериев ЮНЕСКО по культурному наследию выделяются шедевры творчества, а по природному наследию – феномены исключительной красоты и эстетической ценности. Эти критерии могут рассматриваться как близкие аналоги.

2. *Яркость, наглядность эволюционных процессов или процессов культуuroгенеза, демонстрирующих ряд последовательно меняющихся состояний системы, включая эволюционные скачки, технологические и технические нововведения.* В культурном ландшафте особую ценность могут представлять пространственно-функциональные ряды, позволяющие проследить направленную эволюцию геосистем от естественного природного до окультуренного состояния, проследить особенности приспособления создаваемых архитектурных и инженерных сооружений и форм природопользования к природным условиям, а природных биоценозов – к направленному антропогенному воздействию.

3. *Выраженность, репрезентативность (полнота представленности) природного либо культурного процесса, объекта или явления в отношении эволюции Земли и её регионов, развития национальных и мировой культур, ретроспекции определённой исторической эпохи.* В системе критериев ЮНЕСКО этот показатель непосредственно учитывается при оценке культурного наследия, а именно культурной традиции, технологии, типа застройки, форм землепользования. В отношении к природному наследию он учитывается лишь косвенно, через иллюстрацию основных этапов истории Земли и важных экологических или биологических процессов. Для культурного ландшафта критерий может применяться в отношении к его пространственной организации, компонентному составу, технологиям (способам) освоения территории.

4. *Историческая феноменальность, или важное историческое свидетельство, иллюстрирующее определённый этап истории, исторически значимый для природы и общества*

процесс, событие или явление. В системе критериев ЮНЕСКО этот критерий в разных формулировках фигурирует при оценке как культурного, так и природного наследия. Особенно значим он для культурного ландшафта, «запечатлевающего» исторические события, фиксирующего их в своем компонентном составе или структуре. Понятие палимпсеста всё чаще используется в применении к ландшафту и позволяет учитывать и географически опосредованную изменчивость ландшафта, и его консерватизм, позволяющий сохранять свидетельства истории.

5. *Наличие условий и местообитаний, имеющих ключевое значение для сохранения природного и культурного разнообразия, в том числе особо ценных природных и культурных феноменов, находящихся под угрозой исчезновения.* В системе критериев ЮНЕСКО данный критерий применяется только для оценки природного наследия и ориентирован на биоразнообразие, хотя актуальность его для культурного наследия несколько не меньше. Для культурного ландшафта этот критерий особенно значим, так как последний зачастую представляет собой уникальные «места обитания» какой-либо культурной традиции и является средоточием различных типов культуры.

6. *Таксономическая уникальность, то есть исключительная редкость определённого типа или класса объектов.* Она может быть обусловлена изменением или нарушением условий окружающей среды вплоть до уничтожения местообитаний, либо присущей объекту уязвимостью (стенобионтность, узкие пределы толерантности, низкая резистентность, иные проявления эволюционной неприспособленности, социокультурный консерватизм и пр.), либо разрушающим действием времени (археологические памятники). К подобным уникальным явлениям относятся природные и культурные реликты, включая культурные ландшафты. Уникальность всегда предполагает высокую научную и информативную ценность.

7. *Ассоциативная ценность, отражающая связи с историческими событиями, выдающимися личностями, их творче-*

ством, с общественными идеалами и культурными традициями. В документах ЮНЕСКО этот критерий используется для оценки объектов культурного наследия преимущественно в качестве дополнения к другим критериям. Следует подчеркнуть важность данного критерия в связи с тем, что в предложенной ЮНЕСКО типологии культурных ландшафтов выделяются ассоциативные ландшафты. При этом носителями культурной ценности могут быть природные образования (например, сакральные объекты или места творческого вдохновения, зафиксированные в произведениях искусства).

8. *Аутентичность (подлинность) и целостность.* Аутентичность – достоверность, подлинность, сохранённая «чистота происхождения». Согласно принципам ЮНЕСКО аутентичность применяется в отношении весьма широкого спектра характеристик культурного наследия, таких как форма, материал, использование, традиции управления, положение на местности, сопутствующие формы нематериального наследия, особенности восприятия и пр. Целостность – системное единство, сохранность и завершённость. Она подразумевает и достаточность размеров территориального комплекса для обеспечения представленности всех необходимых элементов, вкуче составляющих ценность. Для культурных ландшафтов, исторических городов и других «живых» культурных феноменов должны учитываться их функциональные взаимосвязи и динамика. Для природных территорий экологически адаптированная традиционная деятельность человека может служить дополнением к природным ценностям.

Включение представления о культурном ландшафте как объекте наследия в практику охраны наследия позволяет рассматривать множество движимых и недвижимых памятников истории и культуры, памятников природы, традиционные ценности нематериальной и духовной культуры в рамках единого и целостного культурно-природного комплекса. *Культурный ландшафт – природно-культурный территориальный комплекс, сформиро-*

ровавшийся в результате эволюционного взаимодействия природы и человека, его социокультурной и хозяйственной деятельности и состоящий из характерных сочетаний природных и культурных компонентов, находящихся в устойчивой взаимосвязи и взаимообусловленности. Понятие культурного ландшафта не ограничивается его материальным наполнением. Определяющим его формирование фактором и ведущим компонентом является система духовно-религиозных, морально-нравственных, эстетических, интеллектуальных и иных ценностей, от которых зависит направленность созидательных ландшафтообразующих процессов (Культурный ландшафт, 2004).

Каждый компонент и свойство ландшафтного наследия имеют свою специфику и требуют особых методов исследования. Так, при изучении археологического наследия исключительная роль отводится палеогеографическим методам, например в результате комплексных археолого-географических исследований Куликова поля удалось разработать и приступить к воплощению программ реконструкции исторического ландшафта (Гоняный, 2007). Архитектурные объекты требуют привлечения методов ландшафтного дизайна и применения понятий силуэта, визуальных коридоров, планировочных осей, вертикальной доминанты и пр. Особое значение для поддержания ландшафтных взаимосвязей и идентификации ландшафта имеет звук (Семёнов-Тян-Шанский, 1928), ведь каждый тип ландшафта характеризуется своей неповторимой палитрой звуков. Для описания топологической структуры культурного ландшафта полезным будет использовать представление о топосах (Калуцков, 2008) и языковых образах ландшафта (Соколова, 2007), для уяснения его исторической динамики – ландшафтно-динамические концепции, для проектного моделирования – технологии ГИС (Исаченко, Резников, 1996).

Культурный ландшафт формируется в результате сотворчества человека и природы. Поэтому оба эти «субъекта деятельности» должны быть учтены при сохранении ландшафтов. Благо-

даря действию природных факторов ландшафт является постоянно изменяющейся системой, испытывающей как сезонные, так и длительные многолетние трансформации. Так, например, при сохранении паркового ландшафта невозможно сберечь все первоначальные формы и элементы, которые были в период его формирования или сразу после реализации замысла ландшафтного архитектора. Произошедшие в последующие годы природные процессы коренным образом изменили этот ландшафт. Одновременно в ландшафтную композицию внедрялись новые формы садово-паркового искусства, новые приёмы природопользования. Все эти нововведения обладали определённой исторической и художественной ценностью. Сохранение культурного ландшафта как объекта наследия предполагает использование различных видов деятельности: консервацию, реставрацию и приспособление. Иногда к ним добавляют и реконструкцию, то есть воссоздание утраченных ландшафтов. Однако для того, чтобы сохранить все дошедшие до нас свидетельства истории формирования ландшафта необходимо отказаться от попыток воспроизвести давно ушедшие формы в их полном объёме и пойти по пути формирования музейной экспозиции или через воссоздание реплик, фрагментов, напоминающих о том, что было когда-то. В качестве примера можно привести Бородинское поле, где была восстановлена не вся система исторических фортификационных сооружений, а лишь отдельные её фрагменты. При этом сохраняются истинные свидетели исторического события, элементы ландшафта – поля, холмы, долины рек, панорамные и секторальные пейзажи.

Формирование природно-культурного каркаса географического пространства России – одна из основополагающих задач географии применительно к наследию. *Природно-культурным каркасом называется система наиболее значимых в экологическом и социокультурном отношении структур земной поверхности, ответственных за основные процессы вещественно-энергетического обмена, экологическую устой-*

чивость, социокультурное развитие, ландшафтную дифференциацию и биоразнообразие территории.

Выявление природно-культурного каркаса – ключ к пониманию территориальных взаимосвязей, позволяющий исследователю сосредоточиться на индивидуальных особенностях конкретных территорий, определяющих возможность их устойчивого развития.

Мы рассматриваем природно-культурный каркас во взаимодействии, взаимообусловленности и взаимодополнении его природных и культурных элементов, которые могут исследоваться и как самостоятельные типы каркасов – природный и культурный (Веденин, 1997; Кулешова, 1996; Кулешова, 1999).

Природные структуры каркаса (или природный каркас) на макроуровне, то есть в ранге физико-географической страны или её крупных подразделений, представлены крупными речными долинами, горными хребтами, грядами, увалами, водоразделами, мощными тектоническими разломами, крупными узлами распределения стока, природно-зональными границами, экотонами морских и океанических побережий и т. д. Понятно, что с речными долинами, выполняющими транспортирующие функции, связаны и основные обменные процессы. Высотные барьеры способствуют перераспределению вещества и энергии, высотные градиенты создают поля высоких потенциальных энергий и ландшафтного разнообразия. Вдоль линий тектонических разломов наблюдаются интенсивные геохимические процессы; с ними нередко связаны месторождения различных минералов, выходы минеральных вод. В таких местах формируется особая геофизическая обстановка — здесь земная кора «дышит». Географические границы высокого таксономического ранга, переходные приграничные полосы и маргинальные зоны в силу высокой контрастности физико-географических свойств окружающей среды либо порогового (с большими амплитудами) характера изменений становятся участками повышенного биоразнообразия, в том числе ценотического, и отличаются

большой интенсивностью различных экосистемных взаимодействий.

Культурный каркас представляет собой территориальную систему иерархически организованных центров инновационной культуры и историко-культурных центров (очагов), объединенных между собой в единое целое через исторически и функционально обусловленные связи. В некоторых случаях центры новаций и традиций совпадают или со временем меняются местами.

Центры инновационной культуры – это основные источники формирования, трансформации и ретрансляции новых идей, технологий, других разработок, питающих всё культурное пространство страны, региона. В определённые исторические периоды в России в роли ведущих инновационных центров выступали различные территориальные объекты. Сейчас это Москва и Санкт-Петербург, а в XIII–XIV вв. это были столицы многочисленных русских княжеств – Суздаль, Ростов Великий, Коломна, Великий Устюг, Белозерск и многие другие. В последующие века роль инновационных центров выполняли крупные монастыри – Троице-Сергиева Лавра, Белозерский Спасо-Преображенский монастырь, Кириллово-Белозерский монастырь и т. д. Начиная с конца XVIII века, в роли инновационных культурных центров выступали дворянские усадьбы.

Историко-культурные центры рассматриваются как актуализированные очаги концентрации культурных ценностей и объектов культурного наследия и традиционной культуры. Особую роль в системе историко-культурных центров играют столичные и другие крупные города – ведущие инновационные культурные центры страны. Так, в Москве и Санкт-Петербурге располагаются замечательные памятники истории и культуры, издавна известные в России музеи, театры, выставочные залы. Среди других крупных историко-культурных центров России – Великий Новгород и Псков – города, которые не просто длительное время конкурировали с Москвой и другими русскими княжествами, а фактически выдвигали альтернативу иного, европейского пути

развития российских княжеств. В малых городах в роли основных ценностей выступают уникальные историко-архитектурные ансамбли, нередко сформировавшиеся ещё в то время, когда эти города были столицами. Среди них Суздаль, Ростов Ярославский, Коломна, Торжок, Великий Устюг и др.

Важную роль в формировании системы историко-культурных центров играют бывшие усадебные комплексы, связанные с историческими личностями, уникальными архитектурными комплексами, созданными замечательными зодчими. К историко-культурным центрам могут быть отнесены объекты, выполняющие роль национальных символов. Это могут быть как природные, так и созданные человеком объекты. Среди них: Плёс Левитана на Волге, озеро Светлояр с потаённым в его глубине по преданию градом Китежем.

Особое место в системе историко-культурного каркаса занимают торговые пути, старинные тракты, волоки, водно-канальные системы и т. д. В настоящее время по многим из них проходят туристские культурно-познавательные маршруты. Характерным примером таких объектов в России выступают Старая Смоленская дорога, Владимирская дорога, Северная Двина и Сухона как трасса первых путешествий европейских купцов в Россию, старые канальные системы (например, Мариинская система) и т.д.

Наиболее ценные историко-культурные объекты и культурные центры в своём распределении взаимосвязаны с природным каркасом и преобразуют его в природно-культурный каркас. Между такими центрами возникают связи, дополняющие или развивающие коммуникативные функции природного каркаса. Это не простая сумма природных и культурных факторов, а действующая полифункциональная система, активно влияющая на характер развития и пространственную организацию всех территориальных подсистем – хозяйственных, расселенческих, инженерно-технических (Культурный ландшафт, 2004).

Узловые структуры природного каркаса представляют исключительный интерес, так как освоение природного ландшафта

культурой начинается именно с таких ключевых местоположений. Большинство культурных центров тяготеет к узлам природного каркаса, а связующая культурные центры дорожная сеть, как правило, сопровождает линейные формы природного каркаса. Характер освоения местности, включения её в культурное пространство будет зависеть от типа узла – от того, какими именно структурами природного каркаса он образован.

Так, при пересечении гидроморфных осей каркаса (речных долин, древних ложбин стока, озёрных систем) возникают поселения, хозяйственные и торговые центры. Аналогом в социокультурных системах могут служить торговые и транспортные центры. Социокультурные аналоги гидроморфных осей – пути сообщения. В ряде случаев сами гидроморфные оси (крупные реки и озёрные системы) служат путями сообщения и осями расселения, то есть это одновременно и планировочные оси, имеющие не только геоэкологическое, но и социокультурное значение.

На контактных природных осях каркаса, на пересечениях различных природных границ и иных контактных зон «сидят» преимущественно особо охраняемые территории, поскольку это зоны повышенного разнообразия — биотического, ландшафтного, культурного. Здесь формируются центры природоохранной, научно-исследовательской и просветительской деятельности. Если же узловая природная структура каркаса дополнена историческими путями сообщения, то там можно наблюдать формирование поселений и концентрацию в них историкокультурных и природно-культурных памятников. Таким образом, в однотипных узловых структурах характер культурного освоения может быть различным — от поселений (потребление предоставляемых ландшафтом возможностей) до заповедников (консервация природных черт, свойств, процессов, информационного потенциала биоразнообразия территорий).

Другим важным инструментом географического исследования наследия выступают методы районирования, методы

территориальной дифференциация страны, её регионов, локальных местностей по историко-географической специфике представленного в них наследия. Среди разнообразных методов районирования, разработанных в различных географических дисциплинах, наиболее адекватным по отношению к культурному и природному наследию, является культурно-ландшафтное районирование (Культурный ландшафт, 2004). Основная цель культурно-ландшафтного районирования – выявление устойчивых территориальных сочетаний культурных и природных объектов, процессов и явлений. Особую роль в этих сочетаниях играют объекты наследия. Культурно-ландшафтное районирование территории России (Веденин, 1997) показало исключительное разнообразие жизненного пространства страны в условиях широких амплитуд колебаний её природных параметров, подтвердило весомую роль этнического самосознания и истории формирования административно-политических единиц, показало распределение потенциала наследия. Хороший опыт культурно-ландшафтной дифференциации территории на микроуровне был получен при составлении первых менеджмент-планов национальных парков «Кенозерский» и «Угра», а также при разработке стратегии развития Бородинского поля — их эффективность доказана временем. Очевидно, что принятие решений должно исходить из особенностей этой дифференциации или хотя бы учитывать её. Основания ландшафтного деления могут быть различны, в зависимости от типа, истории формирования, индивидуальных особенностей территории. Так, в Кенозерье районирование было основано на структуре кустовой поозерной системы расселения, где вокруг расселенческих центров формировались центрические пояса различного типа угодий. В национальном парке «Угра» в качестве ведущего признака был взят характер распределения ролей между различными типами культурного ландшафта (крестьянского, усадебного, монастырского, заводского, военно-исторического, археологического). На Бородинском поле спецификой ландшафтного членения терри-

тории стали исторические события 1812 г. Но во всех случаях историко-культурная специфика накладывалась на геосистемные особенности территории.

Для того, чтобы наследие оказывало активное влияние на современное развитие страны, необходимо иметь специальные институты, которые могли бы реализовать имеющийся в нём потенциал, определённым образом актуализировать его в соответствии с современными потребностями общества. Именно этим целям служит сложившийся в нашей стране институт музеев-заповедников, национальных и природных парков, а также природных заповедников (в особенности биосферных).

Благодаря музеям-заповедникам удаётся сохранить целостные историко-культурные и природные комплексы, включающие объекты культурного и природного наследия, историческую застройку старинных городов и исторический ландшафт, духовные святыни и этнографическую культурную специфику национальных территорий и, вместе с тем, развивать на их территории научно-образовательную и традиционную хозяйственную виды деятельности. Благодаря музеям-заповедникам появляется возможность не только сохранить, но и включить в туристский оборот всё многообразие культурного и природного наследия России, материальную и духовную культуру народов Российской Федерации. Именно этим можно объяснить особую туристскую привлекательность музеев-заповедников, тот факт, что именно музеи-заповедники становятся визитной карточкой многих регионов России.

Особую роль играют музеи-заповедники в сельской местности, в русской провинции. Так, например, Русский Север известен, прежде всего, благодаря музею-заповеднику Кижи в Карелии, Соловецкому музею-заповеднику в Архангельской области и Кирилово-Белозерскому музею-заповеднику в Вологодской области. Сельская местность Центральной России привлекательна своими литературными музеями-заповедниками. Это музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в Псков-

ской, музей-заповедник Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» в Тульской, музей-заповедник М. Ю. Лермонтова «Тарханы» в Пензенской области, музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» в Орловской области, музей-заповедник С. А. Есенина в Рязанской области (Культурное наследие России, 2005).

Особую роль играют музеи-заповедники в решении задач по реабилитации малых исторических городов. Благодаря музеям-заповедникам заметно возрастают масштабы туристского использования малых городов. Комплекс историко-культурного и природного наследия малого города – это специфический и очень важный экономический ресурс региона, он может и должен стать не только важным фактором духовной жизни, но и основой особой отрасли специализации, одним из перспективных направлений стимулирования социальной политики и развития местной экономики (Шульгин, 2004).

Вместе с тем следует отметить, что большая часть музеев-заповедников сосредоточена в Европейской части России, в основном, в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В то же время на огромной территории Сибири и Дальнего Востока их практически нет. Почти половина субъектов Федерации вообще не имеют на своей территории ни одного музея-заповедника. При этом возникает парадоксальная ситуация. В соседних с Московской, Тверской и Калужской областях, где сосредоточено множество исторических городов, каждый из которых обладает большим числом памятников, где можно увидеть россыпь усадебных ансамблей и монастырей, нет ни одного музея-заповедника. С другой стороны, в одной только Республике Татарстан действует шесть музеев-заповедников.

По данным на начало 2014 г. в России действовали 102 природных заповедника и 47 национальных парков. Они имеют относительно равномерное географическое распределение и достаточно высокую плотность на основной части европейской территории страны, что связано с её высокой освоенностью;

ведь выявление и постановка на охрану объектов наследия, как было отмечено, определяется не только критериями ценности, но и уязвимостью территориальных комплексов. Вдоль Урала эти формы охраны наследия образуют явную концентрацию – не только в связи со значимой морфометрической структурой, но по месту прохождения важного исторического и культурного барьера. За Уралом федеральные охраняемые территории тяготеют к крупным приморским экотонам вдоль арктических морей и восточной оконечности евразийского континента, а также к горным барьерам юга Сибири, Дальнего Востока и тектонической впадине Байкала с окрестностями.

Методически наиболее интересны те национальные парки, в которых природно-культурный континуум наследия выражен ярче, где выделяются культурно-ландшафтные комплексы наследия. Так, на крайнем севере страны, в национальном парке «Русская Арктика» наряду с популяциями белых медведей, северных оленей, крупнейшими птичьими базарами, лёжками многочисленных ластоногих, территория хранит следы первооткрывателей Севера (в частности Баренца, Русанова, Седова), далёких экспедиций, часто трагических, изобилует памятниками истории отечественной науки и объектами военной истории. В Сочинском национальном парке, крае водопадов, каньонов и пещер, наряду с уникальными для России рефугиумами колхидской флоры, местообитаниями леопарда и других редких видов биоты, находятся уникальные археологические комплексы дольменов, руины древнехристианских храмов, свидетельства древнего расселения и природопользования. Национальный парк «Берингия» включает сегодня ключевые местообитания ластоногих, китов и птиц, но он начинался с регионального этно-природного парка, в котором ведущими задачами были не только охрана биоты, но сохранение уникального этнического (эскимосов и чукчей) и археологического наследия, культуры древних охотников; в нём находятся места традиционного природопользования и святилища северных народов, включая

всемирно известную Китовую аллею. В границах территории национального парка «Угра» в центре европейской России – не только уникальные реликтовые широколиственные леса и эндемичные виды биоты, но и монастыри (Оптина пустынь, Шамординский монастырь); река Угра в своём нижнем течении получила название Пояса Богородицы – здесь остановились орды хана Ахмата, что ознаменовалось массовым строительством богородичных храмов по Угре. Озеро Байкал, известное своими уникальными гидробионтами, запасами и чистотой своих вод, биоразнообразием окрестных экосистем в границах целого ряда заповедников и национальных парков, одновременно является основным культовым объектом бурятского народа; окружающие его уголья плотно «заселены» персонажами локальных культов, здесь сохраняются древние традиции номадической культуры. Природный заповедник Шульган-Таш в Башкирии известен не только своими природными достоинствами, но наскальными палеолитическими росписями Каповой пещеры и традициями бортничества, позволившего сохранить здесь уникальные местообитания бурзянской бортовой пчелы.

Использование наследия в большинстве случаев связывают с туризмом, о чем уже говорилось. Но этот ресурс принадлежит также сфере интересов научно-исследовательской и дидактической деятельности. Они не приносят больших коммерческих выгод, но от них зависят жизнеспособность современного поколения и его гражданское достоинство. Кроме того, проживание в наследии и среди наследия есть личный выбор каждого, и демократическое общество не должно исключать возможность такого выбора для обеспечения своей собственной устойчивости. Россия обладает исключительными богатствами ресурсов наследия, географические закономерности распределения которого помогает уяснить концепция культурного ландшафта. Ландшафт является и объектом наследия, и методологическим основанием исследований, которые ещё далеки от завершения и ждут новых интересных гипотез.

2.3. К НОВОЙ МЕТАГЕОГРАФИИ РОССИИ: ОБРАЗНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Перед нашими глазами гигантские
снежные горы упираются в синеву
неба.

За этими цепями – другие – уже по
ту сторону границы – в Китае.

Горы располагают к созерцанию.

На наши горные цепи с другой
стороны столетиями глядели
китайские мудрецы.

Горы располагают к размышлению.

Есть горизонт у каждого предмета,
и он не обязательно внутри
него, а может быть снаружи.

Не потому ли кажется луна
намного ближе, скажем, чем

Байкал –

ведь за Уралом все как будто
рядом –

поскольку он далек от нас, как
миф?

*Сергей Эйзенштейн. Предисловие
к английскому изданию «The Film
Sense»*

Иван Жданов. Завоевание стихий

Большие пространства вестибулярны...

Павел Жагун. Пыль Калиостро

Идеологический проект глобализации, который должен был заменить расшатанные устои мира модерна, оказался пока – к началу XXI века – не в состоянии «скрепить», поддержать или же сохранить остатки единого, господствующего в большинстве региональных и локальных сообществ, дискурсивного пространства – несмотря на развитие таких мощных сопутствующих дискурсов и концепций, как постмодернизм, постколониализм и мультикультурализм, а также введение в социокультурные дискурсы глобализации понятия глокализации (Р. Робертсон). Основная когнитивная проблема проекта глобализации заключается в бессознательном (или же подсознательном) стремлении к достижению тех целей проекта модерна, которые – так или иначе – не были полностью достигнуты к началу XX века, хотя их достижение считалось в то время практически возможным, а социокультурные и экономические тенденции фиксиро-

вали наличие условий для их достижения (явление так называемой первоначальной глобализации конца XIX – начала XX века (Синцеров, 2000)). В связи с этим, некоторая архаичность проекта глобализации сказывается прежде всего в предположении о возможности социокультурной синхронизации развития совершенно различных пространств, регионов и территорий, которые, однако, конструируют, продуцируют свои, не связанные прямо с другими, образы и представления, распространяющиеся за пределы их собственных физико- и политико-географических границ (Culture, Globalization, 1997).

Ментальная и образная множественность земных пространств может быть представлена понятием *сопространственности*, впервые предложенным ещё немецким консерватором-романтиком Мартином Мюллером (Ионин, 2000). Это понятие было вытеснено понятием *современности* и прочно забыто. Идеологическая ситуация начала XXI века способствует возрождению этого понятия и его потенциально активному использованию в целях выявления возможных условий когнитивного построения взаимодействующих междискурсивных и междивизиационных пространств.

Интерпретация образа соппространственности связана с идеей о множественности и уникальности самих времён, развивающихся как бы внутри отдельных воображаемых пространств – будь то пространство западной или буддийской цивилизаций, пространство междивизиационного лимитрофа – например Кавказа, – или же пространство какого-либо сетевого сообщества, физическое пребывание членов которого может фиксироваться совершенно различными точками / координатами традиционного географического пространства. Отдельные времена могут не сходиться и даже расходиться – как это происходит с временами западной и исламской цивилизаций; признание подобного феномена должно быть исходным топосом для ментального или социокультурного окончания проекта модерна и, также, – для конструирования нового идеологи-

ческого проекта, ориентирующегося не на *со-временность*, но на *со-пространственность*. Именно переплетающаяся и взаимопроникающая сопостранственность западной и исламской цивилизаций показывают всю анти-современность, не-современность или а-современность взаимодействия этих цивилизационных дискурсов, сохраняющих глубокие ментальные следы их сакрально-религиозных оснований.

Вообразить Россию: к онтологии проблемы. География воображения, имагинальная, или образная география – ментальное порождение эпохи модерна в самом широком смысле; постмодерн лишь по-настоящему осознал эту проблематику – в отличие от предыдущей исторической эпохи – и «перевел игру в миттельшпиль», то есть заострил самые важные и существенные вопросы в рамках образно-географического мышления. По сути дела, в контексте процессов глобализации / глокализации / регионализации – как бы к ним ни относиться – страна, регион, территория могут существовать и очень часто фактически уже существуют в разнообразных коммуникативных и коммуникационных полях как мощные или слабые, сложные или простые, широкие или специализированные виртуальные образы, от продвижения, развития, формирования которых непосредственно зависят политика, экономика, социальные отношения, культурные репрезентации страны или территории (Замятин, 2006). Мы склонны употреблять здесь понятие географического образа – постольку, поскольку именно конкретное географическое пространство, со всеми его социокультурными, художественными, политико-экономическими коннотациями задаёт в основном параметры, условия репрезентации и интерпретации практически всех возможных в данном месте и в данное время дискурсов.

Нет сомнения, что постмодерн и соответствующие ему социокультурные процессы глобализации «работают» с множествами, множественностью, вариативностью – как категориями и конструктами, обеспечивающими наиболее адекватное

историко-географическое видение (Хардт, Негри, 2006; Bauman, 2000). Иначе говоря, в типологическом плане мы можем говорить о некоей единой образной географии страны или региона, но в феноменологическом аспекте приходится говорить о некоторых множествах образных географий, описывающих и характеризующих онтологическое состояние и событие страны (Soja, 1990). Если задаться классическими сюжетными постановками в рамках субъект-объектных отношений и диспозиций, то приходится заметить, что именно поле фактически субъектных образных географий стремится к условной феноменологической оптимизации в виде нескольких признанных, хорошо «пригнанных друг к другу» и широко представленных господствующими коммуникативными способами географических образов, постоянно воспроизводящихся в контекстах тех или иных властных дискурсов. Иначе говоря, образные географии страны могут как бы разбежаться благодаря все новым и новым, чаще всего индивидуальным или узко групповым социокультурным репрезентациям и творческим актам, и, одновременно, сгущаться, собираться, сосредотачиваться некими ментальными, знаково-символическими «сгустками», прото-ядрами, чье существование может обозначать некую условную волю к образам (иногда хорошо просматривающуюся *postfactum*, но, по большей части, являющуюся своего рода констелляцией отдельных знаково-символических усилий).

Не отвергая, а, по сути, развивая цивилизационное видение и цивилизационную интерпретацию такой постановки вопроса, сконцентрируем наше внимание на способах дискурсивных построений, обеспечивающих определенное «волновое» представление образных географий страны – в нашем случае России. Базовые цивилизационные установки в отношении России представляют собой, с нашей точки зрения, концептуальный консенсус, состоящий из трех основных положений: Россия является достаточно автономной цивилизацией; Россию можно рассматривать как цивилизацию-спутник европейской цивили-

лизации, многим обязанную именно европейской цивилизации; Россия вполне вообразима как цивилизация-государство, в рамках которой подавляющее большинство возможных социокультурных и политико-экономических дискурсов осмысляются посредством перевода в доминирующие способы репрезентаций как государственные, «государственнические» или парагосударственные (Россия как цивилизация, 2007). Исходя из этого, воображение пространства России и в России связано, безусловно, с проблематикой европейских дискурсов воображения пространства (Саид, 2006; Нойманн, 2004; *Beyond the Empire*, 2008); власть и образы пространства в России чаще всего объединены достаточно типовыми репрезентациями и дискурсами государственного или парагосударственного характера; наконец, главный вопрос воображения пространства России состоит в следующем: как российская цивилизация-государство может обеспечить, создать, поддерживать достаточно автономные образно-географические дискурсы, идентифицирующие ее цивилизационную уникальность, дистанцирующие ее от других цивилизаций, и – легитимирующие ее как коммуникативную целостность в мировом пространстве цивилизаций?

Что же значит вообразить Россию? Россия сама по себе не является сколько-нибудь значимым образно-географическим проектом для тех или иных социокультурных сообществ – на ее государственной территории или за ее пределами. В то же время Россия не является масштабной знаково-символической конструкцией, создаваемой на базе неких общих, генерализованных представлений об ее географии – физической, экономической, политической, культурной. С нашей точки зрения, вообразить Россию – значит вообразить «разбегание», расширение, всевозможные трансформации и взаимодействия тех географических образов, которые создаются, строятся, разрабатываются, творятся как исключения из общих географических предпосылок представления о России; иными словами, чтобы вообразить Россию, нужно упаковать, свернуть, сосредото-

чить все возможные экзогенные географические представления максимально плотно в знаково-символическом смысле, и, тем самым, попытаться породить, с помощью «образного сжатия» и, может быть, «образно-географического взрыва», новые образно-географические дискурсы, не учитывающие в своем генезисе и развитии существования друг друга – они сосуществуют, они «видят» друг друга, но лишь в том пространстве, которое они создают своим собственным «разбеганием» друг от друга, своей собственной – неуничтожимой и неотменяемой – метапространственной трансверсальностью.

Что же является той ментальной «меткой», которая поможет нам обнаружить подобное образно-географическое «разбегание» и, следовательно, так или иначе, попробовать вообразить Россию? Мы можем рассчитывать в данном случае на понятие и образ Северной Евразии: как понятие, Северная Евразия «узаконена» традиционными географическими схемами и картографическими проекциями видения мира; как образ, географический образ, Северная Евразия до сих пор является полупустым отображением вполне европеизированных и односторонних, однонаправленных знаково-символических конструкций, призванных хоть как-то описать *tabula rasa* малочисленных коренных народов, чьи географические образы практически либо не репрезентируемы, либо не репрезентированы в рамках внешних по отношению к ним коммуникативных дискурсов (Замятин, 2004; Слёзкин, 2007). Но речь не идет о том, чтобы просто заполнить какой-то пустой «образный ящик», ранее плохо использованный и маркирующий условное и безразмерное географическое пространство; следует говорить о том, что образные географии России – коль скоро они могут быть представимы и могут развиваться как самостоятельные ментальные поля – должны быть «озабочены» Северной Евразией как потенциальным ментальным пространством локальных мифологий и мифологических конструкторов синкретического толка и «назначения»; в то же время, Северная Евразия может быть очень

органичной, ёмкой когнитивно-географической оболочкой, когнитивно-географическим контекстом для многих образных российских географий, развивающих свою «северность» и «евразийскость» как некие вполне онтологические характеристики – без особого риска попасть в «прокрустово ложе» знаменитого образа России–Евразии 1920–1930-х гг.

Цивилизация географических образов. Пытаясь акцентировать внимание на проблематике условной ментальной воли к образам / географическим образам, приходится задуматься о той цивилизационной специфике России, которая, возможно, не описывается отмеченными ранее концептами. В сущности, пространство российской цивилизации – в той мере, в какой оно представимо в рамках любой социокультурной манифестации или репрезентации – обладает онтологической двойственностью: оно вполне образно и содержательно может быть описано и охарактеризовано внешними «наблюдателями» из иных, хотя бы и соседних, цивилизаций и культур; в то же время, оно может быть описано «изнутри» как пространство предстоящее, как бы еще незанятое и пустое – как пространство, постоянно ждущее «воли к освоению», и это освоение пространства становится часто некой постоянной онтологической модальностью; российское пространство повсеместно находится, пребывает в стадии перманентного освоения, и тем самым, оно осуществляется в образном плане как пространство перехода и как лиминальное, пограничное, фронтирное пространство (Замятина, 1998). Подобная пространственно-цивилизационная фронтирность может показаться вполне типологическим случаем – в сравнении, скажем, с латиноамериканской цивилизацией (Сea, 1984; Сравнительное изучение цивилизаций, 1998) – однако, слишком, может быть, затянувшаяся в масштабах европейского цивилизационного времени фронтирная история России (чего, кстати, всё же нет в рамках латиноамериканской цивилизации, там фронтير укладывается во вполне западные по происхождению образы его преодоления и переживания) может подска-

зять нам, что внешняя фронтирность российских пространств – признак, возможно, совершенно иного типа цивилизационного осмысления и воображения собственного пространства.

Похоже, что, по крайней мере, со второй половины XIX века (хотя первые социокультурные симптомы могут относиться и к первой половине XIX века) российская цивилизация вырабатывает всё же постепенно определённые специфические географические образы, которые, с одной стороны, уже не являются простым продолжением и расширением европейского воображения (коим устойчиво «питалась» и воспроизводилась Россия весь XVIII век), а, с другой стороны, фиксируют постоянную ситуацию ментального «оконтуривания» условно пустых пространств, предполагаемых в будущем к освоению. Именно эта ментальная «неоконченность», незавершенность географических образов становится, видимо, в течение всего XX века «фирменным знаком» российских пространств, подтверждая тем самым их несомненную «российскость». Надо ли говорить, что географические образы неосвоенных / слабоосвоенных пространств вполне органично воспроизводились как по преимуществу образы Сибири и Дальнего Востока (реже – Урала и Русского Севера), что становилось серьёзной цивилизационной проблемой России, остававшейся в своём «государственническом» самосознании много западнее – как бы запаздывавшей в своей геоисториософии (Замятин, 2007)?

С большой уверенностью можно было бы говорить о конкретной цивилизационно-образной «шизофрении» России, если бы только по-прежнему доминировали и господствовали социокультурные представления европейского / западного Модерна. Однако когнитивная ситуация Постмодерна оказывается благоприятной для анализа ментально-цивилизационных «расщеплений», разделений и сосуществований, ибо само пространство становится предметом многочисленных пространственных спекуляций (Слотердаjk, 2007) – в силу чего географические образы могут рассматриваться как несомненное сви-

детельство цивилизационной идентичности уже сами по себе, вне жесткой зависимости от каких-то других цивилизационных признаков. Между тем, традиционные цивилизационные признаки, продолжающие устойчиво воспроизводиться какими-либо локальными сообществами (например, вполне ортодоксальные для России имперскость и православие), существуют в параллельных ментальных мирах, порождая параллельные образно-географические и ментальные карты.

Будущее становится идеей, получающей свои географические образы и представления – таков один из предварительных выводов Постмодерна. Россия, часто воображавшаяся уже в эпоху Модерна как страна будущего, начиная с Лейбница (причём это был по преимуществу европейский дискурс, с той или иной степенью успешности и оригинальности воспроизводившийся отечественными мыслителями), становится, так или иначе, цивилизацией географических образов – таких образов, которые призваны как бы вновь и вновь пересоздавать пространства, не поддающиеся строгому и последовательному ментальному картографированию Модерна (Вульф, 2003). Возможно, основная цивилизационная сила и одновременно цивилизационная специфика России заключается в моделировании географических образов, выходящих за пределы традиционного пространственного воображения других цивилизаций – «пусковым крючком» выявления подобной цивилизационной специфики стал Постмодерн.

Что же есть тогда Северная Евразия как пучок географических образов, долженствующих представить цивилизационную специфику России в её максимальной полноте и целостности? Это в любом случае пространство, не мыслимое Европой как самодостаточное и автономное – не в силу какой-то ментальной невозможности помыслить такое пространство, но по причине отсутствия устойчивой ментальной необходимости; образ Великой Тартарии был минимально необходим европейской цивилизации и в то же время достаточен ей для расширенно-

го воспроизводства собственной идентичности, в рамках которой картезианские образы пространства играли хотя и важную, но не самую главную роль (Замятин, 2004). Ментальный экран китайской цивилизации, оказывающийся мощным «противоходом» для чисто европейского воображения (Гране, 2004; Кобзев, 1988; Малявин, 1995; Воскресенский, 1999; Фишман, 2003), позволяет говорить о том пространстве, которое «проскакивается» и «не замечается» Европой / Западом, и, одновременно, довольно безуспешно, «втягивается» в пространства Восточной и Юго-Восточной Азии.

Образно-географическое пространство Северной Евразии, возможно, открывается в рамках Постмодерна как метапространство, предоставляющее принципиально новые способы и дискурсы воображения; аналогия слишком прозрачна, однако открытие Америки также действительно изменило европейские дискурсы пространственности, обеспечив тем самым саму возможность разворачивания Модерна (Кайзерлинг, 2002; Бодрийар, 2000; Аинса, 1999). Как бы то ни было, даже виртуальное возникновение таких параформальных географических образов, как Северо-Евразийская республика или же Северо-Евразийская Федерация, может помочь российскому цивилизационному воображению «сбросить», переработать образный балласт Модерна, сняв вполне чуждый и запоздавший национализм как когнитивное излишество распадающегося Модерна. Пучок географических образов Северной Евразии вполне может мыслиться как метапространство без строго национальных / националистических маркеров, как метапространство, собирающее признаки, символы, знаки «трудных пространств» (термин Вадима Цымбурского, 2006) и тем самым как бы предлагающее идентифицировать себя с определённой цивилизацией – здесь и сейчас. Иначе говоря, собственно конкретный пространственный опыт в его образно-географических результатах, версиях, манифестациях и может предстать в условиях Посмодерна как потенциал вновь развёртывающейся цивилизации.

По сути дела, даже образ самой российской цивилизации может быть, в конце концов, представлен как необходимая пространственная транзакция (Замятин, 2006), посредством которой обретается, производится в ментальном плане метапространство Северной Евразии, чей дискурс в постмодернистском ключе может оказаться вне каких-либо цивилизационных рамок или натяжек, свойственных эпохе Модерна. Россия как образ цивилизационного перехода (фронтира) порождает необходимое количество и качество оригинальных географических образов; эти географические образы оказываются ментальной транзакцией, как бы снимающей сам цивилизационный фронтир; благодаря подобной геонимической операции, появляется метапространство, чья дифференциация может быть обусловлена сериями последовательных географических образов, определяющих событийность всех вновь возникающих ландшафтов и региональных идентичностей. Онтология цивилизаций вообще может оказаться в таком случае частной, локальной возможностью когнитивного моделирования ретроспективных географических образов, мыслимых как условно замкнутые ментальные миры.

Евразия как остров-материк. Евразия – материк, чей географический образ требует размещения, соотнесения с другими географическими образами на метауровне, в метагеографическом пространстве. Метагеография Евразии учитывает особенности ее географии – физической, культурной, политической, социально-экономической – однако прямого соответствия здесь нет. Есть определенные автономные особенности и законы метагеографического развития Евразии, тем более что сами термин и понятие Евразии по своей содержательной сути – метагеографические, опирающиеся на мощные геокультурные традиции воображения Европы и Азии в их давних и древних противопоставлениях, нераздельностях, неслиянностях и взаимозависимостях, но следующие в своей онтологической разработке некоей, безусловно, внутренней идее.

Осознание выходящей за рамки традиционной географии идеи Евразии происходит, как известно, в эпоху позднего европейского / западного модерна – сначала благодаря возникновению и концептуальному развитию геополитики, имеющей очевидные, в том числе, империалистические и идеологические корни, а затем благодаря пересекающимся и взаимодействующим с ней гуманитарно-идеологическим утопиям с различными национально-консервативными оттенками как научно-идеологического, так и художественно-идеологического планов. Здесь мы не будем подробно касаться историко-генетического пласта данной проблемы (Цымбурский, 2006; Ларюэль, 2001); наша задача – попытаться исследовать в первоначальном приближении некоторые структурные основания метагеографии Евразии – так, как они могут быть выявлены и / или явлены в контексте концепций и теорий локальных цивилизаций. Следует учесть, тем не менее, что мы не придерживаемся каких-либо жестких классификаций и типологий локальных цивилизаций, предпочитая использовать более или менее устоявшиеся географические образы нескольких вполне зримых в своем феноменологическом облике цивилизационных целостностей.

Главная метагеографическая идея Евразии – так, как она обнаружилась уже в геополитических штудиях первой половины XX века – это идея «мирового острова» или острова-материка. С одной стороны, Евразия, наследуя собственно европоцентристской традиции, мыслилась центральной сушей, ядерным материком Земли, что оправдывалось развитием на ее географической территории большинства крупных и хорошо известных локальных цивилизаций. С другой стороны, период завершения географических открытий, практически покончивший с *terra incognita* на карте Земли, содействовал пониманию относительности географических размеров Евразии на фоне пространственного преобладания океанов (существенно, однако и то, что Евразия уже не могла рассматриваться как фактически единственный, более или менее известный, огромный сухопут-

ный мир, как это происходило в античности, средневековье, да и на стадии раннего модерна; Африка, а позднее Америка еще не могли обладать сколько-нибудь значительным метафизическим «весом» по сравнению с Евразией, спекулятивное воображение которой хотя еще и довольствовалось традиционным бинарным разделением на Европу и Азию, но уверенно развивалось в сторону единых евро-азиатских ментально-мифологических и образно-географических конструкций). Другими словами, Евразия начинает конструироваться как амбивалентный географический образ, трансцендирующий своё содержание в метагеографической плоскости довольно двусмысленно: гигантский, самый большой материк Земли воображается как остров, остров-материк, некое «двупространство» или «бипространство» в онтологическом смысле; он выглядит как своего рода сама прерывистость пространства, явленная дискретно пульсирующим материковым континуумом.

На метагеографическом уровне пространство Евразии оказывается самоподобным, фрактальным: внутри острова-материка появляются образы отдельных островов, материков, иногда сцепляющихся друг с другом опять-таки в острова-материки; можно говорить здесь о метафизических структурах евразийского пространства, ориентированных на достаточно протяженные в историческом времени цивилизации-образы (например, Китай, Индия, Европа, Россия). Вне всякого сомнения, что такие структуры могут рассматриваться как когнитивный аналог современной физической картины мира, складывавшейся в течение последних 100–200 лет – физическое строение материи, принцип дополнительности Нильса Бора и квантово-корпускулярная теория света являются образными, ментальными «лекалами», которые могут служить исходными формами для анализа метагеографии Евразии. Кроме того, конкретная физическая, политическая, социально-экономическая география отдельных районов Евразии может выступать как определенная метагеографическая «подложка», позволяющая в дальнейшем вырабатывать,

представлять устойчивые образы-архетипы, участвующие в метагеографической «игре» на мезо- и микроуровне: так, Англия на протяжении XIX – начала XX века становится благодаря своим имперским достижениям «мировым островом» на микроуровне, неким очевидным метагеографическим фракталом всей Евразии; Индия на протяжении как минимум трех тысячелетий воспринимается как отдельный «материк» – первоначально, конечно, вследствие, своих территориальных размеров, сочетающихся с физико-географическими преградами, как бы охраняющими ее, а затем, благодаря огромному этнокультурному и цивилизационному разнообразию, как бы воспроизводящему на мезоуровне подобное разнообразие самой Евразии.

Китай и Россия в метагеографическом смысле могут быть восприняты как острова-материки: их масштабные цивилизационные целостности воображаются как большие пространства с мощной внутренней социокультурной и политической энергетикой; наряду с этим, обе эти страны-цивилизации периодически выступают как периферийные или пограничные пространства, отделенные от «большого» / остального мира как внутренними центростремительными интенциями, иногда хаотического характера, так и стремлением изолироваться от остального или внешнего мира. Цивилизационное самосознание и Китая, и России во многом можно назвать «центрально-пограничным» – метагеографическая амбивалентность данных цивилизационных целостностей в их диахронии, похоже, хорошо соответствует общей идее Евразии как острова-материки.

Метагеографические водоразделы Евразии. Если попытаться представить себе метагеографическую структуру Евразии исходя из образно-географической дихотомии «остров-материк», то мы можем отчетливо увидеть две метагеографические оси, тянущиеся примерно параллельно друг другу с северо-запада на юго-восток (можно сказать и наоборот: с юго-востока на северо-запад, но определенного направления здесь нет). Первая ось – евро-индийская (индоевропейская), начинающаяся

на крайнем северо-западе Европы (Британские острова, Нидерланды), идущая далее через Южную Европу и Средиземноморье на Ближний Восток и заканчивающаяся собственно в Индии. Вторая ось – российско-китайская, начинающаяся на Кольском полуострове, продолжающаяся на Русском Севере, проходящая далее через Урал, юг Западной Сибири, частично Казахстан, Алтай, Центральную Азию и заканчивающуюся собственно в Китае. Перефразируя известное выражение Уинстона Черчилля, можно назвать эти две метageографические оси «мускулами евразийского мира». Другое возможное название – *метageографические водоразделы Евразии*.

Понятно, что невозможно мыслить подобные оси как некие тонкие прямые линии, точно проведенные и обозначенные на обычной географической карте Евразии. По всей видимости, это осевые пространства, воображаемые «коридоры», задающие образно-географическую энергетику материка (наиболее очевидный аналог – понятие осевого времени К. Ясперса). Можно мыслить также евразийские «водоразделы» и как своего рода большие геократические пояса, воздействующие на геополитические и геокультурные ритмы Евразии, а возможно, и всего мира.

Как связаны эти «водоразделы» между собой – если представлять Евразию как единое метageографическое целое? В первом приближении, обе оси как бы уравнивают запад и восток Евразии в рамках общего географического воображения. В то же время эти метageографические оси связываются между собой относительно небольшим цивилизационным ядром, тяготеющим к географическому центру Евразии – Ираном, чья несомненная и протяженная во времени цивилизационная устойчивость является, с одной стороны, «крепким орешком» с точки зрения внешних цивилизационных влияний Европы, Индии, Китая, а с другой стороны, Иран, несомненно, выступает в качестве определенной цивилизационной перемычки, связующей две мощные осевые структуры. На уровне историко-

цивилизационного, этнокультурного, языкового генезиса роль Ирана как места цивилизационного транзита очевидна, однако мы хотели бы обратить внимание на другое обстоятельство: Иран не может претендовать в метагеографическом смысле на образ острова, материка или острова-материка – тем не менее, ему можно отвести образное место плато, плоскогорья; это пустынное возвышенное пространство, собирающее и сохраняющее, иногда и порождающее, некоторые наиболее важные для Евразии в целом символы, знаки, архетипы, ментальные паттерны – довольно архаичные и в то же время онтологические (Фрай, 1972 и др.).

Между тем, Иран может рассматриваться и как определённый цивилизационный барьер или цивилизационное «сито»: в течение исторического времени он неоднократно выступал в качестве серьезного препятствия на пути мощных кочевых миграций и завоеваний; известная мифологическая оппозиция Ирана и Турана (Бонгард-Левин, Грантовский, 1983) – одно из свидетельств подобного, одновременно и историко-географического, и метагеографического обстоятельства. Наряду с этим, географический образ Ирана может моделироваться, в терминах геоморфологии, как «бараний лоб» – возвышенное место, гора с выпуклой вершиной, на которую трудно забраться. Иначе говоря, на метагеографической карте Евразии Иран является в образном смысле цивилизационным «тормозом», как бы предохраняющим пространство Евразии от слишком опасных центростремительных движений, он – масштабная территория ретардации межкультурного взаимодействия.

Понятие геократии. *Геократия* – новый термин и понятие, который я попытаюсь ввести для обозначения той неопределённой когнитивной ситуации, которая сложилась в результате осмысления роли географического пространства в истории России и российской цивилизации (Замятин, Замятина, 2000). Нет сомнения в том, что западные политологические, культурологические и цивилизационные модели помогают понять специфи-

ку развития России как государства и цивилизации в контексте тех ключевых политических и культурных процессов, которые происходили на Западе. Тем не менее, эта методологическая, теоретическая и методическая помощь оказывается всё-таки недостаточной, поскольку геополитические и геокультурные пространства России включаются в эти модели по образцу и подобию западных цивилизационных пространств, что ведёт к частому итоговому непониманию специфики и особенностей российской цивилизации и культуры.

Что же может дать в сложившейся методологической и когнитивной ситуации введение термина и понятия геократии? В нашем понимании, *геократия – это сформировавшиеся в течение длительного исторического времени способы и дискурсы осмысления, символизации и воображения конкретного географического пространства, ставшего имманентным для аутентичных репрезентаций и интерпретаций определенной цивилизации.* Это означает, что всевозможные политологические, исторические, культурологические и историософские модели, претендующие на эффективное объяснение особенностей и закономерностей развития такой цивилизации, должны рассматривать ее пространство (как непосредственное, в рамках представляющих цивилизацию политий, так и косвенное, в пределах геополитического и геокультурного влияния) как онтологический источник и онтологическое условие возможности подобного моделирования, а с феноменологической точки зрения пространственное воображение цивилизации должно представляться имманентным ее способам политической и социокультурной организации.

Понятие геократии в данном случае может рассматриваться как локальный методологический, идеологический и теоретический концепт, когнитивное использование которого может быть потенциально эффективным в цивилизационных исследованиях России и постсоветского пространства. В качестве предварительной гипотезы можно утверждать следующее:

пространственное воображение российской цивилизации в течение XVI–XX веков во многом определяло статику и динамику ее социокультурных структур, а также способы осуществления и репрезентации власти и ее политических составляющих. Иначе говоря, следуя в дискурсивном отношении за Мишелем Фуко, российская цивилизация осмысляла и до сих пор осмысляет себя как пространство, власть над которым проистекает, порождается самым властным видением / воображением этого пространства; пространство само по себе есть некая власть, которую можно интерпретировать и интерпретировать пространственными или же географическими образами.

Образно-географический анализ динамики российской цивилизации. Попробуем применить в первом приближении образ и понятие геократии для образно-географического анализа динамики российской цивилизации. Нет сомнения, что роль и значение географического воображения в формировании самосознания российской цивилизации становятся очевидными примерно во второй половине XVIII века (Вульф, 2003). Классический образ Российской империи к концу Века Просвещения был неотъемлем от ее географических образов, основанных на утверждении, воспевании, яркой символизации огромных пространств, покорившихся или добровольно вошедших в состав Российского государства. В случае России, огромного политического тела, чьи институциональные поверхности «лепились», формировались по образу и подобию европейских по крайней мере со второй половины XVII века, важно подчеркнуть, что традиции риторико-идеологической символизации ее пространств, с одной стороны, есть результат более широких европейских традиций политической ритуализации государственных институций раннего Нового времени, а с другой стороны, столь, казалось бы, непомерное возвеличивание физических масштабов и размеров Российской империи, не характерное для западной традиции в такой откровенно сублимированной, концентрированной и самодовлеющей форме, опять-таки было

связано с действительным восхищением, удивлением и страхом европейских путешественников, купцов, военных наемников и дипломатов, транслировавшимися с некоторым временным лагом в специфические географические образы местного происхождения (политическая риторика, дипломатическая переписка, приватная переписка монархов и государственных деятелей, поэтические оды и т. д.).

Политический, военный, культурный и экономический «рывок» России в ходе петровских реформ и дальнейшего развития империи в течение XVIII века был, по сути, не чем иным, как – сначала бессознательным, а затем все более и более осознанным – движением к геократии, к пониманию российского пространства как мощного цивилизационного и общественно-го института, чье имперское оформление, включая основание Петербурга и перенос в него столицы, было лишь геократическим «декором», спонтанным и как бы интуитивным образно-географическим форс-мажором. Чем же объяснить медленное, часто на некоторое время «замораживавшееся» различными политико-экономическими и социокультурными «пассажами» то в сторону быстро модернизированной Европы, то в сторону институциональной консервации, политическое и даже цивилизационное умирание Российской империи в течение большей части XIX века и начала XX века? Ведь в течение этого периода продолжалось медленное, но неуклонное расширение государственной территории, частичная ассимиляция и эмансипация различных народов, попавших в сферу влияния российской цивилизации; наконец, российские элиты безусловно понимали значимость собственного цивилизационного курса в сторону Запада?

Речь здесь может идти не столько об умирании географических образов имперской мощи, слишком слабо проявлявшихся в символической оболочке российской цивилизации XIX – начала XX века, сколько о подспудном нарастании **дефицита образов**, которые бы адекватно описывали и «оконтуривали» вновь при-

соединяемые или вновь осваиваемые территории империи. Характерно, что геократической энергетики, присущей российской цивилизации в XVIII веке, хватило только на осмысление России как в основном европейской страны; самым последним был риторически и символически захвачен, хотя и не до конца, Урал (Лавренова, 1998). Сибирь (Замятин, 2004), Казахстан, Средняя Азия и Дальний Восток, войдя в состав Российской империи, так и не были осмыслены образно – для этого способы и методы европейской символизации новых пространств позднего Нового времени, по ходу развития империализма и колониализма, для России уже не годились, а свои собственные пространственно-символические дискурсы российская цивилизация разрабатывала слишком медленно, все более и более отставая от идущих впереди попыток политико-экономической модернизации – в свою очередь, также со временем «зависавших» без соответствующей образной социокультурной «подпитки». Иначе говоря, Россия конца XIX – начала XX века, глядясь в «цивилизационное зеркало», никак не могла увидеть себя «полностью», во всей образно-символической «красе»; зеркало как бы затуманено, и видны только фрагменты какого-то возможного сейчас цивилизационного целого, но само зеркало старое, архаичное, созданное по дискурсивным «лекалам» Века Просвещения.

Зауралье как *tabula rasa*: геократический «провал» Российской империи. Начало XIX века было переломным моментом для российской цивилизации с точки зрения геократического анализа. Победа в Отечественной войне 1812 года, зарубежные походы русской армии, создание Священного Союза были последним всплеском политико-имперской риторики XVIII столетия, обеспечившей достаточно ясные европейские контуры образов российских пространств в рамках цивилизационного видения. Деятельность Сперанского и декабристов в Сибири, начало масштабных географических экспедиций в азиатской части империи, первые зачатки сибирского областничества и даже известный народный миф об уходе императора Александ-

ра I в Сибирь, казалось бы, говорили о своевременном геократическом повороте в сторону неосвоенных в когнитивном, цивилизационном и образном отношениях пространств. Однако в целом образно-географическая ситуация, более или менее, оставалась прежней еще целое столетие: по сути, можно говорить о дальнейшей трансляции на восток, без особого успеха тех самых символов и образов, которые и создали цивилизационное видение / воображение России XVIII века – полускифской, новоевропейской, осуществляющей цивилизаторскую миссию на окраинах Европы (Кропоткин, 1992 и др.). И это был геократический «провал»: сибирские пространства и до сих пор остаются во многом образно-географической *terra incognita*, несмотря на, казалось бы, обилие информации и многочисленные технологические прорывы извне, проникающие к началу XXI века и в зауральские части России.

Одна из причин подобной образно-географической неудачи российской цивилизации начала XIX века – это неспособность преодолеть геократическую инерцию, набранную в ходе петровских реформ. Утверждение русской столицы в Петербурге было, в известной степени, единственно возможным цивилизационным «ва-банк», разом обеспечившим не только разворот к материальной стороне европейской цивилизации, не только возможность приобщиться к высотам европейской культуры, но и создавшим принципиально новую образно-географическую ситуацию, позволившую разрабатывать образ России как европейской страны, а вместе с тем и значительной части ее территории (с чем, кстати, была связана и интересная история о передвижении официальной восточной границы Европы к Уралу (Бассин, 2005)). На исходе долгого для России цивилизационного Века Просвещения, окончившегося, видимо, уже в 1815 году, стало ясно, что цивилизационное видение / географическое воображение России из Петербурга обречено достигать максимум Урала, далее оно начинает «прокручиваться», повторяя одни и те же «европейские мелодии», мало объясняющие смысл зау-

ральских пространств как истинно российских географических образов. В духе альтернативной / контрфактической истории можно было бы представить, что случилось бы с цивилизационной динамикой России, если бы русская столица была бы, например, перенесена в 1815 году или чуть позже вновь в Москву или, в крайнем случае, в Нижний Новгород (как предполагал П. И. Пестель в «Русской правде» (Пестель, 1958)). Российская империя могла стать из петербургской, например, московской или нижегородской без всякого, по-видимому, ущерба для своего символически-имперского блеска, однако московская империя обрела бы, скорее всего, иное образно-географическое видение, другие геократические «механизмы», позволяющие, возможно, вновь и по-новому увидеть зауральские пространства (как это, например, удавалось, с совершенно ничтожными военными и экономическими ресурсами Московскому царству во второй половине XVI – первой половине XVII века, даже в эпоху Смуты начала XVII столетия (Любавский, 1996)). Петербургская империя была чисто европейским политическим телом, чья геократическая мощь была «продуктом» Века Просвещения – ее хватало в образно-символическом и проективном смысле только до Урала – если говорить о географическом воображении как имманентном для любой жизнеспособной цивилизации.

Как определённую геократическую реакцию на сложившуюся к началу XIX века цивилизационную образно-географическую ситуацию можно рассматривать формирование и мощное развитие петербургского мифа, оказавшего серьезное влияние на становление всей русской культуры XIX – начала XX века. Имперско-европейская геометрия и симметрия петербургской планировки и архитектуры, неприспособленность «маленького человека» к открытым, нечеловечески огромным и насквозь продуваемым промозглым петербургским пространствам, бесчеловечная чиновничья фальшь и суэта северной столицы стали фирменными чертами этого мифа, соединившего природу и культуру в образе, максимально отталкивающим и, в то же вре-

мя, поистине величественном, подтверждавшем, хотя и весьма амбивалентно, значимость европейской модернизации для российской цивилизации. Корнем, первоосновой такого геоцивилизационного мифа было онтологическое противоречие между властным характером, властной природой европейского образно-географического «мессиджа», обеспечиваемого, казалось бы, символизацией Петербурга как столицы Российской империи, и фактическим бессилием реальной знаково-символической системы, прилагаемой и используемой по отношению к имперским пространствам в целом; Петербург к началу XX века был поистине столицей имперской по своему размаху и пространственному распространению образно-географической анархии – как бы ни парадоксально это звучало.

Безусловно, политические, культурные и интеллектуальные элиты Российской империи еще во второй половине XVIII века задумывались о некоей дополнительной геомифологической «подпорке» государства-цивилизации, в качестве которой достаточно долго рассматривался крымско-греческо-византийский комплекс мифов. Завоевание Крымского ханства дало реальные шансы для политико-идеологического развития и обоснования «греческого проекта» Екатерины Великой, наглядное осуществление которого позволило бы России попасть в «цивилизационное сердце» Европы не только в геополитическом, но и в геократическом смысле (Елисеева, 2000 и др.). Фактически, однако, образы Крыма как античной окраины, периферии, провинции великого античного мира и родины русского Православия, в итоге, к началу XIX века, остались-таки, в условиях неосуществленного «греческого проекта», периферией и политико-идеологической риторикой Российской империи, развивавшейся теперь в контексте более современных и прагматичных политико-географических образов России как мощной в военном отношении европейской державы – без претензий на европейское античное наследие.

Тем не менее, приблизительно к 1920–1930-м гг. российская цивилизация уже имела потенциальные когнитивные шансы

построить, осознать, сконструировать образно-географическую и локально-мифологическую ось, позволяющую ей сформулировать в геократическом плане дальнейшие перспективы собственного развития. Этому, как ни странно, способствовали попытки образно-географического освоения территорий, лежащих к концу XIX – началу XX века за пределами уже сложившегося пространственного ареала российской культуры и российской государственности. Серия поистине великих русских путешествий Пржевальского, Потанина, Певцова, Роборовского, Грум-Гржимайло, Козлова в Монголию, Северо-Западный Китай, Среднюю и Центральную Азию, Тибет (хорошо вписывающихся в серии подобных путешествий в этой и других частях света, предпринятых в рамках западной цивилизации зрелого и позднего модерна с явными империалистическими обертонами) соответствовала не только вполне понятному социокультурному и военно-политическому дискурсу колониализма / культуртрегерства этой эпохи (Постников, 2001), но и, по всей видимости, неким внутренним образно-мифологическим поискам российской цивилизацией оригинальной пространственной аутентичности. Об этом можно говорить достаточно уверенно уже потому, что описания, выполненные русскими путешественниками в Центральную Азию, соединяют в себе, как правило, качества научного, художественного и, порой, визионерского текстов, представляя собой синтетические тексты, порождающие при их чтении и изучении множество интересных географических образов. Несомненно, большинство описаний путешествий, относящихся к европейской цивилизационной традиции эпохи классического и позднего модерна, можно охарактеризовать также, однако именно в рамках российской цивилизации той эпохи описания русских путешествий в Центральную Азию оказались столь судьбоносными с геократической точки зрения – как бы диктуя образно-географически наиболее вероятное направление перемещения ментального ядра России как цивилизационной целостности.

Русский Север с его традиционалистской локальной мифологией, оказавшейся необходимой в эпоху позднего модерна; Урал со стремительно формировавшейся мифологической аурой горнопромышленного региона с архаично-космогоническим подсознанием; продолжающие эту мифическую линию, хотя и гораздо слабее, Алтай, Южная Сибирь (с естественным уменьшением роли горнопромышленных мифов первоначального современного освоения); наконец, Средняя и Центральная Азия, Монголия, оказывающиеся одновременно очевидной образно-мифической экзотикой для русской культуры и органическим полюсом обретения собственной пространственно-мифологической миссии и аутентичности. Так в первом приближении можно представить потенциальную образно-географическую и локально-мифологическую ось российской цивилизации в первой половине XX века, начинающуюся на крайнем северо-западе ее государственной территории с выходом к Белому и Баренцеву морям, продолжающуюся у юго-востоку по явно раздельной в геокультурном отношении линии Уральской горной системы и уходящую далее также к юго-востоку несколькими параллельными ответвлениями через Северный Казахстан, юг Западной Сибири, Алтай и Саяны – в Северо-Западный Китай и Западную Монголию. Другое дело, что советская эпоха с ее очевидным креном в сторону жесткой европейской модернизации «подморозила» возможности реального становления и развития подобной образно-географической оси, сохраняя и неявно поддерживая (так же их, фактически, «подморозив») более ранние попытки образно-географического и локально-мифологического самоопределения российской цивилизации – потенциальную южно-русскую образно-географическую ось с выходом в Крым (с опорой на образную значимость антично-византийского наследия) и гораздо менее проявленную к началу советской эпохи северо-восточную ось образно-географического развития, наиболее ярко оконтуренную в феноменологическом отношении впервые геопозитическими текстами и

комментариями Максимилиана Волошина (который при этом был, фактически, адептом и южно-российской крымской оси), а в позднюю советскую эпоху идеологически утверждаемую весьма парадоксальным образом Александром Солженицыным в его «Письме вождям». Пониманию актуальности и значимости северо-восточного образно-географического вектора в советское время способствовали, конечно, и уже упоминавшиеся исследования бесписьменных культур народов Севера, выводившие на поверхность европеизировано-модернистских репрезентаций дотоле практически неизвестные российской цивилизации географические образы и мифы, а также вполне очевидное интенсивное очаговое освоение природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока с его ГУЛАГовскими коннотациями и изводами 1930–1950-х гг., требовавшее хоть какого-то первоначального ментально-пространственного оформления и осмысления.

Геократическая интерпретация развития российской цивилизации (XVIII–XX вв.). Итак, геократическая интерпретация развития российской цивилизации, начиная с конца XVII – начала XVIII века, сводится, с нашей точки зрения, предварительно к следующим пространственно-временным узлам-образам: *первый* – быстрое наращивание и устойчивое воспроизводство географических образов европейского и параевропейского типа (включающих естественную метафорику больших, огромных пространств), успешно обеспечивающих геополитический декор Петербургской империи в течение долгого для России Века Просвещения; *второй* – кризис «европейского» образного видения / представления пространства российской цивилизации, прежде всего в отношении зауральских пространств; мощная геократическая реакция в виде амбивалентного петербургского мифа; первоначальные попытки развития локальных мифов к началу XX века; постепенное «накопление» и осмысление географических образов, вполне автономных по отношению к европейской цивилизации, хотя и обязанных ей способами

их репрезентаций (русские путешествия в Центральную Азию, русская проза 1920-х гг., взрыв «свехрегионализма» в произведениях Шолохова и Платонова 1920-х гг.), появление русского евразийства как промежуточного геократического «хода» и, как следствие, паллиативного образа России-Евразии, позволяющего ускорить указанное образно-географическое «накопление»; *третий* – новая, неоднозначная по своим последствиям, геократическая реакция советской эпохи, включающая возвращение столицы в Москву, максимальную геополитическую и геокультурную централизацию пространства на Евророссию, «замораживание» первоначальных ростков локальных мифов, рост необходимости оригинального образного осмысления зауральских пространств в связи с их интенсивным очаговым освоением в рамках форсированной социально-экономической и культурной модернизации и первоначальное использование в этих целях образов России-Евразии (например, труды Л. Гумилева), а также традиционных географических образов разрушения и распада аграрных сообществ раннего и зрелого модерна (как типичный пример: произведения сибирских писателей В. Распутина и В. Астафьева).

Так или иначе, возникновение самого образа геократии можно увязать с ментальным сближением европейской и российской цивилизаций XVII–XX вв., а выделенные нами в первом приближении три пространственно-временных узла-образа свести к двум этапам развития этого образа в рамках российской цивилизации: первый – геократический импульс и его развитие, или геократическая активность России – благодаря сближению с Западом; второй – сложная и затянувшаяся на два века геократическая реакция российской цивилизации, обусловленная несходством, отличием располагаемых ею матричных географических образов (во многом – результат первого этапа) от первичных пространственных прото-образов Зауралья (Сибири и Дальнего Востока) и Средней Азии. Следует также отметить, что подобный геократический анализ прямо ведет и к

проблематике **перемещения русских столиц**, поскольку сами эти перемещения являются очень существенными, фактически уникальными, знаково-символическими трансформациями – как с точки зрения поведения некоторых промежуточных итогов предыдущего геократического развития, так и в плане дальнейших геократических перспектив. Иначе говоря, географический образ столицы в рамках ментального комплекса российской цивилизации – несмотря на все, лежащие на поверхности, содержательные параллели с другими государствами и цивилизациями, вплоть до настоящего времени – имеет до сих пор *метагеографический* характер, то есть выходит за границы обычной системы геополитической и геоэкономической аргументации, применяемой в подобных случаях. Геософская и историософская нагрузка образа столицы и, тем более, высокая эмоциональная насыщенность проблемы перемещения столицы в русской истории могут выглядеть иногда чрезмерными с точки зрения, или с точки обзора «из другой цивилизации», однако «внутри» российской цивилизации – по крайней мере с XVI века – такая когнитивная ситуация может рассматриваться как привычная или ординарная.

К поискам ключевого элемента метагеографии России. На наш взгляд, метагеография Зауралья может быть ключевым элементом современной метагеографии России. Попытаемся далее обосновать этот взгляд.

Если понимать под метагеографией России систему идеологических образно-географических комплексов или ансамблей, ориентированных на закрепление центрального образа-контекста Северной Евразии (Замятин, 2008), то метагеография Зауралья представляет собой динамическую образно-географическую структуру, призванную совершить радикальное перемещение, «перетащить» и трансформировать старые образно-географические комплексы, направленные на воспроизведение идеологических образов Византии, Третьего Рима и «второй Европы». Становление метагеографии Зауралья в

рамках метагеографии России начинается примерно с XI–XII вв. (походы новгородцев за Камень), однако решающими событиями – в то же время еще не определяющими геоидеологическую ситуацию до конца – оказываются присоединение Сибири к России (конец XVI – XVII вв.) и интенсивное хозяйственное и культурное освоение Урала в XVIII–XIX вв.

Основную метагеографическую проблему России можно сформулировать так: идеологическая инерция старых образно-географических комплексов «удерживает» страну к западу от Урала и тормозит процессы ментального дистанцирования по отношению к Европе. Соответственно, главную метагеографическую задачу России, которая решается уже приблизительно на протяжении 400 лет, можно обозначить как поиск привлекательных, эффективных идеологических образов Зауралья, способных ментально «развернуть» страну к востоку, в сторону Сибири, Дальнего Востока, Центральной Азии и Китая. Естественно, что накопленные Россией в результате цивилизационного общения с Европой страты никуда не исчезают и остаются фундаментом ее дальнейшего цивилизационного и метагеографического развития – речь в данном случае идет о смене геоидеологического вектора и переносе метагеографического «центра тяжести» за Урал.

Вместе с тем, обозначенная выше метагеографическая задача может порождать немало вопросов; один из них – почему следует говорить о метагеографии Зауралья, а не о метагеографии Сибири; почему географические образы Зауралья, взятые в их идеологическом контексте, выглядят предпочтительнее, нежели соответствующие образы Сибири? Прежде, чем приступить к изложению стратегических основ метагеографии Зауралья, нужно обосновать сам выбор образа – учитывая, что географические образы Сибири складывались достаточно долгое время в историческо-цивилизационном измерении и обладают хорошо развернутыми содержательными характеристиками.

Географические образы Сибири: специфика становления и развития. Географические образы Сибири в их обобщенной

целостности – результат длительной ретрансляции идеальных европейских ландшафтных образов на первичное эмоциональное восприятие зауральских пейзажей. Понятно, что подобные ментальные процессы происходили постоянно и очень интенсивно со времен Великих географических открытий, и в этом смысле Сибирь ничем особо не отличается от Америки, Африки или же Южной и Юго-Восточной Азии, ставших объектами европейской колониальной экспансии (Земсков, 1995 и др.). Другое дело, что Россия, выйдя на уральские рубежи и перешагнув за Камень, воспроизводила такие образы с известной ментальной отсрочкой, с некоторым историко- и геософским «запозданием» – сначала ориентируясь на классические образы колонизации с сакрально-мифологическим библейско-христианским подтекстом, а затем уже на профанизированные «светские» образы сниженной европейской колонизации, обустроивавшей «островки уюта и комфорта» среди «моря» диких или слабо освоенных пространств. Так, первый пространственный русский текст о Зауралье конца XV в. – «Сказание о человецех незнаемых» – является очевидным примером первого дискурса, далее хорошо развернутого в летописных и церковных образах (Плигузов, 1993); великолепным лапидарным образцом второго дискурса можно назвать «Из Сибири» Антона Чехова. Как бы то ни было, мощные природные образы холода, снега, однообразных равнин, тайги, степей и болот сочетались с образами безлюдья и языческой дикости, коим сопутствовали также образы мифологических и реальных богатств.

Ментально-идеологическая ретрансляция в процессах создания и воспроизводства географических образов Сибири, некая дополнительная пространственная транзакция, связанная с промежуточным цивилизационным положением самой России (и не забудем, что в XVI–XVII вв. это было еще Московское царство, довлеющее по преимуществу византийским ментальным и идеологическим образцам сакрального порядка – причем южно-европейского и ближневосточного происхождения

(Плюханова, 1995 и др.)), вела к значительной интровертации этих образов: образы Сибири могли восприниматься и воспринимались (а следовательно, и регулярно воспроизводились) как некие «внутренние» азиатские образы, необходимые европейской цивилизации для ее ментального равновесия в восточном направлении – Россия была здесь геоидеологическим «учеником» и одновременно «подрядчиком», взявшимся доставлять (хотя бы и частично, неполностью) подобную ментальную продукцию «ко двору». Было бы неверно расценивать такую цивилизационную и метагеографическую ситуацию как ущербную: огромные пространства Зауралья, почти внезапно попавшие в сферу политического влияния Московского царства, требовали соответствующих, достаточно фундированных географических образов, и они были довольно успешно «импортированы» и адаптированы русской культурой, «увидевшей» их для себя, по ходу дела, вполне органичными; «Сибирская Тартария» – это не только европейский, но и российский образ, хорошо «работавший» в течение XVI–XVIII вв.

Метагеография Сибири как «коллективное бессознательное». Посредник всегда рискует – рано или поздно – оказаться наедине с амбивалентным образом, лишенным внешней поддержки и подпитки и становящимся не управляемым, не предсказуемым. Так и случилось с географическими образами Сибири, в известной мере бывшими глубоким «бессознательным» Европы, Запада вообще на его восточном евразийском фронтире, а заодно и автоматическим «бессознательным» России. В XIX веке Сибирь, получив своего внешнего геоидеологического двойника – американский фронт (что осознавалось к середине этого столетия) – оказалась нужной Европе уже в качестве ближней периферийно-ресурсной окраины, что стало ясно и российской политической и культурной элите. Между тем, подобный образ рассматривается в когнитивном отношении, как правило, в качестве экстравертного, открытого в сторону дальнейших возможных концептуальных расширений.

Возникновение и развитие сибирского областничества стало «лакмусовой бумажкой» для выявления становившихся очевидными содержательных противоречий в образно-географическом комплексе Сибири, складывавшемся в пределах российской цивилизационной целостности (Серебренников, 2004 и др.). Дискурс «Сибирь как колония» и декларировавшиеся как его следствие культурная и, возможно, политическая и экономическая автономия Сибири были когнитивной реакцией на ментальное раздвоение ключевых элементов географического образа-прототипа Сибири, воспринимавшегося «здесь и сейчас»: интровертивные инерционные элементы «говорили» о некоторой закрытости, глубинности, отдаленности, существования для себя и в то же время для каких-то «зеркальных» надобностей цивилизационных отображений; экстравертивные ускоряющие элементы, по сути, вновь копировались с помощью лекал западного воображения. Однако цивилизационная ситуация в рамках диалога Европа – Россия, Запад – Россия к середине XIX в. была иной, нежели ранее, в XVI–XVIII вв. С одной стороны, Запад не нуждался более в образно-географических «посредниках» – эпоха зрелого модерна диктовала стратегии прямой как военно-политической и экономической, так и цивилизационной экспансии. С другой стороны, именно к этой эпохе относится окончательное становление, оформление российской цивилизации, уже могшей, хотя и с оглядкой на Европу, развивать основы своего собственного идеологического дискурса, в том числе и метагеографического.

Метагеографическая проблема, сформулированная по аналогии в терминах психологии, заключалась в следующем: экстравертивные образы колонизации и фронта оказывались недостаточными для «раскачки», радикальной трансформации интровертивных образов Сибири, активно складывавшихся до того на протяжении, по крайней мере, трехсот-четырёхсот лет; при этом Россия, осознав себя самостоятельной цивилизацией, была уже лишена фактически европейской идеологической

поддержки – механическое копирование западного по происхождению образа фронта не давало теперь столь же очевидных когнитивно-образных «дивидендов», как ретрансляция европейских образов Сибири в эпоху более раннего ментального осмысления этого региона. Московия исчезла, при этом «исчезла» и Сибирь как достаточно эффективный образно-географический комплекс в рамках российской цивилизации. Интеллектуальные усилия сибирских областников, а также и восприятие их усилий в России различными общественными слоями показали когнитивную недостаточность подобного дискурса; в то же время, благодаря трудам сибирских областников стали понятными сами масштаб и характер проблемы.

На наш взгляд, в течение XX века серьезных изменений в оконтуренной метагеографической проблеме не произошло. Постоянные попытки воспроизводства ресурсно-периферийных фронтирных образов Сибири наряду с достаточно регулярными идеологическими инвективами как политического, так и художественного и философского характера, призванными указать на стратегически важное значение Сибири в будущем российской цивилизации (включая и идеологические советские трактовки) оказывались противоречащими как друг другу, так и более глубоким интровертным слоям образа-архетипа.¹ Сибирь действительно стала по-настоящему «бессознательным» России, но подобная ментальная ситуация может быть сравнительно благоприятной лишь на небольших исторических отрезках – «купаться» в бессознательном слишком долго невозможно, это вредно для «здоровья» самой цивилизации. По сути дела, до настоящего времени образ Сибири может вполне устойчиво воображаться в качестве коллективного глубинного района Евразии, символизирующего слабо тронутую человеком, пугающе суровую и в то же время поразительную своим размахом природу и таящего в себе неизведанные богатства, – как для западной цивилизации в широком смысле, так и для цивилизаций,

¹ Речь здесь может идти, например, о столь разных писателях как А. Солженицын, В. Астафьев, В. Распутин.

становящихся современными в условиях западного цивилизационного давления (Россия, Китай, Индия) (Замятин, 2008).

«Двойная Сибирь». Попробуем описать сложившуюся ситуацию более подробно. По существу, можно говорить об образе-кентавре, двойном образе, «двойной Сибири» с точки зрения метагеографии. Налицо две очевидные ментальные дистанции, с помощью которых этот двойной образ существует и функционирует, однако подобная амбивалентность затрудняет развитие, переориентацию метагеографии России в целом, тормозит формирование новых, необходимых России как самостоятельной жизнеспособной цивилизации целенаправленных метагеографических структур. Для лучшего понимания такой когнитивной ситуации стоит обратиться, по аналогии, к теории шизофрении, разрабатывавшейся известным американским антропологом и психологом Грегори Бейтсоном (2000). Центральное понятие его теории – это т. н. «двойное послание» (double bind). Смысл введения и использования понятия «двойного послания» – в попытке фиксации и анализа мощной психологической «вилки», расхождения, ощущаемого шизофреником между собственными мыслями и желаниями, с одной стороны, и практическим отсутствием способов их адекватной репрезентации во внешнем мире, в контакте с окружающими людьми. Фактически шизофреник работает с двумя не сочетающимися ментальными дистанциями – огромной по отношению к собственным мыслям и образам и ничтожной, почти исчезающей по отношению к внешнему миру. Постоянное несоответствие, диссонанс двух ментальных дистанций ведут постепенно к распаду индивидуальной психической целостности. По аналогии, можно представить образ-кентавр Сибири («Сибирь-Китоврас») как своего рода метагеографическое «двойное послание», которое со временем может привести к разложению, распаду России как метагеографического целого, метагеографической системы. Сибирь уже может восприниматься как в известном смысле «шизофренический образ» в рамках российской цивилизации. Использование подобной психологической аналогии

позволяет более остро почувствовать и более четко осмыслить суть данной проблемы.

Воспользуемся предложенной нами несколько ранее моделью пространственных представлений (Замятин, 2008). В ее основе лежит психологическое представление об уровнях психического – от бессознательного до высокой степени рефлексии, характеризующей сознание. Наряду с этим, предполагается восхождение, или движение от преобладания в пространственных представлениях умозрительных схем до преобладания непосредственных визуальных впечатлений, оформляемых соответствующими знаково-символическими конструкциями.

Если структурировать в ментальном отношении основные понятия, описывающие образы пространства, производимые и поддерживаемые человеческими сообществами различных иерархических уровней, разного цивилизационного происхождения и локализации, то можно выделить на условной вертикальной оси, направленной вверх (внизу – бессознательное, вверху – сознание), четыре слоя-страты, образующие треугольник (или пирамиду, если строить трехмерную схему), размещенный своим основанием на горизонтали. Нижняя, самая протяженная по горизонтали страта, как бы утопающая в бессознательном – это географические образы; на ней, немного выше, располагается «локально-мифологическая» страта, менее протяженная; еще выше, ближе к уровню некоего идеального сознания – страта региональной идентичности; наконец, на самом верху, «колпачок» этого треугольника образов пространства – культурные ландшафты, находящиеся ближе всего, в силу своей доминирующей визуальности, к сознательным репрезентациям и интерпретациям различных локальных сообществ и их отдельных представителей. Понятно, что возможны и другие варианты схем, описывающие подобные соотношения указанных понятий. Здесь важно, однако, подчеркнуть, что, с одной стороны, всевозможные порождения оригинальных локальных или региональных мифов во многом базируются именно на географи-

ческом воображении, причём процесс разработки, оформления локального мифа представляет собой, по всей видимости, «полусознательную» или «полубессознательную» когнитивную «вытяжку» из определённых географических образов, являющихся неким «пластом бессознательного» для данной территории или места. Скорее всего, онтологическая проблема взаимодействия географических образов и локальных мифов – если попытаться интерпретировать описанную выше схему – состоит в том, как из условного образно-географического «месива», не предполагающего каких-либо логически подобных последовательностей (пространственность здесь проявляется как наличие, насущность пространств, чьи образы не нуждаются ни в соотносительности, ни в иерархии, ни в ориентации / направлении), попытаться сформировать некоторые образно-географические «цепочки» в их предположительной (возможно, и не очень правдоподобной) последовательности, а затем, параллельно им, соотносясь с ними, попытаться рассказать вполне конкретную локальную историю, чьё содержание может быть мифологичным. Иначе говоря, при переходе от географических образов к локальным мифам и мифологиям должен произойти ментальный сдвиг, смещение – всякий локальный миф создается как разрыв между рядом расположенными географическими образами, как когнитивное заполнение образно-географической лакуны соответствующим легендарным, сказочным, фольклорным нарративом.

Если продолжить первичную интерпретацию предложенной выше ментальной схемы образов пространства, сосредоточившись на позиционировании в её рамках локальных мифов, то стоит обратить внимание, что, очевидно, локальные мифы и целые локальные мифологии могут быть базой для развития соответствующих региональных идентичностей. Ясно, что и в этом случае, при перемещении в сторону более осознанных, более «репрезентативных» образов пространства, должен происходить определённый ментальный сдвиг. На наш взгляд, он может

заключаться в «неожиданных» – исходя из непосредственного содержания самих локальных мифов – образно-логических и часто весьма упрощённых трактовках этих историй, определяемых современными региональными политическими, социокультурными, экономическими контекстами и обстановками. Другими словами, региональные идентичности, формируемые конкретными целенаправленными событиями и манифестациями (установка мемориального знака или памятника, городское празднество, восстановление старого или строительство нового храма, интервью регионального политического или культурного деятеля в местной прессе и т. д.), с одной стороны, как бы выпрямляют локальные мифы в когнитивном отношении, ставя их «на службу» конкретным локальным и региональным сообществам, а с другой стороны, само существование, воспроизводство и развитие региональных идентичностей, по-видимому, невозможно без выявления, реконструкции или деконструкции старых, хорошо закреплённых в региональном сознании мифов (Конькова, 2006 и др.), и основания, и разработки новых локальных мифов, часть которых может постепенно закреплиться в региональном сознании, а часть – оказавшись слабо соответствовавшей местным географическим образам-архетипам и действительным потребностям поддержания региональной идентичности – практически исчезнуть.

Итак, интерпретируя эту модель на примере Сибири, мы можем предположить, что для нее – в метагеографическом плане – характерно преимущественное развитие двух ментальных страт – страты географических образов (глубоко умозрительных и во многом заимствованных и частично переработанных) и страты культурных ландшафтов, в которой доминирует непосредственная рецепция при слабом развитии оригинальных, самобытных знаково-символических конструкций (они опять-таки в основном заимствованы из «материковой», Европейской России). При этом фактически выпадают или очень слабо репрезентированы локальные мифы и региональные идентичности –

собственно средний, крайне важный уровень пространственных представлений. Конечно, не следует говорить, что в Сибири нет локальных мифологий или же отсутствуют региональные идентичности. Как хорошо известно из многих мемуарных, эпистолярных и художественных текстов, самосознание сибиряка (в отличие от собственно «России») отмечалось довольно ясно уже в XIX веке (Кропоткин, 1992 и др.). Точно также можно говорить и о рождении локальных мифов, фиксируемых в разных местностях Сибири – здесь, однако, отличия от Европейской, доуральской России минимальны. Речь о другом: количество, качество и уровень репрезентаций локальных мифологий и региональных идентичностей до сих пор недостаточны для того, чтобы обеспечивать равновесие и устойчивость общей «пирамиды» пространственных представлений Сибири и о Сибири – эта ментальная «пирамида» дисгармонична, неустойчива, непрочна, не автономна.

Геоидеологическое оформление территории: постановка вопроса. Метагеографические анализ и интерпретация включают в себя выявление идеологического компонента, скрепляющего обозначенные нами пространственные представления. Этот идеологический компонент можно назвать *геоидеологией*, под которой понимается система знаково-символических репрезентаций, в которых пространственные представления о конкретной территории актуализируются и подвергаются метафорической «возгонке»; иными словами, геоидеология делает определенные пространственные представления «горячими», готовыми к широкому и упрощенному риторическому использованию и употреблению в различных социокультурных и политических контекстах.¹ Кроме того, геоидеология призвана осуществлять и репрезентировать специфические сакральные контакты между Землей и Небом, необходимые в той или иной форме как домодерным (здесь эта необходимость очевидна),

¹ Здесь мы используем по аналогии введенное впервые К. Левистросом деление культур на «горячие» и «холодные».

так и современным обществам и цивилизациям (в которых эта необходимость может быть латентной, скрытой, иногда плохо осознаваемой). С этой целью в геоидеологии могут использоваться различные религиозные представления, распространенные на определенной территории, однако смысл подобной геоидеологической «вертикальной» сакрализации несколько шире и одновременно уже собственно религиозного смысла: геоидеологическая сакрализация (возможная и в профанированных формах) обеспечивает территориям, районам, местам возможность получения и использования образов сокровения или откровения, придавая им конкретный сакральный или полу-сакральный статус.

Как происходит геоидеологическое скрепление уровней пространственных представлений о территории? Как правило, оно осуществляется с помощью определенных локальных текстов, а также гениев места, чьи биографии, конкретные дела или же произведения актуализируют все уровни пространственных представлений. Можно сказать, что локальные тексты и гении места, «работающие» в разных ментальных измерениях, тем не менее, выполняют одну и ту же функцию – когнитивной «прошивки», связывания всех уровней в единое целое, некую общую экзистенциальную «ткань» пространства. Тем более что значительная часть самих локальных текстов может быть либо непосредственно посвящена собственно гениям определенных мест, либо опосредованно способствовать появлению подобных гениев. И локальные тексты (к которым также могут относиться биографии / агиографии гениев места и тексты самих гениев места – писателей, художников, архитекторов, режиссеров, артистов, музыкантов, философов, общественных деятелей, политиков, краеведов и т. д.), и гении места (представляемые своего рода «эманацией» места, в то время как и место может «эманироваться» гением) могут репрезентироваться и одновременно репрезентировать все или часть описанных уровней

пространственных представлений – например, включая только культурно-ландшафтный и локально-мифологический уровни.

Урал как автономный «психологический комплекс» русской культуры. На пути к метагеографии Зауралья. Вернемся теперь к метагеографической проблеме образов Сибири. С нашей точки зрения, необходим когнитивный переход к более сильным или более широким образам, позволяющим постепенно выявить и сконструировать достаточно устойчивую «пирамиду» пространственных представлений, потенциально обеспечивающих позитивную метагеографическую динамику России и российской цивилизации. Географические образы Зауралья как раз и могут быть такими ментальными конструктами, именно они могут способствовать становлению полноценной метагеографии Зауралья, включающей, в том числе, и динамичные образы самой Сибири. В чем смысл подобного образно-географического замещения?

Зауралье – потенциально открытый географический образ. В содержательном отношении оно может представлять из себя целостный «веер» дискурсов, направленных на ментальное освоение собственно Сибири, Дальнего Востока, Казахстана, Монголии, Центральной Азии в целом, Китая. Принципиальная разница по сравнению с географическими образами Сибири состоит в том, что географические образы Зауралья могут разрабатываться и конструироваться как комплексные экстравертно-интровертные системы с использованием принципа дополнительности: всякий вновь разрабатываемый образно-географический дискурс имеет когнитивную «поддержку» соседних дискурсов, как бы вставляющихся друг в друга, оппонирующих друг другу и в то же время взаимодополняющих. Следует учесть, что в своей основе эти образы должны иметь российское цивилизационное происхождение, что не может мешать плодотворным знаково-символическим заимствованиям.

В основе потенциально эффективного развития географического образа Зауралья и в целом метагеографии Зауралья долж-

на находится система устойчивых пространственных представлений об Урале, позиционирующих этот район не как традиционную границу между Европейской Россией и Сибирью, Европейской и Азиатской Россией, но как настоящий, истинный, новый центр России и российской цивилизации. Подобное позиционирование как раз может быть специфической уральской геоидеологией, скрепляющей все уровни достаточно хорошо сложившихся пространственных представлений об Урале. В таком случае пространственные представления Урала и об Урале становятся как бы тыловой базой, прочным ментальным фундаментом развития метагеографии Зауралья. На наш взгляд, мощные локальные мифологии Урала достаточно хорошо сформировались уже к середине XX века, продолжая успешно развиваться и в начале XXI века, тогда как классические культурные ландшафты Урала эпохи раннего и зрелого модерна приобрели свои образцовые очертания не позже конца XIX – начала XX века. В то же время можно говорить о достаточно длительной, практически не прерывавшейся и устойчивой традиции становления географических образов Урала начиная с античности (Архипова, Ястребов, 1990 и др.). Ряд довольно ярких репрезентаций уральской идентичности культурного, экономического и политического характера можно было наблюдать, начиная уже со второй половины XIX века, уральское областничество проявило себя как во время гражданской войны 1918–1921 гг., так и при распаде Советского Союза. Наконец, в начале XXI века для Урала были характерны интеллектуально-художественные, геомифологические и геоисториософские попытки осмыслить этот район – в различных дискурсивных традициях (сниженный постмодернизм, псевдоисторическое фэнтези, собственно примордиализм и традиционализм, сакральная география в ее паранаучной версии и т. д.) – как ядерное пространство, определяющее перспективы исторического развития гораздо более крупных территорий – России, Северной Евразии, Евразии в целом. Такая когнитивная ситуация, сама по себе, – вне зависимости от оценки качества различных попыток обобщенно предста-

вить метагеографию Урала – несомненно, является симптомом готовности этого района быть одним из ключевых элементов перспективной и перспективной метагеографии России.

В известной мере Урал может рассматриваться как автономный «психологический комплекс» русской культуры. С одной стороны, «навязчивый» образ Урала может периодически возникать в различного рода дискурсах – политических, культурных, художественных, экономических – о будущем и судьбах России. Характерный и крайне интересный пример подобного «иррационального» появления образа Урала – стихотворение А. Блока «Скифы», в котором общее поэтическое развитие темы «внезапно» нарушается вторжением в целом не подготовленного предыдущим «текстовым потоком» мощного уральского мотива («Идите все, идите на Урал...» и т. д.). С другой стороны, образ Урала может позиционироваться в рамках русской культуры как постоянно подавляемый, «принижаемый», преуменьшаемый – он, видимо, достаточно важен, но не настолько, чтобы считать его вполне открыто первостепенным; это, пожалуй, культурный мотив некоторого психологического «стеснения», отодвигания, пренебрежения (ср. современные народные идиомы и поговорки: «Ты что – с Урала?», «Одет, как с Урала» и т. п.). На наш взгляд, подобная культурно-психологическая ситуация способствует пониманию географического образа Урала как фундаментального для дальнейшего развития географических образов Зауралья и метагеографии Зауралья – вне зависимости от того, будет ли далее этот психокультурный комплекс устойчиво воспроизводиться или же постепенно исчезнет и будет заменен каким-то другим.

Стрела и шар: «геограмма» Зауралья. Для более полного, целостного понимания содержательного образно-географического перехода Сибирь – Зауралье можно использовать концепты шара и стрелы. Географический, или историко-географический образ Сибири формировался в течение нескольких столетий как шар или сфера – иначе говоря, большинство знаков, символов,

архетипов и стереотипов, связанных с этим образом и связываемых данным образом в единую систему, удобнее представлять как постоянно закругляющуюся бесконечную поверхность, ориентированную в любой её точке на самоё себя. Здесь мы можем уверенно говорить даже о типе метагеографического образа-шара или сферы, формирующего, как правило, соответствующую конкретную топографию и топологию фрактальных и фрактализующихся мест – эти места в рамках своего самоподобия стремятся к тотальной внутренней пространственности, порождающей геоонтологию стоящего, застаивающегося, расшатавшегося, «вывихнутого», постоянно «распадающегося» времени (ср. в «Гамлете»: «The time is out of joint» и метафизическое продолжение этой темы в поэзии Мандельштама 1920-х гг. с «выходом» в Сибирь, «жаркую шубу сибирских степей»).

В свою очередь, метагеографический образ Зауралья можно рассматривать как стрелу, пронизывающую, протыкающую «дымящийся шар» Сибири и как бы заставляющую его превращаться, трансформироваться в ряд самовоспроизводящихся спиралей, создающих одновременно пространственный эффект ретроспективы и перспективы, «*геограмму*» всех возможных локальных мифов и текстов, культурных ландшафтов, становящихся уже уникальными представлениями закрепляющихся тем самым мест. Метагеографический образ-стрела, по всей видимости, может выступать как тип упорядоченных и в то же время расходящихся временных последовательностей, постоянно координируемых и соотносимых в рамках всё новых и новых опытов пространственности.

Эти новые возможные опыты пространственности должны опираться всякий раз на метагеографическое понимание Зауралья как расширяющегося образа. В таком случае нужен предварительный метагеографический анализ приставки «за-» и, собственно, дефиса, расчленяющего и разделяющего в какой-то момент пространство Урала и то, что за ним следует.

Приставка «за-» в образе Зауралья полагает собой возможность некоего «-уралья» – приуралья, поуралья, подуралья, надуралья и т. д. Мы пишем эти слова со строчной буквы, поскольку сам образ лишь предполагает такие потенциальные пространства, которые не обязательно могут быть и должны быть представлены и репрезентированы. В то же время приставка «за-» акцентирует наше внимание на возможности заглянуть, засмотреться, задуматься, замыслить что-то, что является неким ментальным или онтологическим продолжением Урала, однако сам «Урал» как бы остается на месте – он не передает энергетику своего пространства непосредственно, но создает лучи, районы пространственностей посредством внедрения и повторения данной приставки. В свою очередь, Зауралье или даже Зауралья оказываются возможными в силу онтологического отодвигания самого Урала, своего рода его переворачивания и выворачивания. Урал в непосредственно данной географии кажется продвигающимся на восток, северо-восток и юго-восток и в то же время метагеографически он оттесняется на запад, становясь все более и более европейским, или же российским. Такой подход учитывает и то обстоятельство, что для жителей традиционной Сибири или Дальнего Востока Зауральем являются собственно те районы, которые находятся к западу от Урала, Европейская часть России, Восточная Европа и т. д. Мы можем сказать, что метагеографическое понимание Зауралья оказывается серией расходящихся образов-опытов пространственности, включающих как «объевропеивание» районов Европейской части России, так и «овостоичивание» регионов Сибири и Дальнего Востока. Приставка «за-» в образе Зауралья является обоюдоострой – как в смысле непосредственного расширения районов и зон новых опытов пространственности, так и в смысле опосредованного перехода к новым районам человеческого бытия.

Между тем, возникающий в подобном метагеографическом анализе дефис между «за» и «уральем» говорит нам, что в этом онтологическом зазоре возможно появление «уральскости», т. е.

таких ландшафтных и локально-мифологических представлений, которые являют Урал как точно определенное место вне его непосредственных географических координат. Уральскость может рассматриваться как пространственная идентичность, обусловленная расширением онтологического зазора между собственно Уралом и Зауральем. Именно обнаружение и фиксация уральскости позволят твердо говорить и рассуждать о становлении Зауралья как устойчивого бытия-существования новых опытов пространственности – точно так же, как европейскость можно рассматривать в качестве «гаранта» онтологического существования самой России, подобно метагеографическому «Заевропью». В таком случае и Сибирь, попадающая в прочный и надёжный «кокон» зауральских метагеографических образов, может оказаться достаточно автономным и бытийно устойчивым образом-опытом пространственности. Здесь, тем не менее, мы пока не можем говорить об онтологической возможности «Засибири», поскольку метагеография Сибири еще не явлена как целостное развернутое дискурсивное поле поддерживающего само себя воображения.

«Пустое тело» России: социо-биологическая эволюция и пространственные идентичности. Если попытаться осуществить «сдвиг на биологический уровень» (концепт Сергея Эйзенштейна, 2002), то воображение страны / пространства предстаёт задачей не столько цивилизационного или культурного плана, сколько по-настоящему биологической «вехой», за пределами которой жизнедеятельность и жизнеустройство конкретных человеческих сообществ становится эволюцией с заранее наведёнными параметрами, имеющими в качестве и онтологического, и феноменологического оснований самоорганизующиеся географические образы. Пространственные идентичности, в таком случае, могут рассматриваться как продукты целенаправленных биологических эволюций, порождающих не только определённые биологические виды и их среды, но и их специфические пространственные реальности – как частные

модификации и конфигурации более общих типологически географических образов (Бейтсон, 2000). Локальные сообщества разрабатывают собственные пространственные идентичности как события и одновременно как органические части своей жизни, чьи образно-географические параметры являются, по сути, чистой биологией земного пространства в его топографической феноменологии.

Всякие вновь возникающие отдельные национальные и региональные истории, предполагающие столь же отдельные и своеобразные географии, заключают в себе когнитивные ядра биологических приспособлений, адаптаций; эти ядра постоянно трансформируются, позволяя локальным воображениям выбирать те когнитивные траектории, которые обеспечивают на данный момент / эпоху оптимальные биологические стратегии выживания, развития, расширения, экспансии. Если же попытаться в первом приближении осмыслить те вариации развития человеческих сообществ, которые описаны и исследованы в рамках культуры Модерна (по крайней мере, на протяжении XVIII–XX вв.), то пространственные идентичности, вполне возможно, оказываются неким образным компромиссом между очевидным стремлением сообществ и отдельных личностей биологизировать пространственные среды, становящиеся конкретными социальными проектами, и наличием устойчивого, по всей видимости, глубинно-психологического фундамента (явившегося, возможно, предметом доисторического / догеографического консенсуса в рамках человеческих сообществ), предполагающего телесные характеристики земного пространства исключительно внутренними, интровертивными по отношению к любой могущей последовать когнитивной интерпретации. Иначе говоря, пространственные идентичности могут как бы накапливаться, нагнетаться соответствующими сериями художественных, научных, интеллектуальных осмыслений, социокультурных и социополитических проектов и манифестаций,

оставаясь при этом всякий раз предметом индивидуального биологического выбора / решения.

Что же может значить подобный «сдвиг на биологический уровень» в контексте постоянно формулируемой и переформулируемой проблемы «Вообразить Россию»? Как бы то ни было, серии последовательных историй и географий России на протяжении XIX – начала XXI века представили страну как строго очерченное «ментальное тело»; «биология» российских пространств завязана в промежуточном итоге на пространственные идентичности, расположенные как бы вовне самих российских пространств. Ментальное перемещение, продвижение пространственных идентичностей внутрь как бы пустого или полупустого «тела» России может быть связано как раз с его интенсивной «биологизацией» как места разного рода социокультурных проектов локальных сообществ и личностей. Образно-географическое картографирование в процессе подобной «биологизации» России будет означать формирование новых трансформированных пространственных идентичностей, заряженных на экстравертивные, открытые вовне социальные практики, являющиеся, по сути, этапом локальной биологической эволюции.

Нужно ли думать, что проблема «Вообразить Россию» является по преимуществу феноменологической – даже если осмыслять ее в рамках биологической эволюции? Точно также, как постоянно могут формулироваться проблемы «Вообразить Германию», «Вообразить Францию», «Вообразить Бразилию» и так далее – точно также возможно построение постоянно меняющихся доменов воображения, ориентированных на практически любые социокультурные проблемы как проблемы пространственных идентичностей. Однако, серии пространственных феноменологических опытов, проектов – так или иначе – всякий раз будут стремиться за пределы феноменологии, ускользая в сторону онтологий неразличимых телесных практик, которыми пространство разлагает свои собственные образы.

В сущности, именно телесные практики, выходящие за собственные пределы в качестве социальных репрезентаций, и обеспечивают минимально возможные локальные образы, становящиеся в дальнейшем, в ходе широких социально-проектных мультиплицирований, географическими образами стран. То, что, безусловно, даёт возможность подобных мультиплицирований – это мощные технологии закрепления и преобразования памяти / памятей, являющиеся изначально пространственными (Хальбвакс, 1999 и др.). Кино, видео, фотография, Интернет, визуальные искусства стали в эпоху Постмодерна тотальными пространственными реальностями, заменяющими и закрывающими неэффективные способы опространствления памяти. Любая страна становится в таком случае своей собственной памятью о наиболее массовых пространственных реальностях, фиксируемых её географическими образами.

Итак, вообразить Россию приходится как пространство-тело социальных практик, репрезентируемых своей собственной биологической эволюцией в рамках генерализированного пучка географических образов Северной Евразии. Пространственные идентичности, формируемые подобным образно-географическим пучком, будут, скорее всего, постоянно дифференцироваться как в сторону несомненного упрощения («гладкие поверхности» массовых идентичностей типовых локальных сообществ), так и в сторону неожиданных локальных «взрывов» («сложные поверхности» анклавных сообществ, мыслящих своё «технэ» как оригинальный и неповторимый топографический опыт). Такие дифференциации опять-таки могут быть представлены или воображены как расходящиеся, раздвигающиеся пространственные поля, остающиеся, тем не менее, в процессе своего расширения всё-таки связными и коммуникативными.

2. 4. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА КАК ЦЕЛОГО

Представление о культурном ландшафте. *Понятие «культурный ландшафт» (далее – ландшафт) фиксирует упорядоченность, взаимосвязанность и закономерность явлений на поверхности Земли в пространственном аспекте, прежде всего, – единство природных и культурных компонентов ландшафта. Мир земной поверхности – сплошной многослойный «ковер», а не набор отдельных объектов на безразличном, случайном или враждебном фоне. Представление о ландшафте нужно для того чтобы рассматривать, исследовать и представлять пространство как сплошное, как связанное, как комплекс природных и культурных компонентов.*

В нашей стране в последние десятилетия ландшафт испытывает изменения – значительные, быстрые, имеющие важные последствия. Ландшафт становится все более частым объектом разноплановых исследований. Однако культурный ландшафт России очень плохо изучен. В отличие от природного ландшафта, все еще нет научной картины культурного ландшафта России; история России привлекает куда больше внимания, нежели ее ландшафт. По-видимому, налицо *капитальные культурные причины – игнорировать обитаемое пространство собственной страны...*

Большинство исследований в России трактует культурный ландшафт в рамках расширенного природного ландшафтоведения как дополнение природного ландшафта культурными элементами и его антропогенную трансформацию (Каганский, 2009). В наших исследованиях культурный ландшафт представлен иначе: *как самостоятельный объект на основе закономерностей пространственной самоорганизации человеческой деятельности.*

В развиваемом нами общегеографическом подходе на основе теоретической географии (Каганский, 2009) природные и

культурные компоненты ландшафта рассматриваются общегеографически, описываясь структурно сходно (ареалы, сети, районы) и тракуются как дополнительные «слои» и места одних и тех же территорий. *Культурный ландшафт – единство пространственных тел, форм, функций и смыслов* – культурных в широком смысле, хозяйственных, экологических, культурных в узком смысле etc (Каганский, 2001).

Культурный ландшафт в узком смысле – пространство земной поверхности, освоенное утилитарно, ценностно и символически, устойчивая среда полноценной телесной, душевной и духовной (значит, общественной и государственной) жизни людей достаточно долгое время. Следовательно, есть *антропогенные ландшафты*, не являющиеся культурными ландшафтами.

Особенности исследования культурного ландшафта. В основе постижения ландшафта должны лежать теоретически обогащенные традиционные географические подходы, идеи и ценности:

- уяснение отношения природного и культурного компонентов в установке усмотрения единства, взаимосвязи, конфликта, взаимодополнения;
- выявление и эксплицирование всех компонентов и их отношений ландшафта – от телесных до функциональных и символических;
- установление и акцентирование разнообразия мест вплоть до установления их уникальности;
- выявление закономерностей ландшафта;
- выявление сходств и различий мест, особенно нетривиальных;
- выявление полей сравнимости мест и отношений репрезентации;
- выявление связей мест, особенно нетривиальных;
- рассмотрение дистанционных эффектов;
- рассмотрение позиционных эффектов (позиционный принцип Б. Б. Родомана);

- рассмотрение масштабных эффектов и специфики масштабов;
- выявление полимасштабности и масштабных инвариантов;
- выявление общего стиля места;
- выявление общего рисунка ландшафта;
- включенное наблюдение;
- первичная полевая визуализация и вторичная камеральная картографическая визуализация;
- разноплановая концептуализация.

Ландшафт конкретного места любого размера должен быть представлен как:

- природно-культурный комплекс;
- сложный богатый сгусток полей сравнимости, сходств и различий;
- узел и звено в ткани пространственных взаимодействий,
 - включая и интерпретационно-герменевтические;
- система мест (районирование) и особое место;
- специфическая полимасштабная система и позиция;
- специфично-закономерный рисунок ландшафта;
- комплекс характерных направлений;
- комплекс или система пространственных форм, сопряженных со смыслами человеческой деятельности;
- источник, носитель и результат образов, мифов и символов.

Высшее выражение изученности конкретного ландшафта – его концепция.

Особенности нашего подхода и техники исследований. Исследование ландшафта России **в целом** ведется автором как комплексная концептуальная экспертиза. Основа подхода – теоретическая география. Центр внимания – *пространственные формы и смыслы ландшафта*. Исследование – сочетание и взаимное дополнение теоретических штудий, экспертных

приемов, путешествий, междисциплинарных представлений. *Россия, в том числе ее ландшафт, не может быть постигнута полно эмпирически хотя бы потому, что не ясно, что же здесь эмпирия.* Индивидуальные конкретные места видятся тогда теоретически. *Подход видит в конкретных местах реализацию общих принципов, форм, правил, симметрий, ритмов; места – узелки ткани закономерностей.*

Выращено семейство концептуальных построений:

- концепция советского пространства;
- концептуальная модель распада СССР как кризиса советского пространства (теория регионализации);
- типология ландшафтов «центр – провинция – периферия – граница»;
- концепции второго порядка – инверсий советского пространства и пострегионализации;
- модель бума «вторых городов»;
- теоретико-географическое представление об империи;
- типология ландшафтных границ (Каганский, 2005).

Полиаспектная сложность ландшафта и особенно его встроенность в человеческую деятельность (равно и – вписанность такой деятельности в ландшафт) предполагает *включенное наблюдение*, а разнообразие ландшафта делает ее маршрутно-динамической сменой позиций – *путешествием*. Теоретической географии имманентны особые познавательные *путешествия теоретика*, они и порождают эвристики конкретных мест, без чего их глубинное постижение затруднено (Каганский, 2001). Для путешествия теоретика характерна акцентуализация *следующих аспектов ландшафта*:

- места как идеи – идеи мест,
 - идеи, генерирующие (порождающие / породившие) конкретные места;
- места как формы ландшафта,
 - конкретные места как теоретически-чистые формы;
- места как сгустки закономерностей;

- воплощенные в материале ландшафта теоретические схемы;
- симметрии, асимметрии и диссиметрии форм;
- конкретные формы ландшафта как реализация и деформация идеально-теоретических форм;
- идеально-теоретический план ландшафта.

Именно и только путешествия открыли и прояснили в современном ландшафте России:

- массовость спонтанной ренатурализации ландшафта;
- специфику, массивность, рост зоны Внутренней Периферии;
- природные заповедники как фокусы культурного ландшафта;
- реальный бум и специфику приграничных территорий;
- бум «вторых городов»;
- разностороннюю сакрализацию ландшафта,
 - бурную мифологизацию ландшафта,
 - и уже его клерикализацию;
- дачный бум и формирование нового пригородного ландшафта;
- реальное – острое и бурное – самоопределение мест,
 - связанное с краеведческим и музейным бумом;
- поведение в ландшафте массовых групп населения;
- важные особенности бытования современной российской культуры (Каганский, 2006).

Специфика культурного ландшафта России как целого.

Введенные представления позволяют компактно представить *общую специфику ландшафта России, характерную как для территории страны в целом, так и для большинства ее частей и территориальных уровней.*

Ландшафт России представляется весьма отклоняющимся от идеала и, по-видимому, в основном, полноценным культурным ландшафтом не является; полноценный ландшафт – достояние лишь отдельных немногих мест. Природная основа и компонент

ландшафта прочитываются ясно, но служат основой лишь для сельской местности; ландшафт сельской местности на макроуровне носит ясный и явный отпечаток природной зональности, но не копирует ее прямо. На уровнях ниже страны более существенна антропогенная зональность. Сеть городских ландшафтов (природно) азональна и оторвана от природной основы.

Ландшафт страны слабо связан вплоть до мозаичности и фрагментированности. Преобладают связи через центры, а не прямые соседские горизонтальные связи. Рисунок ландшафта – скорее архипелаг или древовидная сеть отдельных очагов, нежели сплошная территориальная ткань. Ландшафт не слишком разнообразен, культурный компонент ландшафта много проще природного компонента и плохо с ним согласован; налицо конфликт компонентов ландшафта, особенно природного и культурного (не только), местами острый. Рисунок ландшафта прост и однообразен, повторяется на разных территориях и на разных территориальных уровнях; в то время как сложность сама по себе – важный ресурс ландшафта, условие использования его ресурсов и выражение полноценности (в частности, как среды обитания человека и иных живых существ).

Значимых масштабов мало, как и масштабной специфики; пространство тяготеет к мономасштабности. Пространство характерных направлений бедно, резко доминирует характерное направление «центр – периферия», комплексно дифференцирующие практически как все культурные компоненты ландшафта, так и определяющее общий рисунок освоенности ландшафта. Характерны резкие контрасты и острые «перепады» освоенности. Пространство страны в советское время было резко периферизовано в общем, ландшафтном и статусном отношении, несмотря на освоение территории и насыщение ее новыми культурными элементами. Ныне территориально резко преобладают разные типы Периферии, причем за счет быстрого разрастания Внутренней Периферии общая периферийность ландшафта растет (Каганский, 2012).

Сформулируем *национальную модель культурного ландшафта России*; эта модель ярче всего реализовывалась в советском пространстве. Нынешний российский культурный ландшафт очень специфичен. Он унаследовал свои главные черты от советского пространства, а оно в свою очередь, утрировало многие черты пространства Российской империи – причем черты, уже отживавшие. Пространство страны насквозь пронизано государством, структурировано государством и отдельно не существует. Ландшафт на всех уровнях – система отчетливых ячеек, основная жизнь в них сосредоточена в центрах и замирает на окраинах. Эти ячейки плохо связаны меж собой (почти все связи идут через центр и разделены барьерами безлюдья и бездорожья). Ландшафт высокоцентрализован и моноцентричен; налицо резкая поляризация во многих отношениях. Всё в нашем ландшафте смотрит на центр, как стрелка компаса на север. Ландшафту, сконструированному и сжатому центрами и границами, недостает средней зоны обыденности – Провинции; роль внешних (государственных) границ чрезмерна и деструктивна; реализуется по-преимуществу барьерная функция границ, в том числе и внутренних.

Специфика российского ландшафта:

- в основном не является культурным ландшафтом (в узком смысле);
- унифицирован;
- организован из внешней, экстерриториальной позиции, чуждой конкретным местам;
- главный актор, «пространственный игрок» – государство;
- «нанизан» на единый каркас – административное деление;
- сохраняет и отчасти утрирует структуры советского пространства;
- доминирующее упорядочивающее характерное направление – «центр – периферия»;

- централизован и моноцентричен;
- пространство крайне поляризовано;
- сжат Центром и Границей, это Периферия;
- Провинция представлена лишь локально;
- существует единая единственная сеть ячеек пространства и соответствующая им единая единственная универсальная сеть центров.

Эти структуры охватывают все пространственные уровни, включая во многом и фазовые (социальные, культурные, институциональные) пространства.

Специфика этой модели – предельная концентрация имперских черт и структур (Каганский, 2013). Ландшафт России – наложение активных пространственных форм государства на четкую природную основу. Ландшафт России, *par excellence*, ландшафт не собственно культурный и даже не природно-культурный или природно-хозяйственный – это *ландшафт природно-государственный*.

Главные современные процессы. Основные современные процессы в ландшафте России – сложные, полимасштабные, неоднозначные, противоречиво-парадоксальные; носят открытый поливариантный характер.

Значительно сходство трансформации ландшафта в различных местах – но и начало диверсификации сходных территорий

Главными остаются *последствия распада СССР, трансформация и деградация советского пространства*. Современная трансформация ландшафта страны – прежде всего проявление и следствие кризиса советского пространства. Трансформация ландшафта – переход конструкции «советское пространство» в новое состояние; проходя ряд последовательных этапов, это пространство размывается и фрагментируется; все более значимыми становятся уже независимые процессы. Самосогласованная конструкция «советское пространство», организовывавшая ландшафт, в ходе острого кризиса пережила обычные для кри-

зиса сложных систем децентрализацию и дезинтеграцию – суверенизацию структурных блоков (не только территориальных) и инверсии компонентов. Первый этап состоял в регионализации – выделении территориальных составных частей и / или повышении их статуса при открытии системы. Однако главные ядра и линейные оси активной модификации ландшафта, как усложнения и насыщения антропогенными (и даже собственно культурными) элементами (административные центры, «вторые города», открытые контактные границы государства), так и культурной деградации, спада освоенности, спонтанной ренатурализации ландшафта – по-прежнему институциональные элементы советского пространства. Зоны резкой трансформации природного ландшафта и возникающий вторичный «новый природный ландшафт» четко институционально детерминированы и локализованы, как и зоны массовой культурной активности.

Пройдя фазы регионализации, а затем инверсии советского пространства (Каганский, 2002), российский ландшафт переживает пострегионализацию и быструю острую фрагментаризацию вплоть до парцелляризации; число самостоятельных и полусамостоятельных землевладений и отдельных земельных участков выросло на порядки. Все больше изолированных отдельных мест; растет сегрегированность ландшафта. Ландшафт приобретает черты мозаичности. Актуализируются и появляются новые внутренние границы: *становятся контактными внешние границы России – барьерными становятся внутренние границы.*

Преодолевается и функционально размывается регионально-плитчатая структура. Налицо «уход» государства из пространства, резкая дерегламентация ландшафта и его фактическая приватизация, начало формирования частных пространств и систем негосударственных пространственных статусов; де-факто все больше территорий являются частными и можно говорить о мозаике государственных и частных пространств разных типов. Ландшафт формируется уже не только государством, но и

частными (в широком смысле) структурами и населением. Существенно новое – мощное спонтанное взаимодействие разных массовых групп населения и ландшафта, порождающее и новые острые социальные и экологические проблемы. Резко сокращается сфера заботы о ландшафте, растет хищническое использование природных ландшафтов населением; часть территорий просто забрасываются, выходят из зоны социального контроля и приобретают нулевое культурное содержание и отрицательную социальную ценность. Ландшафтного творчества не видно...

Это становление постсоветского ландшафта на фоне сохраняющегося советского пространственного наследия.

Налицо нормализация ситуации, культурная реабилитация ландшафта, – возвращение пространства России в пространство географическое. Заработала логика географического положения – атрибут именно ландшафта. Появляется шанс становления **полноценных мест**. Ландшафт входит в сферу символически значимого.

Происходит реставрация, регенерация, ревитализация ландшафта, восстановление элементов досоветского ландшафта. Есть признаки некоторого оживления соседских горизонтальных связей.

Одновременно идет новая нарастающая поляризация «центр – периферия» и централистическая концентрация населения. *Сокращаются или нарастают контрасты «центр – периферия»? – вопрос открытый!* При рецентрализации, особенно в финансовой сфере, идет и децентрализация в сфере массового образования, науки и культуры.

Налицо новая периферизация всё большей части территории. Идет резкое сокращение и концентрация освоенных территорий, утрата и забрасывание сельскохозяйственных угодий на уровне страны в целом, ее больших частей и регионов. Освоение пошло вспять? Дальняя периферия пустеет и забрасывается. Формируется и быстро растет новая, **Внутренняя пе-**

риферия за счет периферизации былой провинции (Каганский, 2006); на все большей части страны – одичание и ренатурализация ландшафта, спонтанно восстанавливается природный ландшафт. Мы с Родоманом отметили новый тип дичающего культурного ландшафта – «русская саванна» (Родоман, Каганский, 2004), где ландшафт утрачивает культурные элементы.

Значительные территории ближних и дальних пригородов (в радиусе уже первых сотен км от крупнейших городов) преобразованы (колонизованы) дачно-коттеджным бумом. Налицо массовая реаграризация и рерурализация «горожан»; дезурбанизация, формирование нового комплексного ландшафта и жизненно-экономического уклада. Города, не выйдя из тисков промышленно-городских агломераций, размываются в новых уродливых внутренне-конфликтных пригородах.

Эти явления охватывают большую часть территории РФ, носят непредсказуемый характер и потенциально опасны. Одновременно они богаты и возможностями, и ресурсами. *Изучены и поняты эти процессы очень слабо!*

Культурно-символический компонент ландшафта переживает бум: культурная реабилитация и регенерация культурного ландшафта; бум культурно-символического самоопределения мест; поиск новой идентичности мест, ее ревитализация и конструирование; краеведческий бум; музейный бум; ценностно-сакральная поляризация ландшафта (центр – город – заповедники и вообще особые внегородские урочища); культурно-мотивированный внутренний туризм, слитый с разнообразными паломничествами; появление «новых старых» культурно-маркированных мест; появление и распространение квазирелигиозных ландшафтоориентированных групп; спонтанная сакрализация ландшафта; бум (ландшафтного) языка; клерикализация ландшафта.

2.5. КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ГЕОПРОСТРАНСТВО РОССИИ В ПОСТСЕКУЛЯРНУЮ ЭПОХУ: МЕЖДУ ТРАДИЦИЕЙ И СОВРЕМЕННОСТЬЮ

До конца XX в. в религиоведении доминировал взгляд на секуляризацию как на процесс, в целом, ведущий к упадку религии и религиозности в обществе, обусловленный процессами функциональной дифференциации, плюрализации и рационализации, захватывающими социум по мере его модернизации, то есть перехода от аграрного состояния к индустриально-городскому.

Однако сегодня секуляризация уже не представляется столь однозначным результатом модернизации, а уменьшение роли религии в обществе оказывается временным трендом, связанным лишь с одним из этапов его развития – индустриализацией. Ссылаясь на высказывание известного американского драматурга и мыслителя А. Миллера, который однажды заметил, что «эпоха кончается, когда исчерпываются её основные иллюзии», можно сказать, что тотальная секуляризация всего мира может оказаться лишь иллюзией индустриальной эпохи.

Один из крупнейших современных европейских философов и социологов, Ю. Хабермас, рассматривает роль религии в современном мире в рамках теории модернизации в системе координат *«традиция – современность (modernity) – пост-современность (postmodernity)»*, которой соответствуют этапы развития мирового хозяйства: *«аграрное – индустриальное – постиндустриальное»*. Анализируя современную картину мира, Ю. Хабермас приходит к выводу, что современную эпоху уже нельзя назвать секулярной; а переход от индустриального общества к постиндустриальному также должен быть связан с трансформационными процессами в области политики, экономики и, безусловно, культуры и религии (*процесс постмодернизации*).

Изменившийся мир, в котором присутствие религии в публичной сфере уже восприниматься как норма, Ю. Хабермас харак-

теризует термином *«постсекулярное общество»* (Хабермас, 2002). По его мнению, «вопрос более не состоит в том, суждено ли религии исчезнуть из умов граждан и утратить свою релевантность в современных социальных условиях. На настоящее время мы встречаемся с мировыми религиями неутраченной жизненной силы на глобальном уровне» (Хабермас, 2010). Таким образом, в своих исследованиях Ю. Хабермас выстраивает новую парадигму развития общества: *«религиозное – секулярное – постсекулярное»*.

Согласно Ю. Хабермасу, зарождение постсекулярного общества совпадает с началом эпохи постмодерна, однако, по его мнению, модерн не отменяется постмодерном, а диалектически им «снимается». То есть секуляризация не отменяется постсекуляризацией, и в новой эпохе сохраняются все достижения прежней светской культуры, такие как плюрализм, свобода совести, независимость религиозных организаций. В новой культуре постмодерна светское и религиозное переплетаются, а не находятся в состоянии борьбы и отрицания друг друга. Наоборот, светское государство может с успехом использовать религиозную традицию для своей легимитизации и укрепления в кризисных условиях современности, в которых явно чувствуется нехватка идеалов и идей.

Таким образом, снимается основное противоречие эпохи модернизации, связанное с противостоянием между традицией и современностью. Отныне больше нет необходимости видеть в религии врага секулярного общества, и светскому обществу во избежание конфликтов просто нужно договориться с религиозными организациями о разделении сфер влияния (Хабермас, 2002).

Географические границы постсекулярного мира сегодня могут быть довольно четко определены – это страны Западной Европы, Канада, Австралия и Новая Зеландия (Хабермас, 2008). То есть это те государства, которые прошли путь секулярного развития, в сознании граждан которых прочно закрепилось пред-

ставление о том, что они живут в секуляризованном обществе. Однако сейчас в этих странах происходит актуализация религии в общественном дискурсе, связанная с глобальным трендом усиления религиозного фундаментализма и требующая необходимости создания «сносных» (постсекулярных) условий для представителей религиозных меньшинств. Именно об этой ситуации пишет С. Хантингтон, утверждая, что в современную эпоху «светский Запад вынужден иметь дело с отнюдь не светскими режимами и культурами» (Хантингтон, 1994). Что касается США, то, в связи с традиционно высоким уровнем религиозности населения этой страны, её общество вряд ли можно назвать постсекулярным.

С определенной степенью допущения к списку постсекулярных стран следует добавить бывшие социалистические страны – Россию, государства Восточной Европы, Китай, Вьетнам, а также Турцию, в которых до недавнего времени проводилась активная антирелигиозная государственная политика (то есть *пост*-секулярные страны в буквальном историческом смысле этого слова), а сейчас религиозные организации снова начинают играть значительную роль в жизни общества.

Анализируя ситуацию в конфессиональной сфере России и других бывших социалистических стран, следует учитывать, что в эпоху государственного атеизма в этих государствах так и не сложилось в полной мере секуляризованное общество. Английский социолог Б. Тернер считал, что существует два вида секуляризации: «*политическая секуляризация*» и «*социальная секуляризация*» (Тернер, 2012). Первая относится к общественным институтам и политическим образованиям, в то время как вторая – к вопросам культуры, морали, ценностям и особенностям отношений между человеком и религиозными организациями.

В СССР, странах Восточной Европы, Вьетнаме, Китае политическая секуляризация была проведена довольно успешно, но, как отмечает Б. Тернер, религия осталась влиятельной силой в этих странах на социальном уровне. Например, русское право-

славие (которое связано с национальным самосознанием и культурой русского народа), доказало, что оно занимает важное место в русском обществе. То же можно сказать и об исламе для народов Поволжья и Северного Кавказа или буддизме для бурят, калмыков и тувинцев. Таким образом, «отмена» секулярной политики государством привела к быстрому (фактически за два десятилетия) возвращению религии в общественную жизнь России.

Об этом свидетельствуют следующие цифры: в 1989 г. к числу атеистов причисляли себя 53 % жителей России, в 1990 г. – 45 %, в 1991 г. на исходе СССР – 43 %, а в 1992 г. – уже 28 %, одновременно выросло число верующих россиян с 29 % в 1989 г. до 57 % в 1992 г. (Синелина, 2006). По современным данным, приводимым экспертами GallupInternational, 55 % населения России называют себя религиозными людьми и только 6 % – убеждёнными атеистами (Global Index of Religion and Atheism, 2012). По данным отечественных исследователей, 82 % наших соотечественников верят в Бога (в том числе 57 % исповедуют какую-либо конкретную религию) и только 13 % – атеисты (Арена. Атлас Религий). Общее количество действующих религиозных объединений в России возросло с 1990 г. почти в 4 раза и достигло к 2013 г. 24,8 тыс.

Таким образом, социологические исследования зафиксировали скачок уровня религиозности населения России в момент её перехода от социализма к рыночным отношениям. В дальнейшем религиозность россиян изменялась лишь незначительно, а вот доля атеистов в населении страны неуклонно сокращалась. Данная ситуация объясняется тем, что в конфессиональной сфере современной России происходят сложные трансформационные процессы, связанные с модернизацией российского общества.

Безусловно, можно предположить, что часть населения страны после крушения СССР действительно вернулась к вере, то есть стала разделять соответствующие догматические принци-

пы и нравственные идеалы, регулярно участвовать в традиционной религиозной практике, видеть в религии доминанту своей жизни.

Однако, с другой стороны, в условиях рыночной экономики религия становится важным компенсатором для тех членов общества, которые испытывают чувство дискомфорта и незащищенности, связанное с отказом государства выполнять свои прежние обусловленные социалистическим строем социальные обязательства. Американские исследователи религии П. Норрис и Р. Инглхарт называют это чувством «*экзистенциальной безопасности*», считая, что его низкий уровень становится важнейшей причиной повышения уровня религиозности населения (Norris, Inglehart, 2004). Это означает, что религиозная идея для ностальгирующей по прежним временам части общества стала заменой (эрзацем) идей социализма, и поэтому от этой группы людей не следует ожидать высокого уровня приобщения к религиозной жизни.

К религии также начали обращаться традиционалистски настроенные слои российского общества, видящие в ней противостояние от модернизации по западному пути, или *вестернизации*. Религия воспринимается в этом случае как «хранительница» культурных традиций народа, его коллективной памяти, цивилизационным фундаментом (своеобразной «*скрепой*») общества, идеологической основой особого российского пути модернизации. Многим россиянам импонирует установка религии на консолидацию общества, служение ближним, поддержку государства в кризисных условиях. Таким образом, в условиях усложнения этнической и конфессиональной ситуации в современной России, вследствие увеличения интенсивности миграционных процессов и при неодинаковом уровне воспроизводства населения в различных регионах страны, религия становится скорее одним из определяющих факторов самоидентификации населения, а не показателем уровня его духовной жизни.

Многообразие роли религии в российском обществе обуславливает и сложную структуру религиозности населения. Своео-

бразное «ядро» религиозного населения образуют верующие в традиционном понимании этого слова, то есть те, кто активно участвует в религиозной жизни своей общины. Определить их число довольно сложно, и для этого социологи обычно используют косвенные данные. Так, среди православных России лишь 17 % молятся каждый день, 8 % прочитали Евангелие, 5 % участвуют в приходской жизни и 4 % исповедуются раз в месяц и чаще. То есть к числу активных (так называемых «воцерковлённых») верующих можно отнести не более 10–15 % православных России, остальные относят себя к православию скорее исходя из своей культурной или этнической самоидентификации. Среди мусульман можно констатировать примерно схожую ситуацию: молятся каждый день 25 % российских мусульман, а активно участвуют в жизни общины всего 2 %. Примерно такая же ситуация складывается и в российском буддизме, старообрядчестве; несколько выше доля активных верующих в иудаизме, католицизме и, особенно, протестантизме (Арена. Атлас Религий).

Интересно отметить, что 25 % населения России верят в Бога, но не относят себя ни к одной религии (а в Сибирском и Уральском федеральных округах такие люди составляют почти 1/3 жителей), ещё 4 % исповедуют христианство, не принадлежа ни к одной из христианских деноминаций, а 1,5 % россиян, исповедуя православие, находятся вне Церкви. В мусульманской общине вообще складывается парадоксальная ситуация, связанная с тем, что подавляющая часть российских мусульман (более 71 %) не относит себя ни к суннитскому, ни к шиитскому направлению ислама, выделяя исключительно свою общемусульманскую идентификацию. Исключением в группе традиционно мусульманских субъектов РФ является Дагестан, большая часть населения которого чётко идентифицирует свою принадлежность к определённому направлению ислама (49 % населения Дагестана – сунниты), что объясняется тесной связью дагестанского духовенства с исламскими центрами на Ближнем Востоке.

Английский социолог Г. Дэйви, анализируя во многом схожую с Россией религиозную ситуацию в Европе, приходит к

мнению, что в современном постсекулярном обществе происходит уменьшение посещаемости церквей, при этом сохраняется присутствие религии в социальной памяти населения и, тем самым, его традиционная конфессиональная принадлежность. Однако, идентифицируя себя с конкретной религией, население вовсе не обязательно разделяет официальные догматы церкви и посещает храмы. Такую форму религиозности Г. Дэйви называет «*верой без принадлежности*» [к религиозной общине] (*believing without belonging*) (Davie, 1994). В России, судя по приводимым выше социологическим данным, «верят без принадлежности» более трети жителей страны.

Особенностью религиозной жизни современной России является уникальное сочетание на её территории традиции и современности. Традиция, прежде всего, представлена такими конфессиями как православие, ислам и буддизм ламаистского толка – религиями, которые послужили фундаментом уникальной евразийской цивилизации страны, то есть укоренены в культуре народов, традиционно их исповедующих. Эти религиозные направления образуют основу конфессионального геопространства страны, формируя его ядра – территории с относительно однородным конфессиональным составом населения. К данной группе также примыкают католицизм, старообрядчество, иудаизм, лютеранство, армяно-григорианство, появившиеся в России позднее, но также ориентированные прежде всего на «свои» этносы. Однако эти религии распространены дисперсно, не образуя на территории России однородных в конфессиональном отношении районов.

Наконец, современность (*постмодерность*), всё активнее «отвоёвывающую» своё место в конфессиональном геопространстве России, олицетворяют модифицированные глобализацией формы традиционных религий – прежде всего, евангелические и независимые христианские церкви. Эти духовные движения внеэтничны, они не связаны с социо-культурными традициями России, так как порождены глобализацией, ареал

их влияния «рассеян» поверх традиционных конфессиональных, культурных и этнических границ.

Переход к постсекулярному этапу развития в России приводит к конкретным пространственным изменениям, проявляющимся в переконфигурации конфессионального геопространства страны: активно строятся новые и восстанавливаются старые церкви, мечети и молитвенные здания и т. д. Культовые сооружения становятся доминантами культурного ландшафта России, являясь зримым материальным проявлением тенденции усиления влияния религии в стране. Наиболее ярким примером процесса сакрализации пространства российских городов стало восстановление храма Христа Спасителя в Москве, который после длительного перерыва в советскую эпоху снова господствует над пространством центра столицы. По данным на декабрь 2013 г., в Москве насчитывалось 958 православных храмов, однако лишь в 473 из них совершались регулярные богослужения и существовали постоянные приходские общины, что свидетельствует о том, что в городе нет недостатка мест для православного богослужения. Тем не менее, несмотря на высокую степень насыщенности пространства Москвы православными культовыми сооружениями, правительство города приняло решение о строительстве 200 новых православных церквей на территории всех округов столицы в рамках реализации «Программы-200». Подобными примерами также могут служить восстановление Покровского собора в центре Ростова-на-Дону, строительство грандиозной мечети «Сердце Чечни» им. А. Кадырова в Грозном, которая в 2013 г. вошла в число десяти объектов-победителей конкурса «Россия 10» на главный визуальный символ страны, или исламского комплекса Кул Шариф в Казанском кремле и т. д. Подписанный в 2010 г. Президентом закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения», предполагающий безвозмездный переход исторических зданий культового назначения к религиозным организациям, потенциально может превратить Рус-

скую Православную Церковь (РПЦ) в одного из самых крупных собственников в стране и, тем самым, фактически приведёт к приватизации церковью культурного наследия средневековой Руси.

В связи с тем, что в России не существует официальных данных по конфессиональной статистике, для того, чтобы наиболее объективно анализировать структуру конфессионального геопространства страны, мы будем использовать три группы источников (подробнее см. Горохов, 2012). Во-первых, это данные по этническому составу населения, отражающие расселение приверженцев традиционных конфессий. Во-вторых, статистика размещения религиозных организаций, позволяющая оценить уровень религиозной активности населения (в том числе принадлежащего к нетрадиционным конфессиям). В-третьих, итоги социологических опросов, показывающих особенности пространственной самоидентификации россиян в отношении религии.

Статистические данные свидетельствуют (табл. 7), что в конфессиональном геопространстве России доминирует православие, однако доля народов России, традиционно исповедующих православие, почти в два раза больше доли православных, численной по данным социологических опросов. Православные приходы составляют лишь несколько более половины всех религиозных организаций России, что явно недостаточно для духовного *окормления* всех россиян, которые могут исповедовать православие, исходя из своей этнической принадлежности. Наибольшим влиянием православная церковь пользуется в Центральном, Северо-Западном, Южном и Приволжском федеральных округах: здесь одновременно наблюдается высокая доля «этнических» православных, велика доля православных организаций, а социологические опросы фиксируют высший уровень православной самоидентификации населения (Тамбовская, Липецкая, Нижегородская, Курская, Воронежская, Волгоградская, Новгородская, Архангельская, Псковская области, Марий Эл, Чувашия и Мордовия).

Таблица 7.
Региональные особенности размещения крупнейших конфессиональных групп России, %

Федераль- ные округа	Православие			Ислам			Буддизм			Протестан- тизм			Католицизм			Старообря- чество			Иудаизм		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Централь- ный	91,5	77,6	52,6	1,1	1,5	1,8	0,0	0,3	0,1	0,0	16,0	0,2	0,0	0,4	0,1	...	1,4	0,5	0,1	1,6	0,1
Северо- Западный	88,3	62,0	43,7	0,9	1,8	1,2	0,0	0,4	0,1	0,2	31,1	0,2	0,1	2,0	0,2	...	0,9	0,3	0,2	1,3	0,1
Южный	89,3	60,0	51,4	4,1	6,0	3,1	1,2	2,3	0,8	0,1	27,6	0,1	0,0	1,1	0,1	...	1,4	0,2	0,0	1,1	0,0
Северо- Кав- казский	38,5	20,7	25,3	58,9	66,4	41,3	0,0	0,1	0,1	0,0	10,8	0,1	0,0	0,5	0,0	...	0,4	0,1	0,0	0,8	0,1
Приволж- ский	77,1	51,2	43,4	18,4	36,5	12,5	0,0	0,2	0,0	0,0	9,3	0,3	0,0	0,3	0,1	...	1,4	0,4	0,0	0,5	0,0
Уральский	83,7	58,4	35,8	8,6	18,3	6,0	0,0	0,2	0,0	0,3	19,5	0,3	0,1	0,8	0,3	...	0,9	0,2	0,0	1,3	0,1
Сибирский	88,0	50,7	30,1	1,9	6,1	1,3	3,6	5,5	2,5	0,7	30,7	0,3	0,3	2,8	0,1	...	1,1	0,2	0,0	1,0	0,0
Дальне- восточный	89,7	42,0	29,0	1,1	2,3	0,8	0,1	1,2	0,2	0,0	49,1	0,7	0,0	1,7	0,1	...	0,7	0,2	0,0	1,2	0,1
РОССИЯ	84,0	57,9	42,6	10,3	18,2	6,6	0,6	1,0	0,5	0,2	19,0	0,3	0,1	0,9	0,1	...	1,2	0,3	0,1	1,1	0,1

1 – потенциальная доля adeptов крупнейших конфессиональных групп в общей численности населения федеральных округов России, исходя из этнического состава их населения (2010 г.).

2 – доля религиозных организаций крупнейших конфессиональных групп в общей численности религиозных организаций федеральных округов России (2013 г.).

3 – доля adeptов крупнейших конфессиональных групп в общей численности населения федеральных округов России, исходя из данных социологических опросов (2012 г.).

Православные религиозные организации суммарно преобладают над организационными структурами остальных конфессий в Центральном, Северо-Западном, Южном и Уральском федеральных округах России. Ещё в двух округах – Приволжском и Сибирском – к православию относится немногим более половины религиозных организаций, а в Северо-Кавказском и Дальневосточном они составляют меньшинство, уступая, соответственно, исламским и протестантским.

Таким образом, территориальная структура православия инерционна, она опирается в значительной степени на свои «досекулярные» организационные структуры – сеть приходов, монастырей, образовательных центров и святынь, возникших ещё в эпоху Российской империи. В это же время в Сибирском и, особенно, Дальневосточном федеральных округах большое число «этнических» православных так и остаются лишь потенциальными адептами православия, не охваченными религиозной практикой. Низкая доля православных приходов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах является главной причиной того, что данные территории стали в настоящее время основным «миссионерским полем» для представителей других конфессий, прежде всего протестантизма и католицизма. Интересно отметить, что руководство Русской Православной Церкви, понимая «разреженность» своей епархиально-приходской сети, начало в 2011 г. административную реформу. В результате к середине 2013 г. были образованы 82 новые епархии. В настоящее время в составе РПЦ в России насчитывается 163 епархии, объединённых в 46 митрополий. Указанная реформа, по мысли руководства РПЦ, должна способствовать улучшению управляемости Церкви и содействовать её миссионерской активности. РПЦ остаётся крайне централизованной структурой, Москва продолжает выполнять функцию административного и духовного центра русского православия – здесь находятся патриаршие кафедральные соборы (Христа Спасителя и Елоховский), резиденция Патриарха и церковная администрация (Чистый

переулок, Свято-Данилов монастырь). В ближайшем Подмоскowie расположена загородная резиденция главы РПЦ (посёлок Переделкино) и важнейший духовный и учебный центр церкви – Троице-Сергиева лавра. Несколько лет назад в Южном федеральном округе возник новый духовно-административный центр в Геленджике (Титов, 2011), а в бывшем католическом монастыре Тихелкерк (Нидерланды) создаётся православный центр для стран Западной Европы. К числу крупнейших епархий РПЦ относятся патриаршая Московская (почти 900 приходов), Нижегородская (более 400 приходов), Владимирская и Суздальская, Воронежская и Борисоглебская, Пензенская, Самарская, Санкт-Петербургская, Тверская (в каждой более 300 приходов).

Распад Советского Союза и образование на его месте независимых государств оказал большое влияние на деятельность всех крупных религиозных организаций России. Однако наиболее болезненным он оказался для Русской Православной Церкви, так как привел к расколу единого конфессионального геопространства православия, или, используя церковную терминологию, «канонической территории» Московского патриархата, пределы которого совпадают с границами СССР (за исключением Грузии, Абхазии и Южной Осетии, которые официально относятся к юрисдикции Грузинской Православной Церкви). В связи с этим в РПЦ, ощущающей себя наследницей имперского величия СССР, была выдвинута геополитическая по своей сути концепция «русского мира», автором которой стал сам Патриарх Кирилл, основной идеей которого стала доминанта духовного православного начала в историческом развитии братских восточно-славянских народов бывшего СССР. Он ясно очертил сакральные границы: «Ядром русского мира сегодня являются Россия, Украина, Белоруссия, и святой преподобный Лаврентий Черниговский выразил эту идею известной фразой: «Россия, Украина, Беларусь – это и есть Святая Русь»». Сакральным центром «русского мира» видится Москва – в православной традиции «Третий Рим» и место нахождения патриаршей кафедры.

Вместе с тем, сакральная геополитика Московского патриархата получает активное противодействие с разных сторон. Во-первых, «русский мир» под руководством Москвы, неприемлемый для части национальных православных иерархов и их паствы, породил в церкви этнофилитистские движения.¹ Если в Белоруссии идея единства с Москвой всё же получила полное понимание, и местная православная церковь канонически входит в состав РПЦ, образуя в его составе автономный Белорусский экзархат, то на Украине сложилась принципиально иная ситуация. В этой стране сосуществуют четыре соперничающие друг с другом восточно-христианские церковные юрисдикции, география которых в основных чертах отражает региональное деление страны на Юго-Восток, Центр и Запад: Украинская Православная Церковь (Московского патриархата) – УПЦ МП, Украинская Православная Церковь (Киевского патриархата) – УПЦ КП, Украинская автокефальная православная церковь – УАПЦ, Украинская греко-католическая церковь – УГКЦ, признающая верховенство Папы Римского.

Объединение этих церквей в одну независимую православную церковь привело бы к образованию крупнейшей православной юрисдикции в мире по числу приходов и активных прихожан! Кроме того, Киев – «мать городов русских», старейшая епископская кафедра на землях восточных славян – «Второй Иерусалим» в сакральной географии русского православия, потеря которого неприемлема для РПЦ. Это связано с огромным значением Украины для Московского патриархата как своеобразного «*сакрального хартленда*», а также источника кадров, в том числе монашеских и епископских. Интересно отметить, что из пяти лавр – важнейших монастырских центров РПЦ – только две (Троице-Сергиева в Сергиевом Посаде и Александро-Невская в Санкт-Петербурге) находятся в России, остальные три (Киево-Печерская, Почаевско-Успенская и Успенская Святогор-

¹ Этнофилетизм – движение за церковную независимость на основе национальной обособленности.

ская) – на Украине. Безусловно, без Украины «русский мир» не может быть полным, именно с этим связана идея изменения титула главы РПЦ с «Патриарх Московский и всея Руси» на «Патриарх Киевский, Московский и всея Руси», а также создание новой патриаршей резиденции в Киеве (предположительно на территории Киево-Печерской Лавры). Интересно отметить, что претензии на Киев выдвигают и украинские греко-католики, которые перенесли сюда из Львова резиденцию своего духовного главы – Верховного архиепископа УГКЦ.

Во-вторых, противодействие геополитическим планам «Третьего Рима» стал оказывать его давний соперник в православном мире – «Рим Новый», то есть Константинополь (если быть точным, то стамбульский район Фанар), где находится резиденция Вселенского Патриарха. Соперничество двух наиболее авторитетных православных патриархатов в значительной степени происходит из-за попыток Константинополя распространить своё влияние на Восток. Важнейшей частью этого плана являются планы Вселенского патриархата установить свой контроль над православной паствой на Украине, которая может перейти в юрисдикцию Константинополя (как материнской православной церкви), что приведёт к сосуществованию на Украине двух параллельных легитимных православных иерархий – московской и константинопольской. По схожему сценарию уже развиваются события в Эстонии, где в результате церковного раскола уже действуют две православные организации: одна, признающая главенство Московского патриархата, другая – Вселенского. Кроме того, Фанар стал на сторону Румынской Православной Церкви в её споре с РПЦ по поводу православных приходов в Молдавии, в которой под эгидой Бухареста была организована Бессарабская митрополия.

Ислам – вторая по численности адептов религия страны: согласно примерным оценкам, численность мусульман в России составляет около 10 млн, или несколько менее 7 % населения страны (Арена. Атлас Религий), что примерно совпадает с до-

лей этносов в населении РФ, исторически исповедующих ислам. Традиционно наибольшим влиянием мусульманство пользуется в Северо-Кавказском, Приволжском и Уральском федеральных округах, где находятся этнические ареалы мусульманских народов: татар, башкир, чеченцев, аварцев, казахов и др. Мусульманские религиозные объединения составляют 2/3 религиозных организаций Северо-Кавказского федерального округа и 1/3 Приволжского. В последнее время для геопространства ислама стал характерен сдвиг на восток, в азиатскую часть России и на Урал, а также в крупные города европейской части России (прежде всего в Москву), происходящий вследствие трудовой миграции его паствы. Однако если строительство новых мечетей в районах традиционного расселения мусульманских народов России происходит при полном одобрении властей и общественности, то привнесение в сакральное пространство традиционно православных городов России мусульманских культовых сооружений иногда сопряжено с определёнными сложностями. Можно упомянуть о проблемах строительства мечетей в Воронеже, Костроме, Сочи, Малоярославце, Ногинске. Примечательна история строительства мечети в важнейшем духовном центре православия – Сергиевом Посаде, в непосредственной близости от Троице-Сергиевой Лавры, которое вызвало волну протестов общественности (Верховский, 2007). Неоднозначная ситуация сложилась со строительством мечетей в Москве, в которой на миллион с лишним мусульман приходится всего четыре мечети. С одной стороны, в центре столицы производится грандиозная реконструкция Соборной мечети, высоту минаретов которой предполагается довести до 75 м, с другой, попытка построить мечеть в московском районе Текстильщики оказалась заблокирована из-за противодействия местных жителей (Белановский, 2010). Следует также отметить, что с подобными трудностями часто сталкиваются православные активисты в традиционно мусульманских регионах страны, примером которых может служить противодействие татарских националистов возрождению церковно-приходской жизни кря-

шен в Татарстане (Соколовский, 2009). Тем не менее, в результате активности мусульманских организаций строительство исламских культовых сооружений происходит по всей территории страны: так, например, в Сибири и на Дальнем Востоке всего за два последних десятилетия возникли 168 исламских религиозных организаций, в том числе самая северная в мире мечеть Курд-Намаль в Норильске.

В отличие от православных или католических, исламские организации не имеют строгой иерархии или единого центра управления. Во времена СССР в пределах территории современной России существовали две централизованные мусульманские организации – Духовное управление мусульман европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС) и Духовное управление мусульман Северного Кавказа (ДУМСК). В результате многочисленных расколов в 90-х годах прошлого века ныне в стране существует более 40 духовных управлений мусульман (муфтиятов), большинство из которых объединены в три централизованные организации: Центральное Духовное управления мусульман России (ЦДУМ) в Уфе, Совет муфтиев России (СМР) в Москве и Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) в Кисловодске. Среди важнейших региональных организаций мусульман, не входящих в централизованные, следует назвать духовные управления мусульман (ДУМ) Чечни и Татарстана. Таким образом, одной из особенностей конфессионального геопространства ислама в России является высокий уровень конкуренции между духовными организациями мусульман, которые борются за влияние в одних и тех же субъектах РФ. Так, например, в Башкирии действуют сразу два муфтията – ЦДУМ и Духовное управление мусульман Республики Башкортостан (ДУМ РБ) под эгидой СМР. Каждый из муфтиятов строит в Уфе свою Соборную мечеть, пытаясь перещеголять соперника в грандиозности данной постройки (Былов, 2014).

Несмотря на организационную и территориальную разобщенность, для мусульман России, как и всего мира, характерно

сильное общеисламское самосознание. Согласно исламским представлениям, территории, большинство населения которых составляют мусульмане, образуют «исламский мир», или «дар аль-ислам» (араб. «земля ислама»). Границы «исламского мира» примерно совпадают с границами стран Организации исламского сотрудничества – ОИС (57 государств), в которую в качестве наблюдателя входит и Россия (Горохов, 2013). Его ядром до настоящего времени является аридный пояс, сердцевина которого – Аравия со священными городами мусульман Меккой и Мединой и прилегающие к нему страны Ближнего Востока. Таким образом, в исламском сакральном пространстве, в отличие от православного, Россия занимает не центральное, а, скорее, периферийное положение (в стране живёт лишь около 1 % мусульман мира). Мусульмане РФ испытывают влияние противоречивых процессов, происходящих ныне в глобальной мусульманской общине и связанных с поиском исламского варианта вхождения в современность. Воздействие «исламского мира», в своей массе ещё досекулярного, приводит к усилению влияния традиционных мусульманских ценностей на население России. Данное влияние можно проследить по двум основным направлениям. Во-первых, это подготовка кадров исламского духовенства для религиозных организаций России. Если во времена Советского Союза исламское духовенство для страны готовилось в основном на территории страны (в Бухаре), то сейчас положение коренным образом изменилось. Теперь на религиозное исламское образование оказывают большое влияние зарубежные страны, в частности Королевство Саудовская Аравия (КСА) и близлежащие монархии Персидского залива, а также Египет, Сирия, Турция и другие страны Ближнего Востока. Многие будущие муфтии России (особенно это касается Дагестана) проходят обучение в университетах Аль-Азхар (Египет), Абу Нур (Сирия), Исламском университете Эр-Рияда имени Мухаммада ибн Сауда (КСА); в этих же учреждениях готовятся и учебные материалы, используемые в России для подготовки

богословов и служителей культа (Патеев, 2008). Вторым канал влияния зарубежных исламских центров на Россию – это хадж, то есть ежегодное паломничество в Мекку, во время которого на российских мусульман оказывается идеологическое влияние со стороны фундаменталистского ваххабитского духовенства Саудовской Аравии. Саудовская сторона не только выделяет квоту на российских паломников, но и в значительной степени оказывает влияние на их региональное распределение, в результате которого народы Дагестана составляют 65–70 % от всех российских паломников (Почти половина... 2013). В результате среди всех регионов страны именно в Дагестане фундаменталистские направления ислама пользуются наибольшим влиянием.

Католицизм в России традиционно связан с этническими диаспорами немцев, поляков, литовцев и латгальцев (субэтносы латышей); численность католиков, по данным социологических опросов, примерно соответствует численности народов, традиционно исповедующих католицизм (несколько менее 0,2 млн человек). Данные этносы первоначально размещались в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах. В дальнейшем наметился сдвиг католицизма на восток, связанный с перемещением в Сибирь немцев из Поволжья, литовцев и латгальцев из Прибалтики, поляков из Галиции; позднее началось возвращение немцев в Поволжье, а также в Калининградскую область. Половина католических организаций России находится в Сибирском (Алтайский и Красноярский края, Омская, Новосибирская, Кемеровская, Иркутская области) и Северо-Западном (Калининградская область, занимающая первое место в стране по числу католических организаций, Санкт-Петербург) федеральных округах. Рост влияния католицизма в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах связан также с успешным функционированием здесь католических миссий среди местного (прежде всего русского по своей этнической принадлежности) населения. Продвижение католических приходов на Восток, скорее всего, станет стратегическим

направлением на последующие десятилетие, что не может не вызывать опасений руководства РПЦ за свою паству. Организационно и духовно католическая церковь в России подчиняется Папе Римскому, являющемуся главой государства-города Ватикан. Интересы римского первосвященника в России представляет дипломатический представитель Святого Престола – нунций, в функции которого входят как межгосударственные отношения между Ватиканом и Россией, так и наблюдение за деятельностью католических организаций в стране его пребывания. Территория России составляет одну церковную провинцию (митрополию), в которую входят одна архиепархия (в Москве) и три зависимых от неё суффраганные епархии с центрами в Саратове, Новосибирске и Иркутске.

Протестантизм – направление христианства в России, испытывавшее за свою историю самые существенные трансформации. Появившись в стране в конце XVII в. как религия немцев-иммигрантов, к началу XXI в. протестантизм приобрёл общероссийский внеэтнический характер. Приблизительная численность протестантов в России оценивается в весьма широких пределах – от 0,4 до 10 млн человек (Арена. Атлас Религий). Число «этнических» протестантов – лишь 0,3 млн человек, однако на протестантские церкви приходится 19 % всех религиозных организаций страны, что свидетельствует об их высокой миссионерской активности. В настоящее время протестантизм в России представлен тремя группами религиозных организаций, соответствующих трём историческим этапам распространения этой религии в стране: «этнические», связанные с протестантскими этническими диаспорами немцев, эстонцев, финнов, венгров (220 общин лютеран, меннонитов и реформатов); «русские», восходящие к тем направлениям протестантизма, которые стали распространяться среди русских, украинцев и белорусов в начале XX в. (1351 община баптистов и адвентистов); «глобальные», представленные религиозными организациями, связанными с мировыми центрами современного

протестантизма (более 3 тыс. общин пятидесятников, евангелистов, пресвитериан, мормонов, иеговистов, методистов и др.). В настоящее время по своей этнической принадлежности около 80 % протестантов – русские.

В современной России протестанты представляют собой наиболее активную группу верующих (более 50 % протестантов считают, что религия играет важную роль в их жизни – максимальный показатель среди всех конфессиональных групп страны), а по числу религиозных организаций протестанты занимают второе место в стране, превосходя даже мусульман. Доминирующим направлением протестантизма стало пятидесятничество (около 50 % религиозных организаций протестантов), культовая и организационная практика которого оказывает сильное влияние на другие протестантские направления. Наибольшим влиянием протестантизм пользуется в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, что является результатом высылки этнических протестантов в Сибирь, а также активного современного миссионерства «глобальных» протестантских церквей. По числу протестантских общин лидируют Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Приморский край и Иркутская область; в восьми субъектах протестантские религиозные организации преобладают по численности над православными (Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область, Тыва, Карелия, Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкария и, что примечательно, Москва). В России протестантизм не имеет единой централизованной структуры, однако с 2002 г. в стране действует Консультативный Совет Глав Протестантских Церквей России (КСГПЦР), находящийся в Москве и объединяющий союзы церквей пятидесятников, баптистов, евангелистов, адвентистов седьмого дня и методистов; в качестве наблюдателей в Совете также представлены лютеранские церкви.

География остальных традиционных религий России – иудаизма (0,1 млн человек), старообрядчества (0,5 млн) и буддизма (0,7 млн) – не претерпела существенных изменений. Иудаизм

распространён дисперсно по всей территории России, прежде всего в крупных городах. В стране действуют две конкурирующие друг с другом централизованные иудаистские организации: Федерация еврейских общин России (ФЕОР), объединяющая общины ортодоксального иудаизма, и Конгресс еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР), в которую входят общины ортодоксального и прогрессивного иудаизма. Центральные органы обеих организаций находятся в Москве.

Старообрядчество – фактически единственная религия России, не испытавшая возрождения, так как в современной России отсутствует существенный потенциал для ее роста (число старообрядческих религиозных объединений остаётся с 1990 г. в стране стабильным и не превышает 300). Почти две трети старообрядческих религиозных организаций находятся в Приволжском и Центральном федеральном округах (больше всего в Нижегородской и Московской областях, Пермском крае и в Москве). Старообрядчество никогда не было единым течением и в настоящее время оно разделено на большое число направлений (согласий и толков). Крупнейшие старообрядческие религиозные объединения, действующие в России и за её пределами: Русская Православная Старообрядческая церковь (Белокреницкое согласие) имеет два центра – в Москве, на Рогожском кладбище, и в Браиле (Румыния); Русская Древлеправославная Церковь с центром в Москве (до 2002 г. центр находился в Новозыбкове Брянской области – регионе РФ, наиболее пострадавшем от последствий аварии на Чернобыльской АЭС); Древлеправославная Поморская Церковь (Санкт-Петербург).

Буддизм в России до настоящего времени остаётся традиционной религией тувинцев, калмыков и бурят; и более половины (132 из 237) буддийских религиозных организаций сосредоточено в Калмыкии, Туве и Бурятии. В то же время лишь в Туве буддисты составляют абсолютное большинство населения; в Калмыкии буддисты преобладают, но не составляют абсолютного большинства; в Бурятии же уступают первое место право-

славным. В последнее время новые буддийские центры возникают в крупных городах Дальнего Востока, а также в Москве (18 организаций). В России нет одной централизованной религиозной организации, которая бы объединяла всех буддистов страны. К числу важнейших буддийских организаций можно отнести Буддийскую традиционную сангху России (БТСР), действующую в основном в Бурятии, Объединение буддистов Калмыкии и Объединение буддистов Тувы.

В заключение необходимо отметить, что термин «постсекулярное общество» оказался столь популярным не только в научном религиоведении, но и в самых широких слоях общества, что в результате сегодня его трактуют самым различным образом. В настоящее время доминируют три основных научных подхода к понятию термина «постсекулярное общество» (Узланер, 2009). Сторонники первого, обозначенного самим Ю. Хабермасом, понимают постсекулярное общество как этап развития светского общества, в котором на принципах толерантности сосуществуют секулярные и религиозные ценности.

Другую интерпретацию предлагают Йозеф Ратцингер (почётный Папа Римский Бенедикт XVI) и Майк Кинг, для которых постсекулярное общество подразумевает конец гегемонии секуляризма как антирелигиозной идеологии и наступление эпохи духовности, которая примирит веру и разум, религию и науку (King, 2009).

И, наконец, теолог Джон Милбанк даёт трактовку постсекулярного как поражения секуляризации и возвращения эпохи, которую он определяет как «восстановленную христианскую гегемонию, которая, однако, будет способна обеспечить уют и для всех иных религиозных практик, пока те еще будут сохраняться» (Узланер, 2009). С последней трактовкой согласен отечественный исследователь религии А. Крыжелёв, который пишет: «Теперь время реванша религии – в самых разных ее формах и проявлениях. И на самых разных «площадках» (Крыже-
лежев, 2004).

Какой из этих парадигм в результате будет следовать религия в России или она выберет какую-либо иную дорогу – судить пока ещё рано. Однако сложность конфессионального геопространства России, наличие разных типов религиозности, неоднозначность понимания места и роли религии в современном российском обществе не предполагают простого и однозначного ответа на этот вопрос.

Глава 3.
Полиэтнокультурализм
и этнокультурные трансформации
в постсоветской России:
взгляд географов-обществоведов

3.1. ВОПРОСЫ К ЭКСПЕРТАМ И ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ

3.1.1. Российский полиэтнокультурализм в региональном и локальном контексте: каковы возможности и риски?

А. Г. Дружинин

Россия – полиэтнична в том смысле, что фактически представляет собой «страну стран», экономический и социокультурный симбиоз множества больших (по численности) и малых народов (многие из них являются «титульными», имеющими «свою», закреплённую за ними системой федерализма территорию); «скрепом» всей этой конструкции выступает российская государственность и русская культура. «Собственно русский» этнический компонент численно преобладает в 72 субъектах РФ (а в 56 регионах удельный вес этнических русских в населении превышает 75 %); только на 13-ти территориях (имеющих статус «республики») русские составляют менее 50 % населения; показатель этот достигает минимума в Республике Дагестан (3,5 %), Чеченской Республике (1,9 %) и Республике Ингушетия (0,8 %). В данном контексте «российский полиэтнокультурализм» можно уподобить многоуровневой (в масштабе Федерации, регионов, отдельных локалитетов) системе балансов взаимодействия этносов и имманентных им культур. Последняя зыбка и в условиях гипертрофированной территориальной социально-экономической поляризации, активизации миграционных потоков, селективной (в этническом отношении) депопуляции, невнятной региональной политики, политически мотивированных попыток разыгрывать ту или иную этническую либо конфессиональную «карту» – крайне уязвима.

А. Н. Пилясов

Почему большие федерации не распадаются при том, что столько преимуществ у малых стран? Именно потому, что удастся получить больше выгод, чем издержек на разнообразии

(в том числе этническом и культурном) за счет инновационности, интеллектуальности. Это хорошо понимали в СССР, когда интернационализм стал, по сути, государственной национальной политикой. Да и новейшие исследования наших зарубежных коллег (например, по национальным селам штата Аляска) показывают, что этнически гетерогенные местные сообщества развиваются экономически успешнее, чем гомогенные (при прочих равных условиях и при нейтрализации угроз этнических конфронтаций).

В эру расовых теорий этническая чистота считалась благом. Сегодня благом для экономического развития считается этническая гетерогенность. Видимо, вопрос в конкретном времени, которое востребует тот или иной фактор.

Поэтому в данный вопрос обязательно нужно ввести координату времени – сегодня и в ближайшей перспективе, безусловно, многокультурность, связанная часто с этническими различиями, конструктивна для экономического развития, но при этом необходимо умело нейтрализовать риски этнических конфликтов и столкновений.

Здесь нужно сказать, что результаты количественных исследований четко выявляют положительную связь между мультикультурализмом и экономическим развитием, а вот по многоэтничности картина сложнее и более противоречивая. В целом факторы гетерогенности (многоэтничности) начинают сказываться на экономическом развитии в первую очередь более экономически продвинутых стран, а в менее развитых они порой выступают как тормоз развития. Из этого исходя и вводя фактор времени – чем выше будет уровень экономического развития России, тем больше выгоды (возможности) и меньше издержки (риски) от полиэтнокультурализма.

В. Н. Стрелецкий

Полиэтнокультурализм (полиэтнизм как таковой и мультикультурализм, обусловленный, впрочем отнюдь не только по-

лиэтнизмом) – важнейшая и исторически унаследованная черта российского культурного пространства, одна из главных его цивилизационных характеристик. *Соответственно, этнический фактор – один из ключевых (на мой взгляд – просто ключевой) в регионализации культурного пространства России.* В стране с несколько ослабленным (в сравнении с западноевропейскими обществами) чувством пространства и, соответственно, региональным сознанием, культурные районы, выделяющиеся этнической спецификой, представляются самыми рельефными из числа «обыденных». Случаи ярко выраженного культурного регионализма в России имеют, в значительной степени, этническую «окраску».

Важнейшая геокультурная характеристика российского пространства – выдающаяся роль русского этнического мегаядра. Оно резко превосходит иноэтнические «анклавы» и «окраины» России по площади, демографическому и экономическому потенциалу. Но жесткой грани между русским этническим мегаядром и иноэтническими регионами в России нет – их разделяют не столько четкие этнокультурные барьеры, сколько переходные, контактные зоны. Контурсы мегаядра в основном (но не полностью) соответствуют границам сплошного территориального массива «русских» областей и краев.

В сравнении с Советским Союзом, Российская Федерация, границы которой близки рубежам России предимперского периода (конца XVII в.), а в составе населения достаточно высок (по европейским, евразийским, да и по мировым меркам) удельный вес крупнейшей по численности этнической группы (около 4/5, на рубеже первого и второго десятилетий XXI в.), – несомненно, намного более прочное геополитическое образование. Но и как геокультурная пространственная система, Россия также представляется более целостным и устойчивым образованием, чем распавшийся Союз.

3.1.2. Существенны ли для современной России и её регионов этнокультурные трансформации; каковы их факторы и потенциал воздействия на общую социально-экономическую ситуацию?

А. Г. Дружинин

Этнокультурные трансформации в современной России имеют место; в отдельных регионах и локалитетах они весьма существенны; потенциал их влияния на социально-экономическую и политическую ситуацию невозможно игнорировать, как, впрочем, не следует его и преувеличивать.

Данные «постсоветских» переписей населения убедительно подтверждают факт «стягивания» русского населения в немногие фактические «ядра» экономического благополучия при одновременной активизации процесса «этнического замещения» на большинстве территорий обширной российской периферии.

Если в целом по стране за 2002–2010 гг. доля русских в этнической структуре населения сократилась на 2,1 процентных пункта, то, к примеру, во Владимирской области – на 5,6 процентных пункта, в Калужской области – на 7,5, Рязанской области – 5,5, Тверской – 5,9, Новгородской – 5,3. Республике Мордовия – 7,7, Кировской области – 8,0, Камчатском крае – 5,8. Наивысшая же динамика уменьшения удельного веса русских в населении в последний межпереписной период зафиксирована в Астраханской области (8,6) и Республике Хакасия (10,7 процентных пункта). Заметим, что в своём региональном преломлении подобного рода частичная «дерусификация» этнической структуры населения оказалась тенденцией доминирующей (характерной для 72 субъектов РФ), но не всеобщей: доля русских в населении Москвы возросла на 1,6 процентных пункта, Ямало-Ненецкого АО – на 1,1, Амурской области – на 1,6, Магаданской – на 1,2.

Интенсивные этнодемографические трансформации прослеживаются и на региональном уровне, в масштабе отдельных групповых систем расселения, локалитетов. При этом далеко

не во всех случаях «замещаемо» исключительно русское население. Так, к примеру, в традиционно «овцеводческих» районах юго-востока Ростовской области (Дубовский, Заветинский, Зимовниковский и Ремонтненский районы – субрегион, с традиционным присутствием «северокавказской составляющей» в демографической структуре и экономике) за два последних межпереписных периода численность проживающих здесь на постоянной основе чеченцев сократилась с 10577 чел. до 6209 человек; число же аварцев к 2010 г. достигло 1094 чел., даргинцев – 4686 (в 1989 г. в пределах субрегиона не зафиксировано ни одного из представителей этих ведущих по численности народов Дагестана); характерно, что данная трансформация наблюдалась при устойчивом (на 12,8 % за более чем два десятилетия) сокращении численности собственно русских.

Важно, впрочем (как в региональном, так и в общероссийском масштабе), различать собственно этнодемографические процессы (их тренд в России вполне выражен, а долгосрочная перспектива в целом очевидна) и их этнокультурные следствия, способные (при определённых условиях) обрести качество необратимой трансформации.

Анализируя данные переписей населения и констатируя в целом завершившийся процесс формирования «закавказских» диаспор и растущую миграционную активность народов Средней Азии, нельзя не подметить, что основная причина характерной ныне трансформации этнической структуры в регионах России заключается, прежде всего, в практически повсеместном «обвальном» сокращении численности собственно русского населения под влиянием депопуляции, охватившей подавляющую часть российского пространства.

А. Н. Пилясов

Возьмем Север. Здесь традиционно ядро новопоселенцев-мигрантов составляли жители центральной России. Но вот последние 20 лет все начало стремительно меняться: в Нориль-

ске, других северных городах появляются мечети как индикатор культурного влияния диаспор Средней и Центральной Азии. Для меня – в этом проявляется сильнейшая культурная трансформация новой эпохи. Аналогичные процессы характерны и для других северных территорий активного миграционного оборота – Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Мурманской области, Республики Карелия и др. Это в полном смысле новый Север теперь.

Местные газеты самых арктических городов России изобилуют информацией об этнических столкновениях; социологические опросы сообщают о растущей обеспокоенности матерей за детей в условиях активного притока южных мигрантов. Это реальности северных территорий, к которым вынужденно адаптируются службы безопасности, институты дошкольного и школьного образования. Очень часто квалификация этих мигрантов существенно ниже, чем выбывающих с Севера.

Этнокультурные трансформации сегодня на Севере России прежде всего происходят через миграции – а в будущем, видимо, и через различия в уровне рождаемости южных мигрантов и старожильческого северного русского населения.

Потенциал воздействия этих этнокультурных трансформаций определяется тем, как меняется в результате общий человеческий капитал. Если сдвиги в этнокультурной структуре местного населения под влиянием миграций приводят к снижению общего уровня образованности и квалификации (а это сегодня часто происходит), тогда эти сдвиги следует оценить негативно.

В. Н. Стрелецкий

Этнокультурная трансформация – процесс непрерывный и повсеместный, разумеется, она происходит и в России, и в ее регионах. Важнее оценить масштабы данного процесса. Мне представляется, что его интенсивность – значительно сильнее, чем можно было бы предположить, отталкиваясь от анализа официальных данных о динамике этнического состава населе-

ния. Этническая структура в России и в большинстве регионов страны – как раз относительно стабильная; сдвиги в ней имеют место, но постепенные и отнюдь не радикальные.

Между тем, этнокультурные изменения – значительны и существенны, и они оказывают большое воздействие – прямое и косвенное – и на социально-экономическую ситуацию в стране и в ее регионах, и на социально-политические процессы.

Во-первых, в постсоветской России значимость фактора этнической идентичности существенно выросла по сравнению с советской эпохой. Скачкообразный рост социокультурной значимости этнической самоидентификации произошел в первые годы после распада СССР, а с рубежа веков и по наши дни отмечается скорее инерция данного процесса.

Во-вторых, схожей по конфигурации была временная траектория религиозного возрождения народов постсоветской России, причем здесь налицо огромные различия в интенсивности этого процесса между разными этническими и этноконфессиональными группами и, соответственно, между разными регионами страны.

В-третьих, мощным «каналом» этнокультурной трансформации общества стали в постсоветские годы этнические миграции населения (причем как внешние, так и внутрироссийские), в том числе направленные и в регионы с ранее достаточно гомогенным составом населения (в частности, во многие «русские» области).

В-четвертых, я бы отметил возрождение некоторых традиционных этнокультурных институтов. особенно на Горском Северном Кавказе (в меньшей степени – на юге Сибири и в Урало-Поволжском мультикультурном регионе).

Вместе с тем, на мой взгляд, социокультурная модернизация общества происходит в постсоветской России значительно быстрее, чем его этнокультурная трансформация. Но это уже совсем иной сюжет, а в ответе на данный вопрос речь идет именно об этнокультурных процессах.

Многочисленные исследования не оставляют сомнений в культурных особенностях российского общества, которое отличают свойства институциональной матрицы, культурные индексы, менталитет сограждан, особенности поведенческих практик. Более того, как справедливо подчеркивают А. Аузан и др. (2013, с. 82), среди специалистов независимо от мировоззренческих установок существует определенный консенсус по поводу того, в чем специфика России. Это отмечается, несмотря на то, что культура в современном российском обществе разнородна: она содержит как элементы дореволюционной российской культуры, так и элементы, сформировавшиеся непосредственно под влиянием советской системы, советской культуры, и, наконец, элементы, заимствованные из западной экономической культуры; очевидны и региональные различия.

Следует учитывать, что культурные индексы не являются вечными, хотя и изменяются весьма медленно; в последнее время наблюдается ускорение темпов их корректировки. Например, представления людей о развитии в Южной Корее, обладающей одной из наиболее динамичных экономик в мире, сегодня весьма отличаются от Северной, хотя еще немногим более полувека назад это было единое общество. Поведенческие установки жителей Федеративной Республики Германии сегодня существенно отличаются от Германии начала XX века.

Даже общий анализ значений и динамики культурных индексов Г. Хофстеде позволяет констатировать, что для России интересен опыт и лучшие практики стран постсоветского пространства, Восточной и Центральной Европы. Важен и опыт стран БРИКС, где в последние десятилетия системно проводится культурная модернизация, затрагивающая отношения «Общество – Природа», предполагающая как укрепление традиционных культурных кодов, так и отказ от тех из них, которые тормозят модернизационные процессы. Весьма показательны количественные индикаторы выполнения Стратегии культурной

модернизации в Китае, среди которых 24 индикатора оценки и 30 индикаторов мониторинга культуры; наибольший интерес представляют такие индикаторы, как индекс модернизации в культурной жизни, уровень культурной конкурентоспособности и индекс культурного влияния (Обзорный доклад, 2011).

Россия движется в будущее как часть глобального социума в рамках единых трендов развития глобальной мир-системы, являясь составляющей Globalshaft (нем.). Изменения в мир-системе так или иначе определяют общее направление изменений в его подсистемах, цивилизационных и страновых, и необходимо, чтобы такое развитие было устойчивым на всех уровнях территориальной организации. Поэтому этнометрические исследования применительно к экологической устойчивости и природоохранной деятельности дают возможность своевременно выявлять этнокультурные трансформации на различных уровнях территориальной организации. Более того, регулярное, по сути мониторинговое, измерение социокультурных индексов целесообразно включить в методологию территориального программно-целевого природоохранного управления.

3.1.3. Каковы общественно-географические детерминанты и следствия иноэтнических миграций на региональном и локальном уровнях?

А. Н. Пилясов

Важнейший фактор, направляющий миграционные потоки, – это значимые различия в уровне жизни между районами выхода и районами вселения мигрантов. Другой фактор – существенные различия в уровнях рождаемости в южных странах СНГ, южных российских республиках и «материковой» России. Особенно ощутимы воздействия на локальном, местном уровне по двум причинам: быстрее меняется прежняя этническая структура; очень быстро идет процесс сетевого заражения новой этни-

ческой диаспорой – первый укоренившийся приглашает других, процесс идет по эффекту снежного кома, возрастающей отдачи. На региональном уровне больше стабильности и инерционности, и потому зримое ощущение уже реально состоявшихся перемен в этнокультурной ситуации возникает позднее. Конечно, нужно стремиться не допускать появления городских районов компактного заселения иноэтничными мигрантами.

Важнейшее следствие иноэтничных миграций – необходимость адаптации основных институтов муниципального управления (структура органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, сеть детских садов, начальных и средних школ и профессиональных училищ, органы муниципальной культуры и др.) к новым реалиям новой этнокультурной ситуации.

В. Н. Стрелецкий

Иноэтнические миграции – характерная тенденция мирового социокультурного и социально-экономического развития в эпоху глобализации, и ситуация в России здесь не является чем-то исключительным. Главными детерминантами иноэтнических миграций в России, как и в других регионах мира, были: 1) **социально-экономические** (различия в уровне и качестве жизни населения между странами / регионами – донорами и акцепторами этнических мигрантов); 2) **социально-демографические** (дифференциация этнических сообществ по разным фазам демографического перехода и обусловленные ею различия в социальной и пространственной мобильности) и 3) **социально-политические** (этнические миграции, вызванные к жизни геополитическими потрясениями – например, последствиями распада СССР и др., а также межэтническими напряжениями и даже конфликтами, социально-политической напряженностью в некоторых сопредельных странах и отдельных регионах России и т. п.).

Важнейшие следствия иноэтнических миграций – более быстрая трансформация этнического состава населения в местах

и районах притока мигрантов (по сравнению с территориями, не испытывавшими значительной миграционной нагрузки и где трансформация этнической структуры диктовалась главным образом демографическими различиями), сдвиги в этническом расселении на локальном уровне, разрастание этнических диаспор, формирование компактных этнотерриториальных групп в городах, особенно крупных, а также весь комплекс проблем аккультурации мигрантов в иноэтнической и инокультурной среде.

3.2. ЭТНОКОНТАКТНЫЕ ЗОНЫ В ГЕОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ

Этноконтактные зоны (ЭКЗ): постановка проблемы и подходы к определению понятия. Геокультурное пространство (ГКП) России – сложно организованное, многокомпонентное и многослойное, дискретное и континуальное одновременно. Его основу составляет этнокультурное пространство (ЭКП). Этничность – главная, но не единственная форма организации культурных различий российского общества. На ранних этапах развития внутри этносов складывались общие для всего общества стереотипы поведения (Бромлей, 1983). Мозаичность ГКП усиливают конфессиональные, социальные и пр. различия, которые накладываются на этнические. Общество дифференцировано по социальным стратам, существенны различия ГКП сельской и городской местности, разных природных ландшафтов, регионов. Велико влияние образа жизни групп населения даже внутри одного этноса. В то же время в условиях глобализации неизбежно всякого рода взаимодействие, в том числе межкультурное, и сближение многих культурных черт. Эти обстоятельства порождают противоположные, но взаимосвязанные тенденции: с одной стороны, нивелируются различия, с другой – усложняются и формируются новые региональные культурные сообщества. Не всегда эти сообщества толерантны, нередко это вынужденное соседство и взаимодействие, вплоть до неприязни и конфликтов. Возникают и усугубляются разного рода проблемы: от бытовых до геополитических, о чем написано довольно много. Интерес к этим проблемам в науке устойчиво возрастает, а последние события еще больше актуализируют проблему. Вопрос о выживании человечества, и в том числе под углом зрения проблемы столкновения цивилизаций, сформулированной С. Хантингтоном (1993), представителями разных наук приобретает новую остроту и окраску.

Географии принадлежит приоритетная роль в изучении вопросов разграничения этнокультурного пространства, форм территориальной организации и этнокультурной специфики природопользования, выявления и изучения этноконтактных зон, в том числе междоцивилизационных. Изучению разных аспектов географии этносов и этнических контактов посвящены работы И. Ю. Гладкого, Ю. Н. Гладкого, А. Г. Дружинина, О. Г. Завьяловой, К. Б. Клокова, А. Г. Манакова, М. В. Рагулиной, В. Н. Стрелецкого, С. А. Хрущева, А. И. Чистобаева и др. Несмотря на довольно большую историю вопроса, до настоящего времени нет единого определения понятия ЭКЗ, а существующие – абстрактны и нечетки. Например, определение ЭКЗ как ареалов «наиболее активного межэтнического соприкосновения и взаимодействия» (Ден, 1930) не дает представления о показателях и границах этой самой активности. В работах, посвященных ЭКЗ, приводятся их характеристики. В 1980-е годы этнографической комиссией Географического общества СССР было предложено сделать акцент на процесс исторического соприкосновения и ареалы наиболее активного межэтнического взаимодействия (Крупник, 1989). Дружинин А. Г. и Суций и А. Я (1994). рассматривают ЭКЗ как структурный элемент ГЭКС, а Манаков А. Г. предлагает относить ЭКЗ к категории этнических географических гравитационных границ, выполняющих преимущественно контактные функции, поскольку они «обладают всеми присущими этой категории географических понятий чертами и функциями» (Манаков, 2002). При этом они могут занимать «значительные площади», что отличает их от пороговых границ. Именно это обстоятельство позволяет утверждать, что ЭКЗ – это не граница: ведь граница, по определению, не площадной, а линейный объект, это «..нечто, расположенное между двумя предметами и разделяющее их»,... но само «нечто» «пренебрежимо мало по сравнению с разделяемыми объектами...» (Родоман, 2002, с. 24). ЭКЗ – это участки геопространства разного размера и формы в местах пересечения или наложения двух и более этниче-

ских ареалов. В определенном смысле это действительно граница, и здесь можно согласиться с А. Г. Манаковым, но уточним: фактически ЭКЗ – это межэтнические трансграничные полосы разной формы и размера.

С точки зрения географии, ЭКЗ – один из типов этнокультурных районов, формирующихся в местах межэтнического взаимодействия при пересечении двух и более этнических ареалов. Можно сказать, имея в виду этническую границу, что в определенном смысле ЭКЗ – это трансграничный район. Очевидно, что ЭКЗ – это некие участки ГКП, где происходят более или менее постоянные межэтнические контакты. Однако неясно: какими должны быть характеристики контактов (интенсивность, продолжительность, периодичность), а также размеры и форма взаимодействующих ареалов.

Географические зоны на теоретической модели обычно параллельны или концентричны, чаще всего это полосы, которые образуются, по Б. Б. Родоману, от изменения какого-либо количественного показателя. Однако их отдельные участки вследствие пересечения с другими районами или из-за ограниченности территории, могут иметь любую форму, в том числе и вытянутую в радиальном направлении (Родоман, 1999). Они могут иметь разные размеры и быть иерархичными.

Этнические ареалы. Учитывая феномен анизотропности, отмечу, что с географической точки зрения этносы представлены в виде этнических ареалов (от лат. area: область, площадь, пространство) – областей расселения того или иного этноса, а их характеристики (вкпе с характеристиками их границ) предопределяют специфику ЭКЗ. В случае с этносами уместна общегеографическая трактовка ареала (Ареал, 1985), однако в его свойствах и характеристиках можно найти сходство с биогеографическими ареалами. Это смыкается с представлениями Л. Н. Гумилева об этносе как о биосоциальном явлении. Этнический ареал формируется как итог, суммированный эффект историко-географической динамики. Этнические ареалы, так

же как ареалы биологических видов, могут быть обособленными, как в случае с локальными этносами, и относительными, где наблюдается лишь сосредоточение того или иного этноса (например, евреи, цыгане, белорусы и др. на территории России). Отдельные этнофоры либо их группы могут проживать за пределами основного этнического ареала. Этнические ареалы могут быть сплошными (монолитными) или несплошными (дизъюнктивными) – рассеченными (разорванными, фрагментарными, не образующими единой целостности) по разным причинам. Частные случаи, нередкие в географии этносов, – дисперсные, очаговые, с эксклавами, анклавов, чересполосные, смешанные. Этнические ареалы являются обычно слитными, но иногда их целостность нарушают, словно брызги, эксклавы представителей другого этноса, чаще всего близко к границам ареалов. Встречаются и небольшие этнические ареалы, расположенные в удалении от основного этнического ядра внутри этнической территории других народов. Различают также *анклавы* – этнические ареалы в полном окружении ареалами иного этноса. Этнические ареалы считаются прерывистыми в том случае, если между двумя или несколькими районами, населенными одним этносом, есть значительные промежутки, затрудняющие или почти исключают контакты между его разделенными частями.

Первичный этнический ареал представляет территорию, на которой происходит становление этноса. Он может затем расшириться в результате расселения этноса или утратить компактность, уменьшиться в своих размерах, расчлениваться на части из-за миграций в его пределы иноэтнических групп, образующих эксклавы и анклавов либо смешивающихся с проживающим здесь этносом.

Встречаются и реликтовые этнические ареалы, по аналогии с биогеографическими, они имеют тенденцию к сокращению. Признаком реликтовости в биологии считается неспособность к возобновлению на территории, ранее занимаемой таксоном, после катастрофического исчезновения. Примеров реликтовых

этнических ареалов в России много. В Оренбургской области это ареал немцев-меннонитов. В настоящее время его можно обнаружить лишь как частично сохранившийся культурный ландшафт. Произошло полное замещение населения в связи с эмиграцией, но и до этого ареал трансформировался и сокращался из-за ассимилятивных и интеграционных процессов.

Этнические ареалы могут не только сокращаться, но и расширяться за счет колонизации (пример русских), перемещаться. В каком-то смысле можно говорить об аутологических и синэкологических ареалах, а также о потенциальной и фактической экологических нишах. Свойства этнических ареалов могут быть частично описаны с помощью концепции диффузионизма.

Этнический ареал – условно сплошной, как ареал в биологии. Люди живут в локализованных населенных пунктах, между которыми находится незаселенное пространство. Этнокультурное пространство континуально и дискретно одновременно. Этнос обладает набором признаков, которые присутствуют внутри ареала либо за его пределами, если этнофоры там проживают. Населенные пункты могут быть связаны между собой дорожной сетью, либо такие связи могут отсутствовать. Главный пространственный маркер этнического ареала – культурный ландшафт. Разные этнические ареалы могут накладываться один на другой, формируя полиэтничные районы. Этнический ареал следует дифференцировать с культурным ареалом (culture area) (Wissler, 1917).

Этнические границы. С изучением этнических ареалов и ЭКЗ тесно связан вопрос этнических границ. Итак, ЭКЗ формируются на стыке, пересечении либо наложении двух или более этнических ареалов, но ЭКЗ – не любое пересечение этнических ареалов, это часть геокультурного пространства (геотория), на которой происходят регулярные этнические контакты. Этнические ареалы разделены этническими границами, и типы границ формируются в зависимости от взаимодействия этносов. Если

в первоначальные исторические периоды этнические ареалы были преимущественно сплошными, а границы между ними – барьерными, то постепенно картина менялась. В настоящее время этнические ареалы пересекаются, накладываются один на другой, образуя многослойное мозаичное этнокультурное пространство. Этнический контакт представляет собой процесс взаимодействия двух и более этнических систем. Этносы, взаимодействуя, сформировали новое качество антропосферы, мировую цивилизацию, пеструю и мозаичную. В результате сложнейшего взаимодействия в процессе длительного совместного проживания этнокультурных групп, осложненного адаптацией в ландшафте, происходит конвергенция и нивелирование этнических культур. Формируются общие культурные черты и региональное самосознание населения. Однако это процесс сложный и длительный, а результат зависит от многих факторов. Нередко он сопровождается конфликтами. Особенно серьезные проблемы возникают в районах контактов этносов, принадлежащих к разным цивилизациям. По образному выражению украинского географа В. А. Дергачева, цивилизации можно образно сравнить с тектоническими литосферными плитами, на стыке которых находятся наиболее активные зоны разломов (Дергачёв, 2000).

В эпоху постмодернизма и глобализации мировая цивилизация приобретает новый географический рисунок. Любые границы смещаются и «размываются», в том числе и этнические. Пограничные территории, так же как и пограничные эпохи, порождают пограничные состояния (чаще всего это катастрофические состояния и смуты) и пограничное сознание (историческое и географическое). Не случайно историки пограничные эпохи называют катастрофой. Границы подразделяются на сущностные, исторические (смена эпох и цивилизаций, цивилизационные разломы, смуты) и географические, или пространственные. Любые границы обладают сходными свойствами и признаками. В пространстве (как и во времени) не бывает точных рубежей, за редким исключением, каким являются, например, политиче-

ские границы, проведенные субъективно и часто меняющиеся. Есть переходные и пограничные территории, рубежи, разломы, переходные пространства, контактные зоны цивилизаций и их частей. Существуют попытки выделить пространственно-временные рубежи. Например, по терминологии В. А. Дергачева, это геомары, представляющие собой энергоизбыточные граничные поля, при взаимодействии которых с геостратами – многомерными коммуникационными пространствами – энергия геострат на геомарах как бы «удваивается» (Дергачёв, 2000, с. 103). Однако все же географов интересуют пространственные границы, каковыми являются этнические границы. Как и любые другие географические границы, они выполняют разные функции (разделительную, экономическую, социальную, информационную). Контактные функции приводят к формированию ЭКЗ.

Этнические границы представляют собой модель или схему и в значительной степени условны, это, прежде всего, способ структуризации знания об этнических ареалах и дифференциации этнокультурного пространства. Делимитация этнических ареалов во многом зависит от задач исследования и достаточно субъективна. В широком смысле при определенных условиях практически любой участок этнокультурного пространства можно считать границей, переходом, рубежом, сменой состояний. А в России с ее чрезвычайно сложным этнокультурным пространством, где этнические ареалы переплетены, они за редким исключением не имеют четко выраженных этнических границ, как не может быть никаких жестких культурных границ вообще, а всякое разграничение условно. По меткому выражению М. М. Бахтина, культура «расположена на границах, границы проходят повсюду, через каждый момент ее» (Бахтин, 1986, с. 9). В определенном смысле границей является большая часть этнокультурного пространства. В ряде регионов возможно выделение этнокультурных ареалов с выраженными границами, а в мультикультурных регионах этнические ареалы частично или полностью накладываются один на другой; о вариантах было сказано выше.

П. Я. Бакланов (2000) подразделяет географические границы на естественные (морские побережья, хребты, водоразделы) и установленные человеком (государственные, административные, экономические, нормативные, природоохранные). К естественным границам можно было бы добавить этнические и культурные. Они крайне редко совпадают с государственными. А в СССР условные рубежи республик редко учитывали естественную дифференциацию этнокультурного пространства. Действительно, зачастую границы не соответствуют территориальной структуре этнокультурного пространства, имеющей мозаично-ячеистый характер. В настоящее время барьерность государственных рубежей усиливается, однако она создается по большей мере искусственно, де-юре, политическими мерами. Де-факто большая часть границ остаются полупрозрачными (Колосов, Туровский, 1999). По обе стороны условно и формально проведенных постсоветских государственных границ этнокультурное пространство на значительном протяжении с обеих сторон имеет сходную ситуацию: смешанное население, однотипную экологическую культуру и культурные ландшафты, сходную планировку селений, образ жизни, язык, менталитет. Сохраняются трансграничные контакты, чему способствуют исторический опыт, комплиментарность и этнокультурная конвергенция этносов. Важнейший индикатор связей – временные миграции – говорят о тяготении к территории России приграничных пространств соседних государств (поездки на учебу, на работу, в гости, за покупками и т. д.). Границы усложняют сложившиеся контакты и взаимодействие и не приемлются населением, которое «голосует ногами» против делимитации. Искусственно нарушенная в последние годы интеграция – дело близкого будущего. Как отмечает Б. Б. Родоман, «В Западной Европе проницаемость границ – результат многих десятилетий послевоенного развития в сторону интеграции, в СНГ это реликт советской эпохи. ЕЭС и СНГ движутся в разные стороны; Европа уже объединилась, а СССР фактически еще до конца не

распался. В Европе «прозрачные» границы считаются достижением гуманного, правового, демократического общества, а в СНГ – следствием недостаточного финансирования силовых ведомств» (Родоман, 2002, с. 298).

Межэтническое взаимодействие. В случае барьерной границы этносы живут изолированно, их контакты даже на одной территории сводятся к минимуму. Это характерно и для традиционных обществ, и для многих сельских мультикультурных районов. Яркий пример – Дагестан, где нередки случаи, когда жители соседних аулов говорят на разных языках. В сельской местности разные этнокультурные группы селились изначально изолированно, занимая различные экологические ниши и сохраняя тесную связь с ландшафтом, либо искусственно разграничивая пространство, сводили к минимуму контакты с иноэтническим окружением. Этносы постепенно адаптировались в ландшафтах, занимали разные экологические ниши, «притирались» и взаимодействовали (по Л. Н. Гумилеву) в зависимости от знака комплиментарности. Например, в таком толерантном регионе как Оренбургская область, казахи и башкиры проживают на водоразделах, занимаясь отгонно-пастбищным животноводством, русские и украинцы – в долинах рек, и их селения утопают в зелени садов и огородов, в то время как скотоводческая специализация отражается в культурном ландшафте стогами сена и отсутствием зеленых насаждений. Однако полное отсутствие контактов невозможно. Первоначально это обмен, заимствование потребительские, постепенно они усложняются и расширяются. Постепенно появляются смешанные населенные пункты, но и внутри них.

Даже в урбанизированных районах и в крупных городах возможна высокая барьерность этнических границ. В формировании этнической картины важную роль играют миграции – главный источник инноваций для местного населения. В современный период мигранты не являются не только единственными, но и основными носителями культурных инноваций.

Разные концепции (этнокультурного взаимодействия, в том числе аккультурации, мобилизации, социокультурной динамики, интегрированности, внутреннего колониализма, культурного плюрализма и др.) пытаются объяснить происходящие процессы с определенных позиций, но это не меняет сути дела. С. Бочнер, Дж. Берри и др. выделяют и описывают разные типы взаимодействия культур и стратегии поведения мигрантов: изоляционизм, геноцид, сегрегация, маргинализация, ассимиляция, аккультурация (Стратегии, 2009). Однако межэтнические процессы настолько сложны, что не укладываются в рамки ни одной из существующих концепций.

От характеристик взаимодействующих этногрупп зависят главные формы взаимодействия. Этносы большей части российских регионов (Сибирь, Дальний Восток, Дикое поле), расположенных в евразийской маргинальной зоне, не были несовместимыми. Они сформировали мироощущение на основе положительной комплиментарности (безотчетная симпатия без попыток перестроить партнера, принятие его таким, каков он есть, в отличие от отрицательной – безотчетной антипатии), отношении к соседним народам как к равным. Поэтому для них характерны нейтральные этнические контакты при сохранении своеобразия – «ксения», по Л. Н. Гумилеву (Гумилёв, 1999), либо взаимополезные («симбиоз»). Примером ксении можно считать колонии немцев на территории России, староверческие и другие изолированные поселения. Примером симбиоза могут служить взаимоотношения между немцами и башкирами, да и многими народами в степной зоне России, когда каждый этнос занимает свою экологическую нишу, сохраняя своеобразие и обогащая культуру соседних народов. Одним из показателей положительной комплиментарности можно считать межэтнические браки.

При отрицательной комплиментарности соседствующие этносы стремятся перестроить либо уничтожить друг друга, в

крайнем случае возможен геноцид. Такие регионы-химеры складывались на южных рубежах российской империи.

Одним из важных результатов взаимодействия являются культурные заимствования, которые встраиваются в новый сложный культурный контекст, происходит их переосмысление в рамках новой культуры. Резонно замечание Р. Бенедикт о том, что черты, неорганичные данной культуре, не получают в ней пространства для своего развития. «Каждое человеческое общество когда-то совершило такой отбор своих культурных установлений. Каждая культура с точки зрения других игнорирует фундаментальное и разрабатывает несущественное» (Benedict, 1934, с. 48). В результате взаимодействия культур возникают новые этнокультурные характеристики, а также формируются региональные культуры. Пространственные связи в сложных системах, какими являются этносы, неизбежно ведут к конвергенции, взаимовлиянию и заимствованиям.

Классификация этноконтактных зон. ЭКЗ различаются по размерам, этническому составу, географическому положению, специфике развития, внутренних связей и (главное) – по особенностям межэтнического и внутриэтнического взаимодействия. По этническому составу можно выделить двуэтничные и полиэтничные ЭКЗ, а с учетом индекса этнической мозаичности и характера расселения этносов, – с доминированием русского этноса, с доминированием других этносов, полиэтничные без преобладания какого-либо этноса. Предпринимаются попытки классификации ЭКЗ по разным параметрам, например, с использованием индекса этнической мозаичности (ИЭМ), введенного в оборот Б. М. Эккелем в 1976 г. А. Г. Манаков предлагает выделять неярко выраженные (ИЭМ от 0.2 до 0.4) и ярко выраженные (ИЭМ свыше 0.4) ЭКЗ.

Этноконтактные зоны **иерархичны**. На территории России можно выделить несколько уровней иерархии ЭКЗ: *цивилизационный* (макроуровень), *региональный* (мезоуровень), *локальный* (микроуровень). Этноконтактные зоны разных уровней

различаются **по размерам**. Кроме того, эти уровни соподчинены и представляют собой некую «матрешку». Российское геокультурное пространство представляет собой этноконтактную зону макроуровня, где крупнейший – русский этнос взаимодействует на северных и восточных границах своего этнического ареала с палеоарктическими народами («цимкурполярный суперэтнос»), на юге – с представителями степной цивилизации и горными народами, на западе – с европейскими народами. Этнический ареал русских слитный, пересекающийся с другими этническими ареалами, с эксклавами, которые, в свою очередь, взаимодействуют с другими этносами за пределами основного массива. Положение России как маргинальной этноконтактной зоны во многом предопределяет особенности ее геополитических, геоэкономических и геокультурных интересов. Россия издавна развивалась не как национальное государство, а как полиэтническое сообщество, что особенно важно учитывать сегодня при проведении региональной этноконфессиональной и социально-экономической политики. Место российской цивилизации в мировом культурном пространстве многие исследователи определяют как евразийское. Особенности Российской макрокультуры таковы, что наши геополитические, геоэкономические и геокультурные связи должны быть ориентированы не только на запад, но и на восток, что и происходит в последнее время.

На мезоуровне этноконтактные зоны, наравне с прочими этнокультурными регионами, пространственно поляризованы. Классификация этнокультурных систем в России «укладывается» в рамки предложенной Б. Б. Родоманом схемы поляризации социально-экономических систем, которая «...пространственно дифференцирована больше всего не по целым политико-административным регионам, этническим ареалам и природным зонам, а по зонам транспортной доступности» (Родоман, 1999). Этническая культура, в силу сложности, многогранности и многомерности, не совпадает с географией суперэтносов, этно-

сов или даже субэтносов, а соотносится с особенностями ландшафтов и социально-экономической жизни, и имеет региональную специфику, которая формируется на уровне региональной самоидентификации и особенностей, а также на уровне социальной стратификации общества. На неё накладываются отпечаток социально-экономические и региональные культурные различия. Внутри региональных ЭКЗ выделяются локальные – как правило, они двунациональные, но встречаются и полиэтнические, занимают один или несколько сельских населенных пунктов, либо часть территории городов.

По географическому положению различаются центральные, провинциальные, глубинные, приграничные и трансграничные ЭКЗ.

К *центральным* (пристоличным) ЭКЗ относятся Московская и Санкт-Петербургская, включающие тяготеющие к агломерациям территории. В силу специфики межэтнического взаимодействия, которое обеспечивается сформированной инфраструктурой, они вестернизированы, космополитичны (несмотря на возрастающую в результате миграций мультикультурность), урбанизированы. Благодаря хорошо налаженной транспортной и информационной связи маятниковые миграции позволяют разным слоям населения и этнокультурным группам активно участвовать в экономической, политической и культурной жизни регионов. Активные внутренние и внешние связи способствуют взаимовлиянию и взаимопроникновению культур (главным образом западной культуры). Как справедливо отмечает А. И. Трейвиш, характеризуя пространство России, «Главным средством организации и контроля этого пространства служили и служат его основные центры. Их сети, системы от него неотделимы, они стали его ключевой частью и, можно сказать, его «делают», обладая в то же время собственным строением, логикой и инерцией. Их лидеры (элита) проявляют склонность к сотрудничеству с равными себе. Если равных партнеров мало, а страна не изолирована, они подключаются к внешней, глобаль-

ной сети, забывая братьев меньших. Это центры-иностранцы, очаги культурных псевдоморфоз» (Трейвиш, 2000).

Провинциальные ЭКЗ (расположенные вне пристольичной зоны, оснащенные доступным железнодорожным и развитым круглогодичным автомобильным транспортом) неоднородны, в разной степени связаны с центральной зоной, тяготеют к своим региональным центрам. Среди них выделяются *внутренние* ЭКЗ. Они удалены от государственных границ и морских портов, в них внутренние связи преобладают над внешними.

Особую категорию составляют *глубинные* ЭКЗ. Они формируются в условиях бездорожья, почти полного отсутствия социальной инфраструктуры, крайне низкой плотности населения, очагового заселения. Эти районы территориально в основном совпадают с ареалами коренных народов Сибири и Крайнего Севера и других локальных изолированных этнокультурных групп, заселивших это пространство в разное время. Эти категории населения ведут образ жизни, связанный с доиндустриальными формами хозяйствования и абсолютно не подвержены урбанизации и вестернизации – это представители традиционной культуры. Территориальная структура регионов характеризуется как очаговая и редкоочаговая. По большей части эти локальные этнокультурные районы монокультурны. Этнические контакты в них нерегулярны и происходят главным образом в немногочисленных урбанизированных центрах. Тем не менее, влияние доминирующего этноса очевидно и порой имеет катастрофические последствия для языка и культуры местных народов. Пришлое население приспособилось к суровым условиям и в результате конвергенции, неизбежной под влиянием природной среды, в культурном отношении во многом сходно с коренным. Среди глубинных территорий встречаются локальные мультикультурные индустриальные очаги с горнодобывающей и лесозаготовительной промышленностью.

Приграничные (частный случай – акватерриториальные) и *трансграничные* – еще одна категория провинциальных ЭКЗ.

Приграничные ЭКЗ прилегают к государственной границе, сложившейся исторически как этническая либо в течение длительного периода имевшей статус политической границы с ярко выраженной барьерной функцией. Характеризуются наличием этнических экславов. Акваторриториальные ЭКЗ – это портовые хинтерланды, имеющие круглогодичную морскую связь с внешним миром. Часто внешние связи в таких регионах имеют большее значение, чем внутренние. Трансграничные ЭКЗ сложились как единые по обе стороны государственных границ, либо обрзовались в результате делимитации.

По степени урбанизации различаются *урбанизированные* и *сельские* ЭКЗ. Межэтнические контакты в сельской и городской местностях формировались по-разному. Разумеется, следует понимать, что между российским селом и городом нет резкой границы, на что не раз обращали внимание исследователи (Глазычев, 2011), но на крайних полюсах этого континуума различия очевидны. В сельской местности разные этнокультурные группы селились изначально изолированно, занимая различные экологические ниши и сохраняя тесную связь с ландшафтом, либо искусственно разграничивая пространство, сводили к минимуму контакты с иноэтничным окружением. Этносы постепенно адаптировались в ландшафтах, занимали разные экологические ниши, «притирались» и взаимодействовали в зависимости от знака комплиментарности. Здесь в первую очередь происходили процессы этнокультурной дивергенции систем природопользования и экономической культуры под влиянием ландшафтного фактора, архитектурно-планировочные заимствования, заимствования в сфере потребления. Взаимодействие и, как результат, формирование локальных ЭКЗ было неизбежно даже в случае политики изоляционизма и приводило к наложению ареалов. Но это был длительный процесс.

Социальная стратификация в сельских поселениях менее диверсифицирована, а культура более консервативна, чем в городах, где связь с ландшафтом частично нивелируется город-

ским образом жизни, полная изоляция невозможна, а контакты неизбежны даже в случае политики изоляционизма. Для городской среды более характерно профессиональное межэтническое взаимодействие, а скорость распространения инноваций выше. Именно поэтому сельские жители с большими трудностями адаптируются в городах. Горожанам также трудно приспособиться к сельским условиям. Так, в сельских районах Оренбургской области выходцы из Средней Азии – городские жители – не могут найти работу по специальности. Сельскохозяйственный труд для них непривлекателен и тяжёл, они работают в торговле, домах культуры, образовательных учреждениях и т. д.

Этнокультурное пространство большинства городов, особенно крупных, так же как в районах нового освоения, исторически формировалось как поликультурное. В городах наиболее высока «плотность цивилизации», отчего процессы взаимодействия проявляются особенно выпукло. В крупных и малых городах сохраняется общая тенденция, но имеются некоторые различия, прежде всего в темпах. Самые бурные изменения происходят в столичных городах (независимо от людности), городах-миллионерах, в крупнейших и крупных городах. Но и во многих средних и даже малых городах в последнее время этноконфессиональный состав усложняется и мозаичность этнокультурного пространства возрастает. На увеличение этнической мозаичности обращают внимание не только географы (Бабурин, Битюкова, Казьмин, Махрова, 2003), но и психологи (Крысько, 2002), и генетики, исследования которых еще в 90-е годы XX в. показали, что вклад мигрантов в генофонд российской столицы составил 38 % (Курбатова, 2000).

Историко-географическая классификация ЭКЗ. ЭКЗ, сформированные в разные временные периоды, различаются по специфике развития. Часть российских ЭКЗ возникли в *досоветский период* (как результат российской колонизации, миграций населения во время голода, переселения староверов, форми-

рования пограничных охранительных зон (казачество), переселения ссыльного населения и др. Вторая группа ЭКЗ появилась в *советский* период в процессе индустриализации, переселения народов, освоения Севера, Сибири и Дальнего Востока, эвакуации населения в годы войны, освоения целины, городского и промышленного строительства, урбанизации. Третья группа ЭКЗ складывается в постсоветский период в результате массовых миграций населения из бывших союзных республик.

Специфика формирования и развития ЭКЗ во многом предопределена моделями освоения территорий. Основные модели освоения новых территорий (колониальная, производственная, экономическая и духовная) и историко-географические модели, соответствующие определенным периодам и стадиям освоения, описал А. Е. Левинтов. В соответствии с ними ЭКЗ различаются формами и стратегиями взаимодействия (Левинтов, 2008).

Номадная модель освоения связана с применением военной силы и характеризуется полным или частичным замещением оседлых культур и народов (поглощение, ассимиляция, уничтожение, изгнание) культурой народов-номадов. При этом аутентичная культура с одной стороны маргинализируется, с другой – обогащает культуру номадов-интервентов. В результате процессов конвергенции нередко формируется совершенно новый этнокультурный комплекс.

При *колониальной* модели миграционные потоки представлены поселенцами, вытесненными, изгнанными либо заселяющими районы колонизации в силу целенаправленной политики метрополии. Колонизация может иметь как принудительный, так и добровольный характер, этнические ареалы не изолируются, а накладываются на уже сложившиеся. Характерен экспорт культуры и воспроизводство метрополитентского образа жизни среди автохтонных народов. Границы метрополии расширяются. Эта модель характерна для многих империй (греки, римляне, колонизация США). Не была исключением и Россия.

Духовная модель связана с пассионарностью идеи мессианства, либо с политикой изоляционизма отдельных этнокультурных групп, либо с гонениями. Чаще всего носит религиозный характер, но возможны варианты (идеи мировой революции и т. п.). Более всего это характерно в регионе для этноконфессиональных общностей. В сельской местности и в настоящее время встречаются локальные этнокультурные сообщества – русские со старообрядческим населением, немецкие (меннонитские и баптистские и др.), сильно повлиявшие на культуру проживающих рядом общностей. Однако и в эти поселения проникли отдельные элементы унифицированной «европейской» современной культуры, которые наиболее распространены в городах и в полиэтнических крупных сельских населенных пунктах.

Военно-политическая (геополитическая) модель связана с формированием военных баз. В России – это казачество.

Очагово-хозяйственная модель характеризуется наличием ядер, генераторов «радиальной зонно-волновой диффузии» по Б. Б. Родману (1999), откуда инновации распространялись к другим народам. Даже малое число пришельцев, обладая более высокой технологией, может ввести свои обычаи в среду местного населения. Примером новой культуры, привнесенной мигрантами и модернизированной местными условиями и окружением, ставшей источником инноваций для местного населения, является экономическая культура немцев-меннонитов, поселившихся в регионе в конце XIX века. Их система сельскохозяйственного производства (относительно высокоразвитого) сильно повлияла на культуру живших рядом башкир, мордвы, русских и других этнокультурных групп (мы подробно написали о культурном следе немцев-меннонитов (Герасименко, Нуждина, 2000).

В «этнических котлах» (столичных и прочих крупных городах, так же как в районах нового освоения) ЭКП исторически формировалось как поликультурное. Взаимодействие и, как результат, формирование локальных и региональных ЭКЗ – было неиз-

бежно даже в случае политики изоляционизма и приводило к наложению ареалов, о чем мы неоднократно писали (Герасименко, 2005, 2012). Это был длительный процесс, в противоположность современным, которые быстротечны, а смешение этнических ареалов нередко сопровождается культурным шоком и длительным стрессом у обеих сторон. В современный период мы становимся свидетелями формирования новых ЭКЗ, пример тому – локальные ЭКЗ в этнокультурном пространстве большинства городов, особенно крупных. В то же время огромные масштабы миграций, плохое знание языка и культуры, расслоение общества по уровню доходов – это современная реальность, ведущая к обособлению и изоляционизму и формированию этнокультурных эксклавов. Интеграционные процессы характерны для наиболее образованной части социума (как принимающей стороны, так и мигрантов). Они готовы к смене условий жизни (социальной и образовательной среды), к получению дополнительного образования, к взаимодействию, мотивированы на получение престижной работы.

Выделение этих типов весьма условно, в большинстве своем это, используя терминологию А. Е. Левинтова, коктейли и кентавры, которые в чистом виде встречаются редко. Например, освоение целины можно считать одновременно очагово-хозяйственной, колониальной и духовной миграцией.

Вместо заключения.

В эпоху глобализации общемировой тенденцией является смещение и «размывание» границ частей геопространства – многослойной мегасистемы, одной из подсистем (слоем) которой является этнокультурное пространство. Это «размывание», прежде всего, происходит на границах, установленных человеком, оно характерно также и для естественных этнических и цивилизационных границ. Очевидно, что это – длительный историко-географический процесс, получивший ускорение в условиях новой географической реальности. Это своего рода побочный продукт и, одновременно, результат (пространственное по-

следствие) процессов как глобализации, так и регионализации, пространственно-временные образования (хронотопы), маргинальные участки геопространства, концентрирующие одновременно переходные (пограничные) состояния, переходные зоны, переходное сознание. Именно в таких участках формируются этноконтактные зоны – особый тип этнокультурных регионов, обладающий свойствами границы. Их развитие не всегда определено и предсказуемо, они сильно различаются по разным признакам. Однако по ряду некоторых общих признаков ЭКЗ можно идентифицировать:

- географическое положение на стыке, пересечении либо наложении двух и более этнических ареалов, этнокультурных территориальных комплексов, цивилизационные рубежи;
- отсутствие четко выраженных естественных межэтнических границ, их «размывание», преобладание контактных функций, проницаемость, прозрачность, гравитационный характер;
- диахронное и синхронное межэтническое и межкультурное взаимодействие;
- наличие переходной зоны, маргинальных этнокультурных артефактов, ментифактов и социофактов, выраженных в этнокультурных ландшафтах.

В этноконтактных зонах в зависимости от соотношения этнокультурных групп, от степени взаимной комплиментарности и толерантности, от стратегии этнических лидеров, национальной политики государства и др. возможны разные сценарии этнокультурогенеза, которые сводятся к двум главным тенденциям: межэтническая интеграция или обособление и дивергенция этнокультурных групп в зависимости от многих условий. Российское геокультурное пространство характеризуется наличием большого количества ЭКЗ, они нуждаются в изучении.

3.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ НОРМ АДАТА И ШАРИАТА НА ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ЭТНОСОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Адат и шариат – две взаимодействующие правовые системы прошлого и настоящего горских обществ Северного Кавказа. В предлагаемом разделе мы планируем показать, какова роль адата и шариата в формировании территориальной организации жизни северокавказских народов в разных сферах: экономической, судебной, общественной, семейной, религиозной, отметить особенности общинного экономико-географического районирования, например, принципы выделения паев, использования пастбищ в контексте адата и шариата, применение адата и шариата в урегулировании земельных конфликтов, изменение территории проживания как способ урегулирования криминальных конфликтов по адату, географический принцип в общественном быту, основанном на адате (определение «почетности» гостей по адату и т. д.), организации аульного пространства, в частности, роль родственного принципа (по адату) – создание фамильных кварталов, географический принцип в организации мусульманской жизни (соотношение соборной и квартальных мечетей, организация пространства горских кладбищ), основы местного (общинного) самоуправления – соотношение адата и шариата, понятие «окружающей природы», «гор», «экологии» в адате и шариате на Северном Кавказе. Все эти вопросы, связанные с общественно-географической практикой в контексте адата и шариата и являющиеся одним из направлений географии культуры, в той или иной степени станут предметом данного раздела.

Адат и шариат в общественном быту. В настоящее время во многих сферах общественного быта происходят изменения, связанные с возрождением ислама на Северном Кавказе. Ключевым вопросом, вызывающим действительно серьезные разногласия в связи с распространением ислама и затронувшие

практически все слои населения республик региона (и мусульман, и атеистов), в том числе и интеллигенцию, стала *дискуссия о соотношении адыгской и исламской культур, адата и шариата в общественном быту*. В одном лагере оказались «традиционные» мусульмане и интеллигенция, чаще всего настроенная атеистически, а в другом – т. н. «молодые» мусульмане. Для старшего поколения и интеллигенции кавказские (например, адыгские) традиции важнее ислама, для молодого – наоборот (Бабич, 2004).

Пространственное расположение прихожан в мечети. Согласно адатной традиции на Северном Кавказе многие века бытовал институт почитания старших. Тем не менее, в настоящее время в ходе мусульманских реформ это правило не принимается мусульманами. Причем в прежние века мусульмане считались с этой адатной традицией. Интересный материал приводит Крым-Гирей, посетивший одну из мечетей натухайского селения Кудако еще в XIX в.: «Полагая, что на молитвах черкесы не так строго соблюдают чинопочитание, как в обыденной жизни, я стал по левую сторону какого-то горца. Мулла помолился, сидя на коленях и приветствовал, перебирая четки, ангелов – Джибраэли и Рахмет, охраняющих, по нашему учению, от поползновений сатаны. В это время он заметил, что я стою не на своем месте. Мулла обратился к моему соседу со словами: Грешный! Аллах не примет твоей молитвы, если будешь так нагло изменять *обычаям твоих отцов*, как ты изменяешь им в настоящую минуту: ты стоишь по правую сторону человека, который к тебе слишком снисходителен и которого ты должен уважать» (Крым-Гирей, 1992). Молодые мусульмане считают эту традицию архаичной – каждый имеет право занять то место в мечети, которое оказалось свободным в момент его прихода (Бабич, 1994).

Гостеприимство и география. Исконно кавказская традиция гостеприимства тесно связана с географическими понятиями. Можно отметить, что кавказское гостеприимство разли-

чалось по тем критериям, выработанными веками у народов Кавказа, по которым оценивали гостей. Известно, что во всяком обществе были более и менее почитаемые гости. Так, на Кавказе гости делились на случайных (незнакомых) и знакомых лиц. Первые – принимались в кунацкой, а вторые – в доме хозяина. Также гости делились на тех, кто приехал по делам (*проходящий гость*) и тех, кто специально приехал погостить (*золотой гость*). Вторые ценились больше. На Кавказе выделялись гости, приехавшие впервые, гости, приезжавшие редко, и наконец, гости из дальних краев и т. д. Наибольшим почетом на Кавказе пользовались гости, прибывшие из далеких краев, так называемые *дальние гости*, которые, в свою очередь, *делились по степени отдаленности места*, откуда они прибыли, на три группы. К первой группе относились «гости из других стран», ко второй – «гости, переехавшие через 3, 5, 7 или 9 рек». Иногда вместо количества рек имело значение, с какой именно реки приехал гость. К третьей группе – «гости из других селений». Самыми почитаемыми при прочих равных условиях были гости из других стран. При определении почетности «дальнего гостя» учитывалось и то, с какой именно стороны он прибыл. Безусловно, присущая каждому кавказскому обществу своя шкала почетности гостей объяснялась социально - экономическим и общественно - политическим развитием этого общества.

Бытовали и различные приемы гостей. Так, у адыгов, проживающих на Северо-Западном Кавказе, многие века существовала следующая дифференциация приемов различных гостей: 1 – прием «большого гостя», 2 – прием «дорогого гостя», 3 – прием «важного гостя», 4 – прием «простого гостя». Опишем прием «большого гостя». К «большим гостям» адыги причисляли: 1) «дальних гостей», приехавших специально погостить, 2) путешественников-иностранцев, 3) гостей, хотя и из соседних селений, но из известных фамилий, 4) гостей, приезжавших очень редко и имевших репутацию почитаемых людей, 5) «должностных лиц», пользующихся уважением (в частности,

духовных лиц, работников сельской администрации и др.). Такой прием оказывался иностранным путешественникам и русским подданным, побывавшим на Кавказе по служебным делам (Бабич, 1996).

Организация современных кладбищ. У народов Северного Кавказа в похоронно-поминальной обрядности причудливо переплетаются исламские и адатные традиции. «Молодые» мусульмане в ходе «ревизии» адата стремятся изменить сложившиеся в прежние времена правила захоронения на кладбищах, которые представляли собой сочетание адатных и советских особенностей. Например, до сих пор у адыгов сохранялся *фамильный характер захоронений* и установление памятников и оград на могилах. Но постепенно ситуация меняется. Так, в ауле Тахтамукай (Республики Адыгея) уже не соблюдается фамильный характер новых захоронений: местный эфендэ не разрешает оставлять место для захоронения родственников. Раньше делали столбы у ног и головы из дерева, а теперь делают из железобетона. Эти небольшие столбы отличают мужскую могилу от женской; у мужчин они расположены параллельно, а у женщин перпендикулярно. Существует поверье, что на этих столбах сидят ангелы. Сейчас из жести изготавливают и устанавливают на эти столбы навершия.

Около могилы в селении В. Куркукужин (Кабардино-Балкария), где похоронена дочь хаджи в 1792 г., пожилые женщины совершают обряд вызывания дождя. Это место называется *чащанэ* (крепость, склеп), или *нывэ ду* (каменный амбар).

Миграции как изменение соотношения адата и шариата.

На протяжении двух столетий проводилось несколько этапов и форм переселений северокавказских народов: это и массовое выселение в ходе русско-кавказской войны и после ее окончания в Османскую империю, и переселение горцев на равнину, проводимое в 1920-е годы, и депортация некоторых народов в Среднюю Азию в 1940-е годы. Все эти перипетии в значительной степени *изменили традиционное расселение жителей в*

сельских населенных пунктах, которое в прошлом соблюдало принцип создания кварталов родственников.

В первой половине 1990-х годов адыги, проживавшие в Косово, переселились на постоянное жительство в Адыгею. Косовские адыги – мусульмане, у которых не было опыта жизни в условиях советской и постсоветской власти. Переселившись в Османскую империю во второй половине XIX в. и оказавшись в ходе вторичного переселения (в 1880–1890-х годах) уже внутри империи на территории Балканского полуострова они получили возможность отправления религиозного культа в полном объеме, в том числе и в правовой сфере – мусульманского права. Эти исторические обстоятельства в значительной степени повлияли на возникновение специфического положения косовских адыгов в современной Адыгее. Как сообщали косовские адыги среднего и старшего возраста, и исламская, и адыгская (адатная) культура адыгов в Косово значительно отличается от того, с чем они столкнулись в Адыгее: с одной стороны, ислам косовских адыгов сходен не с «традиционным» адыгейским, а с турецким исламом. С другой стороны, адат, адыгэ хабзэ, т. е. нормы адыгского поведения в социальной и семейной сферах, видоизменились в иные формы: некоторые нынешние адыгейские традиции не характерны для современной косовской жизни, в то же время адыги Косово сохранили ряд традиций, которых нет в Адыгее. Надо сказать, что «косовский» ислам включил многие адатные традиции в свою жизнь: так, *в косовских мечетях первые два наиболее почетные ряда всегда оставлялись для пожилых мусульман.* Молодые их не занимали, даже если они первыми приходили в мечеть, сохраняя этим адатную традицию почитания старших. У косовских адыгов и местных адыгейцев сложились различные похоронные традиции: у первых преобладают исламские черты, у вторых – адыгские с элементами адата (Бабич, 2010).

Клановая структура: борьба адата и шариата. Клановая или родственная структура северокавказских обществ является

одной из характерных черт традиционной этнической культуры народов Северного Кавказа как в прошлом, так и в настоящем. До сих пор родственные связи играют значимую роль в разных областях жизни народов. Во-первых, социально-экономические изменения XIX и XX вв. привели к *распаду большой семьи*, объединявшей вокруг себя значительное число родственников, и *развитию малых семей*, которые обзавелись собственными хозяйствами и выделились в отдельные экономические единицы. Поскольку уже давно нарушился родственный принцип расселения, в настоящее время члены кровнородственных групп, принадлежащих одной фамилии, живут в разных селениях, а подчас и в разных северокавказских республиках. Поэтому родственные связи в кровнородственных структурах северокавказских народов укрепляются главным образом во время проведения крупных родственных событий, таких как свадьба или похороны, являющихся важными объединяющими мероприятиями, на которые съезжаются взрослые члены семей первого и второго порядка. Это традиционная сфера жизни северокавказских народов. Так было и в XIX в., и в XX в. Члены некоторых семей хорошо помнят своих предков и имеют легенды об их героической жизни, помнят свои исторические корни, сохраняют родственные символы, например, тамги. Такие родственные объединения приобретают высокий социальный статус в обществе. Для решения тех же и других целей в современных северокавказских обществах возникла новая форма искусственного родства. Речь идет об *объединениях однофамильцев*. Нынешнее явление чрезвычайно важно для понимания тех процессов, которые происходят в обществах Северного Кавказа. В настоящее время идет процесс формирования новых ритуалов и символов данной формы искусственного родства. Формируется и новая идеология, в основе которой положен, например, поиск общих предков однофамильцев. Процесс объединения однофамильцев охватил практически все народы Северного Кавка-

за. Особенно ярко он прослеживается в адыгском, осетинском и карачаево-балкарском обществах.

Съезды однофамильцев, которые иногда называют *фамильными сходами*, путая с собраниями кровных родственников, проводятся на уровне республик, когда на мероприятие приезжают однофамильцы из какой-либо одной республики Северного Кавказа, на межреспубликанском уровне, когда на съезд съезжаются лица из разных республик этого региона (например, съезды однофамильцев - адыгов из Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии и причерноморской Шапсугии), и наконец, собрания, на которые помимо всех вышеназванных лиц приезжают однофамильцы из стран Ближнего Востока, главным образом из Турции, Сирии и Иордании, где, как известно, проживает значительное число представителей народов Северо-Западного и Центрального Кавказа.

Отметим, что клановая структура северокавказского общества, основанная на адате, стала одним из ключевых аспектов разногласий между сторонниками различных исламских течений, возникших в начале и особенно во второй половине 1990-х годов в этом регионе. Клановая структура, наряду с упоминавшимся выше институтом почитания старших, стала рассматриваться как негативное явление, от которого стоит избавляться в процессе исламской модернизации северокавказского общества.

Пространственное расположение мужчин и женщин в танце. «Молодые» мусульмане в ходе проведения современной «ревизии» адата в горских обществах Северного Кавказа не одобряют близкое расположение мужчины и женщины в национальных танцах, допуская лишь танцы мужчин и женщин отдельно. Отметим, что подобное существует и в среде косовских адыгов, о которых мы писали выше. У них действительно нет совместных танцев мужчин и женщин.

География и право. Внедрение в современную жизнь шариата и ослабление адата в современном горском обществе

привело к появлению различных новых тенденций в системе традиционного землепользования, основанного на адате или советской колхозной традиции.

Прежде всего, в последние два десятилетия стало появляться мусульманское землепользование (*вакуфное землепользование*). В дореволюционном прошлом мусульманское землепользование было, например, в Карачае; на кадия Карачая возлагались контрольные и регулирующие функции, связанные с оборотом земельных участков, которые составляли *вакуф* – чисто мусульманский, благотворительный вид условного землевладения, который появился в прошлые века на Северном Кавказе с внедрением шариата. Карачаевский вакуф («азат») заключался в том, что владелец дарил в пользу бедных пахотные или покосные участки. Исполнитель его воли – осуй (опекун), по совещании с муллами, отдавал землю в пользование какому-нибудь бедному, трудолюбивому и благочестивому человеку, и если последний со временем богател, то земля передавалась другому. У западных адыгов, как известно, турецкие миссионеры так и не сумели ввести вакуф. В Адыгее не было вакуфной традиции, тем не менее, переселившиеся косовские адыги такой опыт имели. Мусульманские учреждения – мечети и школы в Косово, как и в большинстве исламских стран, содержались за счет использования вакуфной собственности. Практиковали ее и косовские адыги. Проблема восстановления институтов мусульманской собственности приобрела небывалую актуальность на постсоветском пространстве в начале третьего тысячелетия.

«Географическая конфликтология» и примирение по адату. Если рассмотреть типичные для народов Северного Кавказа в прошлые века вообще, и для адыгов, в частности, конфликты с точки зрения *территориального проживания их участников*, то можно сделать заключение: наибольшая доля всех столкновений приходилась на те, которые имели место между адыгами, проживавшими в разных кварталах одного и того же селения.

Адыгские селения второй половины XIX в. представляли собой крупные территориальные единицы, включавшие несколько кварталов (*джамаатов*). Обычно внутри квартала проживали родственники, составлявшие патронимию. Каждый квартал имел своих общественных лидеров. Рассмотрев дела медиаторских судов за 45 лет, с 1870 по 1915 г., я обнаружила только 15 дел, в которых описываются столкновения между соседями или лицами, проживавшими в одном квартале. В результате этих конфликтов, в основе которых лежали незначительные бытовые ссоры или же хозяйственные разногласия, их участники причиняли друг другу незначительный физический ущерб. К примеру, в западноадыгском селении Афипсип на границе двух соседних земельных участков рос дуб. Один из хозяев участка срубил его. Недовольный этим сосед избил жену виновного. Наиболее распространенные конфликты между жителями разных кварталов одного селения – ссоры из-за правил пользования земельными участками, в т. ч. пахотными, пастбищными, усадебными, а также огородами; нанесение хозяйственного ущерба обработанным земельным участкам; причинение ущерба животным; ссоры, возникшие во время организации общинных стад для выпаса скота (например, неуплата отдельными общинниками пастуху денег за выпас их скота, отказ пастуха взять чей-либо скот в стадо, возвращение хозяину раненого скота); ссоры из-за невозвращения в срок долга. Я обнаружила небольшое число конфликтов, происходивших в 1870–1910-е годы между адыгами из разных селений: 10 столкновений, которые имели как незначительные последствия, так и серьезные (ранения и убийства). Чаще всего случались неумышленные ранения и убийства на свадьбах, на которые собирались адыги из разных селений, или же во время похищения невест.

Анализируя рассмотренные выше конфликты в советский период (с точки зрения территориального расселения их участников), можно увидеть, что, как и в пореформенной (после 1861 года) адыгской общине, в 1920–1930-е годы соседские связи

некоторым образом «смягчали» поведение адыгов. Как свидетельствует архивный материал, столкновения между соседями происходили редко. Между тем родственные связи, наоборот, столкновения усиливали. В 1920-е годы во время раздела наследства многие столкновения заканчивались порой убийствами близких родственников (сыновей, родных братьев, дядей). Это новое явление не было характерно для дореволюционной жизни адыгской общины, которая в начале 1920-х годов представляла собой крупное селение, т. е. территориальную единицу, внутри которой наиболее прочными продолжали сохранять-ся родственные и соседские связи.

Как и прежде, наиболее частыми в адыгской общине 1920-х годов являлись столкновения между жителями одного селения, проживавшими в разных кварталах. Адыгские селения были довольно крупными и делились на несколько кварталов, удаленных друг от друга на некотором расстоянии. Как свидетельствуют собранные мною полевые этнографические материалы, в 1950–1990-е годы значительно увеличилось количество самых разнообразных внутрисельских конфликтов.

В настоящее время адыгские селения представляют собой огромные территориальные единицы, от 5 до 10 тыс. чел. Каждое селение состоит из пяти – шести кварталов. Если во второй половине XIX века соблюдалось родственное расселение внутри квартала, то в последующий период эта традиция нарушилась. В настоящее время родственные семьи разбросаны по всему селению, что способствует ослаблению родственных связей внутри кварталов. По моему мнению, этим во многом и объясняется увеличение внутриквартальных конфликтов. Как показывают мои этнографические данные, в 1990-е и последующие годы родственный фактор (в отличие от территориального) продолжает играть сдерживающую роль в разжигании бытовых конфликтов как в адыгском обществе, так и в других регионах Северного Кавказа, например, в Северной Осетии, где родственные связи стали едва ли не единственной основой сохранения традиционных устоев жизни народа.

В прошлые времена если виновный и потерпевший проживали в одном ауле, и тем более в одном квартале, община через систему общинных санкций оказывала давление на обе стороны, желая, чтобы скорее примирились, совершив адатное примирение и целый ряд процедур, связанных с этим. Это отчетливо видно из прошений, направляемых потерпевшими в медиаторский (адатный) суд. В одном из таких документов кабардинец писал: участники конфликта являлись «односельцами одного квартала и подлежали одной мечети», поэтому «общество нашего квартала со своей стороны предложило решить ссору между нами примирением».

Кровная месть и пространство. Для кровной мести на Северном Кавказе была характерна определенная *пространственная приуроченность*. Местом совершения мести являлось, как правило, любое общественное место, за исключением мечети, т. е. базар, улица, а также дом кровника или врага. В большинстве случаев горцы мстили во время массовых мероприятий, например, свадеб, так как в этот момент возрастала вероятность случайных встреч кровников. Месть вне селения случалась крайне редко.

В прошлом у народов Северного Кавказа, бытовала так называемая традиция *избегания кровников*, в основе которого лежали «пространственные» правила поведения, характеризующие взаимоотношения кровников и их родственников в период примирения. «Миротворческий» период мог быть очень длительным – от полугода до года и более. В соответствии с этими правилами после совершения какого-либо серьезного деяния, главным образом убийства, виновный вместе с семьей должен был *переселиться в другое селение на временное жительство*. В своем селении они могли вновь появиться после окончания судебного процесса. Если он затягивался, то семья виновного могла вернуться в селение через месяц. После возвращения виновный и его семья, с одной стороны, и родственники потерпевшего, с другой, давали сельскому старшине

расписки о том, что они будут, во-первых, избегать случайных встреч с друг другом в мечети и других общественных местах, во-вторых, виновная сторона будет во всем давать первенство семье потерпевшего, в-третьих, виновная сторона не будет появляться там, где уже находились родственники потерпевшего. Особенно строго данное правило следовало соблюдать при посещении службы в мечети. Если в селении было две мечети, то кровникам предлагалось посещать разные мечети, если одна – то входить в нее и выходить из нее с разных сторон.

А. А. Плиев описал интересный обычай, бытовавший у чеченцев и ингушей – так называемый *никъ бийхка ба*, что можно перевести как *закрытие дороги*. Суть его заключалась в том, что потерпевший или его родственники объявляли виновному и его родственникам, проживавшим с ними в одном селении, что они могут пользоваться в селении только одной дорогой. Если кровники случайно встречались на этой дороге, то кровная месть не происходила, а если на любой другой, то потерпевший или его родственники могли совершить месть (Плиев, 1969).

Во второй половине XIX в. находились такие адыги, которые, по мнению Н. Ф. Грабовского, не придерживались указанных выше правил. Он писал: «Встретившиеся противники, заметив намерение кровника исполнить обычай и уступить дорогу, по обыкновению начинают ругать и требовать: «Если не трус, и не женщина, чтобы ехал прямо». Как правило, человек ехал, и подобные встречи могли быть кровавыми. Обнаруженные мною архивные документы подтверждают информацию Н. Ф. Грабовского. Так, житель кабардинского селения Ашабово убил односельчанина; близкий родственник виновного не давал «по обычаю», как сказано в архивном деле, дороги родственникам потерпевшего.

Любопытно, в архивных делах XIX в., как правило, указывались основания, по которым сельчане считали необходимым открытие либо новой мечети в их селении, либо повышение статуса уже существующей. Так, в общественном приговоре

жителей селения Тахтамукай написано следующее: «Между односельчанами из разных краев аула произошло столкновение, окончившееся смертью одного и поранением двух других участников. Вследствие этого между родственниками той и другой стороны возникла кровная вражда. Вражда эта не утихает, а напротив, при встречах противных сторон во время праздников в мечети усиливается и не дает возможности всецело отдаваться молитвенному настроению как враждующих, так и других, не причастных к этому делу мужчин, порождая среди последних тревогу в ожидании возможного кровавого столкновения. Наличие этой вражды во время молитвы противоречит требованиям шариата». Таким образом, как видно из данного общественного приговора, в основе религиозного конфликта в этом селении лежало желание адыгов соблюдать этикет кровников, который традиционно позволял избегать столкновений между ними.

В дальнейшем (1920-е годы) у адыгов частично сохранялись традиционные *правила поведения кровников*, т. е. участников исходного конфликта и их ближайших родственников. Те же традиции наблюдались и у других народов Северного Кавказа, например, осетин. Отметим, что в начале прошлого столетия годы далеко не все адыги, являющиеся кровниками, соблюдали данный этикет.

Интересно, что советские судебные органы также обращались к традиции избегания кровников как способу предотвращения мести. Так, при рассмотрении советским Верховным судом КБР дела об убийстве лесника и его приемного сына, совершенное, как определено судьями, «на почве мести с особой жестокостью», суд вынес решение о признании виновного невменяемым. Тем не менее суд не разрешил его родственникам держать больного в психоневрологическом диспансере на территории Кабардино-Балкарии, поскольку это, как отмечено в судебном приговоре, «опасно для жизни из-за мести родственников и их односельчан».

В настоящее время эта традиция отчасти соблюдается. У ингушей виновный имеет права не посещать мечеть, в которой родственники убитого совершают намаз, ходить на свадьбы и похороны к общим родственникам; женщины из семьи виновного и потерпевшего не носят светлые одежды и при встрече не разговаривают с кровниками. Из страха кровной мести многие увольняются с работы и учебы. Некоторые ингуши уезжают из родных и обжитых мест и скрывают свое местонахождение, боясь преследования.

Как показывают рассмотренные мною архивные данные, большую роль в установлении или, вернее, не установлении кровнических или враждебных отношений играло *местожительство участников конфликта*. Так, обнаружился лишь один случай, когда сельчанин из кабардинского селения Коново совершил месть по отношению к соседу. Между ними произошла ссора из-за ограды, которая разделяла их участки. Во время ссоры соседи подрались. Один из них был ранен. Спустя некоторое время потерпевший попытался убить несговорчивого соседа. *В основном месть совершалась по отношению к односельчанам, проживавшим в других кварталах*. Адыги не только не боялись причинять им незначительный физический или материальный ущерб, но и убивать их.

Территориальные (земельные) конфликты, адат и шарият. Серьезной причиной столкновений на Северном Кавказе всегда была земля. Согласно земельным адатам народов Северного Кавказа, каждый член общины имел право продать или сдать в аренду свой земельный пай, соблюдая при этом право о преимущественной его покупке родственниками или соседями. Лишь в случае отказа тех и других купить этот участок, горец мог продать его постороннему покупателю. Этот земельный адат традиционно строго соблюдался адыгами. В 1920-е годы в ряде случаев адыги начали продавать свои участки посторонним лицам, что вызвало отрицательную реакцию со стороны общин. Так, в 1925 г. житель кабардинского селения Куркужин

продал принадлежавший ему участок балкарцу, проживавшему в соседнем селении. Сельчане выступили против этой сделки. Такие ситуации в кабардинских селениях стали распространенным явлением, в результате чего кабардинцы на сельских сходах принимали решения о запрещении сельчанам продавать свои участки посторонним лицам. Те участки, которые к тому времени оказались проданными посторонним лицам, должны были пойти в общесельский земельный фонд. Попытка большинства адыгов придерживаться земельных адатов в 1920-е годы вызвала у тех, кто уже продал или собирался это сделать, негативную реакцию, приведшую к столкновениям между сторонниками и противниками применения земельных адатов.

Наряду с этим в 1920-е годы значительно возросло количество земельных столкновений как между жителями разных адыгских селений, так и между адыгами, с одной стороны, и соседними народами Северного Кавказа, с другой. В основе этих конфликтов лежала борьба северокавказских народов за передел земель. Эта борьба проходила на личностном уровне, когда отдельные сельчане, пользуясь отсутствием сильной сельской и областной администрации, проводили самовольные захваты земель, и на государственном, когда властные структуры отдельных северокавказских регионов пытались получить земли соседних народов с помощью признания своих прав на землю или в Северокавказском земельном управлении, или в центральных органах Советской России. И те, и другие конфликты имели серьезные последствия, заканчиваясь причинением его участникам значительного физического ущерба. В одном архивном деле указывалось, что конфликты между кабардинцами, с одной стороны, и карачаевцами, балкарцами и осетинами, с другой, «на почве земельных взаимоотношений, стали переходить границы мирного разрешения вопроса и выливаются в форму открытого выступления одной нации против другой».

С 1930-х годов вплоть до 1980-х включительно на всем Северном Кавказе, в том числе и в Кабардино-Балкарии и Адыгее,

существовала колхозная система, которая объединяла земли адыгских, русских и балкарских селений, входивших в эти республики.

Основная проблема, с которой столкнулась местная администрация в ходе процесса расформирования колхозов и совхозов в 1990-х гг., состояла в правилах дележа принадлежавших ранее колхозам земель. Так, в Северной Осетии осетины, проживающие в разных селениях, потребовали возвращения земель, принадлежавших их общинам до начала коллективизации. Такой конфликт произошел между жителями селений Дарг-Кох и Карджын: в 1957 г. был образован Карджинский совхоз; в него вошли 998 га, принадлежавших общине селения Дарг-Кох; теперь осетины из селения Дарг-Кох стали требовать возвращения этих земель.

В 1990-е и последующие годы участники разного рода земельных конфликтов всё чаще обращаются и к адату, и к шариату для их урегулирования.

Роль адата и шариата в общественно-географических практиках была четко связана со стадиями формирования *вещного права горцев*. Юридического оформления различных видов собственности горцев к началу XIX в. не было и в адате не разработаны основные понятия вещного права (права собственности и владения). Тем не менее, адатный суд в тот период *пытался регулировать владение и пользование пастбищными и пахотными землями* и т. д. Перечислим основные нормы земельного обычного права горцев: переход земли под общий выпас после уборки хлебов и сена; право родственников на выморочное имущество; преимущественное право родственников при покупке и даже право выкупа продаваемой земли; право жителей на пользование общинными пастбищами даже при переселении их в другие аулы; общий выход на покос (по горскому адату даже индивидуальные сельхозработы часто подлежали регулированию общиной, так, начало сенокоса определялось именно ею); обычай общего пользования инвентарем во вре-

мя запашки; право брать сено при недостатке кормов весной из чужого стога; для запашки земель отдельные мелкие хозяйства членов одного и того же рода объединяли свой инвентарь и по очереди работали на каждого; после уборки урожая на участке, принадлежащем одной семье, вся родовая община была вправе пасти свой скот; обычай *помочей* (карач. *маммат*, кабард. *дзей*, осетин. *циу*), согласно которому род оказывал помощь своему члену при постройке дома, при уборке хлеба.

Иногда поступающие в шариатский суд дела сразу же передаются в гражданский российский суд. Приведем пример. Произошел земельный спор между двумя жителями селения Ингушетии: у одного были официальные документы на участок земли, а у другого есть два свидетеля, которые готовы подтвердить, что спорный участок принадлежит именно ему. Шариатский суд отказался рассматривать такое дело и стороны обратились в российский суд.

Адат и шариат – эти две взаимодействующие правовые системы прошлого и настоящего горских обществ Северного Кавказа, таким образом, оказывали в прошлом и продолжают в настоящее время влиять на формирование территориальной организации жизни северокавказских народов в экономической, судебной, общественной, семейной, религиозной сферах.

3.4. ТРАДИЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА КАК КУЛЬТУРНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН¹

Лишь сравнительно недавно традиционное природопользование северных народов стало рассматриваться в аспекте культуры (Рагулина, 2004; Харамзин, 2003). Как раньше, так и теперь, этот термин чаще всего употребляется как синоним традиционного хозяйства, а хозяйство и культура противопоставляются друг другу. В России хозяйство редко изучается как часть культуры, хотя тот факт, что оно является творческим процессом «очеловечивания» – т. е. окультуривания природы – вполне очевиден (Булгаков, 1912). Как отмечает С. Д. Домников (2008), хозяйственное мышление обычно связывают исключительно с проблематикой рациональности. Дискурс рациональности ограничивает возможности культурологического осмысления хозяйства. Вместе с тем для географов последнее особенно важно, так как изучение хозяйства и природопользования как культурно-экологического пространственного феномена – это, по сути дела, осуществление давней мечты – создать «единую» географию на стыке гуманитарного и естественнонаучного знания.

В классической советской этнографии традиционное хозяйство формально включалось в состав материальной культуры и рассматривалось главным образом как совокупность артефактов, а не как процесс взаимодействия человека с природой. С появлением этнической экологии проявился интерес к хозяйству коренных народов именно как к природопользованию – взаимодействию этнической общности с ландшафтом, вошел в употребление термин этноэкологическая система (Козлов, 1983; Крупник, 1989). При

¹ При подготовке раздела были использованы результаты полевых исследований, проведенных на полуострове Ямал и на юге Иркутской области по проекту Европейского Научного Совета № 295458 «Arctic Domus».

этом в отечественных исследованиях продолжал доминировать рациональный эколого-экономический дискурс, основанный в значительной мере на количественных подходах и близкий к естественнонаучному. Однако, науки о культуре оперируют почти исключительно качествами, они гуманитарны по своей методологии, т. е. требуют диалектического, а не формально логического мышления. Можно предположить, что именно применение диалектического метода делает научный подход гуманитарным в полном смысле этого слова. Попутно отметим, что научные направления географии чаще разграничиваются, исходя не из метода, а из объекта и предмета исследований (Гладкий, 2010; Уваров, 2011). Если исходить из метода, предметные границы гуманитарной географии расширятся и охватят даже не преобразованную природу, в той мере, в какой она осмыслена человеком.

В советской этнографии культуру делили на материальную и духовную. Если следовать этому делению, то и в географии культуры в центре внимания могут быть либо материальные, либо нематериальные (информационные) объекты (системы), взятые в их взаимосвязях с географической средой (ландшафтом). Однако в контексте современных подходов наибольший интерес представляет иная возможность: представить материальный и духовный аспекты культуры как целое. Сделать это можно разными способами, обзор которых сделан М. В. Рагулиной (2004). Можно предложить еще один, взяв за основу одну из идей Павла Флоренского (1977). Применительно к поставленной задаче ее можно интерпретировать так. Человек, в отличие от животных, осваивает окружающий мир (в данном случае – кормящий ландшафт) с помощью орудий. Понятие «орудие» можно понимать в очень широком смысле – как проекцию во вне творческих сил человеческого существа. Орудие можно рассматривать и как материальную (природную) вещь, и как носитель определенного смысла, т. е. вещь целесообразную. Павел Флоренский предлагает рассмотреть три категории

орудий, с помощью которых человек осваивает и преобразует окружающий мир:

1. Инструменты – полезные вещи, материальная сторона которых выражена совершенно очевидно (феномены), а их разумность, смысл обычно требуют доказательства;

2. Слова и составленные из них тексты (ноумены) – они убедительны, разумность их очевидна, а материальность не выражена;

3. Предметы, наделенные символическим смыслом: произведения искусства, памятники, гербы, сакральные предметы и др.; их материальность и осмысленность тесно слиты друг с другом так, что их трудно разделить.

Рассмотрим, как эти категории представлены в природопользовании коренных северных народов.

Занимаясь оленеводством, охотой, рыболовством, другими промыслами, коренные народы создают много различных орудий-инструментов. Они, большей частью, описаны в этнографической литературе как объекты материальной культуры того или иного этноса. Однако их можно рассматривать и глубже, в совокупности со способами и соответствующими навыками их использования как материальные компоненты традиционных технологий. С помощью таких технологий, изготавливая пищу, одежду, транспортное снаряжение и другие предметы для кочевой или полукочевой жизни, коренные этносы адаптируются как к своему кормящему ландшафту, так и к постоянно меняющейся социальной среде. Традиционные технологии можно разделить на три группы (Klokov, 2011):

а) унаследованные от прошлого в минимальной степени измененные – т. е. собственно традиционные технологии;

б) адаптированные, в значительной степени измененные и приспособленные к современным условиям;

в) изначально нетрадиционные – заимствованные, которые путем приспособления к условиям кочевой (полукочевой) жизни делаются традиционными.

С точки зрения выживания традиционных этнических сообществ в современных условиях важны все три группы. Их сочетание делает сообщества устойчивыми в меняющейся региональной среде, позволяет им транслировать опыт прошлого будущим поколениям. Технологии первой группы составляют культурно-экологическое наследие коренного этноса, его этнокультурный «капитал». В будущем они могут быть востребованы как ресурс для туристического бизнеса, или в качестве символов традиционной культуры.

В адаптированных технологиях чаще всего используются новые материалы: металл, пластмассы и др. Так, кожаные ремни заменяются капроновыми веревками, жилы – нитками; мелкие детали оленьей упряжи, которые раньше делали из рога, изготавливают теперь из пластика или металла. Бывают и весьма специфические заимствования: так кочевники Канинской тундры используют в своем хозяйстве детали упавших на землю баллистических ракет, выпущенных с Плесецкого полигона.

Важнейшей частью природопользования и жизнеобеспечения традиционных сообществ стали заимствованные у других народов и приспособленные к местным условиям технологии. Примером могут быть разнообразные способы выпечки хлеба в кочевых условиях: например, в тундре – в разрезанных пополам и зарытых в землю бочках из-под бензина, в тайге – в своеобразных печках, сделанных из тонких бревен, обложенных камнями. Другой пример – использование снегоходов для разрушения ледяной корки в случае обледенения оленьих пастбищ (Мурашко, 2004).

Количество и своеобразие «живых» традиционных технологий у конкретных аборигенных сообществ можно считать мерой их адаптивной устойчивости и показателем их креативного потенциала.

Перейдем ко второй категории орудий – «ноуменам». Их совокупность, используемую коренными народами в естественной обстановке, можно определить как «традиционное

знание». Традиционные знания о природе принято называть традиционными экологическими знаниями – ТЭЗ (Usher, 2000; Райгородецкий, 2000). В ТЭЗ можно выделить несколько областей (Клоков, 2002).

Во-первых, практические знания, умения, опыт, навыки, позволяющие коренным жителям заниматься традиционным природопользованием. Это знаниевый компонент традиционных технологий, о которых уже шла речь выше. Отметим, что многие слова аборигенных языков теперь используются только как производственные термины в традиционном хозяйстве, понятные лишь определенному кругу людей. По этой причине они начинают играть роль этнокультурных маркеров. Так, в ходе исследования, проведенного автором среди охотников-оленоводов тофаларского поселка Алыгжер в 2013 г., выяснилось, что у них в употреблении осталось немногим более двух десятков тофаларских слов. Это термины, позволяющие им профессионально говорить об оленеводстве, т. е. названия возрастно-половых групп оленей (чара – ездовой олень, инген – матка, анай, анайчик – олененок, мундучак – нетель, хоны – самец 2-го года, худы – самец 3-4-го года и др.), а также наименования некоторых используемых в оленеводстве предметов (таяк – посох, чатыр – загон для оленей, мунгуй – деревянный карабин, чтобы привязывать олененка, солбак – потаск для затруднения перемещения оленя и др.).

Во-вторых, фактические знания о природе кормящего ландшафта: собственные наблюдения охотников, рыбаков, оленеводов и др., а также сделанные ими обобщения и истолкования этих наблюдений. По своей точности и детальности экологические знания постоянно живущих в тайге и тундре аборигенов часто значительно превосходят знания ученых. В последнее время в России дебатировался вопрос об использовании ТЭЗ для управления биологическими ресурсами (Мурашко, 2007). В этом отношении Россия сильно отстала от других арктических стран, где ТЭЗ для этой цели широко применяются (Крамп, 2008).

Поскольку этот дискурс активно используется в целях защиты прав и интересов коренных народов – вопрос сильно политизирован. В северных регионах России экологи и специалисты охотничьего хозяйства не считают ТЭЗ источником информации, заслуживающим внимания. Интересы коренных народов при этом игнорируются, их сообщества лишены возможности участвовать в процессе принятия решений по использованию ресурсов живой природы. Это противоречит как российскому законодательству, в котором предусмотрены гарантии их прав на доступ к жизненно важным ресурсам, так и международным документам, в частности статье 8j Конвенции о биологическом разнообразии ООН.

В-третьих, ценностные ориентации и моральные императивы, регулирующие экологическое поведение коренного населения. Традиционное природопользование основано на использовании человеком биологических ресурсов, в восстановлении которых он практически не участвует (присваивающий тип хозяйства). Поэтому равновесие возможно лишь в случае, если деятельность человека «вписана» в уже сложившиеся природные комплексы (Макисмова, 2001). На этом основании традиционное природопользование априори считается неистощительным, что зафиксировано даже в юридическом определении этого термина (см. ФЗ РФ «О традиционном природопользовании...», 2001. Ст. 1). При этом конкретные механизмы такого «вписывания» изучены мало, хотя и представляют значительный теоретический интерес. Так, в исследованиях, проведенных автором в рамках проекта «Арктик Домус», в центре внимания находится один из типов связей человека с природной средой: его отношения с животными, через которых опосредуются связи человека с кормящим ландшафтом. В качестве моделей выбраны два типа резко различных оленеводческих сообществ: кочевые ненцы-олeneводы Ямала (с развивающимся крупностадным товарным тундровым оленеводством, хорошо сохранившимся семейным кочеванием и очень длинными

маршрутами кочевий) и находящиеся на грани исчезновения очаги горнотаежного эвенкийского и тофаларского оленеводства в Иркутской области (очень небольшое поголовье оленей, используемых как транспорт на охотничьем промысле, реже – для получения молока). Изучаются отношения оленеводов и охотников с домашними и дикими северными оленями, а также с оленегонными и охотничьими собаками.

Как выяснилось, в основе таких отношений лежит установка, которую в рациональном дискурсе можно назвать «принципом минимального вмешательства». Она хорошо проявляется, например, при обучении ездовых оленей, оленегонных и охотничьих собак. Как таежные эвенки и тофалары, так и тундровые ненцы не стараются научить своих помощников чему-то новому. «Наших собак учить не надо. В отличие от русских собак – они от рождения знают, как гонять оленей. Старая собака сама учит молодую. А русские собаки, так же как и русские люди, не могут обращаться с оленями». Примерно так можно резюмировать ответы ненцев-олeneводоов на вопросы интервью о том, как происходит обучение оленегонных лаек. Фактически происходит не обучение, а приручение: собака, как и олень, помогают человеку в силу уже заложенных в них самой природой способностей, человеку нужно лишь убрать мешающие этому факторы: отучить оленегонную лайку кусать оленят, а охотничью – прокусывать тушку убитого соболя, ездовых оленей – сопротивляться веревке и бояться человека и т. п. Отметим попутно, что страх перед человеком у животных можно рассматривать как вторичное явление, связанное с охотой: т. к. животные, которые видят человека впервые, – его не боятся. Поэтому приручение не есть насилие человека над дикой природой, напротив, оно возвращает их отношения к исходному состоянию.

Похожая закономерность проявляется и на уровне адаптации традиционного природопользования к ландшафту. Территориальная организация тундрового ненецкого оленеводства на западносибирском севере как бы копирует структуру популя-

ционного ареала дикого северного оленя в соседнем регионе – Средней Сибири. В обоих случаях выделяются три зональных типа территориальных структур. В арктических тундрах небольшие стада оленей – как домашних, так и диких – живут относительно оседло, не совершая длинных миграций. Типичные тундры служат местом отела крупных стад, отходящих на зиму на многие сотни километров на юг – в северную тайгу. Южные тундры и лесотундра занята домашними и дикими оленями со значительно более короткими сезонными миграциями. Различие в том, что дикие олени совершают сезонные миграции по винуясь инстинкту, а домашние – под руководством пастухов.

Еще одна область ТЭЗ – космологические представления северных народов о природе и месте в ней человека. Здесь мы вплотную подошли к третьей категории орудий, которую Павел Флоренский определил как предметы культа, или сакральные. В более широком смысле – это все предметы культуры, все вещи, наделенные символическим смыслом. В жизни цивилизованного общества они встречаются редко: современный человек пользуется для решения своих проблем в основном словами и инструментами. Однако в историческом прошлом культура человечества была «синкретичной» (Харамзин, 2003). Природа, кормящий ландшафт и его составные части воспринимались как живые индивидуальности, субъекты, а не как лишённые свободы (мертвые) типологические единицы, объекты (Франк-форт, 1984; Клоков, 1997). Предполагается, что в традиционном мировоззрении коренных народов субъектное отношение к природе до известной степени сохраняется и теперь. Эту особенность традиционных культур нередко рассматривают как спасительную соломинку, которая поможет современному человечеству преодолеть экологический кризис. «Аборигенные народы нашей планеты донесли до третьего тысячелетия чувство благоговения перед природой и умение жить в согласии с ней. По мнению ряда учёных, умение аборигенных народов жить, довольствуясь дарами природы и не причиняя ей вреда,

поможет всем землянам выйти из гибельного тупика – вновь обрести утраченный баланс «Человек – Природа» (Райгородецкие, 2002).

В последние годы интерес к экологическим аспектам традиционного сознания растет и прилагаются значительные усилия к инвентаризации, изучению и защите священных мест коренных северных народов (Мурашко О. А., 2004; Харючи Г. П., 2012). Однако для коренных жителей Севера в значительной степени остается сакральной вся окружающая их природа. В этой связи одной из задач гуманитарной географии можно считать выяснение того, в какой мере символическое восприятие окружающей природы действительно сохраняется в мировоззрении северных народов, и какую роль это играет в практике их современного природопользования. Приведенные выше соображения могут служить методологическим введением к дальнейшему изучению традиционного природопользования северных народов как культурно-географического феномена.

Глава 4.
Русская культура в евразийском
и глобальном контексте XXI века:
общественно-географическая
экспликация

4.1. ВОПРОС К ЭКСПЕРТАМ И ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ

Каково позиционирование русской культуры на постсоветском пространстве и в мире в целом в настоящее время и в перспективе?

А. Г. Дружинин

Только территориально единая, экономически эффективная, политически стабильная и социально благополучная, открытая для трансграничных взаимодействий (в том числе и для иноэтнических миграций) Россия может обеспечить стабильное полноценное «присутствие» русской культуры и на постсоветском пространстве, и в мире в целом. При этом, фактор российского государства, его юрисдикции, равно как и включённости той или иной территории в экономическое и культурно-информационное пространство России – выступает весьма существенным для воспроизводства русской культуры обстоятельством: положение в сопредельных постсоветских странах последние два десятилетия являет тому многочисленные, весьма убедительные примеры. Показательна, в этой связи, и ситуация на российском Кавказе. Стабилизация социально-политической обстановки, равно как и более тесная интеграция соответствующих территориальных общностей в российскую экономику (посредством бюджетного механизма, «отходничества», развития рекреации и др.) – благоприятствовали укреплению позиций русской культуры в данном макрорегионе. Симптоматично, что за последний межпереписной период в локализованных на Юге России национальных республиках доля лиц, *не владеющих русским языком*, сократилась с 9,6 до 6,8 %, т. е. более чем на 160 тысяч человек (для чеченцев подобное изменение оказалось наиболее существенным – с 19,1 до 8,1 %).

В долгосрочной перспективе основной «антифактор» воспроизводства русской культуры видится в приобретшем характер устойчивого тренда сокращении доли нашей страны в населении Планеты. В 1900 г. на территории современной России

проживало 4,5 % мирового населения, в 1970 – 3,6 % , к настоящему же моменту – лишь около 2 % (в середине XXI века соответствующая цифра не превысит 1,2–1,3 %). Причём, согласно расчётам, если исключить «миграционную составляющую» демографической динамики, то к 2050 году на территории РФ может оказаться локализовано лишь около 100–105 млн. жителей. Учитывая нереалистичность данного сценария (масштабные иноэтнические миграции в Россию по многим причинам неизбежны), ключевым для будущего русской культуры вопросом становится её адаптационный и ассимиляционный потенциал, способность самосохраниться (и, отчасти, измениться), восприняв, «отфильтровав» и «переработав» обширнейшие «волны» культурных инноваций, привносимых из сопредельных государств Евразии.

А. Е. Левинтов

Особенностью и прошлой, и современной, и будущей русской культуры является то, что она развивается и существует вопреки государственности. Чем жестче государственный террор относительно культуры и науки, тем ярче, неожиданней и прекрасней плоды культуры и творчества. И наоборот, как только государство начинает попечительствовать, появляется псевдокультура.

Прожив 9 лет в эмиграции и испытав на себе многие соблазны и проблемы этого существования, я могу сказать, что наша культурная диаспора, несмотря на тяжелейшие испытания, дала миру невероятно мощную когорту деятелей: Рахманинов, Гершвин, Стравинский, Шнитке и Губайдулина, Шолом-Алейхем, Набоков, Азимов, Бунин, Бродский и Солженицын, Сикорский, Северский, Гамов, Бердяев, Леонтьев, Зворыкин и ныне здравствующий Лефевр, Дягилев, Нежинский, Лифарь, Павлова, Спесивцева, Баланчивадзе, Нуриев, Годунов и Барышников, Давид Сарнов, Беланов (патриарх Тихон), Шаляпин, Михаил Чехов и Юл Бриннер, Шагал, Малевич, Кандинский,

Алек Раппапорт, Э. Неизвестный, Шемякин – мировые звезды первой величины, которые вспоминаются сразу. А сколько составили национальную гордость?: Гоголь, Глинка, Герцен и Огарев, Бакунин, Тургенев, Репин, Цветаева, Мережковский и Гиппиус, Ходасевич и Берберова, Ильин, Шпет, Розанов и Зиновьев, Фешин, Шмелев, Довлатов, Некрасов, Гладилин, Аксенов, Максимов и Коржавин – простите те, кого упустил в своем невежестве.

А. Н. Пилясов

Здесь отмечу огромный нереализованный потенциал русской культуры. Пример Греции – братство по православию почти не используется в турах в эту страну. Нет программы конфессионально-культурно-рекреационного обмена. Во время двух (делового во время Конгресса Европейской ассоциации региональной науки в 2006 году в Волосе и рекреационного на Родосе в 2013 году) посещений этой страны никак не ощутил усилий по упрочению культурных связей России и Греции на конфессиональной общности. При том, что русских мигрантов, переехавших и работающих как гиды в Греции, реально много, тема общности по вере никак не отрабатывалась ни в одном туре. Огромный потенциал – и лень государственных и предпринимательских усилий.

В старой Европе проникновение русской культуры и уважение к ней сильнее, чем в новой – бывших социалистических странах. И это объяснимо как детская болезнь левизны – инерция постсоветского «отпрыгивания» еще некоторое время будет проявляться, однако потом, думаю, ситуация вернется в более спокойное русло; и страны СНГ, и бывшие социалистические страны будут более дружелюбно воспринимать русскую культуру и ее носителей, хотя бороться и конкурировать за место под солнцем после десятилетий монопольного присутствия на рынке обязательно придется, и этому нужно учиться.

В. Н. Стрелецкий

В вопросе о позиционировании русской культуры в мире (и шире – о позиционировании России на цивилизационной карте мира) следует избегать предельно «жестких» и, тем более, политически ангажированных суждений. Колоссальные размеры территории, ее природное разнообразие и положение на стыке разных культурных миров предопределили особую сложность национальной истории России. Миграции разноязычных народов, их смешение и чересполосное расселение, колонизация новых земель стали ключевыми факторами ее пространственной дифференциации и регионализации. Россия – страна очень своеобразная, способ ее «включения» в мировой культурный процесс крайне противоречив. И то, что споры об исторических судьбах России, о цивилизационных основах ее развития, о позиционировании русской культуры не стихают до сих пор, отнюдь не случайно.

В основном они укладываются в русло четырех потоков историкофилософской мысли.

Россия – Запад. Эта точка зрения обосновывается обычно ссылками на местонахождение исторического ядра страны, христианское (православное) вероисповедание большинства населения, его европейский (расовый и этнический) субстрат, включенность русской культуры в общеевропейский культурный процесс еще со времен Киевской Руси. По мнению «западников» – начиная еще с работ середины XIX в. (К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, Б.Н. Чичерин), Россия есть периферия Европейской цивилизации, в силу особо неблагоприятных условий (природных и социальных) задержанная в своем развитии по тому же историческому пути, что и Западный мир.

Россия – Восток. Данная концепция фиксирует давнюю «прививку» в России достижений азиатских цивилизаций, многие восточные корни русской культуры, близкую восточным обществам модель генезиса государства, а также своеобразие восточно-христианского, византийского наследия, столь отлич-

ного от западного. Нередко внимание акцентируют и на оппозиции Европы и России, якобы извечно враждебных друг другу. Однако на самом деле ничуть не меньше исторических свидетельств выполнения Россией и барьерной функции на стыке Запада и Востока. Отношение же России к Востоку – столь же амбивалентно, как и к Западу – здесь имели место не только культурная диффузия, но и противостояние (тем более, что в географическом, культурно-цивилизационном контексте понятие «Восток» для России разнороднее, чем «Запад»).

Россия – мост между Западом и Востоком. В этой трактовке она соединяет разные цивилизации. Положение России на их стыке ярко охарактеризовано словами В.О. Ключевского: «Исторически Россия, конечно, не Азия, но географически она не совсем и Европа. Это переходная страна, посредница между двумя мирами» (Ключевский, 1987, с. 65). Концепция «моста» хорошо отражает синтетический, западно-восточный характер российского культурного мира, но при этом отводит ему роль главным образом посредника в диалоге цивилизаций (да и сами размеры российского «моста» порождают скепсис).

Россия – Евразия, отличная и от Европы, и от Азии, от Запада и от Востока. По мнению «евразийцев» (П. Н. Савицкий, Н. С. Трубецкой, Г. В. Вернадский и др.), Россия – это самобытный и органичный цивилизационный ландшафт, представляющий, по выражению главного теоретика движения, географа и экономиста П. Н. Савицкого, целостный и совершенно самостоятельный «континент – океан» (Савицкий, 1921). С позиций культурной географии, евразийская концепция России выглядит, казалось бы, убедительнее и привлекательнее. В исследовании специфики цивилизационного пространства России классики евразийства ухватили то, мимо чего в свое время прошли славянофилы и западники, – симбиотику российской культуры. Последняя не сводима не только к противопоставлению Запада Востоку, но и к формуле «и Запад, и Восток». Она выработала свой собственный генетический код, восприняв влияние Юга, Востока и За-

пада (Вернадский, 1927) – наследие византизма, привнесенные из Азии традиции степной цивилизации, а с эпохи преобразований Петра Великого в начале XVIII в. – также и пласты европейской городской, преимущественно светской, культуры.

Однако, к сожалению, эпигонами евразийства данная идея была сильно переформатирована и, фактически, вульгаризирована. Более того, в современном геополитическом дискурсе акцент в евразийстве зачастую необоснованно делается на педалировании якобы извечного противостояния «Русско-Евразийского мира» «Западному миру» (А. Г. Дугин и мн. др.), в нередких своих проявлениях – вообще сопрягается с идеями русского национализма (если даже и не этнического, то зачастую имперско-государственного).

Мне представляется, что Россия не образует самостоятельного (как полагают те же евразийцы) и, тем более, однородного цивилизационного сообщества. Вместе с тем, она, несомненно, не может быть целиком отнесена ни к одной из ныне существующих региональных (или т. н. «локальных», по Тойнби, при не очень точном и адекватном, в данном случае, переводе с английского языка термина *local*) цивилизаций мира – как одна из макротерриториальных частей какой-либо из них. В моем представлении российское пространство – в цивилизационно-культурном смысле мозаичное и гетерогенное; это пространство разных этносов и культур, интегрированных, тем не менее, единой исторической судьбой и мощным централизованным государством.

Русская культура (с русским же этническим субстратом, в первую очередь) – несомненная доминанта российского пространства в целом. При всей специфике своих исторических истоков, она неразрывно связана с культурой европейской, фактически выступая одним из инвариантов последней. Но российское культурное пространство – это не только его русское мегадро, но значительно более сложно устроенный конгломерат культурных миров, в том числе и тех, которые в большей или меньшей

степени «дистанцированы» от европейской культурной традиции.

Распад Советского Союза вывел за рамки России страны разного цивилизационного круга. Национально-государственное обособление Украины и Белоруссии – стран, в этнокультурном отношении наиболее близких России, – будет иметь для российского культурного пространства, в долговременной исторической перспективе, несомненно, наиболее существенные последствия. Это особенно важно с учетом пока еще сохраняющейся очень высокой степени этнокультурной общности «государствообразующих» («титulyных») и численно преобладающих народов этих стран – русских, украинцев и белорусов. Кроме того, российское, украинское, белорусское этнокультурные пространства разделяют не жесткие барьеры, а обширные переходные, контактные зоны.

Страны Балтии, «европейский» вектор культурно-исторического развития которых отчетливо выражен на протяжении уже многих веков (даже несмотря на отсутствие политической независимости в течение продолжительных исторических периодов), в этнокультурном отношении связаны с Россией намного менее тесно и глубоко. Вместе с тем, в этих странах, и прежде всего в Эстонии и Латвии (также как и в Молдавии), до сих пор проживают большие группы русского и русскоязычного населения, культурно и ментально с Россией неразрывно связанные. Этнические русские в балтийских государствах и в Молдавии и их культура – чрезвычайно важное измерение культурного «присутствия» России в этих странах.

Христианские страны Кавказа – Грузия и Армения, принявшие «цивилизационную эстафету», также как и Россия, от Византийского мира, занимают, тем не менее, на историко-культурной карте Евразии совершенно особое место. Их нарастающее геокультурное обособление от России, в целом объяснимо, особенно в случае с Грузией, дистанцирование которой от России в конце XX – начале XXI вв. было вписано также и в геополитический контекст.

Центрально-азиатские же республики и, отчасти, Азербайджан даже в составе СССР в культурно-географическом аспекте представляли собой в некоторых отношениях мир «исламский». В этих странах относительно хорошо сохранившееся, несмотря на издержки русификации и «советизации» XIX–XX веков, культурно-историческое наследие и сравнительно быстрое возрождение многих традиционных цивилизационных институтов благоприятствуют их усиливающейся социокультурной интеграции с другими мусульманскими странами. Казахстан и отчасти (в гораздо меньшей степени) Киргизия, в которых этнические русские составляют пока еще весомую часть всего населения, а мусульманские традиции укоренены слабее, чем в трех соседних среднеазиатских странах, несколько выбиваются здесь из общего ряда. Однако и в этих двух государствах культурное «присутствие» России неуклонно сокращается, что продиктовано, в первую очередь, значительным снижением доли русского населения (за счет миграции и более неблагоприятной, в сравнении с коренным населением, демографической динамики) за 1990-е – 2000-е годы, а также постепенным сокращением сферы применения русского языка.

4.2. СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ КУЛЬТУРА: ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Учитывая, что в современной науке существуют сотни определений понятия «культура», сразу оговоримся, что объектом нашего анализа является «высокая» культура, понимаемая как социальная система, связанная со всеми формами / способами функционирования и стадиями жизнедеятельности ряда сфер духовной деятельности.¹

Определяемая таким образом культура включает ряд структурных элементов, среди которых творческое сообщество (совокупность людей, реализующих себя в одной из сфер культуры); инфраструктура культурного процесса (учреждения и персонал, так или иначе способствующие деятельности творческого сообщества, ответственные за воспроизводство, сохранение, распространение и потребление культурных ценностей); система коммуникаций и взаимодействий, соединяющих отдельных деятелей культуры (их группы и целые сообщества).

В пространственном отношении культура всегда представляет систему центров (очагов), характеризующихся определенной иерархией и организацией, в которых находят отражение особенности политического строя данного социума, специфика системы его расселения (размещения демографического потенциала), способы и характер взаимосвязи государства и общества. Наконец, как социальный институт, культура занимает свое определенное место среди других структурных элементов общества. Данная позиция задает общие условия функционирования культурного процесса, во многом определяя ее динамику и творческую отдачу.

Достаточно относительным может быть и национальное маркирование культурного процесса любого многосоставного

¹ Перечень сфер, входящих в состав «высокой» культуры у разных исследователей может варьировать, но ряд составляет подлежащее ревизии ядро. Эта сфера литературы и художественной культуры, музыка и сценические искусства, архитектура и кинематограф.

общества, тем более столь полиэтничной страны как Россия. В отдельных сферах культуры (прежде всего в литературе) есть центральный показатель, позволяющий разделять культурные продукты по национальному признаку (язык на котором написан текст).¹ Но к какой национальной культуре относить творчество значительного числа художников, композиторов, музыкантов, артистов оперы и балета, соединивших в себе традиции разных народов? Можно ли вообще говорить о конкретной национальной принадлежности творчества М. Шагала, А. Хачатуряна или З. Церетели?

Вместе с тем нельзя не учитывать и существующего в данном обществе соотношения различных национальных составляющих культурного процесса (при всей возможной относительности их маркирования). В данном тексте мы исходим из того, что в областях и краях РФ при подавляющей (или самой значительной) количественной доминанте русского населения именно русская национальная традиция и представляет местный культурный процесс. Безусловно, доминирует она и в большинстве республик России, с одной стороны присутствуя в них непосредственно, а с другой – оказывая самое существенное влияние на высокую культуру всех народов российской государственности. Учитывая же почти полный билингвизм «нерусского» населения РФ, как и масштабную работу государственной системы образования, транслирующую русскую социокультурную традицию, её носителями можно считать подавляющее большинство коренных россиян.

Развитие русской культуры (в том числе в пространственном аспекте) в последние десятилетия определялось сложным со-

¹ Хотя, как мы знаем, даже он далеко не всегда позволяет однозначно замыкать творчество того или иного писателя в пределах конкретной национальной культуры. История отечественной и мировой литературы дает множество примеров двоянной национальной принадлежности авторского творчества (Н. Гоголь, В. Набоков, Д. Конрад – ряд, который легко продолжить).

четанием ряда процессов, среди которых распад СССР и системная трансформация российского государства / общества (включая такие ее аспекты как децентрализация и регионализация); научно-технологическая революция, становление элементов постиндустриального общества и процессы глобализации, существенным образом меняющие не только структуру, но и содержание культуры, ее место в жизни современного социума. Сопряженный характер влияния перечисленных процессов и определял противоречивую, турбулентную динамику русской культуры начала XXI века. Но прежде, чем приступить к анализу непосредственно географической динамики современной русской культуры, следует хотя бы самым кратким образом охарактеризовать системную трансформацию социального статуса культуры в российском обществе.

В советский период «авторитет» культуры и высокий статус ее деятелей в значительной степени определялись ответственной идеологической ролью, отводимой им властью. В 1990-е гг. диспозиция общества и культуры изменилась кардинально. Культура была освобождена от своей пропагандистской миссии. Однако данное освобождение неизбежным образом оказалось сопряженным со значительным сокращением социального веса культуры, которая, по преимуществу, перемещается в разряд зрелищно-развлекательной практики. Падение общественной роли культуры было напрямую связано и со снижением социального престижа ее создателей.

Причем, данный процесс происходил на фоне других больших и малых подвижек, менявших структуру и формат культурного процесса, способы и масштабы производства и потребления продуктов культуры. Ускорился и процесс, который можно условно обозначить как «субкультуризация» российского общества. В каждой из сфер культуры появилось множество в значительной степени автономных творческих групп и течений, располагавших системой воспроизводства / тиражирования и презентации собственных культурных достижений, своим на-

бором конкурсов и премий, внутренним «пантеоном» культовых фигур («гениев» и «талантов»), своей аудиторией (Художественная жизнь, 1996).

Данный процесс имел и пространственную составляющую, поскольку каждое из таких субкультурных образований формировало свою особую географию, контуры которой определялись прихотливым сочетанием множества факторов, и потому отличались повышенной подвижностью. Но характерно, что даже совмещаясь в «физическом» пространстве (например, в пределах Москвы и других крупных российских центров), они не пересекались в пространстве социокультурном, не взаимодействовали содержательно.

Количественный рост подобных самодостаточных социокультурных «монад» дробит единое пространство национальной культуры на все более малые фрагменты, иллюстрируя мозаичность актуальной культуры, о которой еще полвека назад писал французский социолог А. Моль (Моль, 1967). Но в настоящее время данная особенность возросла в самой существенной степени, приближаясь к критическому уровню, ставящему под сомнение саму возможность сохранения и дальнейшего творческого развития единой национальной социокультурной традиции.

Творческие сообщества русской культуры (пространственный аспект). Постсоветский период серьезным образом изменил структуру и состав профессиональных сообществ, объединяющих деятелей русской культуры. Прежде всего отметим значительное сокращение организационной и содержательной работы творческих Союзов, члены которых в советское время представляли профессиональную элиту своих культурных сфер. Но характерно, что утратив практически все материальные привилегии, а с ними и значительную часть своего социального престижа, Союзы по-прежнему не испытывали недостатка в новых кандидатах и, в своем большинстве, продолжали количественно расти (как и творческие сообщества в целом). Очевидно, что

свою роль в этом играла трансформация системы жизненных приоритетов российского населения, определенная часть которого, несмотря на серьезные материальные трудности, все чаще отдавала предпочтение постиндустриальным ценностям, среди которых на первых позициях располагались все формы персональной творческой самореализации.

Согласно социологическим опросам, в середине 1990-х гг. (заметим, самый сложный для населения период реформ) около 3 % российских горожан и 2 % сельских жителей пробовали свои силы в литературном творчестве, в музыкальном – порядка 1,5 % (как в городской, так и сельской местности). Еще обширней были сообщества художественного¹ и музыкального² любительства, различными формами которых занималось соответственно 12 % и 16 % всего населения России (Художественная жизнь, 1997).

Таким образом, в той или иной степени причастными к творческой деятельности на разных этапах своей жизни оказывались десятки миллионы людей (до 30 % населения России). Группы людей сколько-нибудь серьезно вовлеченных в творчество, конечно, были в разы (если не на математический порядок) меньше. Но даже в своем «профессиональном» формате – это в полном смысле массовые сообщества, включающие в масштабе страны сотни тысяч человек для каждой из основных сфер культуры. При этом можно предположить, что литературное общество было обширнее художественного и музыкального.

География таких творческих сообществ в значительной степени совпадала с системой расселения страны (со всеми ее таксономическими уровнями за исключением самых нижних). Иными словами, не только города, но и самая значительная часть сельских поселений была включена в культурную работу,

¹ Рисование, лепка, изготовление изделий из дерева и металла, чеканка и т. п.

² Игра на музыкальных инструментах, пение, хореография и танцы.

причем на ее «креативной» стадии, связанной с созданием нового творческого продукта.¹

Действительно, уже с уровня 0,5–1 тыс. жителей, в современной России сложно найти поселение, в котором бы не оказалось людей достаточно серьезно увлеченных тем или иным видом творческой самореализации, в котором бы не писались художественные тексты и картины, не создавались бардовские песни и т. п. (в данном случае речь идёт не о качестве создаваемых культурных ценностей, но о повсеместности творческого процесса).

Однако, повсеместность присутствия представителей творческого слоя не означает пространственной равномерности его размещения. Не только абсолютная численность, но и удельная концентрация креативных людей возрастает параллельно росту демоэкономического, социокультурного потенциала и административного ранга поселения. Ведущими средоточиями творчески ориентированных россиян являются крупнейшие и крупные российские города (в своем большинстве – административные столицы регионов) с безусловной доминантой Москвы.

Причем, степень столичной доминанты, как и во все предыдущие периоды, существенно различается для разных по статусу (уровню элитности и профессионализма) групп российского креативного слоя. Конечно, процессы постсоветского периода не только существенным образом деформировали кадровые иерархии творческих сообществ, но и способствовали их общей «релятивизации». В значительной степени были утрачены четкие разделительные критерии, позволявшие относить деятелей культуры к тем или иным уровням своих «отраслевых» профессиональных иерархий. Но в самом общем виде в составе по-

¹ В этом аспекте современная русская культура сохраняет присущую ей с середины XX в. пространственную «повсеместность», когда масштабное инфраструктурное строительство и завершение программы ликбеза привело к становлению в СССР массовых творческих сообществ, на один-два математических порядка количественно превосходивших «креативный» слой императорской России.

следних по-прежнему можно выделить элиту, слой профессионалов и широкий круг причастных к творчеству в данной сфере культуры (сообщество любителей / дилетантов).

Элитный слой, вне зависимости от сферы культуры, традиционно демонстрирует в России максимальную центростремительность, в значительной степени собираясь в Москве. В качестве иллюстрации можно привести кадровую пирамиду российского литературного творческого сообщества (рис. 12). Как видим, по мере роста культурной «элитности» концентрация представителей данной группы в столице росла, составляя для высшего слоя кадровой пирамиды 65–70 %. Аналогично высокой ($2/3$ – $3/4$ всех представителей) остается степень столичной концентрации профессиональной элиты и в других сферах русской культуры (Суций, 2011).



Рис. 12. Кадровая пирамида современного российского литературного сообщества*

* расчет концентрации литературной элиты выполнен по (Чупринин, 2003), профессиональной среды (Чупринин, 2002), для сообщества «пишущих» – представляет экспертную оценку автора, осуществлённую на основе (Чупринин, 2002; Чупринин, 2003)

И если процессы постсоветской децентрализации / регионализации России определенным образом противопоставлялись этой многовековой черте отечественного культурного процесса, то распад СССР и потеря целого ряда мощных социокультур-

ных центров (выступавших, в том числе как средоточия именно русской культуры), работал в обратном направлении. В числе основных результатов противоречивого сопряжения данных трендов:

- по-прежнему устойчивая сверхконцентрация русской культурной элиты в Москве;
- количественный и профессиональный рост региональных творческих сообществ;
- расширение географии, «повсеместность» креативного слоя – максимально широкого сообщества людей в той или иной степени причастных к творческой деятельности.

Итак, несмотря на частичную утрату своего социального статуса, становление рыночного, потребительского общества, с доминантой коммерческого и гедонистического начала, профессиональные сообщества деятелей культуры в постсоветской России не только не сократились, но даже количественно выросли и пространственно расширились. Все крупные и средние центры страны в настоящее время являются средоточиями обширных творческих сообществ, включающих тысячи профессиональных деятелей культуры и многие тысячи (десятки тысячи в городах-миллионерах) творчески ориентированных людей.¹

Зарубежные творческие сообщества. Количественная и пространственная динамика профессиональных сообществ русской культуры за пределами России в постсоветский период оказалась более сложной. Активная реэмиграция русского населения в РФ из бывших советских республик сокращала (и весьма существенно) русские творческие сообщества в государствах ближнего зарубежья. Свою роль играла и политика «на-

¹ Если говорить непосредственно о русской культуре, исключением могут быть только города моноэтнических дерусифицированных регионов РФ (прежде всего, это Чечня и Ингушетия). Но, повторим, даже в них заметная часть национальной интеллигенции является носителем русской культурной традиции. А последняя, в целом, исторически оказала и продолжает оказывать едва ли не определяющее влияние на «титულную» высокую культуру.

ционализации» всей социокультурной сферы новообразованных государств. Данный процесс различался по темпам, но был повсеместным в пределах СНГ и стран Балтии (быть может, за исключением Беларуси).¹

Обратной была динамика русских творческих сообществ дальнего зарубежья – русская / русскоязычная миграционная волна из бывшего СССР существенно пополнила их в последние 20-25 лет. Впрочем, речь идет о небольшой группе западных стран (США, Израиль, Германия, Канада, Великобритания), на которые приходится основной массив русского и русскоязычного населения, а значит и деятелей русской культуры за пределами РФ и ближнего зарубежья.² Тем самым, география русского культурного зарубежья практически не изменилась в сравнении со второй половиной XX в., и была в пространственном плане существенно уже русского культурного ареала, возникшего за пределами СССР в послереволюционный (с 1917 г.) период.³

Культурная инфраструктура – масштабы и география. Социально-экономический кризис и бюджетный дефицит, а с другой стороны, общая демократизация культурного процесса, рост разнообразного регионализма – основные факторы, определившие количественную и пространственную динамику инфраструктурного комплекса культуры в 1990-е годы.

Их результирующая – стремительный рост музейной и театральной сети (рис. 13, 14), появление в стране многих сотен новых музейных коллекций и профессиональных театральных

¹ Еще в конце 1980-х гг. в группе 10–15 ведущих средоточий профессионального слоя русской культуры присутствовали Киев, Одесса, Харьков, а в первой сотне центров около 30 приходилось на союзные республики. Спустя четверть века представительство ближнего зарубежья сократилось в разы, полностью исчезнув из первой десятки центров.

² При этом, в максимальной степени расширились и активизировали свою деятельность творческие сообщества только первых трех стран.

³ Миграционная волна того времени составила порядка 2-2,5 млн. человек, осевших в Европе (Франция, Германия, Сербия, Болгария, Греция, Чехия, Финляндия и др.), а также в США и Канаде, в Латинской Америке, Манчжурии и Австралии.

коллективов¹, быстрое развитие издательского бизнеса и сети художественных галерей. Но параллельно этому подъему происходило быстрое сокращение наиболее массовых и повсеместных форм культурной инфраструктуры – городских и сельских библиотек, клубов культуры, киноустановок и смотровых площадок (рис. 15).

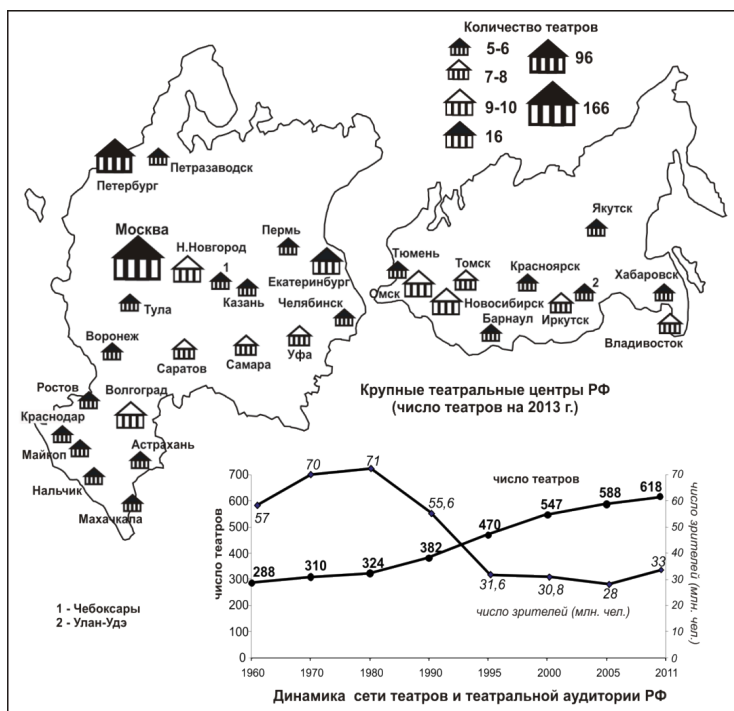


Рис. 13. Театральная сеть России в начале XXI века*

*составлено по (Народное образование, 1989; Российский статистический ежегодник, 2013)

¹ С известной условностью можно говорить, что постсоветский музейный «бум» был показателем регионализма (возросшего интереса региональных и национальных сообществ к своей истории, культуре, природе, жизни выдающихся земляков), а рост театральной сети – свидетельством демократизации социокультурной жизни, следствием общественного подъема, связанного с ликвидацией государственного механизма контроля/регулировки культурной активности общества.

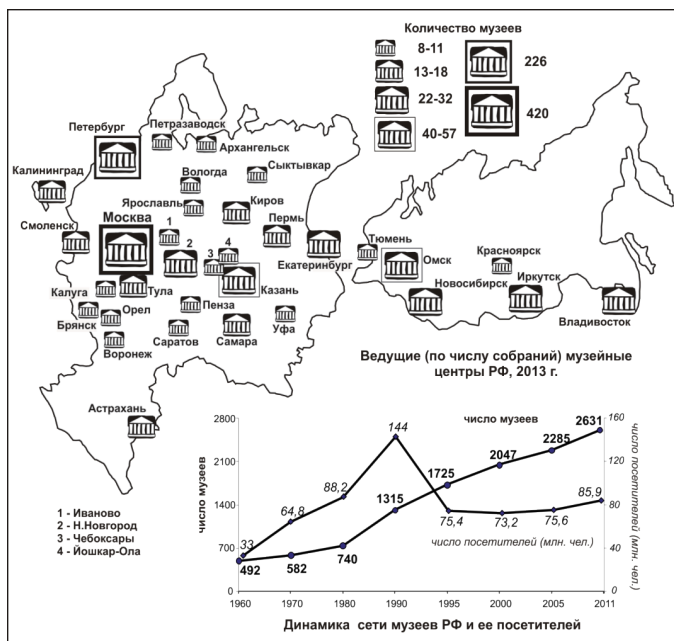


Рис. 14. Музейная сеть России в начале XXI века*

* составлено по (Народное образование, 1989; Российский статистический ежегодник, 2013)

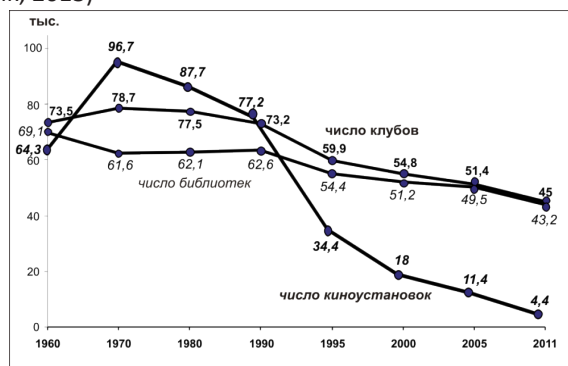


Рис. 15. Динамика учреждений ряда сегментов культурной инфраструктуры РФ, 1960-2011 гг. (тыс.)*

* составлено по (Народное образование, 1989; Российский статистический ежегодник, 2013)

Причем, если количественная (а с ней и пространственная) динамика отдельных сегментов инфраструктурного комплекса различалась по своему вектору, то масштабы деятельности всей культурной инфраструктуры были однозначно направлены вниз. Существенное снижение уровня жизни россиян в 1990-е гг. сводило к минимуму саму общественную востребованность учреждений культуры.¹

Положение меняется к середине 2000-х. По мере экономической стабилизации России начинает расти и финансирование культурной инфраструктуры. Но свою роль в активизации последней играет не только государство. Известный материальный достаток возвращается и к населению. Вслед за столицей, в крупных и средних российских центрах появляется и идет в рост средний класс, формируя достаточно обширную культурно активную прослойку, которая вновь потянулась в театры, музеи, филармонии, выставочные залы. Данный рост общественной востребованности культурной инфраструктуры уже с середины «нулевых» отмечается официальной статистикой.

Однако анализируя динамику современного культурного процесса, нельзя ориентироваться исключительно на данные Госкомстата. Они не фиксирует обширные пласты культурной работы, как и некоторые формы взаимодействия населения с актуальным искусством, возникшие в постсоветский период. Речь о частных инфраструктурных проектах и начинаниях, информация по которым органами государственной статистики просто не собирается. Между тем, уже с начала-середины 1990-х гг., открывается: «масса негосударственных театров-студий, выставочных залов, устраиваются концерты частными лицами, различными общественными организациями и т. д. Сейчас никто точно не знает, сколько в стране учреждений и

¹ Данная востребованность в отдельных сферах культуры начала сокращаться еще в советский период. Особенно отчетливо подобное сокращение фиксируется в сфере театрального искусства. Однако в первое постсоветское десятилетие потеря аудитории приобретает иногда обвальные формы.

организаций культуры. Ясно лишь, что их гораздо больше, чем зафиксировано государственной статистикой» (Художественная жизнь, 1997). Действительно, в 1990-е гг. «заброшенность» культуры центральной и региональными властями в известной степени компенсировалась общественным подъемом – «низовой» культурной энергией, раскрепощаемой в периоды радикальных политических трансформаций. Демонтаж контрольно-регулирующей системы в сфере культуры позволил огромному числу людей индивидуально или совместно с другими энтузиастами, реализовать свои культурные начинания.

А в «нулевые» годы возрастающее воздействие на динамику учреждений многих сегментов культурной инфраструктуры начинают оказывать технологические инновации. Показательная ситуация в библиотечном деле – одном из самых «провальных» по своей статистике сегментов российского инфраструктурного комплекса культуры. Существенное сокращение библиотечной сети связано не только с общим упадком книжной культуры в стране и резким сокращением читательской аудитории, но и со стремительным развитием Интернета, распространением технических новаций (в частности, появлением электронных книг, все более теснящих традиционную «бумажную» книгу). С середины 2000-х гг. Сеть для постоянно растущей части населения становится и книжным магазином, и библиотекой, и «избой-читальней».

Таким образом, при оценке российской читающей публики в значительной степени теряют значение «официальные» показатели работы библиотечной сети (число собраний, размер книжных фондов, количество пользователей и т. д.) или статистика всего книгоиздательского комплекса (количество изданных и проданных книг). Динамику основных показателей читательской аудитории, специфику отдельных ее групп (по форме расселения, половозрастному признаку, уровню образования и социопрофессиональной принадлежности) можно зафиксировать только в результате масштабных социологических опросов,

а лучше – организации на постоянной основе соответствующего мониторинга.

Аналогичным образом, невозможно корректным образом оценить постсоветскую динамику российской кинематографической аудитории. Многократное сокращение числа киноустановок в РФ – свидетельство не столько внутрироссийского кризиса данного инфраструктурного сегмента, сколько его глобальной трансформации, связанной с распространением Интернета и домашней видеотехники. Если система кинопроката в крупных российских центрах, за счет развития нового поколения кинотеатров, оснащенных Dolby-системой, еще в какой-то мере может противостоять индивидуальным форматам потребления видеопродукции, то в сельской местности последние одержали полную и, скорее всего, окончательную победу над традиционным «общественным» кинопросмотром.

Безусловно, новые формы, способы и стандарты культурного потребления в первую очередь усваиваются молодыми поколениями россиян. И потому ускоренное развитие новых возможностей далеко не всегда и не для всех групп населения страны может компенсировать сокращение традиционной инфраструктуры, обеспечивавшей привычные форматы потребления культуры. Но в любом случае прихотливая динамика данного процесса не похожа на простое пространственно-количественное сжатие культурной инфраструктуры и ее аудитории, фиксируемое показателями официальной статистики. Тем более, что даже обнаруживая реальную нисходящую тенденцию, она подчас не замечает существующих в пределах многих сегментов культурной инфраструктуры «точек» быстрого роста. Между тем, определенное число учреждений (библиотек, музеев, театров, домов культуры) в силу разных факторов, среди которых весомое место принадлежит активной позиции руководства (а также поддержки их начинаний местной властью), вполне успешно адаптировалось к новым условиям функционирования. В настоящее время они являются очагами интенсивной

«культрегерской» деятельности, притягивая к себе множество творческих людей и коллективов, реализующих на данных инфраструктурных площадках персональные и групповые проекты. И в последние годы число таких динамичных организаций в сфере культуры растет.

Центральные позиции во всех сегментах культурной инфраструктуры (за исключением музейной) устойчиво принадлежит Москве. Причем речь идет не столько о количественной концентрации самих учреждений культуры, сколько о локализации ведущих ее средоточий (крупнейших театров и концертных организаций, музеев и галерей, издательств и библиотек). Позиция второго инфраструктурного средоточия столь же отчетливо сохраняется за Петербургом. Инфраструктура крупных и многих средних российских центров в последние 15–20 лет также стала более разнообразной, дополнилась ранее отсутствовавшими элементами (частными музеями и художественными галереями, коммерческими издательствами, литературными кафе и т. п.). Тем самым, в пределах городской системы РФ, инфраструктурный комплекс культуры, сформированный в советский период, существенно трансформировавшись и дополнившись, в целом, сумел сохраниться. В сельской местности ситуация оказалась иной и можно говорить о самом значительном сокращении масштабов и серьезной деградации «общественной» культурной инфраструктуры, при параллельном существенном росте ее «персональных» аналогов, связанных с новыми средствами и технологическими возможностями (в первую очередь с Интернетом), в определенной степени компенсирующих нарастающий упадок традиционных учреждений культуры.¹

¹ Действительно, ноутбук с доступной Сетью становится своего рода интегральным социокультурным комплексом, позволяющим его обладателю оставаться активным участником культурного процесса, вне зависимости от своей пространственной локализации. Причем участником во всех основных ролевых позиция: как потребитель и собиратель культурных ценностей, как их создатель и транслятор.

Система центров русской культуры – организационная структура, сфера коммуникаций и взаимодействия. Перемены в центрo-периферийном устройстве российской социокультурной системы конца XX – начала XXI вв. оказались самыми значительными. В первую очередь, они были связаны с распадом СССР. Сокращение территории государства, выпадение из его системной иерархии ряда крупнейших культурных центров (такowymi являлись почти все столицы и некоторые другие ведущие города союзных республик) существенным образом перестроило всю иерархию центров русской культуры.

С другой стороны, демократизация общественной жизни, экономическая и социокультурная децентрализация России способствовали изживанию комплекса «провинциализма» (ощущения своей культурной «вторичности» и неполноценности) российских регионов. Существенную роль в этом процессе играл рост системного рейтинга практически всех (за исключением Москвы и Петербурга) крупных российских центров. Общая «значимость» центра, входящего, скажем, во вторую десятку городов, оказалась куда более высокой, нежели у центра из сороковых номеров государственной социокультурной иерархии. Данный фактор, начиная с середины 1990-х гг., все заметнее сказывается на активности культурной жизни российской провинции.

Гастроли ведущих отечественных театральных (музыкальных, танцевальных) коллективов, маршруты значимых художественных экспозиций, пролежавшие в советский период между Киевом и Минском, Тбилиси и Ташкентом, в значительной степени переместились в пределы Федерации, включают административные столицы крупных российских регионов, еще в 1980-х гг. игравшие роль более или менее глубокой периферии. В эти же центры сместились и серьезные культурные и научные мероприятия (фестивали, съезды, конкурсы т. п.) ранее, как правило, также выбиравшие для своего проведения столицы союзных республик.

С другой стороны, системная децентрализация России нашла отражение в значительном расширении международных культурных контактов регионов, получивших в данной сфере значительно больше самостоятельности, чем в предшествующий период, когда основная доля таких взаимодействий приходилась на (или осуществлялась через) Москву. Тем самым, в сфере коммуникаций российской и мировой социокультурных систем закончился период московского монополизма, заключавший большую часть XX века (рис. 16).

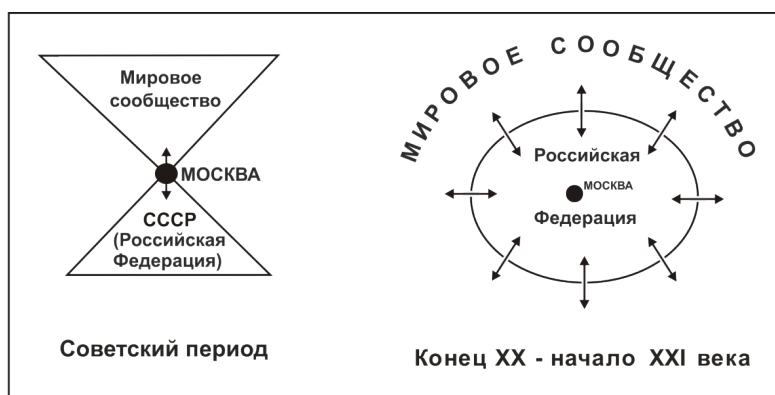


Рис. 16. Доминирующий способ коммуникации российской и мировой социокультурных систем (пространственный аспект)

Значительное расширение сферы международных культурных контактов российской провинции, вкупе с ростом финансовых возможностей местной публики, все чаще приводит в крупные региональные центры европейские (мировые) знаменитости. А существенно выросший доступ к первоклассным образцам российской и мировой культуры, безусловно, активизировал социокультурную среду самих российских регионов, стимулировал ее внутреннее развитие.

Но если в сфере внешних культурных взаимодействий фиксировался очевидный прогресс, то в пределах самой России

динамика системы коммуникаций оказалась более сложной и противоречивой. Ликвидация советской системы государственного управления культурой привела к утрате существенной части культурных каналов, стягивавших российские регионы в единую систему. Результат – стремительная культурная автономизация отдельных регионов. К середине 1990-х гг. страна превратилась в «архипелаг» центров, творческие сообщества которых функционировали, мало представляя, что происходит в отечественной культуре за пределами их территорий.

Данная ситуация работала на тотальную «провинциализацию» национальной культуры. Функционируя в автономном режиме, региональные центры постепенно смещались к состоянию культурной самодостаточности – редуцировался интерес к творческим новациям других центров, до минимума сокращалось стремление к трансляции своих достижений во внешнее социокультурное пространство.¹ Seriously пострадали даже связи, соединявшие сопредельные регионы страны, не говоря о более отдаленных территориях. «Вертикальная» коммуникация – культурные каналы между региональными центрами и столицей сохранились в большей степени. Однако сама Москва в 1990-е гг. в своей социокультурной деятельности в значительной степени функционировала как такой же «единичный» (только самый крупный) культурный центр, транслируя на всю российскую периферию «внутренние» наработки и почти не заботясь о своих функциях общенационального социокультурного «координатора» и «локомотива», наряду с ролью центральной «презентационной» площадки для культурных новаций всех территорий страны.

Следствием перечисленных изменений системы внутрисистемных социокультурных взаимодействий стало разительное сокращение к середине 1990-х гг. силы московского культурного притяжения, фиксируемое, в частности, по упавшим в разы

¹ Впрочем, если такое желание сохранялось, то отсутствовали финансовые возможности, а зачастую и каналы трансляции.

масштабам оттока в столицу региональной творческой молодежи. Среди других причин данного процесса – дороговизна московской жизни и возросшая плотность внутрстоличной конкуренции (до предела затруднившая интеграцию «новичков» в московское культурное сообщество), а также появление у российских регионов прямых выходов на культурные центры Европы и Северной Америки (чем не преминули воспользоваться наиболее динамичные и амбициозные «провинциалы»).

Системная «реставрация» 2000-х в известной мере затронула и сферу социокультурных коммуникаций. Москва частично вернула здесь свои кураторские и трансляционные функции. Однако полная реанимация столичного монополизма в области культурных взаимодействий в настоящее время практически невозможна. Тем более, что современные технологии и стремительный рост сетевых структур во все возрастающей степени соединяют деятелей культуры «поверх» пространства. Со временем новейшие системы связи, очевидно, существенным образом изменят саму систему-иерархию культурных центров и связанных с ней коммуникаций. Но уже в настоящее время единомышленники, формирующие новые творческие направления, подчас оказываются разнесенными по всей стране и за ее пределами, что не мешает им поддерживать тесное взаимодействие. С другой стороны, используя новые технические возможности, многие местные деятели культуры предпочитают теперь «покорять» Москву или зарубежные культурные центры, не покидая своих регионов (авторы публикуются в московских и зарубежных издательствах, художники выставляются в столичных и европейских галереях и т. д.).

Многие сложности современного модернизационного транзита России обусловлены исторически сложившейся моноцентричной формой устройства ее социокультурной системы. Одного социокультурного «локомотива» для огромной страны оказывается явно недостаточно. Инновационные импульсы,

посылаемые из столицы, не достигают многих периферийных территорий страны, и они остаются в стороне от активной культурной работы. Тем самым, проблема оптимизации центрo-периферийной структуры российской социокультурной системы – есть в значительной степени вопрос о возможных направлениях опережающей активизации региональной культуры, о механизме формирования в крупных макрорегионах России реальных противовесов столичному социокультурному комплексу.

Данную проблему можно сформулировать в виде вопроса. Сохранится ли в среднесрочной (и более отдаленной) перспективе подавляющее преимущество Москвы? Или другие российские центры (в первую очередь Петербург, но не только он) сумеют сократить свое отставание, сложатся в систему противовесов, способных конкурировать на равных со столичной культурной агломерацией? Пространственная динамика российского культурного потенциала в последние 10–15 лет и его современное размещение по территории страны скорее приводят к отрицательному ответу. Не внушает больших надежд и соответствующий зарубежный опыт.¹ Культура относится к числу центростремительных сфер человеческой деятельности. Едва ли даже масштабными усилиями государственной власти национальную социокультурную систему, исторически сформированную как моноцентрическую, можно трансформировать в полицентрическую.

Однако будущее всегда содержит определенный спектр вероятных сценариев. В современных условиях у крупных российских центров имеются немалые резервы культурного роста и усиления. Как они будут реализованы, зависит от сочетания многих факторов. Но центральных два: устойчивый социально-экономический рост центра (как правило, сопряженный с демографическим ростом) и реальная заинтересованность местной

¹ Например, попытки французских властей «разгрузить» Большой Париж за счет опережающего социально-экономического и культурного роста ряда региональных центров.

власти в подъеме местной культуры, реализация соответствующей комплексной долгосрочной программы.

Впрочем, в условиях современной России даже максимально интенсивное развитие ведущих региональных центров не способно поколебать столичного моноцентризма отечественной социокультурной системы. На всю обозримую перспективу Москва сохранится в качестве крупнейшего очага отечественной культуры, сохраняющего многократный отрыв от всех остальных центров России, включая Петербург (второй по значению очаг русской культуры).

Зато позиция третьего центра, как это уже не раз бывало в истории отечественной культуры, очевидно, останется вакантной, поскольку на это место одновременно будет претендовать сразу несколько кандидатов, примерно «равновеликих» по объёму своего культурного потенциала. В эту группу крупнейших региональных центров России входят (и на всю обозримую перспективу в ней сохранятся) Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

Однако к этой четверке почти вплотную примыкает большинство остальных российских городов-миллионеров, которым, в свою очередь, немногим уступает по своему общему социокультурному потенциалу группа других крупных городов (в том числе Саратов, Краснодар, Ярославль, Иркутск, Владивосток). Тем самым, примерно на одном уровне находится до двух десятков российских центров, каждый из которых обладает достаточно многочисленными творческими сообществами, обширной культурной и научно-образовательной инфраструктурой, развитой социокультурной средой.

Но возможность заметно активизировать свою культурную жизнь имеется и у десятков других российских городов (в их числе почти все административные столицы регионов, а также крупные центры с населением 200–400 тыс. человек). Тем более, что регионализация России, растущее самосознание тер-

риториальных сообществ, со своей стороны, работает на подъем местной культуры и расширение социокультурной среды.

В целом же, в современной России обнаруживается достаточно прямая корреляция между активностью культурной жизни отдельных центров и масштабом концентрации в них русского (русскоязычного) населения. Иными словами, вслед за изменением крупных центров / ареалов расселения русских в пределах страны, будут меняться и основные средоточия национальной культуры.¹

¹ Впрочем, ожидать серьезной трансформации сложившейся городской системы России не приходится. Демографическая динамика ее будет в значительной степени определяться вектором и масштабом миграции, которая может компенсировать (полностью / частично) либо, наоборот, усиливать депопуляцию отдельных центров, связанную с устойчивой убылью русского населения (причем, группа депопуляционных российских центров количественно будет серьезно перевешивать группы равновесия и роста).

4.3. РУССКАЯ КУЛЬТУРА В УКРАИНЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ИДЕНТИЧНОСТЬ

Присутствие русской культуры в Украине обусловлено, прежде всего, такими факторами как самоидентификация населения, история хозяйственного освоения, языковая, этническая, социокультурная политика государств, в которые входила территория современной Украины, а также геополитические воздействия.

Современное присутствие русской культуры в Украине рассмотрим с точки зрения ее деления на материальную (артефакты) и нематериальную (социофакты и ментифакты), акцентируя внимание на региональных отличиях.

Материальная культура: артефакты. Русская материальная культура, прежде всего, представлена *архитектурными ансамблями* практически во всех регионах Украины. Часть са크ральных и гражданских сооружений построена в русском архитектурном стиле (русский классицизм, псевдорусский (неорусский) стиль, сталинский ампир).

Русский классицизм (середина XVIII – середина XIX вв.) представлен архитектурными памятниками в Харькове (старый корпус университета, построенный как резиденция Харьковского генерал-губернатора, колокольня Успенского собора), Полтаве (ансамбль Круглой площади, построенный по случаю столетней годовщины Полтавской битвы), Херсоне (Адмиралтейский арсенал, Екатерининский собор), Одессе (Преображенский собор), Киеве (Контрактный дом, Гостинный двор, Рождественская церковь), Днепропетровске (Преображенский собор). В этом стиле построены и многие дворянские усадьбы, в частности на Черниговщине (Качановка, Сокиринцы), Винничене (Вороновица).

Архитектурные произведения неорусского, неовизантийского (с использованием элементов владими́ро-суздальской и раннемосковской архитектурных школ), московско-ярославского (по образцу архитектурных памятников Москвы и Ярославля

XV–XVII вв.) стилей построены во второй половине XIX – начале XX вв. Они представлены во многих городах Украины, в частности в Киеве (архитектурный ансамбль Покровского монастыря (архитектор В. Николаев), Пантелеимоновский собор в Феофании (архитектор Е. Ермаков), Покровская церковь на Соломенке (архитектор И. Николаев), ряд жилых, доходных домов, банков, гостиниц, Почаеве (Троицкий собор Лавры – копия собора Троице-Сергиевой Лавры, архитектор А. Щусев), Вышгороде (Борисоглебская церковь), Житомире (Преображенский собор), Чернигове (здание епархиального собрания, ныне филармония), Кировограде (комплекс больницы святой Анны, здание музея А. Осмеркина), Дубно (Свято-Ильинская церковь), и др. Сохранились и работы русских художников, в частности, росписи Владимирского собора в Киеве В. Васнецова, М. Нестерова.

В застройке крупных городов Украины конца 1930-х - середины 1950-х гг. широко распространены архитектурные примеры сталинского (советского) ампира, которые зачастую формируют ансамбли целых улиц, площадей, кварталов. В частности, этот стиль представлен в центральной части Киева (современная гостиница «Украина», жилой дом на Крещатике, здание Кабинета Министров и др., а также комплекс Экспоцентра Украины – бывший ВДНХ – в южной части), Харькова (в частности, дом со шпилем на площади Конституции, здания университета и др.), Днепропетровска, Запорожья, Луганска, Мариуполя, Николаева, Севастополя¹ и других городов.

Важным элементом русской культуры являются **музеи**, связанные с жизнью и творчеством русских деятелей искусства, в частности, в Киеве (Национальный музей русского искусства, музеи А. Пушкина, М. Булгакова), Житомире (В. Короленко), Полтаве (В. Капниста), Сумах (А. Чехова), Одессе (А. Пушкина, К. Паустовского, Н. Рериха), Луганске (В. Даля), в Крыму (На-

¹ В соответствии с итогами Референдума от 16.03.2014 и на основе Межгосударственного договора от 18.03.2014 г. Автономная Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации на правах её субъектов (прим. ред.).

циональная картинная галерея им. И. К. Айвазовского, музеи А. Грина, М. Цветаевой в Феодосии, С. Сергеева-Ценского, И. Шмелева в Алуште, М. Волошина в Коктебеле, А. Чехова, А. Пушкина в Ялте) и др., событиями военной истории Российского государства (в частности, многочисленные военно-исторические музеи и комплексы в Севастополе, военно-исторический музей им. В. Суворова в Очакове, музеи П. Шмидта в Бердянске, Очакове).

Нематериальная культура: социофакты. В 1990-х годах были созданы первые *русские общественные организации* в Украине – Украинское общество русской культуры «Русь» (зарегистрирована в 1992 г.), Всеукраинское национально-просветительское общество «Русское собрание» (1992), русские общины Крыма (1994), Киева (1996, с 1999 – Русская община Украины), Всеукраинская общественная организация «Русское движение Украины» (1999), Всеукраинская общественная организация «Русский Совет Украины» (1999). В 1999 году состоялся Съезд русских Украины. Новый всплеск активности приходится на середину 2000-х годов, когда начали свою деятельность Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (зарегистрирована в 2006 г.), Объединение «Русское Содружество» (2007), Всеукраинский Координационный Совет организаций российских соотечественников (2008). Кроме того, во многих регионах и городах Украины функционируют местные русские общины, русские культурные центры, «Русские дома». С 2002 года издается газета «Русская правда».

Координационный совет организаций российских соотечественников на конец 2013 года включал 14 всеукраинских и 128 региональных и местных организаций. В территориальном разрезе более половины от общего количества всех региональных и местных организаций сосредоточены в пяти регионах Украины и двух городах: АР Крым (14,7 %), Львовской (8,5 %), Харьковской, Николаевской (по 6,2 %), Донецкой (4,7 %) областях, городах Киеве (9,3 %) и Севастополе (8,5 %). В то же время в других

регионах Украины, в том числе юго-восточных, локализовано незначительное количество таких организаций, а в Тернопольской и Киевской (без г. Киева) областях они отсутствуют. Таким образом, организации российских соотечественников концентрируются в регионах с наибольшей долей этнических русских и русскоязычных в структуре населения, а также крупных региональных центрах (Киев, Львов, Харьков и т. п.).

Большинство русских общественных организаций декларируют, как приоритеты своей деятельности, защиту интересов русских и русскоязычных граждан Украины («русско-культурных граждан»), содействие процессу их самоидентификации (национального самоопределения). Отдельно следует назвать организацию «Русское собрание», которая занимается пропагандой русской культуры, активно содействует сохранению и развитию русской культуры в Украине в гармоничном сочетании с интересами других наций и народностей, в частности организует издание книг, проведение фестивалей, конференций, творческих встреч, Пушкинских чтений, Дней русской культуры и других мероприятий просветительского характера.

Кроме того, сеть русских культурных центров в Украине существует под эгидой организации «Фонд Русского мира». Русские центры фонда создаются в целях популяризации русского языка и культуры, поддержки программ изучения русского языка за рубежом, развития межкультурного диалога и укрепления взаимопонимания между народами, и представлены в ряде городов Украины (85 % расположены в южных и восточных регионах Украины, один – в столице, еще один – в Западной Украине (Ровно)).

В целом, несмотря на концентрацию русских общественных организаций в регионах преимущественного проживания русских, обеспеченность русского населения культурными центрами обратно пропорциональна его доле в структуре населения региона. В Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях на один культурный центр приходилось около 200 тыс. этниче-

ских русских, в Одесской, Харьковской, Запорожской областях и АРК – от 50 до 100 тыс., в то время как в большинстве остальных регионов Украины этот показатель колеблется от 10 до 50 тыс. Из регионов со значительной долей русских в структуре населения в эту группу попали лишь г. Севастополь, Николаевская и Херсонская области. В трех областях Западной Украины (Львовской, Закарпатской и Волынской) данный показатель составляет менее 10 тыс. русских на культурный центр / организацию.

Система образования. В целом в Украине за последние 20 лет доля школьников с русским языком обучения снизилась в три раза: в 1991 году они составляли большинство учащихся (51 %), а в 2012 году – 17 %. Интенсивнее всего украинизация средних общеобразовательных учебных заведений происходила в 1990-х гг., после чего несколько замедлилась. К 2000 году в 14 областях западной и центральной Украины (за исключением Черновицкой, Закарпатской областей и г. Киева) доля школ с русским языком обучения составляла менее 5 %, поэтому в следующее десятилетие процессы украинизации среднего образования протекали преимущественно в южных и восточных регионах. Наиболее масштабное сокращение количества учащихся на русском языке (в 20–30 раз) произошло в центральных областях и г. Киеве, так как после 1991 года произошел массовый возврат населения (и, соответственно, обучения) к родному украинскому языку, а также в Западной Украине, где и без того малое количество таких учащихся сократилось до десятых долей процента. На востоке и юге Украины сокращение относительного количества учащихся на русском языке было наименьшим (в 1–5 раз); в абсолютных же масштабах самое значительное сокращение количества русскоязычных средних общеобразовательных заведений и учащихся происходило именно в восточных и южных регионах.

Следует отметить, что до 1992 года включительно на территории АР Крым и г. Севастополя все общеобразовательные заведения имели русский язык обучения. На данный момент рус-

ский язык как язык обучения по-прежнему доминирует в Крыму и Севастополе (более 90 % учащихся как средних, так и высших учебных заведений получают образование на русском языке), а также в Донецкой и Луганской областях (практически по 50%). В то же время в 10 областях центральной и западной Украины данный показатель не превышает 1 %. Кроме того, Севастополь и АРК – это единственные регионы, где доля учащихся, получающих среднее образование на русском языке, превышает долю русскоязычного населения.

Что касается высших учебных заведений, то, кроме указанных выше регионов, значительная доля учащихся на русском языке характерна для Одесской, Херсонской, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей. В Украине действует семь филиалов российских высших учебных заведений, из них пять в Севастополе и два – в Киеве.

Нематериальная культура: ментифакты. Следует размежевать понятия «русской» и «российской» идентичности в Украине. **Русская идентичность** связана, прежде всего, с русским языком, народными традициями, обычаями, фольклором, народной кухней, русским искусством, музыкой, театром, а также родственными связями с гражданами России. Очень четко современную сущность такой идентичности охарактеризовала О. Вендина, назвав ее «размытой» (Вендина, 2011). Она характерна для большинства регионов Украины, когда «традиции, языковая и культурная близость обоих народов трудноразделимы и уже давно вошли в быт». Русские не видят для себя угрозы в освоении украинского языка, необходимого для решения административных и правовых вопросов, и не испытывают языковой дискриминации в сфере занятости и бытовом общении. Более выраженная русская идентичность – в западных регионах Украины, однако большинство русских настроено на «приспособление к сложившейся ситуации» (Вендина, 2011).

Русский язык исторически является одним из двух наиболее распространённых языков на территории Украины и выступает

мощным инструментом развития современной русской культуры и русской идентичности. Существуют различные подходы к определению фактической распространенности и влияния русского языка в современной Украине и ее отдельных регионах. В основном используют три критерия: 1) доля населения, свободно владеющего русским языком; 2) доля населения, считающего русский язык родным; 3) доля населения, использующего преимущественно русский язык в качестве языка общения. Стратификация по первому и второму критериям базируется на результатах переписей населения, по третьему – на оценках различных научных институтов и социологических служб.

Наиболее высокий уровень владения русским языком, по данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, наблюдается в областях Юго-Восточной Украины (более 80 %), причем наибольшие значения (практически 100 %) достигаются в АР Крым, Донецкой и Луганской областях. В то же время в областях Центральной Украины свободно владеют русским языком 60–70 % жителей; на исторической Волыни (Волынская и Ровенская области) и Закарпатье – около 50 %; в галицких областях (Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской) – менее трети населения. Выразительной тенденцией является снижение уровня свободного владения русским языком в исторической динамике, начиная от обретения Украиной независимости, причем наибольшее сокращение наблюдается на территориях, где число носителей русского языка и без того наименьшее. Так, в максимальной степени (на 70–80 %) уровень свободного владения русским языком снизился в Галиции, на 40–50 % на Волыни и Закарпатье, на 20–30 % на Подолье (Винницкая и Хмельницкая области) и Северной Буковине (Черновицкая область). Объясняется данная тенденция почти полным переводом среднего образования в указанных регионах на украинский язык обучения, ликвидацией уроков русского языка в средних учебных заведениях или же сокращением количества отводимых часов, а также отсутствием необходимости регулярной коммуникации

на русском языке с органами власти и т. п. в традиционно украиноязычных регионах. Таким образом, если на востоке Украины знание русского языка у молодого поколения постоянно поддерживается в процессе бытового и формального общения, а также среднего и частично высшего образования, то на западе страны фактически выросло поколение украинцев, понимающих русскую речь, но не способных вести полноценное общение на русском языке. Они ориентированы на изучение других европейских языков (польского, английского, немецкого).

Население, для которого русский язык является родным, распределено по территории Украины крайне неравномерно. По данным переписи 2001 года, наибольшая доля такого населения наблюдается в регионах Юго-Восточной Украины, достигая наивысших значений в Крыму (77,0 %), а также в Донбассе (Донецкая область – 74,9 %, Луганская область – 68,8 %). В этих регионах доля населения с родным русским языком превышает долю населения с родным украинским языком. В остальных областях региона (Запорожской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской) данный показатель не превышает 50 %, но и практически не опускается ниже 25 %. По сравнению с Юго-Восточной Украиной, на территории остальной части Украины (запад и центр страны) доля населения с родным русским языком намного ниже. Здесь также существует некоторая дифференциация: от 10–15 % в пограничных с Российской Федерацией Сумской и Черниговской областях до 1–3 % на территории большинства областей Западной Украины.

В исторической ретроспективе на протяжении большей части XX века наблюдался постоянный рост доли населения, признающего русский язык родным: от 4,5 % в 1926 году до 32,8 % в 1989 году. Данная тенденция объяснялась двумя факторами: во-первых, фактической иммиграцией этнических русских на территорию УССР, во-вторых, русификацией местного населения, социально-политической ситуацией в государстве, когда многие этнические украинцы считали целесообразным называть

себя русскими и упоминали русский язык в качестве атрибута национальной идентичности. За годы независимости Украины получил распространение обратный процесс: уже в 2001 году, по данным Всеукраинской переписи населения, родным русский язык назвали 29,6 % опрошенных, что на 3,2 % ниже, чем в 1989 году. В региональном разрезе сокращение населения с родным русским языком было неоднородным и характеризуется теми же тенденциями, что и в случае с уровнем владения русским языком: наибольшее сокращение произошло в Ивано-Франковской и Львовской областях (на 50–55 %), существенное сокращение наблюдалось также в других областях к западу от Киева. Наименьшее сокращение (менее 30 %) было характерным для ряда южных и восточных регионов (Одесская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская области и АРК).

С другой стороны, по данным опросов, проведенных Киевским международным институтом социологии, русский язык в общении использовали 43 % населения Украины в 1996–1999 гг., 46 % – в 2000–2003 гг., смесь украинского и русского – 18 % и 15 % соответственно (Хмелько, 2010). Данные опросов Института социологии НАН Украины, показали, что если в 1992 г. русский язык в семье использовали 32 % населения, то в 2010 г. – 35 %. Такой прирост произошел за счет сокращения доли двуязычных (с 32 % до 22 %), то есть произошла языковая самоидентификация населения. В 2010 г. русский язык в семье использовали 3 % населения западных регионов, 16 % центральных, 54 % южных и 64 % восточных регионов (Шульга, 2010). В наибольшей мере русский язык для общения использует абсолютное большинство населения Крыма, Донецкой, Луганской, Одесской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской областей (более 70 %). Расхождение доли населения, считающего русский родным, и доли населения, использующего русский язык в бытовом общении, в значительной степени объясняется различной трактовкой населением «родного языка», который многие респонденты понимают как язык своей национальности, а не язык общения.

Вследствие этого значительное количество жителей Украины, преимущественно этнических украинцев, общаются в быту на русском языке, но признают украинский язык родным, выступают за расширение сферы его применения и желают, чтобы их потомки общались на украинском языке.

Кроме территориальных различий между основными макрорегионами Украины, распространенность русского языка существенно отличается в городской и сельской местности. Факт длительного отсутствия собственной государственности привел к тому, что на протяжении многих веков украинское этническое население проживало преимущественно в сельской местности, в большинстве же городов до середины XX века большинство составляли представители других национальностей (русские, евреи, поляки). В период активной индустриализации городá Украины, особенно промышленные центры, притягивали население из других регионов, в том числе из российских этнических территорий. Кроме того, городá были оплотом русской культуры. Указанные обстоятельства привели к большей распространенности русского языка в городах по сравнению с окружающей сельской местностью, причем данная ситуация характерна для всех без исключения регионов. Так, в областях Западной Украины русский язык признали родным в среднем менее 2 % жителей сельской местности, а для городов данный показатель составлял до 5–10 %; в Донбассе указанный разрыв также присутствует: 20–40 % в сельской местности по сравнению с 70–90 % в городах. Практически 84 % этнических русских в Украине проживают в городах. Данное обстоятельство свидетельствует, что русская культура в Украине преимущественно урбанистическая, сопряженная с городскими видами деятельности и формами самосознания.

В Крыму русский язык является официальным наряду с украинским и крымско-татарским. Также, с 2012 года русский получил статус регионального языка в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской

и Херсонской областях, городах Днепропетровск, Донецк, Измаил, Красный Луч, Николаев, Одесса, Севастополь, Херсон, а также Болградском районе Одесской области.

Русский язык широко представлен в *сфере книгоиздания и масс-медиа*. Так, в 2013 году объем производства книг на русском языке в Украине составил 6,7 тыс. изданий общим тиражом 25,7 млн. экземпляров. По данным Книжной палаты Украины, каждое четвертое книгопечатное издание в Украине издается на русском языке, причем на протяжении последних лет присутствует тенденция к увеличению данного показателя. В период 2003–2007 годов наблюдался быстрый, практически двукратный рост доли тиража русскоязычных книгопечатных изданий (с 25 % до 46 %), после чего последовал некоторый спад, и уже на протяжении 6 лет указанная доля составляет приблизительно 40 %. Русскоязычные книги в Украине стабильно издаются большими тиражами, чем украиноязычные. За последнее десятилетие количество русскоязычных изданий выросло в 1,7 раза, а их общий тираж – в 1,5 раза (украиноязычных – в 1,4 и 1,04 раза соответственно). Приведенные выше показатели характеризуют производство книг на русском языке в Украине, но ситуацию на книжном рынке в значительно большей степени определяет массовый импорт книг из России, вследствие чего доля русскоязычной литературы на украинском книжном рынке, по экспертной оценке Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, составляет около 13 %.

Количество изданий русскоязычных газет в Украине снижалось до 2010 года включительно, после чего начался его быстрый рост. Одной из причин этого является законодательное разрешение печатным изданиям не определять язык, на котором они издаются, или формально регистрироваться как двуязычные издания, выпуская почти весь тираж на русском языке. Если до этого доля русскоязычных газет стабильно составляла около 40 %, то в течение последних двух лет – около 70 %. В то же время тираж русскоязычных газет, как и периодических

печатных изданий, в целом по Украине, продолжает падать. Показатель 2012 года составил 55 % от уровня 2003 года (для газет на украинском языке – 54 %). Всплеск количества изданий не отразился на доле русскоязычных газет от общего тиража, которая стабильно составляет 60–70 % на протяжении последнего десятилетия. Что касается журналов и прочих периодических изданий (кроме газет), то здесь доминирование русского языка еще сильнее – около 80–85 % тиража. Таким образом, русский язык в настоящее время сохраняет сильные позиции как язык прессы и, даже, усиливает их.

Значительно слабее позиции русского языка в легальном кинопрокате. В украинских кинотеатрах на русском языке демонстрируется каждый третий фильм, из них большая часть (около 90 %) – фильмы российского производства. Традиционно фильмы на русском языке сопровождаются субтитрами на украинском, а фильмы на других иностранных языках – дублируются или озвучиваются. В 2011 году Кабинет министров Украины отменил постановление об обязательном дублировании и субтитровании всех иностранных фильмов на украинский язык. Однако, вследствие позиции ведущих мировых кинокомпаний, украинских регуляторных органов и общественного мнения в Украине, этот шаг не привел к резкому росту фильмов на русском языке без украинских субтитров, а также к росту количества фильмов третьих стран с русскоязычным озвучиванием.

По данным мониторинга восьми наиболее рейтинговых телеканалов, в украинском телеэфире наблюдается углубление поляризации телепередач по языковому принципу, т. е. постепенный рост доли телепередач как на русском языке (от 40 до 50 %), так и на украинском языке (от 20 до 30 %) за последние 3 года. Параллельно сокращается продолжительность двуязычных телевизионных передач. Подавляющая часть передач на русском языке – фильмы российского производства с украинскими субтитрами. Мониторинг шести наиболее рейтинговых радиостанций показал, что программы и песни на русском

языке занимали в среднем около трети эфирного времени. При этом доля песен на русском языке в эфире составляет 55–60 %, занимая лидирующее положение в украинском радиоэфире. Доминирование русского языка особенно выражено в эфире двух песенных радиостанций: «Русское Радио» и «Радио Шансон».

Из других сфер общественной жизни русский язык доминирует во внешней рекламе, на транспорте, сфере общественного питания, общении граждан с органами власти преимущественно в городах Юго-Восточной Украины.

Географическое соседство и общность исторического развития Украины и России на протяжении XVII–XX вв. способствовали развитию тесных связей между *художественной литературой* двух народов. На территории Украины родилось много русскоязычных писателей. Среди выдающихся украинских русскоязычных писателей следует назвать Н. Гоголя, В. Короленко, М. Булгакова. В Украине родились и создавали свои произведения А. Ахматова, М. Волошин, Н. Некрасов, И. Ильф и Е. Петров, И. Бабель, В. Катаев, М. Зощенко, Н. Носов, К. Паустовский и многие другие. На русском языке написаны некоторые произведения таких классиков украинской литературы как П. Кулиш, Г. Квитка-Основьяненко, Т. Шевченко, Н. Костомаров, М. Вовчок. И в независимой Украине многие писатели создают свои произведения преимущественно или исключительно на русском языке, в частности А. Курков, С. Вилар, Л. Лузина (лауреаты литературной награды «Золотые писатели Украины» за самые крупные тиражи произведений в 2012 году), М. и С. Дяченко и др. В Украине уже почти столетие издается журнал русскоязычных писателей (с 1963 – под названием «Радуга»), который в 2010 году стал инициатором ежегодного литературного конкурса молодых русскоязычных писателей «Активация Слова». Национальным союзом писателей Украины присуждается Гоголевская премия за лучшие произведения украинских писателей на русском языке.

В 2013 г. в Украине функционировало 12 **русских театров** в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Николаеве, Луганске, Мариуполе, Макеевке, Симферополе, Севастополе, Мукачево. Абсолютное их большинство было создано в советское время, преимущественно в первой половине XX века. Их размещение тесно связано с ареалами проживания русскоязычного населения. Так, 10 из 12 театров расположены в юго-восточных областях Украины; причем, в регионах с наибольшей долей русскоязычного населения таких театров более одного (Крым, Донецкая область). При этом, театральные представления русских драматургов и по мотивам произведений русской литературы идут и в других театрах Украины, однако занимают незначительную часть репертуара и исполняются преимущественно на украинском языке. Несмотря на достаточно интенсивное развитие сети театров за время украинской независимости, новых русских театров не возникло. Таким образом, деятельность русских театров ориентирована в основном на удовлетворение культурных запросов русскоязычного населения, а существующая сеть театров в целом удовлетворяет имеющийся спрос.

По данным Министерства культуры Украины, на протяжении 2008–2010 годов в Украине происходило примерно по 100 гастролей русских исполнителей в год. Анализ интернет-сайтов, где реализуются билеты на концерты и даются анонсы культурных событий, показал, что состоянием на январь 2014 г. из 55 запланированных концертов поп- и рок-исполнителей в Украине – 15 (т. е. 27 %, чуть менее трети) приходится на русских исполнителей.

Российская идентичность имеет идеологический отпечаток и связана с идеалами русского православия, русского самодержавия, русского народа (идеологическая триада С. Уварова «православие, самодержавие, народность»). Российская идентичность также ориентирована на идеи единства русского и украинского народов (единой православной веры, культурно-исторической близости), лозунги антифашизма и героизма Ве-

ликой Отечественной войны, и в то же время – угрозы тотальной украинизации, потери этнокультурной самобытности русских, ограничения доступа к информации, карьерному росту (вследствие незнания украинского языка).

Тесно с ней связана концепция «Русского мира», которая предусматривает формирование трансгосударственного наднационального цивилизационного, социокультурного пространства, объединенного причастностью к России, русскому языку и русской культуре (три ключевых «столпа»: 1) православие, 2) русская культура и русский язык, 3) общая историческая память, общие взгляды на общественное развитие России). Прежде всего, речь идет не об этническом, политическом или языковом, а о духовном единстве. При этом, по результатам опросов, проведенных Центром Разумкова, в 2013 году лишь 19 % респондентов в Украине слышали о доктрине «Русского мира» (17 % – в 2010), среди верующих – 21 %, неверующих – 15 %. Ее направленность в регионах Украины воспринимается диаметрально противоположно: большинство респондентов западных регионов (78 %) считают, что она направлена на реставрацию Российской империи, восточных и южных регионов (60 % и 70 % соответственно) – на духовное единение братских русского, украинского и белорусского народов (Релігія і влада, 2013).

Российская политическая идентичность довольно слабая. В Украине нет влиятельных «чисто русских» политических партий. На парламентских выборах 2002 года Русский блок набрал лишь 0,78 % (максимальная поддержка в Севастополе – 8,83 %, АР Крым – 4,76 %), а на парламентских выборах 2012 года – 0,31 % (максимум в Севастополе – 5,48 %). При этом существует четко выраженная связь между этно-лингвистической самоидентификацией и электоральным поведением населения. Исследование Киевского центра политических исследований и конфликтологии показало, что в третьем туре выборов Президента Украины в 2004 году среди украиноязычных украинцев процент голосов за В. Ющенко составил 81 %, а за Януковича – 12 %, а среди рус-

скоязычных россиян результат противоположный: 11 % и 81 % соответственно (3 % и 33 %). Результаты голосования русскоязычных украинцев (28 и 60 %) и украиноязычных россиян (50 и 42 %) указывают на приоритет языковой идентичности над собственно этнической в контексте электоральных предпочтений (Портрет электоратов, 2010). В целом, русскоязычное население склонно к большей поддержке левых политических сил, а также политических сил, использующих лозунги сближения с Россией и придания русскому языку статуса официального.

Для оценки представительства потенциальных носителей русской культуры среди украинских элит, проанализирована суммарная доля выходцев из РСФСР / Российской Федерации и этнических русских. За последние 15 лет во всех без исключения составах Кабинета Министров Украины присутствовали выходцы из РСФСР / Российской Федерации. Сначала их количество росло и достигло максимума в правительстве В. Януковича 2002–2004 гг. Для большинства правительств Украины времени президентства В. Ющенко характерна низкая доля выходцев из РСФСР / Российской Федерации и этнических русских (4–8 %), за исключением второго правительства Ю. Тимошенко, когда их доля возросла до 16 %. Далее, при Президенте В. Януковиче, данная тенденция сохранилась. Во втором правительстве Н. Азарова уроженцы РСФСР / Российской Федерации составляют 22 %. В список 100 самых богатых людей Украины, по версии журнала «Forbes Украина», в 2013 году попали как минимум 11 выходцев из РСФСР / Российской Федерации и этнических русских. Среди 20 лучших топ-менеджеров Украины 2011–2013 гг. были 2–3 выходца из РСФСР / Российской Федерации. Из 199 действительных членов Национальной академии наук Украины как минимум 27 человек (13,7 %) – выходцы из РСФСР или же этнические россияне. Таким образом, уровень представительства потенциальных носителей русской культуры среди украинских элит в целом приближается к доле русских в структуре населения (17,3 %). При этом наблюдается сравнительно высокая доля

уроженцев России в украинском политикуме при несколько меньшем представительстве в сферах бизнеса и науки.

Российская православная идентичность выражена существеннее. В Украине зарегистрировано более 17 тыс. православных общин (54 % всех религиозных общин, 2010 г.). С русским православием традиционно ассоциируются Украинская православная церковь Московского патриархата (11,7 тыс. общин), русские православные старообрядческие церкви (64 общины), Русская православная церковь за рубежом (27 общин), Русская истинно-православная церковь (25 общин), то есть 68 % всех православных общин. В расчете на 100 населенных пунктов приходится 39,7 общин русского православия. По результатам опросов, проведенных Центром Разумкова, в 2013 году к православию себя отнесли 70,6 % респондентов (в 2010 г. – 68,1 %), в том числе прихожанами Украинской православной церкви Московского патриархата назвали себя 19,6 % опрошенных (в 2010 г. – 23,6 %), Русской православной церкви – 0,5 % (в 2010 г. – 0,8 %). В восточных и южных регионах Украины самоидентификация с УПЦ МП составляет 21,4 % и 21,8 % соответственно, в западных – 19,8 %, центральных – 16,4 % (Релігія і влада, 2013).

Ареалы русской культуры. По данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, можно выделить ареалы компактного проживания русского населения. Русские представляют собой наибольшую этническую группу в Севастополе (71,7 %), на остальной части Крыма (58 %), Краснодарском (51,7 %) и Станично-Луганском (61,1%) районах Луганской области, Путивльском районе Сумской области (51,6 %), городах Луганской (Краснодон – 63,3 %, Свердловск – 58,7 %, Стаханов – 50,1 %), Донецкой (Донецк – 48,2 %, Макеевка – 50,8 %), Днепропетровской (Терновка – 52,9 %), Одесской (Измаил – 43,7 %) областей.

Компактные ареалы русских сельских поселений расположены в приграничных Сумской, Харьковской, Луганской областях, а также в Крыму и Одесской области. Отдельные русские сёла, которые сформировались в результате миграций определенных

социальных групп этнических русских, присутствуют в большинстве регионов Украины (кроме Галиции, Волыни и Закарпатья). Как пример можно привести села в Черновицкой области, основанные в XVIII веке беглыми старообрядцами: Белая Криница в Глыбокском районе, Липованы в Выжницком районе, Грубна и Белоусовка в Сокирянском районе. Эти поселения являются важными центрами русской старообрядческой диаспоры: действует Старокриницкий монастырь, восстановлена старообрядческая иерархия. До настоящего времени жители старообрядческих сел сохранили русский язык в качестве родного: от 10,9 % в Белоусовке до 91,5 % в Грубной. Подобные села существовали и на Подолье, например, с. Борсков Тывровского района Винницкой области, которое со времени основания три столетия оставалось русским поселением. Однако коллективизация и развал традиционного хозяйственного уклада привели сначала к миграции староверов за пределы родного села, а позже – к ассимиляции с украинским населением близлежащих сел. Поселения старообрядцев (липован, горюнов, молокан, духоборов) в Украине до сих пор сохранили элементы русской народной архитектуры, в том числе сакральной.

Севастополь – наиболее «русский» город Украины. Более того, это практически единственный город Украины, где доминирование артефактов, социофактов и ментифактов русской культуры на данный момент практически безальтернативно. Причина лежит в истории основания и развития города. В отличие от других городов востока и юга Украины, «русскость» которых в значительной степени создана за счет русификации местного населения и переселения русских из других регионов СССР, Севастополь был изначально основан русскими в качестве базы будущего Черноморского флота и выполнял специфические военные функции. С Севастополем связаны такие судьбоносные эпизоды российской истории, как русско-турецкая война 1828–1829 гг., Крымская война 1853–1856 гг., Великая Отечественная война 1941–1945 гг. В настоящее время в городе расположена

военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации.

По данным Всеукраинской переписи населения 2001 года в Севастополе проживало 270 тыс. русских, что составляет 71,6 % населения города. По сравнению с 1989 годом доля русских снизилась на 3 %, что типично для всей Украины и объясняется возрождением этнического самосознания украинцев Севастополя, а также эмиграцией части русских в Российскую Федерацию. Большинство населения Севастополя (90,6 %) считают родным русский язык (украинский – 6,8 %), который имеет статус регионального.

За годы независимости Украины в Севастополе дважды утверждались программы развития русского языка и русской культуры: на 2007–2011 и 2012–2016 годы. Объем финансирования программы поддержки регионального русского языка и русской культуры в Севастополе в 2012 году достиг 1,5 миллиона гривен.

Среди высших учебных заведений города III-IV уровня аккредитации – 15 % аккредитованы в Российской Федерации; действует два русских драматических театра; размещены музеи, тематика которых непосредственно связана с русской военной историей (музеи братьев Шереметьевых, «Крымская война 1853–1856», панорама «Оборона Севастополя 1854–1855», диорама «Штурм Сапун-горы», Музей Севастопольской героической обороны и освобождения, Военно-исторический музей Черноморского флота Российской Федерации и др.). С военной историей России связано и значительное количество архитектурных элементов городской среды, в первую очередь памятников и мемориалов.

Эпитет «города русской славы» является неотделимой частью образа Севастополя. При этом возникает вопрос, как объединить этот элемент образа с украинской идентичностью. Очевидно, что восприятие многими севастопольцами своего города как неотъемлемой части России – болевая точка во вза-

имоотношениях двух государств. К сожалению, ряд высокопоставленных чиновников делают провокационные заявления в отношении статуса Севастополя. И для Украины, и для России политика в отношении Севастополя – тест на состоятельность и способность к конструктивному подходу.

4.4. РУССКАЯ КУЛЬТУРА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Средняя Азия, в том числе территория современного Узбекистана, испокон веков представляла собой своеобразный «перекрёсток» цивилизаций и культур, что связано с геополитическим и геокультурным положением данного региона. Более полутора столетий среди основных этнокультурных диаспор Узбекистана видное место занимают русские, а русская культура является органичной составляющей многонациональной культуры республики. Переселение русского населения в Туркестан, как известно, началось в середине 19 столетия после его завоевания Российской империей. Уже к 1905 году русское население края составляло 230 тысяч человек (Максакова, 2012). Во многом рост численности русских в то время был связан со столыпинскими реформами в сельском хозяйстве. В советский период миграция русских в Узбекистан значительно активизировалась в связи с индустриализацией республики, эвакуацией населения и предприятий в годы Великой Отечественной войны, восстановлением Ташкента после разрушительного землетрясения 1966 года, строительством ташкентского метрополитена в 1970-е годы. Перепись населения 1959 г. зафиксировала в Узбекистане рекордную долю русских в этнической структуре населения республики – 13,5 %.

В последующие десятилетия абсолютная численность русских в Узбекистане стабилизировалась, а начиная с 1976 г., она постепенно сокращалась (Максакова, 2012). Так, за межпереписной период 1979–1989 гг. численность русского населения республики сократилась с 1665,7 до 1653,5 тыс. чел., а его доля в этнической структуре уменьшилась с 10,8 % до 8,3 % (Итоги Всесоюзной, 1990). Данная тенденция была обусловлена как изменением миграционного баланса республики с положительного на отрицательный, так и низким уровнем рождаемости русских по сравнению с коренными народами Средней Азии.

В конце 1980-ых годов абсолютная и относительная численность русских в Узбекистане стала стремительно сокращаться. Это явилось следствием, в первую очередь, интенсивной эмиграции русских из республики, главным образом, в Российскую Федерацию. Так, по данным Л. П. Максаковой (2012), только за 1989–1999 гг. миграционный отток русского населения из Узбекистана составил около 450 тысяч человек (28 % от русского населения республики по состоянию на 1989 г.). Данное обстоятельство было обусловлено известными всем глубокими геополитическими, геоэкономическими и геокультурными переменами на постсоветском пространстве, наступившими после распада СССР. На рассматриваемом этапе новейшей истории в пределах бывшего Союза интенсивно происходили процессы реэмиграции населения, возвращения многочисленных представителей нетитульных национальностей на историческую родину, и Узбекистан на фоне других государств Средней Азии не представляет, в этом смысле, исключения. К примеру, за 1990–2001 гг. из Таджикистана эмигрировали 230 тысяч русских, или 56 % от их численности по переписи 1989 г., а из Киргизии – 200 тысяч, что составляет около $\frac{1}{4}$ всего русского населения республики в 1989 г. (Арутюнян, 2003).

В таблице 8 приведены данные о динамике абсолютной и относительной численности русского населения в Узбекистане за постсоветский период. Из неё следует, что в течение анализируемых лет численность русских и их удельный вес устойчиво сокращаются. При этом заметно некоторое уменьшение темпов изменения названных этнодемографических индикаторов с середины 2000-ых годов, что можно объяснить, прежде всего, постепенным снижением миграционного потенциала (ресурсов) русского населения в республике. Следует отметить, что прослеживаемые по данным таблицы 8 тренды связаны не только с миграционным фактором, но и с возрастной структурой русского населения страны и резкими различиями в репродуктивных установках русских семей и представителей коренных национальностей Среднеазиатского региона, приводящими к

очень заметной дифференциации уровня рождаемости среди представителей различных этносов Узбекистана. Примечательно, что в уровне рождаемости других некоренных национальностей прослеживается схожесть с естественным движением русского населения (табл. 9).

Таблица 8.

Динамика абсолютной и относительной численности русского населения Республики Узбекистан (1989–2013 гг.)*

Год	Численность русского населения в Узбекистане, тыс. чел.	Изменение численности населения русских за весь период, тыс. чел.	Среднее годовое изменение, тыс. чел.	Удельный вес русских в этнической структуре населения, %	Изменение относит. численности русских за весь период, %	Среднее годовое изменение, %
1989	1653,5	—	—	8,3	—	—
2000	1199,0	-454,5	-41,3	4,9	-3,4	-0,3
2005	983,6	-215,4	-43,1	3,8	-0,9	-0,18
2009	895,3	-88,3	-22,1	3,3	-0,5	-0,12
2013	809,5	-85,8	-21,4	2,7	-0,6	-0,15

* Таблица составлена авторами по материалам Всесоюзной переписи населения 1989 г. и ежегодным отчётам Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан

Ещё в советский период большинство русских жителей Узбекистана (более 40 %) концентрировалось в столице республики – Ташкенте. В последующие годы поляризованная география русского населения выразилась ещё рельефнее, хотя говорить о резком росте удельного веса столицы в пространственной структуре русской диаспоры Узбекистана за последние четверть века всё-таки не приходится (46,7 % в 2013 г. против 42,4 % в 1989 г.). Второй показатель – удельной доли русского населения – на протяжении всего рассматриваемого периода сохранился за

Ташкентской областью (порядка 1/5 общей численности русской диаспоры республики). Третью и четвёртую позиции продолжают удерживать Самаркандская и Ферганская области (по данным на 2013 г., 6,3 % и 5,6 %, соответственно).

Таблица 9.

Индикаторы естественного движения представителей различных национальностей Узбекистана (по статистическим данным на 2008 г.)*

Этносы	Демографические индикаторы (в пересчёте на 1000 чел.)		
	Рождаемость	Смертность	Естественный прирост
Всё население	23,9	5,1	18,8
Узбеки	25,7	4,7	21,0
Каракалпаки	25,5	5,5	20,0
Казахи	21,2	5,1	16,1
Таджики	20,0	3,7	16,3
Туркмены	21,3	5,0	16,3
Киргизы	19,3	4,3	15,0
Русские	6,2	12,8	-6,6
Украинцы	4,4	12,0	-7,6
Татары	14,2	18,5	-4,3
Белорусы	1,7	5,7	-4,0
Корейцы	9,2	9,6	-0,4

*Таблица составлена по материалам Госкомстата РУз

Резкое сокращение доли Бухарской области (с 8,1 % до 3,3 %) можно объяснить тем, что в 1989 г. в её состав входила отличающаяся индустриальной специализацией региональной экономики и относительно высоким удельным весом некоренных национальностей, в т. ч. русских, Навоийская область, которая в 1992 г. была восстановлена в прежнем статусе, и показатели этого региона стали фигурировать в статистической отчётности республики отдельной строкой. Вместе с тем, наблюдаем су-

щественное сокращение доли Навоийской области за период 2005–2013 гг. (с 3,7 % до 2,8 %) на фоне очень малых изменений (в некоторых случаях – положительных) индикаторов прочих административно-территориальных единиц республики. Это свидетельствует о своеобразном росте эмиграционного потока русских из данного региона страны в последние годы.

Таблица 10.

Доля русских в национальном составе населения
регионов Узбекистана (1989–2013 гг.)

Регион	Доля русских в национальном составе населения		
	1989 г.	2005 г.	2013г.
Республика Каракалпакстан	1,6	0,8	0,6
<i>Области:</i>			
Андижанская	2,6	0,9	0,7
Бухарская	8,2*	2,0	1,6
Джизакская	4,4	1,7	1,3
Кашкадарьинская	2,4	1,0	0,7
Навоийская	–	4,5	2,5
Наманганская	1,9	0,7	0,5
Самаркандская	5	2,2	1,5
Сурхандарьинская	3	1,3	1,0
Сырдарьинская	10	4,4	3,3
Ташкентская	14,6	7,4	5,6
Ферганская	5,8	2,0	1,4
Хорезмская	1,2	0,5	0,4
г. Ташкент	34	21,6	16,2

* вместе с Навоийской областью, упразднённой в 1988 г. и восстановленной в 1992 г.

На уровне 3 % процентов установились удельные показатели Бухарской и Сырдарьинской областей. Близкие к ним показате-

ли имеют Сурхандарьинская, Кашкадарьинская и Андижанская области (2,5 %±0,3). Наименьшие значения рассматриваемого этнодемографического индикатора отмечаются в Джизакской (1,9 %), Наманганской (1,5 %) и, особенно, в Хорезмской (0,8 %) областях, имеющих, в основном, аграрную специализацию, а также в Республике Каракалпакстан (1,2 %), отличающейся тяжёлой геоэкологической ситуацией, вызванной деградацией природно-хозяйственных систем Приаралья.

Из анализа таблицы 10 явствует повсеместное сокращение процента русского населения, что отражает относительное единообразие этнодемографического пространства республики. При этом наибольший показатель зафиксирован в столице, сравнительно высокие цифры – в Ташкентской, Сырдарьинской и Навоийской областях (2,5–5,6 %).

Для русского населения Узбекистана на всех временных этапах его проживания в республике была характерна высокая степень концентрации в городах и низкая доля сельчан. Это связано с преимущественной занятостью русских в индустриальном и финансовом секторе, образовании, здравоохранении, науке, культуре и других подразделениях экономики, привязанных к урбанизированным ареалам. Сравнительно большие сельские общины русского населения отмечаются только в Сырдарьинской области (Сырдарьинский, Баяутский и Гулистанский районы) и Ташкентской области (Чиназский, Уртачирчикский, Куйичирчикский, Янгиюльский районы), куда ещё в дореволюционные годы переселились тысячи крестьянских семей из различных регионов России. В частности, усилиями этих переселенцев в начале 20-столетия были предприняты первые шаги по освоению Голодной степи на левобережье среднего течения Сырдарьи (рис. 17).

Проведённый ретроспективный анализ даёт основание сделать вывод о наличии компактных ареалов проживания русских в Узбекистане. Таковыми являются: столица страны – г. Ташкент, промышленные города в Ташкентской (Чирчик, Алмалык, Бека-

бад, Ангрен, Ахангаран) и Навоийской области (Навои, Зарафшан и Учкудук), Фергана-Маргиланский промышленный район (города Фергана, Кувасай), города Самарканд и Каттакурган, город Каган в Бухарской области (основан в конце 19-века под названием Новая Бухара), некоторые сопредельные сельские районы Ташкентской и Сырдарьинской областей, старые железнодорожные пристанционные посёлки, возникшие ещё в позапрошлом столетии вдоль Закаспийской железной дороги. Эти этнотерриториальные структуры сложились исторически, главным образом в связи со специализацией хозяйства, развитием индустриализации и урбанизацией отдельных территорий, в целом сохранившись на фоне общего сокращения численности русских.



Рис. 17. Переселенческий хутор в Голодной степи
(Фото С. М. Прокудина-Горского, 1908 г.)

В постсоветский период, несмотря на снижение численности русских и сокращение их удельного веса в национальном составе населения страны, в Республике Узбекистан отнюдь не произошло кардинальной потери социокультурного значения русского языка. Он изучается в узбекских школах как обязательный предмет со 2-класса в объёме 2 часов в неделю, на первом курсе средних специальных учебных заведений (4 часа в неделю) и на первом курсе вузов (160 часов). Учебная нагрузка, отведённая в образовательных учреждениях с узбекским языком обучения на изучение русского языка, идентична объёму учебной нагрузки, отведённой на преподавание узбекского языка в русскоязычных учебных заведениях всех уровней. Учителей русского языка готовят все вузы Узбекистана с языковой и педагогической специализацией во всех регионах республики. При этом, преподавателей для русскоязычных и национальных учебных заведений готовят на разных отделениях.

Русский язык используется в делопроизводстве, в т. ч. в законодательной деятельности, военной сфере, правоохранительных органах, государственной статистике, документообороте финансовых (банковских, налоговых и прочих) учреждений. В 2013 году, по приказу Министерства юстиции Республики Узбекистан, было разрешено вновь заполнять на русском языке документацию ЗАГСов. Такие позиции русского языка в различных сферах государственного значения обуславливают необходимость знания русского языка и хорошего владения им госслужащими. Последнее широко отмечается в столице и крупных городах – региональных центрах страны; в районных же центрах хороший уровень владения русским языком у чиновников встречается сравнительно реже (за исключением людей старшего возраста, детство и юность которых пришлось на советский период).

В быту использование русского языка ограничивается представителями русского и других некоренных народов республики, самыми многочисленными из которых являются татары, ко-

рейцы, украинцы, азербайджанцы, армяне. Среди титульной же и родственных ей наций коммуникативное значение русского языка сравнительно велико в основном у выпускников русских школ. В целом, уровень владения коренного населения русским языком последовательно возрастает от периферии к столице, так как в этом направлении расширяется русскоязычная среда и сфера применения русского языка, а следовательно, повышается объективная потребность во владении им. Не случайно в Ташкенте нередко можно встретить узбеков, которые говорят по-русски как на своём родном языке.

Для сохранения общественно-культурной роли русского языка и русской культуры в республике огромный вклад вносят образовательные учреждения, ведущие деятельность на русском языке. Таковые имеются на всех уровнях образовательной системы Узбекистана, в частности, дошкольном, среднем общеобразовательном, среднем специальном и высшем. Ключевое, наиболее массовое значение имеют, безусловно, общеобразовательные школы с русским языком обучения. После распада Союза контингент и количество русских школ в республике стали довольно быстрыми темпами сокращаться, что было связано, в первую очередь, с отмеченным ранее миграционным оттоком русского населения и представителей других некоренных национальностей, основным языком для которых был русский. Кроме того, принципиальные перемены во всех сферах общественной жизни повлияли на языковые предпочтения представителей титульной и родственных ей наций, что на первых порах вызвало значительное снижение их интереса к получению образования на русском языке. Однако к середине 2000-х годов данная тенденция изменилась, что выразилось в постепенном увеличении числа школ с русским языком обучения (главным образом, за счёт открытия русских классов в школах с узбекским и другими языками обучения) и росте контингента учащихся данных образовательных учреждений (рис. 18 и 19).



Рис. 18. Динамика школ с русским языком обучения в Узбекистане за 2000–2013 гг.*

* Рисунок составлен авторами по данным «Статистического ежегодника» 2012 г и статистической отчётности Министерства народного образования РУз

Анализ рисунков 18 и 19 свидетельствует, что позиции русско-язычного школьного образования в Республике Узбекистан во второй половине 2000-ых годов приобрели прогрессивную динамику. Показательно, что за последние 13 лет в стране выросло количество школ лишь с узбекским, каракалпакским и русским языком, тогда как число школ с таджикским, казахским, киргизским и туркменским языками обучения в той или иной степени сократилось. Ещё более интересными выглядят данные о динамике контингента школ с различными языками обучения.

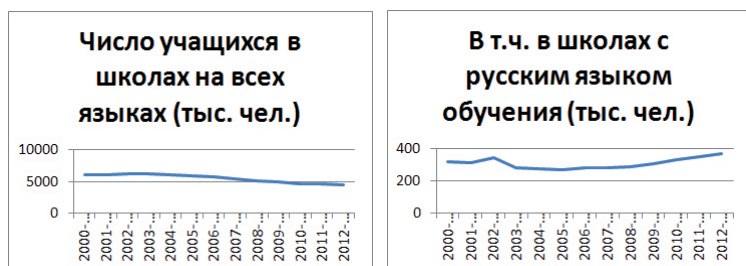


Рис. 19. Динамика контингента школ Узбекистана, в т.ч. школ с русским языком обучения (2000–2013 гг.)*

* Рисунок составлен авторами по данным «Статистического ежегодника» 2012 г и статистической отчётности Министерства народного образования РУз

В течение рассматриваемого периода (рис. 19) в Узбекистане происходило численное сокращение обучающихся в системе среднего общего образования. В частности, по данным Министерства народного образования Узбекистана, ощутимо сократился контингент школ с узбекским языком обучения – с 5184,4 тыс. чел. в 2000–2001 учебном году до 3868,2 тыс. чел. в 2012–2013 учебном году. Данное обстоятельство связано с двумя причинами: заменой 11-летнего школьного образования 12-летним обязательным средним образованием, включающим 9-летнюю школу и 3-летнее обучение в профессиональных колледжах или академических лицеях, и сдвигами в возрастной структуре населения республики, обусловленными демографическими процессами.

Параллельно с сокращением численности учащихся в школах с узбекским языком обучения снижался контингент средних школ со всеми языками обучения, кроме русского. Численность обучающихся на русском языке школьников с 2000–2001 учебного года до 2005–2006 учебного года снизилась с 321,2 тысячи до 270,1 тысячи, однако, неуклонно возрастая в последующие годы, она к 2012–2013 учебному году достигла отметки в 372,2 тысячи человек. Знаковым является то, что этот процесс происходит на фоне продолжающегося сокращения удельного веса русского и русскоязычного населения страны. Поэтому отмеченную тенденцию в школьном образовании Узбекистана можно объяснить лишь ростом популярности обучения на русском языке у представителей титульной нации. Данный фактор, в свою очередь, вызван несколькими причинами, в т. ч. стабилизацией этносоциальных настроений в обществе, переживших характерный перелом в период становления независимости республики, сохранением большого значения русского языка во внутреннем и международном информационном пространстве, активизацией трудовой миграции в направлении Российской Федерации (по статистике последних 5 лет, до 40 % трудовых мигрантов, прибывших в РФ из стран СНГ, – это граждане

Узбекистана), что вызвало рост объективной потребности населения во владении русским языком.

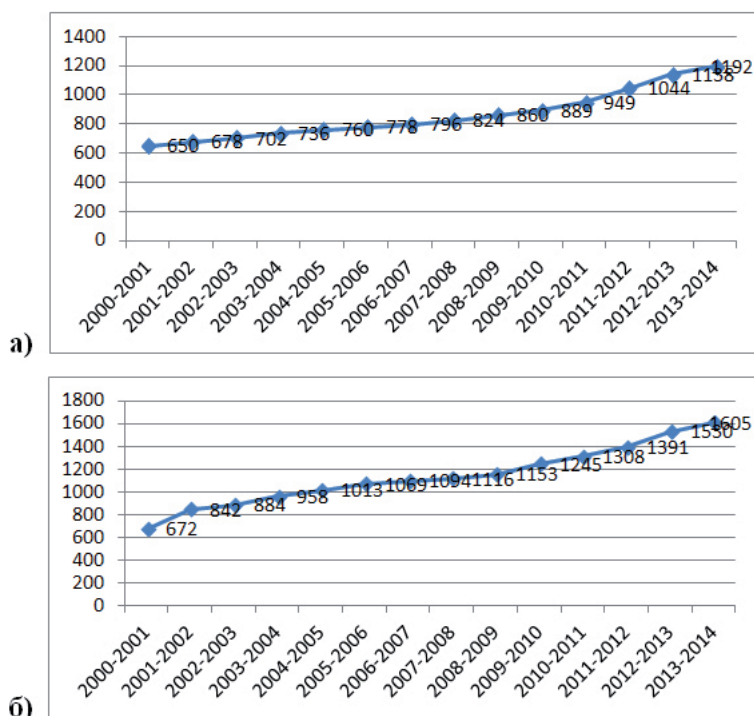


Рис. 20. Динамика контингента школ с русским языком обучения:

- а) № 233 Алмазарского района г. Ташкента и
б) № 5 Касансайского района Наманганской области
(2000–2014 гг.)*

*Рисунок составлен авторами на основе статистической отчётности школ

Интересно отметить, что рост количества школ с русским языком обучения и их контингента в анализируемый период происходит как в столице республики и других крупных городах, так и на периферии различных регионов.

Таблица 11.

Использование русского языка в системе дошкольного
образования регионов Республики Узбекистан
(по состоянию на 2011 г.)*

Регион	Число дошколь- ных учрежде- ний	В т. ч. ведущих рабо- ту на русском языке	%	Числен- ность обуча- ющихся детей, тыс. чел.	В т. ч. на рус- ском языке	%
Республика Узбекистан	5183	1020	19,7	500,9	94,7	18,9
Республика Ка- ракалпакстан	323	26	8	19,4	2,1	10,6
<i>Области:</i>						
Андижанская	455	42	9,2	40,2	2,9	7,3
Бухарская	357	88	<u>24,6</u>	24,5	4,3	17,5
Джизакская	166	6	3,6	24,3	0,5	2,1
Кашкадарьин- ская	351	16	4,6	26,9	1,5	5,7
Навоийская	125	59	<u>47,2</u>	13	8,8	<u>67,7</u>
Наманганская	498	46	9,2	42,2	2,5	5,9
Самаркандская	568	67	11,8	45	5,9	13,1
Сурхандарьин- ская	360	18	5	22,7	0,7	3,1
Сырдарьинская	162	22	13,6	13,6	1,4	9,9
Ташкентская	427	145	<u>34</u>	44,5	12,3	<u>27</u>
Ферганская	665	87	13,1	62,1	6,7	10,7
Хорезмская	262	28	10,7	22,1	2,9	13,2
<i>г.Ташкент</i>	464	370	<u>79,7</u>	90,4	42,2	<u>46,7</u>

* Таблица составлена по данным стат. сборника «Образование в Узбекистане». – Т., 2011.

Примечание: курсивом выделены регионы с показателями выше средне-республиканского уровня

Для иллюстрации сказанного в качестве наглядных примеров приведём сведения о динамике контингента двух средних общеобразовательных школ с русским языком обучения: № 233 Алмазарского района г. Ташкента и № 5 Касансайского района Наманганской области (рис. 20). Данные графики иллюстрируют рост популярности русскоязычного образования не только в условиях центра, но и в регионах Узбекистана.

В поддержании уровня использования русского языка в системе образования Узбекистана особое значение имеют дошкольные учреждения. По состоянию на 2011 г. в республике действовало 5183 дошкольных образовательных учреждений, из которых 1020, или почти 20 %, ведут работу на русском языке. Эта цифра выглядит весьма оптимистичной на фоне удельного веса русского населения в этнической структуре населения республики, составляющего, как было отмечено выше, 3,8%. Так же, как в случае со школьным обучением, широкую представленность русского языка в детских садах Узбекистана можно объяснить популярностью русскоязычных дошкольных учреждений среди узбекского населения.

В уровне развития русскоязычного дошкольного образования в Узбекистане имеются очень заметные территориальные контрасты (табл. 11). При среднереспубликанской доле детей, обучающихся в детских садах на русском языке, в 18,9 %, в Ташкентской области этот показатель составляет 27 %, в г. Ташкенте – 46,7 %, а в Навоийской области – 67,7 %. Эти цифры отражают не только относительно высокую долю русских и представителей других национальностей, использующих в качестве основного языка общения русский, но и растущий интерес узбекского населения этих территорий, составляющего этническое большинство, к обучению детей на русском языке. Весьма высок данный показатель в Бухарской, Самаркандской, Ферганской областях и в Республике Каракалпакстан. В последнем регионе большое влияние на использование русского языка в системе образования, в т. ч. дошкольного, оказывает высокая популяр-

ность русского языка у каракалпаков, особенно проживающих в центральных районах Каракалпакстана. Самые низкие показатели, в свою очередь, зафиксированы в Наманганской (5,9 %), Кашкадарьинской (5,7 %), Сурхандарьинской (3,1 %) и в Джизакской (2,1 %) областях. Однако и в этих регионах величина рассматриваемого индикатора не ниже удельного веса русских в этнической структуре местного населения.

Таблица 12.

Абсолютная и относительная численность студентов
средних специальных учебных заведений, обучающихся
на русском языке*

Учебные годы	Число учащихся средних специальных, профессиональных образовательных учреждений (тыс. чел.)	В т. ч. на русском языке (тыс. чел)	%
2000–2001	324,1	36,4	11,2
2001–2002	446,1	33,6	7,5
2002–2003	546	36,7	6,7
2003–2004	684	42,5	6,2
2004–2005	788,1	46,4	5,9
2005–2006	890,7	44,9	5,0
2006–2007	1075	44,8	4,2
2007–2008	1195,3	52,8	4,4
2008–2009	1380,4	55,6	4,0
2009–2010	1510,8	58,6	3,9
2010–2011	1623,1	58,9	3,6

*Таблица составлена по данным «Статистического ежегодника». – Т., 2012.

В значительно меньшей степени представлено обучение на русском языке в системе среднего специального и профессионально-технического образования, которое является в настоящее время заключительной ступенью обязательного

12-летнего образования в Узбекистане. Таблица 12 иллюстрирует поступательный рост абсолютной численности студентов профессиональных колледжей и академических лицеев, обучающихся на русском языке и, одновременно, снижение удельной доли последних в общей численности учащихся в системе среднего специального образования республики.

Учебные заведения рассматриваемой ступени образования делятся на 2 категории: профессиональные колледжи, выдающие своим выпускникам дипломы о получении определённой специальности, и академические лицеи, где учащиеся получают фундаментальное образование с целенаправленной предвузовской подготовкой. Если в общей численности студентов средних специальных учебных заведений (1623,1 тыс. чел.) доля воспитанников академических лицеев (108,1 тыс. чел.), по состоянию на 2010–2011 учебный год, составляла 6,7 %, то среди русскоязычных студентов этот показатель достигает 24,4 % (14,4 тыс. из 58,9 тыс. чел.). При общем удельном весе русскоязычных студентов средних специальных учебных заведений в 3,6 %, в академических лицеях соответствующий статистический показатель в 2010–2011 учебном году равнялся 13,3 %. Это позволяет сделать вывод, что в системе академических лицеев русскоязычное обучение представлено более широко, чем в профессиональных колледжах.

Данные таблицы 13 свидетельствуют, что регионы с самой высокой долей русскоязычных студентов академических лицеев идентичны регионам с наибольшим распространением русскоязычных дошкольных образовательных учреждений – это Навоийская, Ташкентская области и г. Ташкент. Сравнительно велик анализируемый параметр также в Республике Каракалпакстан, Ферганской, Самаркандской и Андижанской областях, а Кашкадарьинская, Джизакская, Сурхандарьинская, Наманганская и Хорезмская области, соответственно, отличаются минимальными показателями. В целом, очевидно, что в одних и тех же регионах Узбекистана русскоязычное обучение представ-

лено в примерно равной степени на дошкольном, школьном и среднем специальном уровнях образования.

Таблица 13.

Региональная структура учащихся академических лицеев
Узбекистана*

Регион	Численность учащихся академических лицеев, тыс. чел.	В т. ч. на русском языке	%
Республика Узбекистан	108,3	14,4	13,3
Республика Каракалпакстан	7,1	0,6	8,5
Области: Андижанская	9	0,7	7,8
Бухарская	4,8	0,3	6,3
Джизакская	3,7	0,1	2,7
Кашкадарьинская	5,8	-	0,0
<i>Навоийская</i>	3,5	0,6	<u>17,1</u>
Наманганская	10,2	0,4	3,9
Самаркандская	11	0,9	8,2
Сурхандарьинская	4,9	0,09	1,8
Сырдарьинская	3,4	0,25	7,4
<i>Ташкентская</i>	3,5	0,9	<u>25,7</u>
Ферганская	8	0,7	8,8
Хорезмская	5,5	0,25	4,5
<i>г. Ташкент</i>	27,8	8,6	<u>30,9</u>

*Таблица составлена авторами по данным стат. сборника «Образование в Узбекистане». – Т., 2011.

Примечание: курсивом выделены регионы с показателями выше средне-республиканского уровня

Устойчивый рост контингента русских школ в Узбекистане требует дальнейшего расширения использования русского языка в системе среднего специального и профессионально-

технического образования республики для соблюдения преемственности в системе образования. Особенно это актуально для Кашкадарьинской, Джизакской, Наманганской и ряда других областей, где роль русского языка в рассматриваемом подразделении образования сравнительно низкая.

Таблица 14.

Динамика контингента студентов вузов Узбекистана, обучающихся на русском языке*

Учебные годы	Число студентов вузов, обучающихся на русском языке, тыс.чел.
2000–2001	35,4
2001–2002	41,5
2002–2003	43,1
2003–2004	43,7
2004–2005	40,3
2005–2006	39,3
2006–2007	40,1
2007–2008	39,1
2008–2009	44,9
2009–2010	39,7
2010–2011	38,9

* Таблица составлена авторами по данным «Статистического ежегодника». – Т., 2012.

Весьма активно русский язык используется в системе высшего образования Узбекистана. Абсолютная численность обучающихся на русском языке студентов вузов Узбекистана остаётся на протяжении последних лет стабильной и держится на уровне около 40 тысяч человек (табл. 14). При этом, основная масса русскоязычных студентов сконцентрирована в высших учебных заведениях Ташкента, тогда как в других городах квота приёма

для обучения на русском языке незначительна (относительные исключения – вузы Самарканда, Ферганы, Навои и Нукуса).

В ташкентских вузах русские группы есть по большинству специальностей, а в региональных вузах они в основном представлены на филологических, спортивно-педагогических, начально-педагогических, финансово-экономических, медицинских и некоторых технических направлениях. Основным препятствием для открытия русских групп в вузах, особенно в регионах, служит нехватка научно-педагогических кадров для преподавания на русском языке.

В развитии русскоязычного высшего образования в Республике Узбекистан положительную роль играет деятельность филиалов российских вузов в Ташкенте – Московского Государственного университета имени М. В. Ломоносова, Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, Российского Государственного университета нефти и газа имени И. В. Губкина.

Русский язык в постсоветский период продолжает широко использоваться и в науке Узбекистана. Практически все научно-практические форумы (конференции, семинары, симпозиумы) по самым различным направлениям научных исследований в стране проводятся в трёхязычном формате (на узбекском, русском и английском языках). Свидетельством сохранения большой роли русского языка в научной среде Узбекистана может служить, прежде всего, активное использование русского языка в написании диссертационных работ, защищённых за это время. Из таблицы 15 можно получить сведения о количестве докторских и кандидатских диссертаций, выполненных на русском языке, защищённых по тем или иным направлениям науки в учёных советах при Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека в 1990–2012 годах. Анализ её позволяет сделать вывод о том, что русский язык в постсоветский период продолжает активно использоваться во всех сферах научных исследований в республике, особенно в естественных науках (88 % докторских и 87 % кандидатских диссертаций).

Таблица 15.

Распределение по языковому признаку кандидатских и докторских диссертаций, защищённых в Национальном университете Узбекистана имени М. Улугбека в 1990–2012 гг.*

Области знания	Всего	На узб.	%	На рус.	%	На англ.	%
1. Естественные науки							
1.1. Физико-математические науки	$\frac{39}{216}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{1}$	$\frac{35}{212}$	$\frac{90}{98}$	$\frac{3}{1}$	$\frac{8}{1}$
1.2. Химические науки	$\frac{23}{105}$	$\frac{2}{19}$	$\frac{9}{18}$	$\frac{20}{86}$	$\frac{87}{82}$	$\frac{1}{0}$	$\frac{4}{0}$
1.3. Геолого-минералогические науки (до 2007 г.)	$\frac{5}{20}$	$\frac{1}{0}$	$\frac{20}{0}$	$\frac{4}{20}$	$\frac{80}{100}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
1.4. Географические науки (до 2007 г.)	$\frac{6}{59}$	$\frac{1}{31}$	$\frac{17}{53}$	$\frac{5}{28}$	$\frac{83}{47}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
Итого по I-блоку:	$\frac{73}{400}$	$\frac{5}{53}$	$\frac{7}{13}$	$\frac{64}{346}$	$\frac{88}{87}$	$\frac{4}{1}$	$\frac{5}{0}$
2. Общественно-гуманитарные науки							
2.1. Философские науки	$\frac{45}{237}$	$\frac{25}{131}$	$\frac{56}{55}$	$\frac{20}{106}$	$\frac{44}{45}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
2.2. Исторические науки	$\frac{3}{224}$	$\frac{2}{124}$	$\frac{67}{55}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{33}{45}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
2.3. Социологические науки	$\frac{5}{20}$	$\frac{3}{14}$	$\frac{60}{70}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{40}{30}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
2.4. Экономические науки	$\frac{22}{110}$	$\frac{9}{55}$	$\frac{41}{50}$	$\frac{13}{54}$	$\frac{59}{49}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$
2.5. Психологические науки	$\frac{5}{68}$	$\frac{2}{38}$	$\frac{40}{56}$	$\frac{3}{30}$	$\frac{60}{44}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
2.6. Филологические науки	$\frac{17}{188}$	$\frac{10}{88}$	$\frac{59}{47}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{41}{53}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
Итого по II-блоку:	$\frac{97}{847}$	$\frac{51}{450}$	$\frac{53}{53}$	$\frac{46}{396}$	$\frac{47}{47}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{0}$

* Таблица составлена авторами по результатам обработки Указателя докторских и кандидатских диссертаций, защищённых в Национальном университете Узбекистана имени М. Улугбека в 1990–2012 гг. / Сост-ль Подзорова С. О. – Т., 2013.

Примечание: в числителе приведено количество докторских, а в знаменателе – кандидатских диссертаций

Наиболее впечатляют показатели физико-математических наук, по которым на русском языке за анализируемый период в НУУз защищено в общей сложности около 250 диссертаций. Широко используется русский язык в сферах химических и геолого-минералогических наук. В географических науках, диссертационный совет по которым действовал в НУУз до 2007 г, а затем был объединён с учёным советом Научно-исследовательского гидрометеорологического института, удельный вес русскоязычных диссертационных работ наименьший среди естественно-научных направлений (83 % докторских и 47 % кандидатских работ). Использование русского языка для написания диссертаций в географической науке Узбекистана последовательно сокращалось на протяжении последних двух десятилетий. В наибольшей степени этот процесс проявился в экономической и социальной, а также в физической географии, тогда как в гидрологии суши, метеорологии и климатологии (где ещё с советских времён работает сравнительно много русскоязычных научно-педагогических кадров) использование русского языка при подготовке диссертаций остаётся по-прежнему существенным.

По сравнению с естествознанием, в общественных науках Узбекистана позиции русского языка сохранились гораздо скромнее в сравнении с любыми подразделениями естествонаучного блока (47 % докторских и кандидатских диссертаций). Относительно высокие показатели, при этом, демонстрируют экономические и психологические науки, тогда как в исторических, философских и социологических науках использование русского языка при написании диссертаций за прошедшие годы сократилось в наиболее ощутимой степени.

В 2012 г. в Республике Узбекистан была осуществлена реформа системы подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, основная суть которой заключается в ликвидации учёной степени кандидата наук и изменении требований к докторским диссертациям.

Таблица 16.

Распределение по языковому признаку докторских диссертационных исследований нового образца, зарегистрированных ВАК Республики Узбекистан (по состоянию на 1.07.2013 г.)*

Сфера науки	Всего	На узб.	%	На рус.	%
I. Естественные и технические науки					
Физико-математические науки	51	7	14	44	86
Химические науки	21	5	24	16	76
Биологические науки	31	10	32	21	68
Геолого-минералогические науки	1	0	0	1	100
Географические науки	6	4	67	2	33
Сельскохозяйственные и ветеринарные науки	27	15	55	12	45
Медицинские и фармацевтические науки	222	13	6	209	94
Технические науки	69	19	28	50	72
Итого по I-блоку	428	73	17	355	83
II. Общественно-гуманитарные науки					
Философские науки	32	31	97	1	3
Экономические науки	159	125	79	34	21
Исторические науки	68	55	81	13	19
Филологические науки	81	76	94	5	6
Педагогические науки	57	39	68	18	32
Психологические науки	20	16	80	4	20
Юридические науки	101	78	78	23	22
Социологические науки	7	7	100	0	0
Итого по II-блоку	525	427	81	98	19
По всем сферам науки	953	500	52	453	48

*Таблица рассчитана авторами по результатам обработки материалов веб-сайта ВАК РУз www.oak.uz

В таблице 16 отражена языковая структура докторских диссертационных работ, зарегистрированных ВАК республики на 1 июля 2013 года. Из неё следует, что значение русского языка в естественных и технических науках сохраняется на высоком уровне (83 % всех диссертационных исследований). Показательна большая роль русского языка в сфере медицинских, технических и физико-математических наук. В то же время, в общественно-гуманитарных направлениях приоритет основного языка диссертаций перешёл к узбекскому, что особенно заметно в сферах философии, филологии и социологии, где работы на русском языке единичны.

Анализ численного соотношения статей на узбекском и русском языке в некоторых авторитетных научных журналах Узбекистана также показывает явную дифференциацию в использовании русского языка в естественных и общественно-гуманитарных науках (таблица 17). Контрасты в применении русского языка в различных областях науки можно объяснить большей интеграцией естествознания в международное (главным образом, русскоязычное) научно-информационное пространство, изначальными меж-отраслевыми различиями в национальном составе научно-педагогических кадров высшей квалификации, вненациональным и внерегиональным характером тем в естественных, технических и медицинских науках. Последнего зачастую нельзя сказать о темах обществоведческих исследований (особенно, в филологии, истории, социологии, экономике, юриспруденции). Привязка тематики исследований к региональному материалу является также одной из важных причин снижения использования русского языка в отечественной географической науке, так как этот фактор привёл к уменьшению потребности в русском языке (сужение круга литературных источников, а также потребителей результатов научных работ).

Одним из ключевых индикаторов общественного значения того или иного языка в условиях страны служит использование его в средствах массовой информации.

Таблица 17.

Доля статей на русском языке, опубликованных в некоторых научных журналах Узбекистана (2012 г.)*

Журнал	Номер	Тематика	Общее число статей	В т. ч. на русском языке	%
Доклады Академии Наук Республики Узбекистан (ДАН РУз)	№1-2012	Математика, естествознание, технические науки	27	23	85
ДАН РУз	№2-2012	-----	26	23	88
ДАН РУз	№3-2012	-----	27	19	70
ДАН РУз	№4-2012	-----	29	24	83
ДАН РУз	№5-2012	-----	24	19	79
ДАН РУз	№6-2012	-----	25	21	84
Вестник НУУз	№1-2012	Общест. науки	70	20	29
Вестник НУУз	№2-2012	Общест. науки	83	7	8
Вестник НУУз	№2/1-2012	Геология	38	32	84
Вестник НУУз	№3-2012	Общест. науки	74	21	28
Вестник НУУз	№3/1-2012	Химия	70	47	67
Вестник НУУз	№4-2012	Общест. науки	81	24	30

*Таблица составлена авторами

В Узбекистане русский язык наиболее широко представлен в печатных СМИ, особенно в журналах (таблица 18), тогда как на телевидении и радио доля вещания на русском языке заметно скромнее. Последнее компенсируется тем, что все регионы страны охвачены сетью кабельного телевидения с несколькими десятками российских телеканалов, а также широкой распространённостью антенн-«тарелок», принимающих сигналы российского телевидения.

Таблица 18.

Число русскоязычных печатных СМИ Узбекистана
(на 1.01.2014 г.)*

Род изданий	Количество наименований
Газеты, на всех языках	223
Газеты, издаваемые только на русском языке	52 (23%)
Газеты, издаваемые на двух и более языках, в т.ч. на русском	5 (2%)
Журналы, на всех языках	182
Журналы, издаваемые только на русском языке	23 (12%)
Журналы, издаваемые на двух и более языках, в т. ч. на русском	71 (39%)

*Таблица рассчитана на основе обработки «Подписного каталога газет и журналов почтовой службы Республики Узбекистана на 2014 г.»

Интернет-сайты всех органов государственного управления, в частности, регионального уровня, а также большей части производственных, образовательных, культурно-просветительских, медицинских, спортивных организаций республики действуют в двуязычном режиме (узбекский-русский), а нередко и в трёхязычном (узбекский, русский, английский). Ежегодно проводится конкурс русскоязычной журналистики Узбекистана.

Огромное значение для сохранения и развития русской культуры в Республике Узбекистан принадлежит Русской Православной церкви. Первые православные приходы были открыты в Средней Азии ещё во второй половине 19-века. 4 мая 1871 года была учреждена Туркестанская епархия Московского патриархата, центром которой первоначально был г. Верный (Алма-Ата). В 1917 г. кафедра правящего архиерея была перенесена в Ташкент. Впоследствии Туркестанская епархия получила наименование Ташкентской и Среднеазиатской и объединяла православные приходы четырёх республик – Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Киргизии.

В 2011 году решением Священного Синода РПЦ Ташкентская и Среднеазиатская епархия была преобразована в Среднеазиатский митрополичий округ, объединивший Ташкентскую и Узбекистанскую, Бишкекскую и Киргизскую, Душанбинскую и Таджикистанскую епархии, а также Патриаршее благочиние приходов Русской Православной Церкви в Республике Туркменистан (выделено из состава Ташкентской и Среднеазиатской епархии ещё в 2007 г.). Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий является, при этом, главой Среднеазиатского митрополичьего округа РПЦ.

Таблица 19.

Число православных храмов и монастырей в регионах
Республики Узбекистан*

Регионы Узбекистана	Число православных храмов и монастырей
Республика Каракалпакстан	1
<i>Области:</i>	
Андижанская	1
Бухарская	2
Джизакская	1
Кашкадарьинская	1
Навоийская	3
Наманганская	1
Самаркандская	4
Сурхандарьинская	2
Сырдарьинская	3
Ташкентская	10
Ферганская	3
Хорезмская	1
г.Ташкент	5
Итого по Республике Узбекистан	38

* Таблица составлена по данным веб-сайта <http://www.pravoslavie.uz>

Ташкентская и Узбекистанская епархия подразделяется на 5 благочиннических округов: Бухарский, Гулистанский, Самаркандский, Ташкентский, Ферганский. Общее число приходов в Ташкентской и Узбекистанской епархии достигает 35. Кроме того, в республике действуют 3 монастыря: Ташкентский во имя Святой Троицы и Святого Николая Чудотворца женский монастырь, учрежден в 1894 г., закрытый в 1922 г. и возобновленный в 1990 г.; Душадский (г. Душад Ташкентской области) в честь Покрова Пресвятой Богородицы женский монастырь, основанный в 1992 г.; Чирчикский во имя великомученика Георгия мужской монастырь, учрежденный в 1996 г. Распределение православных храмов по регионам Узбекистана представлено в таблице 19.

Показательно, что процессы возрождения религиозных ценностей, активно протекающие в новейший период истории Узбекистана, благотворно сказались и на развитии инфраструктуры РПЦ в стране. Так, немало храмов было открыто в Узбекистане после обретения Независимости, в частности, в городах Учкудук (1993), Ахангаран (1994), Газалкенте (1996), Нукусе (2002), Чиназе, Красногорске (2007), Ургенче (2013) и других. В 1990 г. было открыто Ташкентское Православное духовное училище, которое в 1998 г. преобразовано в Ташкентскую духовную семинарию. В семинарии на трёх отделениях ведётся пятилетнее обучение православных священнослужителей. Епархиальное управление издаёт газету «Слово жизни» с журналом-альманахом «Восток свыше». Отдел по культуре «Сретение» при Епархиальном управлении, возглавляемый известным в республике и за её пределами театральным деятелем, оперным режиссёром, заслуженным работником культуры Узбекистана Андреем Слонимом, ведёт большую массово-просветительскую работу, ежемесячно организуя в епархии бесплатные концерты, литературно-музыкальные и художественные вечера, собирающие многочисленную русскоязычную публику. При Епархиальном управлении создаётся Музей Русского Туркестана, целью

которого является отражение истории русских и русской культуры на земле Средней Азии, в т. ч. Узбекистана.

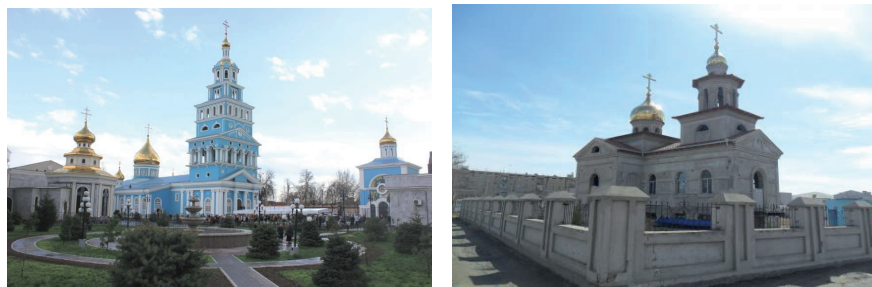


Рис. 21. Свято-Успенский кафедральный собор в Ташкенте и Храм Патриарха Иова Многострадального в Ургенче, построенный в 2013 г.

Для сохранения и преумножения духовных ценностей национальной культуры в условиях полиэтнической среды немаловажное значение имеет развитие литературы и искусства на языке данного народа. В Узбекистане русская литература и искусство занимают видное место в культуре страны. При Союзе писателей Республики Узбекистан действует Совет по русской литературе. Ежеквартально издаётся литературно-художественный журнал «Звезда Востока», который предоставляет возможность публикации русскоязычных произведений не только для признанных мастеров художественного слова, но и для литераторов-дебютантов. Крупные издательства столицы и региональных центров публикуют литературные труды русскоязычных писателей Узбекистана.

Среди русскоязычных литераторов Узбекистана, живущих и активно работающих в настоящее время, можно выделить целый ряд имён, которые составляют цвет многоязычной художественной литературы республики – это такие авторы как Анатолий Бауэр, Михаил Гар, Николай Ильин, Улугбек Хамдам, Баходыр Ахмедов, Раим Фархади, Анатолий Ершов, Александр

Колмогоров, Шухрат Сирожиiddинов, Лариса Юсупова, Ольга Григорьева и другие мастера прозы, поэзии и драматургии. Несколько выдающихся деятелей русской литературы Узбекистана скончались за последние годы, в т. ч. поэт Александр Файнберг, поэт, бард и театральный режиссёр Валерий Баграмов, прозаик и литературовед С. И. Зинин. Примечательно, что в числе крупных деятелей русскоязычной литературы немало представителей других национальностей, в частности, узбекской.

Следует подчеркнуть, что русская литература Узбекистана отличается не только жанровым, но и художественно-стилистическим разнообразием, широким развитием авангардных и экспериментальных творческих течений, что является следствием глобализации и интернационализации культурно-художественной среды современной русской литературы, в орбиту которой вовлечена и наша республика.

Развиваются в Узбекистане русское языкознание и литературоведение. С 2013 г. при Ташкентском государственном институте Востоковедения действует Объединённый диссертационный совет по защите докторских диссертаций по славянской филологии (до 2012 г. учёный совет по славянской филологии действовал на факультете зарубежной филологии Национального университета Узбекистана). Научные исследования по данному направлению проводятся в отделе русского языка Института языка и литературы АН РУз и на кафедрах русского языкознания и литературоведения вузов республики, наиболее видным научным потенциалом среди которых обладают кафедры соответствующего профиля Национального университета Узбекистана, Узбекского государственного университета мировых языков, Ташкентского государственного института Востоковедения, Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, Самаркандского государственного университета имени А.Навои.

Важными организационными центрами русской литературы являются культурно-просветительские учреждения, располо-

женные в Ташкенте: Государственный литературный музей С. А. Есенина, дом-музей А. А. Ахматовой «Мангалочий дворик», дом-музей С. П. Бородина, где регулярно проводятся многочисленные творческие вечера, презентации новых литературно-художественных изданий русскоязычных авторов, литературно-музыкальные мероприятия, художественные выставки. Конечно же, в провинции развитие русской литературы и культуры протекает гораздо скромнее, чем в столице республики, но это вполне закономерно с учётом расселения русскоязычного населения страны и общей пространственной тенденции к активизации культурной жизни от периферии к центру, прослеживающейся практически в любых общественно-географических условиях.

Большое развитие получил в Узбекистане русскоязычный театр. Так, из 12 театров г. Ташкента – 7 осуществляют свою творческую деятельность полностью или по большей части на русском языке: Государственный Академический Большой театр оперы и балета имени А.Навои, Республиканский Академический русский драматический театр, Театр Марка Вайля «Ильхом», Государственный театр музыкальной комедии (оперетты), Молодёжный театр Узбекистана, Театр-студия «Аладдин» и Республиканский театр кукол. В Фергане действует Русский драматический театр имени М. Горького, а в Самарканде – Русский драматический театр имени А. П. Чехова.

Разнообразные культурно-просветительские мероприятия, связанные с наследием русской культуры, проводятся в Государственной Консерватории Узбекистана, являющейся центром музыкальной жизни Ташкента. Заметными событиями в культурной жизни Узбекистана являются регулярно проводимые республиканские конкурсы исполнителей русского романса, актёрской и авторской песни, организуемые консерваторией, ведущими театрами столицы и Русским культурным центром Узбекистана.

Богатые собрания произведений русских художников, в частности, живших и творивших в Средней Азии, хранятся и выставляются в музеях республики, особенно, в Государственном Музее искусств и в Республиканской галерее изобразительного искусства в Ташкенте. Особую историко-эстетическую ценность имеет уникальная коллекция творений русских художников-авангардистов 20-столетия, которой располагает Музей изобразительных искусств имени И. В. Савицкого в г. Нукусе – столице Республики Каракалпакстан.

В целом, анализ использования русского языка в различных сферах искусства Узбекистана показывает его весомое значение в элитарной культуре республики, в частности, в художественной литературе, оперном и драматическом театре, академической музыке, и гораздо меньшее применение – в массовых направлениях искусства, например, в кинематографе и на эстраде. Последнее объясняется количественной несопоставимостью русскоязычной и узбекской аудитории страны, что определяет общий вектор ориентации массовой культуры и шоу-бизнеса на удовлетворение запросов широких слоёв населения. Впрочем, слабое развитие русскоязычной массовой культуры в республике полностью компенсируется широким доступом населения к продукции российского кино и шоу-бизнеса посредством кабельного телевидения, Интернета, аудио- и видеопродукции.

Все творческие вузы республики, в частности, Государственная Консерватория Узбекистана, Ташкентский государственный институт культуры и искусств, Национальный институт живописи и дизайна имени Камолиддина Бехзода, Высшая школа национального танца и хореографии, осуществляют подготовку бакалавров и магистров на русском языке, наряду с узбекским. На русском языке ведётся обучение и во многих средних специальных учебных заведениях творческого профиля. Безусловно, наличие возможностей получить полноценное профессиональное образование в сфере культуры на русском языке имеет

неоценимое значение для поддержки и дальнейшего развития русского искусства в Узбекистане.

Вместе с тем, говоря о факторах, способствующих развитию русской культуры в Республике Узбекистан на современном этапе, отдельной строкой следует отметить многогранную деятельность Русского культурного центра, под эгидой которого организуются фестивали и конкурсы русскоязычного творчества, смотры художественной самодеятельности, праздники народной культуры, юбилеи и авторские вечера видных деятелей русской культуры республики.

Важным условием поддержания и развития русского языка и культуры в условиях Узбекистана является сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере с Российской Федерацией. Большую роль в этом играет организация «Россотрудничество», которая осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений Российской Федерации с государствами – участниками Содружества независимых государств, другими иностранными государствами, а также в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Эта структура осуществляет разноплановые программы по укреплению позиций русской культуры в стране.

Одним из наиболее массовых направлений культурно-гуманитарного межгосударственного сотрудничества является обучение граждан Узбекистана в вузах России. По данным организации «Россотрудничество» и Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан, в российских вузах, по состоянию на 2013-2014 учебный год, обучаются 10,9 тысяч студентов из Узбекистана. Этот показатель обеспечил последнему вхождение в пятёрку стран, лидирующих по числу студентов, получающих высшее образование в РФ (табл. 20). В частности, в 2013 г. 180 узбекистанцев получили возможность обучаться в российских вузах на бесплатной основе.

Таблица 20.

Численность студентов из зарубежных стран, обучающихся в
вузах РФ (по состоянию на 2013–2014 учебный год)
(Россия увеличит, 2013)

Страна	Студентов, тысяч человек
Казахстан	30,7
Белоруссия	27,1
Китай	16,9
Украина	11,2
Узбекистан	10,9
Азербайджан	8,3
Молдова	5,6
Индия	4,5
Вьетнам	3,9
Армения	3,5
Монголия	5,6
Малайзия	2,9

Подводя итоги анализу места русского населения и русской культуры в общественно-географической реальности современного Узбекистана следует отметить следующее.

1. В постсоветский период произошло заметное сокращение численности русского населения и его удельного веса в этнической структуре населения Узбекистана, что явилось следствием как интенсивной миграции в первые 10–15 лет после распада СССР, так и кардинального различия в репродуктивных установках и возрастной структуре русского населения и представителей коренных наций Средней Азии.

2. Расселению русского населения Узбекистана изначально свойственна ареальная дискретность и сосредоточенность в крупных урбоиндустриальных центрах, что в годы Независимости республики практически не претерпело существенных изменений.

3. Русский язык, не имея официального статуса по законодательству Республик Узбекистан, тем не менее, сохраняет большое значение в общественно-государственной жизни страны и широко используется в самых различных сферах. При этом, степень владения русским языком у местного населения, как и общественно-культурная значимость русского языка, последовательно возрастает от сельской периферии к столице республики.

4. Русскоязычное обучение представлено на всех стадиях образования в Узбекистане, причём удельный вес обучающихся на русском языке значительно выше доли русских в этнодемографическом составе жителей регионов страны и растёт из года в год. Это свидетельствует о росте популярности русскоязычного образования у титульной нации.

5. Русский язык сохраняет свою роль в области науки, особенно в естественных, технических и медицинских науках, тогда как в обществоведении русский язык постепенно уступает приоритетную роль государственному языку республики.

6. Наибольшую значимость среди средств массовой информации русский язык имеет в печати, тогда как на радио и телевидении его использование несколько ограничено. Последнее компенсируется распространённостью российского кабельного телевидения и спутниковых антенн во всех регионах страны, в т. ч. на периферии.

7. Возрождение религиозной инфраструктуры, отмечаемое в стране на постсоветском этапе развития, непосредственно затронуло и положительно повлияло на положение Русской Православной церкви в Узбекистане. Это выразилось в расширении сети храмов и монастырей, появлении духовных учебных заведений, регулярном проведении религиозно-культурных мероприятий во всём геопространстве страны.

8. В культурной жизни Узбекистана русский язык широко представлен в элитарных жанрах искусства, таких как художественная литература, оперный и драматический театр, акаде-

мическая музыка, не используя при этом в существенной степени в массовой культуре, в частности, в национальном кинематографе и на эстраде.

9. Между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией устойчиво протекают процессы взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, наиболее интенсивно выраженные в области образования, прежде всего высшего. Узбекистан, по последним статистическим данным, входит в первую пятёрку стран, граждане которых получают высшее образование на территории Российской Федерации.

10. В обозримой перспективе значение русской культуры в общественной жизни республики, безусловно, сохранится и, вполне возможно, возрастет с учётом тесного всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и Россией, имеющего давние традиции. Немаловажную роль в этой связи играет этническая и религиозная толерантность народов Узбекистана, способствующая устойчивости этнополитического климата в стране.

4.5. ФАКТОРЫ И ТРЕНДЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОСТСОВЕТСКОЙ МОЛДОВЕ

Республика Молдова относится к тем странам нового зарубежья, политика которых в отношении русского населения и русской культуры в период распада СССР и становления новой государственности была сравнительно жесткой. На протяжении последних двадцати лет здесь происходило формирование новых социально-культурных условий жизни русскоязычного населения, что напрямую отразилось на его численности и воспроизводстве культуры.

Таблица 21.

Этническая структура населения Молдавии, % *

Национальность	1941 г.	1959 г.	1970 г.	1979 г.	1989 г.	2004 г.**	Приднестровье, 2004 г.
Молдаване	68,7	65,4	64,6	63,9	64,5	75,8	31,9
Украинцы	11,0	14,6	14,2	14,2	13,8	8,3	28,8
Русские	6,6	10,2	11,6	12,8	12,9	5,9	30,3
Гагаузы	4,9	3,3	3,5	3,5	3,5	4,4	0,7
Болгары	7,5	2,1	2,1	2,0	2,1	1,9	2,5
Евреи	0,2	3,3	2,7	2,0	1,5	0,1	0,2
Другие национальности	0,6	1,1	1,3	1,6	1,7	3,6	5,6
Итого	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* Составлено по данным Национального бюро статистики Республики Молдова – <http://www.statistica.md> и Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской Республики - <http://www.mepmr.org>

** Данные за 1941–1989 гг. – в границах Молдавской ССР, данные за 2004 г. – без учета Приднестровья (по данным переписи населения Республики Молдова).

Наряду с этнополитическими и культурно-языковыми условиями, принципиально важную роль в изменении положения русской культуры в Молдове сыграли и социально-экономические факторы.

Русская культура в Молдавии имеет давние исторические корни. Веками представители различных этнических групп жили в Молдавии вместе; республика отличалась мозаичностью и сложностью национального состава; к концу 1980-х гг. доля русских достигала 13,8 % населения.¹ В условиях существования единого государства – СССР – русский язык и русская культура были необходимым средством коммуникации всего населения республики, а статус русского языка в Молдове был более высок по сравнению с другими республиками бывшего Союза (за исключением Украины, Белоруссии, Казахстана).

Однако дружелюбное сосуществование этносов было нарушено на рубеже 1980–1990-х гг. действиями неформальных националистических организаций (и прежде всего, Народного фронта Молдовы), которые в условиях ухудшения социально-экономической ситуации начали «охоту на ведьм», обвинив во всем русский народ и русскоязычных граждан Молдавии. На волне возрождения национального самосознания коренного населения именно русскоязычных жителей Молдавии упрекали в принижении статуса титульного этноса, и из «старшего брата» русские превратились в «колонизаторов» (им поставили в вину насильственное присоединение Бессарабии к России в 1812 г., аннексию и отлучение от «матери Румынии» при образовании Молдавской ССР в 1940 г.), их объявили «людьми второго сорта», «манкуртами», «маргиналами», пребывание которых в республике стало нежелательным. На фоне этого психологический шок, испытанный русскими накануне и после развала СССР, связанный с резким изменением отношения к ним со стороны молдаван и угрозой понижения социального статуса, оказался

¹ По данным переписи населения 1989 г.; источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова.

даже сильнее, чем, например, у русскоязычных в Прибалтике (Остапенко, Субботина, 2011).

До распада СССР в течение многих десятилетий положение русских в Молдавии было сравнительно стабильным и благоприятным. Русские составляли значительную часть жителей Кишинева и других крупных городов, они были широко представлены в ведущих отраслях экономики, в первую очередь в промышленности, в сфере управления, где русский язык играл доминирующую роль (Остапенко, Субботина, 2011). Провозглашение в 1989 г. молдавского языка единственным государственным языком, перевод его на латинскую графику и идентификация с румынским, а также установление неоправданно коротких сроков перехода на этот язык системы образования и управления, издательского дела и других сфер – поставило русскоязычных граждан, не владевших молдавским языком, в безвыходное положение в вопросах трудоустройства и карьерного роста, вынудило многих эмигрировать (по данным переписи населения 2004 г., доля русских, без учета Приднестровья, составляет менее 6 %¹ и за 15 лет межпереписного периода снизилась более чем в 2 раза) (табл. 21).

Причем, всплеск национализма болезненно отразился не только на русских, но и на всём русскоязычном населении Молдовы – украинцах, белорусах, болгарях, гагаузах, не владеющих румынским языком. В итоге, существенно сократилась область применения русского языка и его изучение как в общеобразовательных учреждениях, так и вузах Молдавии; книгоиздание и деятельность СМИ были переведены исключительно на румынский язык; русскоязычные граждане были вытеснены из многих ключевых сфер деятельности из-за незнания государственного языка. Ухудшению социально-культурного положения русской диаспоры способствовала развернутая в Молдове на рубеже 1980–90-х гг. политика «румынизации», которая затронула не

¹ По данным Национального бюро статистики Республики Молдова - <http://www.statistica.md>.

только идеологию, но и сферы культуры и образования, а в конечном своем итоге привела к вооруженным столкновениям и провозглашению в южных районах республики Гагаузской автономии, а на левобережье Днестра – непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Необходимо констатировать, что в 2000-х гг. явное негативное отношение и полное неприятие к русскому языку и русской культуре в Молдавии хотя и сгладилось, ушло от открытой русофобии, но не исчезло, стало носить менее активный, но более глубокий характер. Снижению градуса агрессивности в отношении русских и русского языка в Молдове способствовали интенсивная трудовая миграция представителей молдавского этноса в Россию, ослабление заинтересованности внимания политических элит Румынии к Молдове как потенциальному соседу для интеграции (что отнесло на второй план перспективу объединения двух стран, муслировавшуюся в качестве одного из главных лозунгов внешней политики Молдовы в начале 1990-х годов и существенно испугавших многих русскоязычных граждан, опасавшихся «внезапно проснуться в другой стране»), смягчение официальной этноязыковой политики правящих кругов Молдовы в отношении русской диаспоры на волне демократизации национальной политики (как одно из условий вступления в Ассоциацию с Европейским Союзом). Произошло и постепенное приобщение русского населения к молдавскому языку – скорее вынужденное, связанное с возможностями трудоустройства в молдавоязычном обществе. Процесс вытеснения русского языка из тех сфер, где он еще хоть как-то сохранил свои функции – медицины, юридического и бытового обслуживания, хотя и менее интенсивно, но все же продолжается. Особенно сильно политика дерусификации затронула сферу образования.

Основным распространителем русского языка в Республике Молдова была и остается школа с преподаванием на русском языке. Однако с начала 1990-х гг. количество общеобразовательных учреждений с русским языком обучения существенно

сократилось, а число учащихся в них уменьшилось более чем в 2 раза – с 161 тыс. чел. в 1995 / 96 учебном году до 78 тыс. в 2011 / 12 учебном году. Первоначально власти закрыли ряд русских школ в крупных городах, и прежде всего в Кишиневе, обычно достаточно благоустроенных и оснащенных техникой (за счет шефствовавших над русскими школами крупных предприятий союзного подчинения с русскоязычным персоналом) и открыли вместо них (в тех же зданиях) школы с молдавским языком обучения; перевели русские школы из центра городов на окраины, ликвидировали вокруг них детские сады с воспитанием на русском языке, что осложняло пополнение будущими учащимися русских школ (Остапенко, Субботина, 2011). Так, численность детей в дошкольных учреждениях образования с русским языком обучения и воспитания уменьшилось с 38 тыс. в 1995 г. до 20 тыс. в 2000 г. и 27 тыс. 2012 г.¹ Если в в 1999 / 2000 учебном году в Молдавии насчитывалось около 300 русскоязычных школ и более 100 билингвальных, то к 2010 / 11 учебному году этот показатель снизился до 240 школ с обучением на русском языке и 84 смешанных школ с русскоязычными классами (руско-молдавские, русско-гагаузские, русско-украинские и др.) (Остапенко, Субботина, 2011).

Новая волна нападков на русские школы пришлась на последние годы. В 2011 году правительство Молдовы начало реформу образовательной системы, предусматривающую «оптимизацию» порядка 400 средних учебных заведений, выраженную в закрытии и ликвидации до 2013 года 1044 классов, увольнении 7800 преподавателей.² Прежде всего данные мероприятия затронули русские школы в сельских районах, считавшиеся неперспективными по числу учащихся (вынудив детей ездить для обучения за несколько километров в районные центры, причем, по очень плохим дорогам), а в последствие – и городские.

¹ Данные Национального бюро статистики Республики Молдова - <http://www.statistica.md>.

² Источник: www.omg.md.

В итоге, целые районы страны остались без русскоязычных учебных заведений как начальных и средних, так и высших. Под «оптимизацию школ» попали тысячи русскоязычных детей – молодых граждан, которые теперь не имеют возможности обучаться на родном языке, что гарантирует им Конституция. Наглядными в этом отношении являются действия родителей города Криуляны, которые были вынуждены в январе 2013 г. перевести своих детей в русскую школу города Дубоссары, находящегося под юрисдикцией непризнанной Приднестровской республики (О жизни русских, 2013). Неоднократно делаются заявления и о необходимости перевести все русские школы Молдовы на частное финансирование.

Заметно снизилась доля студентов в группах с русским языком в колледжах и вузах. Среди крупных учреждений среднего профессионального образования, ведущих обучение на русском языке, в Молдове остались всего лишь единицы, а численность обучающихся в них за 1995–2012 гг. снизилась вдвое – с 6 тыс. до 3 тыс. человек. Доля обучающихся в русскоязычных группах в вузах Молдовы в 1995–2000 гг. составляла около 30 % всех студентов, а к 2010 г. она снизилась до 1 / 10 части. В 2011–2013 гг. русскоязычные группы целенаправленно не набирались или были ликвидированы под предлогом малокомплектности. Особенно скандальными были эти акции в Молдавском государственном университете, Техническом университете, Аграрном университете, Государственном педагогическом университете, Экономической академии, Бельцком госуниверситете. Русскоязычных преподавателей отстранили от учебного процесса, а румыноязычная учебная литература и не владеющие русским языком преподаватели не способны полноценно компенсировать возникший вакуум, что существенно снижает качество обучения русскоязычных студентов. Единственным вузом Республики Молдова, полностью ориентированным на русскоязычный образовательный сегмент, является негосударственный Славянский университет в г. Кишиневе. Обучение на

русском также ведется в двух государственных вузах – Комратском государственном университете в административном центре Гагаузии (обучается 2,4 тыс. студентов) и в Тараклийском государственном университете им. Григория Цамблака, расположенном на юге Молдовы, на границе с Украиной, в районе компактного проживания болгарской общины (обучается свыше тысячи студентов). Небольшие русскоязычные группы пока еще сохранились в 15 других государственных университетах и в нескольких негосударственных вузах (Арефьев, 2012).

В условиях сокращения русскоязычных групп единственной альтернативой завершения или получения качественного образования на родном языке для русскоязычной молодежи Молдовы является перевод для обучения или поступление в вузы России. Ежегодно для выпускников русских школ Молдовы предоставляются квоты целевого набора для поступления на определенные специальности в ряд российских вузов, в том числе и ведущих, и обучения в них за счет средств бюджета Российской Федерации. Следует признать, что эти квоты из года в год являются весьма востребованными, и для приобретения права ими воспользоваться даже проводится конкурсный отбор со стороны русскоязычных выпускников молдавских школ. С 2006 года аналогичные отдельные целевые квоты в российские вузы выделяются и для выпускников русских школ Приднестровья. Причем, число таких квот постоянно растет: в 2012 г. было предоставлено 80 мест в вузах России Министерству просвещения Республики Молдова, 170 мест – посольству Российской Федерации в Республике Молдова, 150 мест – выпускникам из Приднестровья. Ежегодно определенное количество мест предоставляется для обучения в магистратуре и аспирантуре российских вузов.

Таким образом, этнолингвистическая ситуация в Молдове в отношении положения русского языка продолжает оставаться сложной и противоречивой. С одной стороны, понижение (как на официальном уровне, так и в общественной практике) статуса русского языка существенно изменило его роль, затронув

интересы и чувства значительной части жителей. В течение десятилетий русский язык был распространен на территории Молдавии достаточно широко: на нем свободно разговаривало более половины живущих в республике молдаван, а для 2/3 немолдавского населения русский язык был родным или вторым языком, которым они свободно владели (Остапенко, Субботина, 2011). Важно отметить также, что многие двуязычные молдаване нередко владели русским языком лучше, нежели молдавским, и с трудом стали воспринимать тексты на молдавском языке, в которых использовался латинский шрифт. В силу массового отъезда из Молдовы русскоязычного населения, особенностей государственной языковой политики, разрыва связей с другими странами бывшего СССР, существенно снизилась необходимость использования русского языка. Если в еще недалеком прошлом родители в молдавских семьях нередко старались говорить дома на русском языке, чтобы дети его лучше усваивали, то теперь необходимость в этом отпала. Большинство молдаван использует в семейном быту преимущественно молдавский язык.

С другой стороны, русский язык, несмотря на ряд запретов для употребления в официальной и коммерческой переписке, закрытие русских школ и ликвидацию русскоязычных групп в вузах, сохраняет свое существенное значение на семейно-бытовом уровне и в межнациональном общении. Этому способствует сохранение межнациональных браков, распространение периодики на русском языке, трансляция на территории Молдавии российских телеканалов, преобладание русскоязычного сегмента Интернета, заинтересованность многих родителей в изучении русского языка их детьми в молдавских школах, хотя бы как иностранного. В итоге, уровень знания русского языка большинством молдаван остается достаточно высоким. Многие этнические молдаване окончили школу в советской Молдавии, достаточно хорошо владеют русским языком, в той или иной мере используют его в повседневной жизни. У них есть опре-

деленный интерес в том, чтобы русский язык сохранялся в республике в качестве языка межнационального общения, языка ряда средств массовой информации, а также частично в науке, искусстве, литературе. Однако, будучи в определенной степени ориентированными на овладение русским языком, большинство молдаван, не поддерживают идею придания ему статуса второго государственного языка (Остапенко, Субботина, 2011). В итоге, наблюдается своеобразный парадокс – сфера употребления русского языка в Молдавии сужается год от года, а число желающих его изучать, напротив, растет (Семенова, 2013).

Хотя число лиц, признающих русский язык родным в Молдове за последние два десятилетия существенно сократилось, но степень владеющих русским языком жителей республики остается весьма высокой. Если в 1989 г. (по данным переписи населения) русский назвали родным в Молдавии более миллиона человек (таблица 22) (из них 250 тыс. чел. – в левобережных районах Приднестровья), в том числе 557 тыс. русских, 220 тыс. украинцев, 120 тыс. молдаван, 48 тыс. евреев, 11 тыс. белорусов, то в 2004 г. число таковых было уже 382 тыс. человек (без учета Приднестровья), в том числе 196 тыс. русских, 63 тыс. молдаван, 90 тыс. украинцев, свыше 30 тыс. представителей других этносов (болгары, гагаузы, белорусы, евреи, поляки, немцы)¹. По оценкам социологов, по состоянию на 2012 г. число тех, для кого русский язык остался родным в Республике Молдова, – не более 250 тыс. чел. (Арефьев, 2012).

Языком, на котором обычно разговаривают, признали для себя русский язык в 2004 году свыше 540 тыс. чел., т. е. 16 % населения Молдовы, а в той или иной степени им владели 51,8 % жителей (для сравнения, молдавский / румынский язык знали в 2004 году 81 % населения). В то же время, в качестве повседневного в обиходе русским языком пользуются (по данным переписи 2004 г.) не только русские (188 тыс. чел.) или славяноя-

¹ Данные Национального бюро статистики Республики Молдова - <http://www.statistica.md>.

зычные (около 170 тыс. чел.) жители, но и молдаване, которые составляют около ¼ жителей, указавших русский в качестве разговорного языка для себя (табл. 22).

Таблица 22.

Состав населения Республики Молдова по родному языку
в 1989 и 2004 гг.

Родной язык	1989 год*		2004 год**	
	Численность, тыс. чел.	Доля, %	Численность, тыс. чел.	Доля, %
Молдавский	2 687,9	62,0	2 513,9	64,2
Русский	1 001,5	23,1	382,8	11,3
Украинский	368,5	8,5	183,0	5,4
Другие языки	277,5	6,4	308,3	9,1

* Включая территорию Приднестровья

** Без Приднестровья

Навыки русского языка среди молдавского населения поддерживаются массовой трудовой миграцией в Россию. По оценкам социологов, около 1/3 трудоспособного населения Молдовы (600 тыс. чел.) регулярно уезжает на заработки, из них половина – в Россию. Однако в последнее время все большее число трудовых мигрантов начинает переориентироваться на выезд для работы в страны Восточной и Западной Европы, чему способствует активное приобретение жителями Молдовы гражданства соседней Румынии и ужесточение законодательства Российской Федерации в отношении пребывания мигрантов.

Многие представители современной молдавской молодежи продолжают, как их отцы и деды, тянуться к русской культуре, научным и техническим достижениям России. Сейчас на улицах Кишинева, где проживает около 100 тыс. русских (14 % населения муниципалитета и почти половина русских всей Молдовы), можно услышать и русскую речь, иногда почти наравне

с молдавской. В кафе и ресторанах, в крупных магазинах звучит популярная русская музыка, на гастроли приезжают звезды российского шоу-бизнеса. За пределами молдавской столицы русская культура и язык в наибольшей мере распространены в Гагаузии (хотя русских здесь менее 6 тыс. чел. из 150-тысячного населения автономии, но русский язык, наравне с гагаузским и молдавским, является одним из трех официальных языков (Арефьев, 2012)) и в городах Бельцы (где русские – 24 тыс. чел. и украинцы – 30 тыс. чел. составляют почти половину населения города) на севере республики и в г. Кагул на её юге (где 6 тыс. русских и 4 тыс. украинцев составляют 28 % жителей города).¹

На воспроизводство русской культуры в Молдове и ее место в обществе значительно влияет политический фактор и политическая конъюнктура. С конца 1990-х гг., с приходом к власти коммунистов, пользовавшихся значительной поддержкой русскоязычного населения, появились некоторые перспективы укрепления позиций русского языка в Молдове. В 2001 г. правящая коммунистическая партия представила в Конституционный суд законопроект о придании в Молдове русскому языку статуса второго официального и внесении изменений в Основной закон страны. Законопроект предусматривал свободное использование в республике русского языка, при этом граждане Молдовы должны будут владеть обоими языками. Этот законопроект был принят парламентским большинством республики, опирающимся в своем решении на тот факт, что на русском языке говорит более трети населения. Тем не менее, в июне 2002 г. Конституционный суд признал молдавский язык единственным государственным языком страны, отменив, тем самым, решение парламента об использовании русского языка наравне с молдавским в качестве государственного (Суляк, 2010).

Реформа в системе образования привела к тому, что русский язык в национальной школе стал иностранным, изучаемым с

¹ По данным переписи населения Молдовы 2004 г., источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова - <http://www.statistica.md>.

5 класса по желанию как один из иностранных языков (на его изучение отводится по 2 часа в неделю, а преподавание ведется зачастую на низком уровне). Поэтому за годы независимости уже сложился определенный слой молдавской молодежи, прошедшей обучение в молдавских школах по новым программам и не знающей (или плохо знающей) русский язык. Живя в полиэтнической среде, рядом с русскими, украинцами, болгарями, гагаузами, говорящими преимущественно на русском языке, молдавские юноши и девушки в той или иной мере осваивают русский язык на обыденном уровне. Но этого явно недостаточно для полноценного общения. Незнание русского языка молдавскими детьми, выросшими за десятилетие независимости, может быть использовано для раскручивания очередного витка межэтнической напряженности в Молдове (Остапенко, Субботина, 2011).

В первой половине 1990-х годов в Молдове шло наступление на русский язык и в средствах массовой информации. Сократилась доля печатных изданий на русском языке, радио и телепередач (на молдавском языке они должны составлять теперь не менее 70 % телевизионного времени). Так, если в период СССР большинство изданий Молдавии были русскоязычными (950 или 64,0 % из 1484 наименований книг и брошюр, вышедших в 1986 году, совокупным тиражом в 11,2 млн. экз. или, в среднем, по 11,8 тыс. экз. каждого русскоязычного издания), то в 2011 году на русском языке вышло около 700 книг и брошюр или менее 30 % от их общего количества (2470), изданных в Молдове, средним тиражом около 1 тысячи экземпляров (у 1730 наименований книг и брошюр, изданных в 2011 году на румынском языке, средний тираж составлял 1,5 тысячи экземпляров каждого издания) (Арефьев, 2012). Однако, влияние государственной языковой политики на СМИ, многие из которых уже не принадлежали государству, уменьшалось. Издательства, руководители кампаний на радио и телевидении в условиях рынка должны были, прежде всего, ориентироваться на инте-

ресы потребителя, а интерес к русскоязычным передачам в той или иной мере сохранялся. Телезрители Молдовы по кабельным сетям продолжают смотреть ряд программ российского телевидения (Остапенко, Субботина, 2011).

Несмотря на то, что сфера использования русского языка в средствах массовой информации сужается, ряд популярных газет и журналов, особенно экономического и технического содержания, продолжают издаваться (иногда дублироваться) на русском языке. Если в 1986 г. русскоязычными было 58 % газет и 67 % журналов, издававшихся в Молдавии, то в 2011 г. их доля (она составляет около половины всех изданий) хотя и снизилась, но, в силу их популярности, остается относительно высокой, а совокупный тираж превосходит румыноязычные издания.¹ На территории республики ведут вещание русскоязычные радиостанции.

В Кишинёве плодотворно работают Русский драматический театр им. А. П. Чехова, Театр-студия «С улицы Роз» и городская русская библиотека им. М. В. Ломоносова. В виртуальном пространстве как по содержанию, так и по популярности безраздельно доминируют русскоязычные сайты и порталы.

Принципиально важно, что русский язык стал и языком бизнеса. Почти вся экономическая пресса в республике издается на русском языке, русский язык предпочитают продавцы многих коммерческих магазинов Кишинева; на русском написаны аннотации к выставленным товарам, всевозможные объявления с приглашением на работу в коммерческие структуры, с предложением разного рода услуг и т. п., что свидетельствует о широком распространении русского языка среди жителей города и в ряде случаев о предпочтении его молдавскому. Некоторые политические деятели обвиняют молдаван в том, что они слишком широко и глубоко приобщились к русскому языку и культуре, а русских в том, что у них нет стимулов изучать молдавский

¹ Данные Национального бюро статистики Республики Молдова - <http://www.statistica.md>.

язык. По их словам «за последние годы Молдова не только не молдованизировалась, а, наоборот, еще больше русифицировалась» (Остапенко, Субботина, 2011).

В силу необходимости перевода всей документации на молдавский язык, многие русскоязычные предприниматели и бизнесмены вынуждены готовить отчеты и другие документы только на государственном языке, т. е. в той или иной мере знать молдавский язык, чтобы не просить коллег о переводе. Благодаря этому молдавский язык стал более популярен при профессиональном общении, хотя многие термины продолжали звучать на русском языке (Остапенко, Субботина, 2011).

Активны в поддержании и воспроизводстве собственной культуры и сами представители русской диаспоры в Молдове, объединившиеся в Конгресс русских общин (он широко представлен по всей территории республики в виде филиалов в 23 городах и 18 селах) и несколько общественных движений («Русское духовное единство», «Российский центр науки и культуры», «Центр по защите российских соотечественников, проживающих в Молдове и Приднестровье», «Русский интеллектуальный центр», «Лига русской молодежи Республики Молдова», «Ассоциация русских писателей Молдовы», «Ассоциация русских журналистов Республики Молдова», «Ассоциация преподавателей русских учебных заведений», «Ассоциация женщин «Россиянка», «Товарищество русских художников Республики Молдова «М-АРТ»). Ими проводятся культурно-массовые мероприятия, этнокультурные фестивали, олимпиады по русскому языку и литературе, агитационные акции, посвященные истории России, реконструируются памятники и мемориалы русской воинской славы. Они оказывают помощь в отстаивании своих прав представителям русской диаспоры, в трудоустройстве и получении высшего образования молодежи в вузах России. Функционируя под эгидой Посольства Российской Федерации в Молдове, общественные организации русской диаспоры в Молдове формируют русскоязычную общность и пророссийский менталитет в сложных и противоречивых условиях.

Русские в Молдове осознают себя частью многонационального государства, согласны уважать это государство, но при этом требуют, чтобы и государство, в лице своих представителей, уважало все этносы без исключения, проживающие на его территории. Им не хочется быть ассимиляционным материалом или выступать «мягкой силой» в парламенте согласно квотам от нацменьшинств. Они хотят быть частью Русского мира, быть русскими людьми, восторгаться русской культурой, говорить на том языке, к которому зовет душа и разум. Поэтому, по мнению русской диаспоры Молдовы, будущее положение русского языка и русской культуры во многом зависит и от умелой языковой политики руководства республики, в основе которой должны лежать меры, прежде всего, по восстановлению официального статуса русского языка. Немаловажное значение, по мнению аналитиков, будет иметь и рост двуязычия русских, которое, хотя и весьма медленными темпами, но и все же происходит в Молдове. В этом случае одноязычные молдаване будут находиться в худшем положении, чем русские, знающие молдавский язык, которые, имея более высокий образовательный уровень и профессиональные навыки, смогут потеснить молдаван на рынке труда и в социальной стратификации. Важно отметить и тот факт, что проживающие в Молдове этнические меньшинства (украинцы, болгары, гагаузы, евреи) продолжают ориентироваться на русский язык. Можно спрогнозировать, что и в ближайшем будущем почти треть населения республики (включая русских) будет знать и пользоваться русским языком, что, в свою очередь, может стимулировать и молдаван изучать русский язык и применять его как средство межнационального общения. Отторжение же русского языка и русской культуры не только негативно отразится на положении русскоязычно населения, но и обеднит весь социально-культурный комплекс Республики Молдова, приостановит творческую деятельность многих учреждений культуры.

Румынизация молдавского общества и вытеснение русского языка из всех сфер жизнедеятельности общества стало одной

из решающих причин отделения Приднестровья (где преобладает русскоязычное население), от Молдовы. В регионе в качестве официальных объявлены три языка – русский, украинский и молдавский, при доминирующей роли в обществе первого, который является фактически рабочим языком.

В Приднестровской республике русские практически не испытывают чувства национального дискомфорта, их социальный статус в целом не изменился. Активно развивается образование на русском языке, поддерживаются тесные связи с образовательными учреждениями России по линии фонда «Русский дом», проектов «Русская школа за рубежом», «Московский аттестат»; библиотеки региона обновляют свои фонды литературой на русском языке за счет правительственной помощи России; в учреждениях культуры систематически пропагандируется русская культура и мировоззрение, осуществляется гастрольная деятельность российских артистов.

На Приднестровье распространяется российское образовательное поле. Сегодня на русском языке ведётся обучение в 145 из 181 школ региона (в 126 исключительно на русском, в 19 – на русском и другом официальном языке).¹ Главным проводником высоких российских образовательных стандартов, культуры и идеологии выступает Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, а также филиалы российских негосударственных вузов. Русскоязычное пространство Приднестровья формирует достаточно мощная система общественных организаций пророссийской направленности и СМИ; свободно транслируются ведущие российские каналы.

Следует отметить, что у такого положения русской культуры в регионе имеются глубокие исторические корни – Приднестровье на протяжении более трёх столетий непосредственно входило в российское геополитическое пространство, а в судьбе региона важную роль сыграли выдающиеся российские государствен-

¹ По данным Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской Республики.

ные деятели и полководцы Г. А. Потёмкин, А. В. Суворов, Екатерина II, Ф. де Воллан, П. Х. Витгенштейн и др. Уроженцами края были выдающиеся деятели российской науки и культуры: А. Г. Рубин-штейн, Л. С. Берг, Н. Д. Зелинский, Н. В. Склифосовский и другие.

По данным текущего статистического учета населения доля русских в этническом составе населения региона составляет более 30 % (табл. 21), а русский язык по данным этносоциальных исследований является родным более чем для $\frac{1}{2}$ населения Приднестровья. Несмотря на то, что Приднестровье – это полиэтнический регион, большинство приднестровцев по самосознанию ощущают себя россиянами, а консолидирующей основой социума являются общность исторического прошлого, русский язык и православные духовно-нравственные ценности. Политологические, этнографические и социологические исследования показывают, что от 75 % до 90 % респондентов безоговорочно признают государствообразующую роль российской культуры в создании и жизнеспособности ПМР (Погорелая, 2010).

В определенной степени создание Приднестровской Молдавской Республики в 1990 г. может рассматриваться как результат сепаратизма русскоязычного населения. Именно русский язык выступает в регионе в качестве цементирующей составляющей приднестровской ментальности. В то же время русские Приднестровья активно поддерживали консолидацию русских на территории Молдовы, а ПМР стала регионом притяжения русскоязычных мигрантов из разных регионов Молдовы и, в первую очередь, из Гагаузии. Русскому населению Молдавии и Приднестровья свойственны диаметрально противоположные типы идентичности. В Молдавии представлена русская национальная идентичность с выраженным «комплексом неполноценности», поскольку им давали почувствовать, что они «лишние граждане» (Вендина, 2001). В Приднестровье идентичность русских несколько «размыта» и слита с пониманием единства всего населения, как

региональной общности, выступавшей за этническое равноправие всех культур и языков, традиционно распространенных на территории многонациональной Молдавии (в противовес румынизации) и проявлением чувства национальной благодарности к России за политическую, экономическую и социально-культурную поддержку и помощь в развитии.

Особую историческую роль в распространении и поддержке русской культуры в Молдове играет православное христианство, закрепившееся на молдавских землях еще в средние века. Его распространение способствовало использованию церковно-славянского языка не только в богослужениях, но и в качестве официального и литературного языка Молдавского княжества. Кириллическая основа церковнославянского языка и письменности стали фактором славянских заимствований в современном молдавском языке, а восточнославянское влияние отобразилось на государственном устройстве Молдавского княжества, денежной системе, молдавской календарной и семейной обрядности, народных ремеслах (орнаментация одежды, ковров, деревянной резьбы, особенно в северных районах Молдавии и левобережье Днестра), иконографии, гражданском и церковном строительстве, книгопечатании и системе образования.

Русская православная церковь официально закрепилась на молдавских землях после русско-турецких войн, когда Бессарабия вошла в состав Российской империи, и в 1823 г. была создана Кишиневская епархия. На протяжении всей своей истории Русская Православная Церковь и её церковные иерархи являлись просветителями и проводниками гуманизма на молдавской земле. И после обретения суверенитета в 1991 г. православие в Молдове сохранило неразрывную связь с Русской православной Церковью. С 1994 г. Православная Церковь в Молдове стала самоуправляющейся частью Московского Патриархата, окормляя паству на двух берегах Днестра в шести епархиях, насчитывающих около 1300 приходов.

Православие является крупнейшим конфессиональным направлением в стране. В ходе переписи населения 2004 г., 93,3 % населения Молдовы (без учёта Приднестровья) отнесли себя к православным христианам.¹ В Приднестровском регионе православными считают себя 90 % населения.² За последние два десятилетия произошло возрождение православия, ставшего духовной основой народов, проживающих в Молдове. Увеличилось число храмов (со 194 в 1988 г. до 1277 в 2013 г.), монастырей (с одного в 1988 г. до 42 и 8 скитов ныне)³, восстановлена деятельность Кишиневской духовной семинарии и учреждена Духовная академия, действуют Духовное училище в г. Бендеры, православный лицей для девушек, многочисленные воскресные духовные школы, уделяющие значительное внимание просвещению молодого поколения. Богослужения на двух языках – молдавском и церковнославянском (а на юге Молдовы – и на гагаузском) – способствуют укреплению межнационального мира и согласия, исторической и духовной близости народов исторической Руси и Молдовы.

¹ Данные Национального бюро статистики Республики Молдова - <http://www.statistica.md>.

² Данные Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской Республики.

³ Источник: Русская православная церковь. Официальный сайт Московского патриархата -<http://www.patriarchia.ru>.

4.6. РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ПОГРАНИЧЬЕ УКРАИНЫ И РОССИИ: ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ И МЕСТНЫЕ ФАКТОРЫ¹

После обретения в 1991 году политической независимости, постсоветским страна, потребовалось мобилизовать внутренние и внешние ресурсы для экономической и социальной модернизации, приспособившись к новым геополитическим условиям. Необходимо было приложить значительные усилия во внутренней политике, чтобы консолидировать дезориентированное общество и, одновременно, укрепить суверенитет, найдя приемлемый баланс во взаимоотношениях с соседями и мировым сообществом.

В то же время на государственном уровне остро встал вопрос придания легитимности установившемуся правопорядку, что стимулировало Россию и Украину к поиску национальных стратегий, обосновывающих «естественные права» на «свою» территорию и объясняющих гражданскому обществу, ввергнутому в глубокий и продолжительный кризис (вследствие форсированного перехода к новым формам хозяйствования, разрыва старых производственных и кооперационных связей, наличию колоссальных региональных диспропорций), необходимость и ценность политического суверенитета.

Для России (1990-х годов) и особенно Украины (вплоть до настоящего времени) решение данной сверхсложной задачи было сопряжено с проблемой выбора между восточными и западными моделями развития. Такая дихотомия привносилась, по сути, во все сферы жизни общества: дискурс Запада сводился к «светлому» демократическому будущему, с характерным для него свободным рынком и плюрализмом, тогда как дискурс

¹ Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант №13-01-00050 «Пространство региональных идентичностей соседних районов Украины и России: историческая память и этнокультурные ситуации» (рук. – Крылов М. П., д.г.н., в.н.с. Института географии РАН).

Востока — к социалистическо-коммунистическому прошлому, жестким плановым институтам неэффективного управления и «уровниловке». Политический выбор в обеих странах был сделан в пользу Запада, однако реализовывался он по-разному.

Национальные стратегии в России и Украине должны были преодолеть в обществе инерцию «советского» и в целом переформатировать идентичности, ориентируя их на признание естественной неизбежности раздельного политического существования. Ключевой задачей обеих стран стало формирование общенациональной идентичности, согласующей в обществе новые политические ценности путем конструирования единых представлений о своей «нации», об ее сущности и ее стратегических интересах. Таким образом, этот процесс приобрел этнополитический характер. При этом конструирование национальной идентичности по принципу ее приведения к «общему знаменателю» означало решить проблему того, каким должен быть этот «знаменатель» и как примирить с ним значительные контрасты территориального развития, а также разнообразные особенности местных (региональных) идентичностей¹, исторических и этнокультурных предпосылок для них.

Проведенные автором (совместно с М. П. Крыловым) исследования в пограничьях России (2008–2013), Украины (2012–2013) и Беларуси (2011) показали, что региональные идентичности здесь дополнительно раскрываются в процессе осмысления населением своей местной этнокультурной специфики, — в отличие от остальной Европейской России, где идентичности обнаруживаются в основном в исторической памяти и особых формах местного патриотизма на фоне более или менее однородного этнокультурного ландшафта. При этом логика осмысления этой местной специфики в пограничьях зиждется на диалектическом взаимодействии местной традиции и местной исторической памяти, с одной стороны, и формируемой общенациональной идентичности, характер которой во многом определяется этно-

¹ Автор, вслед за М.П. Крыловым, предпочитает не разделять понятия «локального» и «регионального» применительно к идентичности.

политическими установками, доминирующими в стране, с другой стороны. Несогласованность в оценках и интерпретациях регионального исторического и культурного наследия приводит здесь к «усилению» региональной идентичности, более острому (и происходящему как бы «от противного») восприятию пределов «своей» территории. Следовательно, для региональных идентичностей в пограничье существенными оказываются локальные вариации во взаимоувязанном прочтении событий местной и национальной истории, а также бытующие представления об отличиях соседей.

Поиск и описание обозначенных вещей представляет значительный исследовательский интерес, поскольку они открывают возможности для изучения механизмов формирования и внутренней динамики культурных районов, а также для определения рамок, ограничивающих возможные политические воздействия на них. Вероятно, результаты этих исследований должны способствовать принятию более выверенных концепций и подходов к решению задач, направленных на консолидацию мультикультурных сообществ на разных масштабных уровнях как в России, так и в Украине.

Политика идентичности и национальные контексты. Этнокультурные маркеры региональной идентичности, связанные с осмыслением местной специфики, в пограничье Украины и России получили особую «остроту» благодаря появлению государственных границ. Новые государственные границы пространственно обозначили четкие линии раздела в прошлом единого социокультурного и политического пространства.

В России и Украине были выбраны не схожие между собой модели национального государственного строительства: в Украине ориентиром стала «модель нации-государства», провозглашающая принцип «одно государство – один язык – одна нация»¹, в то время как в России – «имперская модель», которая

¹ Этот принцип последовательно отстаивался всеми украинскими политиками, находившимся во власти после событий 1991 года независимо от их личных (гео)политических взглядов.

нацелена, в конечном счете, на создание политической гражданской нации и соответствующих ей институтов гражданского общества.

Можно отдельно рассуждать о причинах такого выбора, однако именно благодаря ему в Украине и в России проявились ярко выраженные особенности в проведении политики памяти, политики идентичности и символической политики, т. е. определились характер и интенсивность государственного участия в процессах формирования национальных идентичностей.

В Украине процессы нациестроительства нередко принимали довольно активную форму, особенно когда к власти приходили националистически ориентированные силы (например, период президентства В. Ющенко). Эти процессы инициировали фундаментальную ревизию истории формирования Украины и отдельных ее регионов. В общественный дискурс, главным образом через СМИ и учебную литературу, проникли новые мифы и исторические нарративы, повествующие о происхождении украинцев, об их национальном характере, о соперниках и союзниках Украины, о роли отдельных исторических личностей, внесших вклад в развитие украинской культуры и становление независимого украинского государства, и другие (Nation-building 2000). Например, весьма распространенными стали материалы, которые обосновывают «естественные пределы украинской нации».¹

Однако обозначенные политические процессы в Украине, не будучи универсальными, столкнулись со значительными трудностями в преодолении исторического наследия своих отдельных регионов, их этнокультурного разнообразия и продолжающей так или иначе существовать «общерусской», а также «советской идентичности». Открытыми остались вопросы, связанные с ис-

¹ Яркий пример – школьные атласы по истории и географии Украины. В них помещаются карты, на которых изображаются «украинские этнические земли», включающие значительную часть территории России (в пределах Слободской Украины, Донского края и Кубани): Україна. Історичний атлас. 10–11 класи. К.: МАПА, 2010.

пользованием языка, имеющие немаловажное значение для населения Украины – и украиноговорящих украинцев, и русскоговорящих украинцев, и этнически русских граждан Украины. Весьма проблематичными пока остаются вопросы о «малоросийстве» (по О. Субтельному) и вкладе Слободской Украины в принятую модель украинской нации.

Под влиянием проводимой этноцентричной политики в Украине появились взаимоисключающие версии национальной истории – украинофильская и русофильская.¹ В украинофильской версии, например, украинцы нередко предстают угнетенным народом в составе империй. Россия в этой версии предстает агрессивным колонизатором Украины, насильственно навязывавшей ей свою культуру и свою политическую волю любыми доступными способами – от русификации до геноцида («Голодомор 1932–1933 гг.»). Россия и русские, таким образом, рисуются в мрачных тонах, нередко с использованием откровенно русофобской риторики. Соответственно, миф о сопротивлении и борьбе с политическим гегемоном, а также миф о национальном возрождении при таком подходе занимают важное место при описании совместной истории с Россией.

Значительные интеллектуальные и политические усилия по формированию общеприемлемого фундамента для национальной идентичности до сих пор не дали в Украине желаемого результата и фактически лишь привели к усилению тлеющих противоречий между ее регионами. Соответственно, говорить о завершенности «украинского национального проекта» пока не приходится. И причина здесь, по-видимому, кроется не только в общеизвестных макрорегиональных исторических контрастах Украины (непримиримость этнополитических моделей Западной Украины и Восточной Украины), которые обсуждает, в частности, известный российский историк А. И. Миллер (2007).

¹ Указанные версии отражают экстремумы в интерпретациях истории, тем самым представляя лишь «идеальные типы», которые в действительности встречаются крайне редко. Реальные интерпретации, как правило, плюралистичны, и включают в себя элементы обеих версий.

В Украине сложился более сложный культурный и исторический регионализм, который вскрывается при детальном исследовании местных идентичностей даже в пределах, казалось бы однородной, Левобережной Украины, и не сводится к простому дуализму и также плохо сопрягается с принятой моделью построения нации.

Из вышесказанного, однако, отнюдь не следует, что в Украине отсутствует или ослаблена национальная идентичность. Наблюдается как раз обратное. Речь идет о том, что «украинскому патриотизму» в контексте украинского нациестроительства свойственно противоречивое сочетание элементов естественного (просвещенного и инстинктивного) и искусственного (наведенного) патриотизма. При этом комбинация таких элементов в каждом регионе Украины в значительной степени своя, что, по нашему мнению, и не дает до конца реализоваться «украинскому национальному проекту».

Украинские политики (со всех флангов, включая т.н. «опозицию») пытаются «играть на струнах» естественной (не затронутой политтехнологиями) идентичности. Однако значимость региональных культурных контрастов в Украине, связанных с такой идентичностью, в долговременной перспективе вряд ли возрастет. Продолжающаяся активность в апелляции к идентичности пока обусловлена, с нашей точки зрения, отсутствием внятных и понятных населению социально-экономических и политических альтернатив существующему курсу, что, заметим, отчасти напоминает ситуацию в России. Поэтому ориентация на принятую модель нациестроительства в Украине (пусть в оболочке «Национального Возрождения», «украинской нации», «Украины – части ЕС») каждый раз предопределяет использование идентичности в политических целях, в том числе связанных с имитацией «смены курса».

В России же политика идентичности в значительной степени невнятна, бессистемна и на порядок менее активна, чем у соседей. Выбранная ею стратегия национального государственного

строительства не предполагала радикального изменения традиционных подходов в интерпретации своего прошлого и своего «исторического предназначения» («евразийского пути»). О. Ю. Малинова (2013) отмечает, что трудности с формированием «общепринятых» представлений о коллективном прошлом были заданы контекстом, связанным с распадом СССР, который включал: «факт трансформации административных границ в государственные; наличие советского наследия институционализации этничности; особенности сложившейся историографической традиции, вплетавшей национальный нарратив в имперский <...>; декларацию правопреемства по отношению к СССР, которая мешала провести четкую границу между российским и советским».

В определенном смысле данные подходы к интерпретации истории России прижились, будучи унаследованными от дореволюционной России и СССР. Кроме того они во многом отражают часто критикуемый соседями (в том числе Украиной) особый («имперский») тип ментальности российского общества.

С нашей точки зрения, современная Россия большее внимание уделяет созданию новой макрополитической идентичности, которая не очевидно, но по замыслу политтехнологов, по-видимому, должна компенсировать слабость общенациональной идентичности. Это следует, в частности, из анализа официальной риторики и проводимой символической политики в России, которые, в свою очередь, оказывают существенное влияние на общенациональный общественный и политический дискурсы, связанность которых в России сильно возросла в 2000-е гг.

Такая модель политики ориентирует на использование мифа о величии тысячелетней истории Российского государства и масштабе «русского мира». Соответственно, важными становятся военные победы и территориальные приобретения России в прошлом. Конструируется представление о российском многонациональном народе, всегда бесконфликтно жившим «под крылом» русской культуры, которая, как правило, связывается с русским языком и литературой. В таких условиях акцент в наци-

ональной идентификации смещается в сторону признания важности русского языка, владение которым становится, наряду с гражданством и православием, одним из главных аргументов при идентификации «себя» как «русского». Для этнокультурно близких народов логика такого механизма фактически означает наличие относительно легкой возможности для «ассимиляции» и интеграции в «русский (российский) мир». Такая модель достаточно сильно контрастирует с принятой на Украине, облегчая, или, напротив, затрудняя гипотетические формы самоидентификации жителей российско-украинского пограничья с Россией или же с Украиной (в связи с этим интересно сравнить «украинскую» региональную и этнокультурную идентичность некоторых пограничных с Украиной российских городов и «внероссийскую» идентичность в Чернигове, для которых свойственно русско-украинское двуязычие; см. об это ниже).

Этнокультурные особенности, новые тенденции и местные факторы. Вышеописанные этнополитические практики в Украине и России определяют тот контекст, без учета которого нельзя всеобъемлюще понять наблюдаемые в пограничье этнокультурные процессы, связанные с исторической памятью и региональной идентичностью в условиях исторически тесных связей населения и глубокой интерференции русской и украинской этнической культуры.

Некоторые общие представления о территориальных особенностях этнокультурной дифференциации в российско-украинском пограничье нам, как правило, дают официальные материалы переписей населения. Так, данные по этническому составу населения говорят о том, что во всех российских и украинских регионах в пределах пограничья преобладают титульные этнические группы.¹ При этом в украинском пограничье присут-

¹ Сводную таблицу о современной доле русских, белорусов и украинцев в общей численности населения приграничных регионов России, Беларуси и Украины см.: Приложение к докладу Евразийского Банка Развития «Приграничное сотрудничество регионов России, Беларуси и Украины», <http://www.eabr.org/r/research/centre/projectsCII/project16/>.

ствие русского населения сравнительно больше, чем украинского населения в российском приграничье. Доля назвавших себя «украинцем» в российских регионах не превосходит 3 % (2010), в то время как в отдельных украинских регионах доля «русских» достигает почти 40 % (2001) – лидерами здесь являются Луганская, Донецкая и Харьковская области Украины.

Однако следует учитывать, что за прошедшие десятилетия в этнической самоидентификации многое изменилось и что переписи населения отражают лишь редуцированный срез реальности, в которой гражданско-политическое и собственно этническое содержания сильно переплелись. Наблюдаются существенные сдвиги в сторону национально-гражданского осмысления понятия «национальность» при переписях населения, которые в совокупности с манипуляциями над переписными данными (учет «мертвых душ», подмена данных непереписанных людей данными из паспортных столов и др.) приводит к формальному увеличению доли титульной народности в этническом составе населения регионов пограничья.

Дополнительным стимулом этих сдвигов является определенная степень конформизма населения, зародившегося еще в советский период под воздействием политической конъюнктуры, связанной с волнами русификации и украинизации, и проявляющегося сегодня в качестве реакции на проводимую политику идентичности в России и в Украине. Конформизм приводит к тому, что в пограничье становится обычным утверждение – «я украинец, потому что я гражданин Украины», «я русский, потому что родился и вырос в России» (т. е. понятие «русский» приравнивается к непопулярному среди населения понятию «россиянин»). При этом такие формы самоидентификации обнаруживаются одновременно с несколькими другими как, например, «я хохол, но русская в душе» (п. Кантемировка, Воронежская обл.) или «русская хохлушка».

Ситуация с этнической самоидентификацией осложняется здесь повсеместным распространением двуязычия, по крайней

мере, на бытовом уровне. При этом географические пределы встречаемости двуязычия с российской стороны коррелируют с границами крупных исторических регионов, формировавшихся при активном участии малорусского населения. Отметим, что речь идет именно о нелитературном украинском языке, в том числе о различных вариантах суржика с большим или меньшим присутствием в нем украинских элементов.

Здесь уместно отметить, что первые переписи населения (1897 и 1926 гг.) на рассматриваемых территориях отмечали, что в половине уездов Курской и Воронежской губерний, оставшихся при начертании республиканских границ в начале 1920-х гг. в основном в пределах России, доля малорусского населения (этническая принадлежность в то время определялась по родному языку) достигала 90 %.

Примечательно также, что до сих пор в белгородском приграничье владение местными украинизированными диалектами помогает абитуриентам поступать в ВУЗы Харькова, несмотря на то, что преподавание и образовательные стандарты в Украине ориентированы исключительно на украинский литературный язык.

Однако в действительности этнокультурная картина пограничий оказывается сложнее, поскольку переписи населения не раскрывают всех содержательных характеристик местных идентичностей. Большую роль в местной идентификации играют исторические факторы, связанные с особенностями развития территорий в прошлом: Левобережная Украина в рамках казачьей Гетманщины, для территории которой соседняя Россия (по известным причинам) всегда была и остается «значимым другим»; русско-украинская Слободская Украина, первоначально образованная на правах автономии в пределах России, с определенными привилегиями именно для малороссов; территория донского казачества, претерпевшая в прошлом волны миграции украиноговорящего населения; стремительная индустриализация Востока Украины и Донбасса в конце XIX – первой

половине XX в., обернувшаяся ростом промышленных городов и притоком в них большого количества мигрантов из центральных областей России и другие.

Проведенные при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (гранты РГНФ №12-01-18066 и №13-01-00050) экспедиционные исследования в пределах российско-украинского пограничья¹ позволили собрать более 800 подробных анкет-опросников, посвященных местному самосознанию, которые показали, что региональные различия вскрываются на разных уровнях – от отдельных городов и поселений до относительно больших ареалов.

Сопряженный анализ и интерпретация компонентов современной идентичности населения с позиции территориальной вариативности выявили довольно устойчивые контрасты и градиенты в российско-украинском пограничье. Компоненты включали: историческую память; ассоциативно-эмоциональное и образное восприятие соседей; представления о своих корнях и об ареале проживания «земляков»; субъективную оценку этнокультурного облика местного населения; мнения о новых государственных границах и о целесообразности усиления двусторонних связей между Россией и Украиной; ощущения оказываемого давления со стороны соседних регионов России и Украины; интерпретации совместного прошлого; отношение к идее славянского единства и к разделению русской православной церкви; бытовое общение, связанное с использованием украинского языка или одного из вариантов русско-украинского диалекта (суржика); культурно-ландшафтные особенности и некоторые другие.²

¹ Исследования охватили практически всю сеть исторических городов Брянской, Курской, Белгородской и западной части Воронежской области России, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областей Украины, города Луганск и Киев.

² Подробнее о методических и методологических подходах см. (Гриценко, Крылов, 2012).

Одним из результатов исследования стала картографическая модель, отражающая пространственные изменения в соотношении «украинских» и «русских» компонентов идентичности населения соседних районов России и Украины. Модель получила название «российско-украинский этнокультурный градиент» (рис. 22).

Рис. 22. Российско-украинский этнокультурный градиент

В российских регионах украинская культура в значительной степени смешалась с русской, однако подспудно продолжает со-

храняться в самосознании и культурном ландшафте, воспроизводясь в местных стереотипах поведения и бытовых практиках населения. В украинских регионах русская культура (общерусская культура) актуализирована в большей степени, чем украинская в России и фиксируется в ее общезначимых компонентах, таких как, например, предпочтение в использовании языка общения, восприятие России и поворотных событий в совместной истории, отношение к русской литературе.

Другой ракурс рассмотрения местных идентичностей в пограничье России и Украины позволил зафиксировать контрасты в исторической памяти населения. Так, в России позитивное, чувственное отношение к Украине (в разных аспектах) большее распространение имеет в пределах широкой полосы бывшей Слободской Украины и Гетманщины. На территориях, непосредственно прилегающих к российско-украинской границе, наблюдается «всплеск» общероссийской идентичности, несколько ослабляющий эмоциональную связь с Украиной. Во внешнем по отношению к государственной границе поясе российско-украинского пограничья восприятие Украины менее чувственное, более рациональное, что связано со значительной (по сравнению с внутренним поясом) культурной дистанцией от Украины.

В Левобережной Украине более позитивное, нейтральное отношение к России нередко прослеживается во внутренних, по отношению к российско-украинской границе, районах. Для этих территорий характерна высокая ориентация на украинский (в том числе литературный украинский) язык и украинскую автокефальную церковь (пример – Полтава). В то же время на периферийных территориях Левобережной Украины (характерный пример – Сумы) образ России пестрит разнообразием, часто встречаются негативные ассоциации. Это может быть объяснено, хотя бы отчасти, более острым восприятием «давления России» на Украину.

Наиболее резкие контрасты, вполне ожидаемо, были обнаружены между самими странами – Россией и Украиной. Они

проявились в ассоциативном мышлении местного населения (табл. 23).

Таблица 23.

**Ассоциации со словами-маркерами в Левобережной
Украине и сопредельных регионах России**

Регионы	Слова-маркеры	Распространенные ответы	Редкие ответы
Левобережная Украина	Россия	Соседнее государство, соседи, Москва, Кремль, Путин, газ	Друзья (дружба), сильная держава, богатство, тщеславие, «враг №1, «империя зла», «агрессор», опасность, империализм, старший брат, матрешка, «азиатская страна», рабство, коррупция
	Советский человек	Прошлое, житель СССР, рабочий, бедность, гордость	Ностальгия, воспитание, коммунизм, стандарт, однотипность, зомби, серость, «совок», стабильность, «правильный, но...», очередь в магазине, Брежнев
	Малороссия	Украина, оскорбление («намерение говорящего унижить, доказать его неполноценность»), старый русский термин	Незнание истории, история, «петровская дурость», «невольная жизнь», автономия, Украина-Русь, несправедливый поворот истории
	Слобожане	Жители восточных регионов Украины (Слобожанщины), украинцы («они тоже украинцы»), мы	«Наш край», «прихвостни России», предатели и «ренегаты», граница, сброд
Россия	Россия	Родина, страна, гордость, империя, нищета («... в богатейшей стране»)	Москва, Путин, коррупция, русские
	Советский человек	Труженик, житель СССР, гордость, интеллигент, скромность, ностальгия	«Не вернешь», бедность, КПСС, Брежнев, майская демонстрация, «живущий прошлым»
	Украина	Соседи, сало, Киев, Гоголь, Тарас Бульба	Шевченко, культура, славяне, граница, Тимошенко

Векторы исторической памяти

№	Чернигов						Сумы					
1	Левобережная Украина – 20% Черниговский – 15% Северщина – 15%						Слободская Украина – 70% Левобережная Украина – 10%					
2	А			Б			А			Б		
	30			65			40			60		
3	+	–	×				+	–	×			
	65	5	25				70	5	25			
4	Эпоха Киевской Руси – 15% 1991 г. – 5% Таких событий нет – 50%						Оранжевая революция – 15% ВОВ – 10% Времена Гетманщины, в т. ч. Конотопская битва – 10% 1991 г. – 5% Таких событий нет – 25%					
5	Полтавский – 30% Западная Украина – 45% Центральная Украина – 15%						Полтавский – 40% Западная Украина – 30% Центральная Украина – 10% Слободская Украина – 10% Черниговский – 10%					
6	ВОВ – 25% Советская эпоха – 15% Не ответили – 50%						ВОВ – 40% Советская эпоха – 10% 1812 г. – 5% Не ответили – 40%					
7	Сталинские репрессии и голодомор (1932-34) – 10% Распад СССР – 15% Ликвидация Гетманщины – 10% Не ответили – 50%						Сталинские репрессии и голодомор (1932-34) – 30% Распад СССР – 10% Не ответили – 40%					
8	+	–	×				+	–	×			
	50	10	25				45	35	20			
9	РФ		СЧ		МАЛ		РФ		СЧ		МАЛ	
	+	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+	–
	30	30	25	40	40	20	30	35	30	20	40	20
10	+	–	≈		×		+	–	≈		×	
	25	20	10		25		30	35	20		10	

Примечание: при составлении таблицы учтены экспертные мнения мы – 76 чел., Луганск – 22 чел., Курская область (гг. Курск, Рыльск) – 109 чевск) – 58 чел.

Таблица 24.

в соседних регионах Украины и России

Луганск						Курская обл.						Брянская обл.											
Донбасс – 75% Слободская Украина – 20%						Курский край – 30% Черноземье – 30%						Украина, Черниговщина – 25% Центральная Россия – 15% Брянский край – 10% Беларусь – 5%											
А			Б			А			Б			А			Б								
40			75			27			66			25			75								
+	–		+		×	+	–		+		×	+	–		+		×						
75	0		25			75	0		9			95	0		5								
Гражданская война и Революция 1917 г. – 15% 1991 г. – 15% ВОВ – 10% События последних лет – 7% Таких событий нет – 50%						ВОВ – 21% Местные локальные события – 18% Открытие и разработка КМА, строительство Курской АЭС – 3% Таких событий нет – 48 %						ВОВ – 10% Авария на ЧАЭС – 10% Распад СССР – 5% Времена Гетманщины – 5% Таких событий нет – 55%											
Полтавский – 20% Западная Украина – 50% Центральная Украина – 20%						Ареалы украинской культуры в Курской области (Глушково, Суджа и др.) – 18% Курская область и другие русские территории – 12% Национальные республики России – 9% Не ответили - 60%						Западная часть Брянской области – 30% Восточная часть Брянской области – 20% Не ответили – 50%											
ВОВ – 50% Советская эпоха – 20% Не ответили – 50%						ВОВ – 55% Советская эпоха – 4% Не ответили – 40%						ВОВ – 40% Советская эпоха – 10% Времена Гетманщины – 5% Не ответили – 40%											
Сталинские репрессии и голодомор (1932-34) – 30% Не ответили – 50%						Распад СССР – 15% Социально-экономическое положение России – 10% Не ответили – 60%						Распад СССР – 20% Афганская и Чеченская военные кампании – 15% Социально-экономическое положение России – 10% Не ответили – 55%											
+		–		×		+		–		×		+		–		×							
35		35		20		60		18		22		75		5		20							
РФ		СЧ		МАЛ		РФ		СЧ		УКР		РФ		СЧ		УКР							
+	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+	–						
65	20	60	15	50	25	72	18	42	36	33	45	40	10	30	20	30	15						
+		–		≈		+		–		≈		+		–		≈		×					
30		20		0		50		9		42		21		12		10		30		30		25	

респондентов, проанкетированных в 2012–2013 гг., Чернигов – 28 чел., Су-чел., Брянская область (гг. Клинцы, Новозыбков, Стародуб, Почеп, Труб-

Вопросы в Таблице 24:

1: Как Вы считаете, к какому региону традиционно (исторически) относится местность, в которой Вы сейчас живете?

2: В каком аспекте Вы воспринимаете известную идею «славянского единства»?:

Группа ответов 1: в аспекте культурного единства всех славянских народов (чехов, поляков, сербов, русских и т. д.) и (гео)политического единства всех славян, в %;

Группа ответов 2: активного сотрудничества восточных славян на равноправной основе и культурного, политического и экономического единства украинцев, белорусов и русских, в %.

3: Как Вы сами относитесь к этой идее?

«+» - положительно, «-» - отрицательно, «х» - нейтрально, в %.

4: Какие события отдаленного и недавнего прошлого Вам кажутся *интересными, значимыми, поворотными* для Вашего края?

5: С каким регионом у Вас ассоциируются *украинские традиции (сохранение традиций – для России)*?

6: Какие события прошлого, местной истории, связанные с Россией или СССР, по Вашему мнению, должны вызывать *чувство гордости*?

7: Какие события прошлого, местной истории, связанные с Россией или СССР, по Вашему мнению, должны вызывать *чувство досады или негодования*?

8: Сожалеете ли Вы, что в недавнем прошлом возникли государственные границы между Россией и Украиной?

«+» - да, сожалею, «-» - нет, не сожалею, «х» - затрудняюсь ответить, в %.

9: Скажите, пожалуйста, что первое приходит Вам в голову, какие мысли, образы или ассоциации, когда Вы слышите слово: «Россия» (РФ), «Советский человек» (СЧ), «Малороссия» (МАЛ) (для Украины); «Россия», «Советский человек», «Украина» (УКР)

(для России)? «+» - положительные образы, «-» - отрицательные образы, в %.

10: Как Вы относитесь к отделению православной церкви Украины от Русской православной церкви? «А» - положительно, она должна быть самостоятельной (автокефальной), «Б» - отрицательно, «В» - пока не решил, «Г» - равнодушно, в %.

Одновременно с этим в исторической памяти были также зафиксированы региональные различия (табл. 24), которые хорошо отражают исторические и социокультурные диспропорции в пограничье России и Украины. Например, особо выделяется в прошлом сильно советизированный Луганск, в идентификационном отношении тяготеющий к промышленному Донбассу, а также малороссийски ориентированный Чернигов, сохранивший элементы общерусской культуры.

Выводы. После 1991 года в России и Украине произошли значительные социально-экономические и политические трансформации. Ситуация в пограничьях оказалась, вероятно, одной из самых сложных. Перемены здесь проявлялись буквально во всем, в том числе в местных идентичностях.

Разрыв сложившихся бытовых и экономических взаимоотношений с соседями, осложнение родственных связей, реинтерпретация национальной истории в свете выбранных стратегий национального государственного строительства и другое способствовало видоизменению сложившихся форм пространственного отождествления и обогащению палитры идентификационных практик населения. На этом фоне актуализировались культурные контрасты, связанные с региональным и этническим самосознанием, с исторической памятью, а также с местными культурными установками и местной традицией.

Глубокое взаимопроникновение русской и украинской культуры в пределах пограничья России и Украины до сих пор имеет место быть и является существенным. Границы между этими культурами здесь размыты как в территориальном, так и смыс-

ловом значении. В то же время понять географические направления в культурной дифференциации позволяет предложенная модель российско-украинского этнокультурного градиента.

Исследования показывают, что трудность в этнокультурном самоопределении, усугубляемая политикой памяти и политической идентичности, преодолевается в пограничье Украины и России за счет развития «не раскрученных» и деполитизированных пространственно-региональных форм самоидентификации.

Региональные идентичности как бы вбирают в себя актуализированные (вследствие смешения культур, приграничности и перманентных усилий по конструированию наций) этнокультурные компоненты, – хотя и не до состояния, способного подменить этническую и/или национально-гражданскую идентичности. Это позволяет региональной идентичности иногда относительно возвышаться и даже доминировать в структуре местных идентичностей, а также корректировать восприятие этнокультурных ориентиров местными сообществами.

4.7. РУССКИЕ ДИАСПОРЫ В ДАЛЬНОМ ЗАРУБЕЖЬЕ: КУЛЬТУР- НЫЙ РЕНЕССАНС ИЛИ ДЕГРАДАЦИЯ?

Понятийные предуведомления и самоопределение. Прежде всего, следует подчеркнуть, что многие, навсегда или на время покинувшие Россию, вливаются или принадлежат русской диаспоре. Здесь есть даже некоторая закономерность: чем талантливей и успешней человек, тем менее он склонен к диаспорическому, планктонному существованию в сплоченной общине, особенно в последние времена. Солженицын, Ростропович, Вишневская, Лефевр, Барышников, Нуриев, М. Шишкин, М. Шарапова – вот лишь наиболее заметные и очевидные тому современные примеры.

Дальнее зарубежье, на наш взгляд, определяется не пространственной удаленностью, а отчужденностью и недоступностью. Новый Валаам в Финляндии географически гораздо ближе к Москве и Петербургу, нежели Турция, Израиль и Египет, но намного недоступней и отчужденней.

Надо выделять два основных умонастроения в зарубежной среде выходцев из России: эмигранты и иммигранты (Левинтов, 2003). Эмигранты употребляют глаголы прошедшего времени, полны пессимизма, говоря «они», имеют в виду окружающих иноплеменников, живут тоской по родине (ностальгией), что очень похоже на российскую тоску по нормальной жизни (та же селедочка, картошка и винегрет). Иммигранты живут глаголами будущего времени, оптимистичны, говоря «они», имеют в виду всех своих соотечественников без разбору. Следует признать, что в русских диаспорах преобладают эмигранты. В качестве примера, забавный анекдот:

Нью-Йорк, Централ Парк, раннее утро, к группе собачек подбегает новенькая: – «это я здесь такса, а в Союзе я была ротвейлером».

Я прожил в Калифорнии без малого девять лет (думал, что уехал навсегда). Проболтавшись между «эми» и «имми» и так и

не став ни тем, ни другим, я вернулся в Россию – и за десять лет после возвращения слышал только один вопрос: «почему вернулся?» (а я вернулся не почему, а зачем). Это явное отсутствие интереса окружающих к жизни в диаспоре и стало основным мотивом для написания данного текста, хотя с научной точки зрения вопрос достаточно исследован (Азраэль, Брукофф, Школьников, 2005; Богомолов, 2003; Зайончковская, 2005; Иконников, 2006).

Староверы как пионеры русской диаспоры. По-видимому, история формирования русских диаспор началась при Екатерине II и связана с разгоном ею староверческих Ветки, Донского казачества и Запорожской Сечи. Часть староверов Ветки (между прочим, значительный кусок этого ареала расселения староверов находился за границей, в Польше, еще не оккупированной тогда Россией) была отправлена в Сибирь и на Алтай, часть бежала на запад и расселилась широким клином от Прибалтики до дельты Дуная: они стали называть себя липованами. Запорожские и донские казаки уходили на Кавказ, в Турцию и на Балканы (которые тогда входили в состав Османской империи).

Если мировоззрение староверов поморского, федосеевского толка, волжских староверов, нетовцев и других беспоповцев строилось на признании завоевания мира Антихристом, то для липован мир полон Христом. Всех староверов отличает необыкновенное трудолюбие, но липованы, к тому же, были весьма гостеприимны и настроены очень миролюбиво и по-доброседски.

Хозяйство алтайских и сибирских староверов нарочито распахнуто внешнему враждебному миру и интровертно свернуто внутрь (чем глубже в дом, тем теснее). Липованское хозяйство начинается с плотного высокого забора, но чем глубже, тем просторней и светлей.

Дунайские липованы (Тулча, Вилково, Килия и другие поселения) быстро освоили новую среду обитания и новые хозяйственные деятельности (рыболовство, использование камы-

шей, виноградарство и виноделие). За помощь в осаде Измаила Суворов пообещал липованам то, что они сами захотят. Они захотели воды Дуная. Уже в 20 веке румынский король проиграл в европейском суде отъем прав на воды Дуная у липован.

Липованские общины до сих пор живы и в Даугавпилсе, и в Литве, и на Дунае.

Интересна история староверческой общины в Русской Америке, на Аляске. Они пришли сюда вместе с ватагой Шелихова и Баранова, но не смешались с ними. На острове Кодияк до сих пор существует община староверов. Это – не этнические ряженные, а вполне современные люди, потрясающие даже американцев своим трудолюбием, предприимчивостью, законопослушностью и упорством в вере.

Что касается остальных русских освоенцев в Америке, то они бесследно растворились, оставив по себе более чем неприглядную память: «It may be that the men of these ships were the first to bring word of Russian hunters in the North Pacific. In some way, the Spanish did learn that Russians were active on the shores of North America. This news troubled the Spanish... And why were the Russians in North America? One of the most important reasons was ... the sea otter!» (Reinstedt, 1985). Мы истребляли их миллионами: в Китае очень ценились колонковые кисточки для каллиграфии. Вырученные русскими деньги по большей части пропивались, а колонков мы практически истребили.

Русские немцы, евреи и русские евреи. Продвигая границы России на запад, Алексей Михайлович Тишайший столкнулся с тем фактом, что большинство городского населения здесь составляют не местные народы, а евреи. Взяв Ковно и Вильно, царь велел всех евреев крестить, а кто не захочет – топить в Немане. Проблема была решена, как обычно, деньгами. Но черта оседлости для евреев была установлена, как и многие другие ограничения, например, ограничения в учебе в университетах. Еврейская молодежь, начиная со второй половины 19 в., вынуждена была получать образование и профессию за грани-

цей, чаще всего в немецкоязычной Швейцарии, где они, владея идишем, почти не испытывали языковых затруднений. Распропагандированные Герценом, Бакуниным, Нечаевым и другими российскими политическими оппозиционерами, многие из них возвращались в Россию террористами, народниками, революционерами.

Екатерина II решила освоение бывшего Крымского ханства, простиравшегося от дельты Дуная до Кавказа и Каспия, названного ею Новороссией, обеспечивать в значительной степени за счет немецких колонистов. Прибытие новых колонистов было остановлено только в 1818 году указом Александра I. Немецкие колонисты (в России их называли чаще штундистами) за счет трудолюбивого упорства, высокой агрокультуры, законопослушности не только продвинулись в своем расселении до Нижней Волги, Урала, Кулунды, Барабы и Алтайского края, но и создали в стране высокотоварное сельское хозяйство, прежде всего зерновое и молочное животноводство. Благодаря им Россия вышла на европейский рынок зерна, где успешно конкурировала с США. По сути, благодаря им русский рубль к концу 19 века стал свободно конвертируемой валютой.

При Александре III усилились гонения и притеснения немцев, в том числе публичные. Газеты обвиняли Штунду в том, что колонисты живут обособленно, имеют свои школы и церкви, русский язык знают плохо, православие не принимают. Как ни уговаривал генерал Тотлебен, герой Севастополя, своих соотечественников не покидать Россию, они массово стали переезжать в Америку. От Миннесоты до Канзаса многие сельские топонимы имеют немецкое происхождение. Они привезли сюда также твердые сорта пшеницы и, фактически еще до революции, стали вытеснять Россию с европейского рынка зерна.

Вскоре вослед за ними в Америку потянулись евреи: в России и в принадлежащей ей тогда части Польши, в Прибалтике участились еврейские погромы, нарастала юдофобия, оставались неизменными ограничения на проживание – всё это привело

к массовому отъезду евреев в Америку, описанному Шолом-Алейхемом (пересекали границу контрабандой, с перинами и подушками, ехали в Америку палубными и трюмными пассажирами). Наиболее известными «мальчиками из Касриловки» в Америке стали создатель джаза Гершвин и создатель радио- и телевидения Давид Сарнов.

Еврейские комьюнити, возникшие на рубеже 19-20 веков, до сих пор живы, оформлены в синагогальных общинах и Джуйке (JCC – JEWISH COMMUNITY CENTER), которая помогает не только евреям, но и русским, украинским сектантам, сербам, чеченцам и другим этническим и религиозным беженцам. Даже в молодых еврейских семьях нередко сохраняются обряды и обычаи, ритуальная кухня (драники, халы, хворост, пироги с маком и т. п.), привезенные из Белоруссии и Украины. Эти люди часто уже не знают русского языка, но свободно говорят на идише (и, разумеется, английском).

И, наконец, русские евреи, массовая эмиграция которых началась после 1972 года (Хельсинская декларация прав человека, подписанная Брежневым). В Вене и Риме происходила сепарация еврейских беженцев из СССР на тех, кто потом уезжал в Израиль (этническое, религиозное, культурное и лингвистическое самоопределение у многих занимало годы) и значительно меньше в США.

Здесь они, в подавляющей массе своей люди светские и нерелигиозные, с удивлением для себя обнаружили, что, в отличие от СССР, никто их здесь евреями не считает, так как они не иудеи по религиозным убеждениям, иврита не знают, на идише не говорят. Американские евреи относятся к ним снисходительно, но отстраненно. Все называют их русскими (по стране рождения и по языку), и только американское правительство признает за ними статус еврейских беженцев, что отражается на получении ими ваучеров и фудстемпов, жилья по крайне низким ценам и, по достижении соответствующего возраста, вполне достойной пенсии, если они не уличены в трудовой деятельности.

Именно эти русские евреи составляют костяк современной русской диаспоры в Америке, им принадлежат Брайтон-Бич в Нью-Йорке, все анекдоты про русских, Рашатаун (бульвар Гири в Сан-Франциско), часть Вьеттауна; в Лос-Анджелесе русская диаспора входит в состав Арментауна.

Русские диаспоры времен революции. Революция разметала русское общество; добровольно, вынужденно и насильственно из России уехали, эмигрировали люди «первой волны». В Европе сформировалось несколько диаспор. Самая многочисленная и известная – в Париже, где концентрировались аристократы, творческая интеллигенция (Дягилев и балетная элита Большого и Мариинки, Бунин и многие другие писатели, Шагал и другие знаменитые художники, А. Вертинский и многие другие), политики, предприниматели, военные – всё это прекрасно описано в «Беге» Булгакова и многочисленных других произведениях. Многим из них пришлось стать таксистами, официантами, рабочими. Лучшие парижские модельеры и манекенщицы – бывшие русские аристократки, приучавшие парижан к высокой парижской моде и вкусу.

Помимо Парижа, сложилось еще несколько русских диаспор: в Берлине (именно здесь и в других университетских центрах осели многие философы, прибывшие в Германию на двух пароходах), в Сербии (преимущественно, военные и казаки), Праге (творческая и инженерная интеллигенция, одна из самых ярких фигур – Марина Цветаева), Финляндии (здесь наиболее колоритная фигура – Репин, а также петроградский пивной король Синебрюхов, изобретатель баночного пива).

Существовали гораздо более скромные и незаметные диаспоры в Швеции, Испании, Италии, Болгарии и Швейцарии.

В Америку от революции бежали преимущественно технические интеллигенты. В США очень ценились русские ученые и авиаинженеры – в Первую мировую войну российская авиация уступала только французской. Сикорский и Северский были успешными авиаконструкторами, экономист В. Леонтьев –

нобелевский лауреат, Зворыкин – американский изобретатель телевизора, Гамов – крупнейший физик; но сюда ехали и творческие личности: Шолом-Алейхем, А. Толстая, создавшая знаменитый Толстовский фонд, Стравинский, Баланчивадзе, С. Рахманинов, который, став успешным и богатым голливудским кинокомпозитором, много и часто помогал своим соотечественникам, актер М. Чехов и др.

В 20 годы в США создается КРА – Конгресс русских американцев, который уже почти век осуществляет связь с федеральными, штатными и местными органами власти и представляет им точку зрения своих членов и русско-американской общественности; содействует активизации участия русских американцев в общественно-политической жизни США; представляет мнение русских американцев по различным вопросам правительству и общественности России; поддерживает рабочие связи с правительственными органами США через свое представительство в Вашингтоне; сотрудничает с другими русско-американскими и дружественными этническими организациями в США (однажды я чуть не попал под суд по иску КРА за статью «Семь шкур» как искажающую русскую историю и роль церкви в этой истории).

Одной из самых интересных, многочисленных и значимых была харбинская диаспора, просуществовавшая до падения Японии в августе-сентябре 1945 года. Харбин – русский город, возникший при Николае II на КВЖД. После революции здесь жило полтора миллиона русских. Имелись свои гимназии и другие учебные заведения, газеты, радио, театры. Это была единственная диаспора, имевшая подавляющую численность в городе. Мы знаем очень немногих выходцев из этой диаспоры: Олег Лундстрем, главный режиссер РАМТа Бородин...

В 1944 году ряд народов на Кавказе и в Крыму были депортированы; в 1945 – уничтожена харбинская диаспора. Остатки харбинцев осели в Сан-Франциско. Они хорошо организованы, их клуб на улице Sutter сохраняет культурные функции и традиции. Эмигрантов из СССР всех последующих волн они считают еврея-

ми, коммунистами и агентами КГБ. Я немного горжусь тем, что первую статью в Америке опубликовал в газете харбинцев.

Русские диаспоры Второй мировой войны. Американская русская диаспора заметно увеличилась за счет евреев, бежавших из Польши, Германии, Франции и других европейских стран. Некоторые из них были русскоговорящими. Но основной приток произошел в 1945-46 годах, уже после окончания войны.

В 1941 году в Красную армию мобилизовывались преимущественно крестьяне: их и по численности было заметно больше, чем горожан, и квалифицированные рабочие часто получали бронь и перебрасывались в тыл, на Восток (впрочем, и германская армия по преимуществу была крестьянской). В том году в плен попало около пяти миллионов красноармейцев, к чему Германия была совершенно не готова, поэтому было решено раздавать военнопленных в качестве рабочей силы в крестьянские семьи, прежде всего тем женщинам, чьи мужья оказались на Восточном фронте. Мало-помалу, но довольно быстро, этот «рабочий контингент» заместил ушедших на фронт не только на полях и фермах. Появились дети.

И дети оказались переводчиками между своими родителями, потому что свободно владели и языком отцов, собиравшихся отдельно, и материнским: байерши также общались только между собой. И у детей возник миф, что существуют два взрослых языка – мужской и женский, оба языка знают только дети, но они теряют один из них по мере взросления и приобретения очевидных половых признаков (и немецкие *das Knabe* – мальчик, *das Mädchen* – девочка, и русское «дитя» – всё среднего рода). Дети боялись и не хотели взрослеть, что, вообще-то, детям несвойственно.

Когда война кончилась и большая часть Германии оказалась в западной зоне оккупации, перед советскими военнопленными возник тяжелый выбор: отправляться домой, но без немецких жен (призванные в 18–20 лет, они и в СССР жен по большей части не имели), без детей – или бежать дальше на Запад. Многие предпочли последнее.

Они и в Америке становились сельскохозяйственными рабочими. В Калифорнии их охотно брали на апельсиновые плантации и крупные овощеводческие фермы. Германо-русские семьи оказались в англоязычной среде. Низкий уровень образования родителей делал их чуждыми американской культуре довольно долгое время, дети же быстро адаптировались к новой реальности, но...

Встав взрослыми, они никак не могли найти себе супруга или супругу среди англоязычных американцев. Основная причина неудач – глухое и необъяснимое недоверие. И только после нескольких скоротечных браков интуитивно находился русскоязычный муж или немецко-говорящая жена – и тогда возникали очень прочные и дружные семьи.

Возникла русскоговорящая еврейская диаспора в Израиле. Она оказалась не только самой многочисленной, но и самой влиятельной в этой стране. Более сорока лет эта диаспора была дальним зарубежьем.

Последняя волна советской эмиграции. Перестройка и последовавший за ней коллапс СССР парадоксальным образом не только не вернул соотечественников на Родину, о чем мечтали эмигранты первой и второй волны, но и вызвал мощную и многолетнюю третью волну эмиграции. Основными причинами этой волны стали: пустые полки; крах будущего и дефрагментация нравственности; массовая безработица; наглое ограбление под названием «приватизация»; расстрел парламента из танков; взрыв криминальности; глубокий кризис науки, образования и всей интеллектуальной сферы.

Противотоком в Россию стали возвращаться лидеры эмиграции, никогда и не входившие в диаспоры: Солженицын, Войнович, Аксенов, Зиновьев, Ростропович и Вишневская, Фетисов и Татьяна Тарасова, Хазанов и Казаков...

Основной мотив этой волны: «нам там будет плохо, но у наших детей появится будущее».

При этом надо признать, что эта волна оказалась наиболее пестрой и по социальному происхождению, и по имущественному положению, и этнически.

Ехали все: евреи и «евреи», русские, бандиты, «новые русские», «казановы» («новые казахи»), учителя, врачи, ученые, молодежь, украинские баптисты и сектанты, программисты, художники, представители шоу-бизнеса, спортсмены, политики, невесты (Левинтов, 2003). В нескольких голливудских фильмах с участием С. Крамарова атмосфера советской и постсоветской волн передана адекватно.

Отличием этой волны от предыдущих было наличие денежных средств. Если на рубеже 80–90-х разрешалось вывозить не более 300 долларов («философам парохода» разрешены были 20 долларов, смена белья и одно пальто; эмигранты Второй мировой и евреи 70-х ехали с пустыми карманами, более того, от последних требовали вернуть деньги за образование в размере от 6 до 12 тысяч долларов, квартиры приходилось не продавать, а бросать), то в 90-е люди ехали с деньгами: кто-то успел украсть миллион, кто-то продав квартиру, дачу, библиотеку и прочий скарб, вёз с собой полулегально (уезжающим на ПМЖ разрешалось вывозить не более 10 тысяч долларов на нос со справкой из банка об обмене рублей на валюту) несколько десятков тысяч долларов.

Выглядело это поначалу ужасно: в самолетах и аэропортах люди набрасывались на кока-колу как вожделенный символ Запада и свободы, безбожно пили и сквернословили, были беспрельдно агрессивны, воровали всё подряд.

Массовость третьей волны привела к формированию нескольких региональных русскоговорящих диаспор: Брайтон-Бич – это, конечно, Одесса, Манхеттен – москвичи и петербуржцы, Сан-Франциско – Киев и Кишинев, Сакраменто – украинцы; все русские проститутки Лас-Вегаса причисляли себя к петербуржкам.

Вот характерная для третьей волны история.

Украинская военная миссия перед визитом в Вашингтон потребовала обеспечить переговоры и каждого участника делегации украинско-английскими переводчиками. Пентагон срочно рекрутировал 20 украино-говорящих канадцев. После традиционного «здоровенькі були», начались переговоры по военнотехническим вопросам, и вся украинская делегация перешла на русский, которого ни один канадский переводчик не знал и не понимал. Аналогичная ситуация позже повторилась с узбеками.

Разнокалиберность и разноросность третьей волны отразилась и на разнообразии настроений. Выделенные ниже группы существуют не только в Америке, но и во всех диаспорах дальнего зарубежья:

Отношение к стране приезда Отношение к России	негативное	позитивное	индифферентное
негативное	нытики	иммигранты	«как правильно, что мы уехали»
позитивное	«тяжело, всё таки, на чужбине»	эми-имми	эмигранты
индифферентное	«Ленин был прав»	«Ленин был неправ»	пофигисты

Как уже было сказано ранее, эмигранты составляют основной костяк дальнезарубежных диаспор. Им, тем не менее, очень важно чувствовать, что они приняли правильное решение, оправданием чему является любая плохая весть из России (вот почему моя рубрика «О чем не пишут российские газеты», существующая уже более 10 лет, до сих пор популярна в США, Канаде и Германии). Это – милые люди, они хлебосольны и гостеприимны, в холодильнике и на столе – русская еда и водка, они собирают и заготавливают впрок грибы, в их домашних библиотеках – полные и просто собрания сочинений, хорошо,

если Пушкина, Достоевского и Толстого, а вдруг – Гладкова, Павленко и Бубенцова? Они – пожиратели русских газет, ТВ, фильмов и РУНЕТа. Среди них писателей заметно больше, чем читателей, при этом многие из них пишут в жанре *coru-paste* из Интернета, благо он бездонен. Они знают подноготную русских артистов, политиков, спортсменов, бизнесменов и шоуменов, но имени своего Representative не знают, голосуют за республиканцев, потому что недолюбливают негров. К ним часто приезжают Алла Пугачева, Геннадий Хазанов и другие ходовые знаменитости, поэтому их жизнь в Америке (Германии, Израиле) более культурна, чем та, что была в России. По уровню образованности и доходов русская комьюнити в США уступает только южнокорейской.

Их антиподами являются немногочисленные, но очень активные сторонники любого режима и любой ситуации в России.

«Нытики», как правило, сидящие на вэлфере и паразитирующие на местных налогоплательщиках, и в России жаловались и стонали, будучи откровенными бездельниками и лентяями.

Именно в это время сформировался устойчивый шлейф в каждой комьюнити русских магазинов, ресторанов, кафе, книжных магазинов, радиостанций и телестудий, газет (в Нью-Йорке их насчитывалось до 37, в Сан-Франциско – 11), русскоязычных сайтов и порталов, предпринимательских клубов типа «АМБАР» в Силиконовой долине.

Численность представителей «русскоговорящих» диаспор в Америке можно оценивать сугубо приблизительно:

Нью-Йорк – от 300 до 500 тысяч человек;

Бостон и Новая Англия – 50–60 тысяч;

Чикаго, Кливленд, Детройт и их окружение – 150–250 тысяч;

Калифорния – 400–700 тысяч, в том числе агломерация Лос-Анджелеса – 150–200 тысяч, Сан-Франциско, Бей-Эриа и Силиконовая Долина – 60–80 тысяч, Сакраменто – 200–300 тысяч;

Флорида и Техас – 70–100 тысяч;

остальные штаты – 150–300 тысяч;

Канада – 100–150 тысяч;

Итого: 1300–2200 тысяч человек.

Чаще всего мелькает цифра в 3 миллиона человек, но это представляется преувеличением: больше половины детей теряют русский язык, а среди внуков – русскоговорящих единицы. Дети смешанных браков теряют русский почти мгновенно или не имеют его вовсе.

В Турцию в это время уезжали крымские татары, турки-месхетинцы и представители других исламских народностей.

В Германию, из-за нежелания нетрезвого руководства страны вернуть республику немцев Поволжья, хлынули этнические немцы, которых, как и евреев, Германия принимала максимально гостеприимно.

Численность русскоговорящей диаспоры в Германии оценивается в 1,5–2 млн. человек, суммарно по всей Европе – 3–4 млн. Мировая (только дальнее зарубежье, куда не входит Израиль) – 5–7 млн. человек.

Современное состояние и пополнение русских диаспор. С начала 2000-х волна эмиграции из России несколько уменьшилась и составляет примерно 30–50 тыс. человек в год. Для сравнения: в 1990 году выехало 103,6 тыс. чел., в 1992 – 102,9, в 1994 – 105,2, в 1995 (пик третьей волны, в этом же году в Америку уехал и я), в 1996 – 96,4 тыс. чел. (Вишневский, 2008).

Существенные изменения произошли в составе эмиграции.

Кажется, нет такого предпринимателя, политика, госчиновника, преступника, деятеля искусства и культуры, крупного ученого, который не имел бы где-нибудь в дальнем и ближнем зарубежье «запасного аэродрома» в виде недвижимости, капитала, родственников (прежде всего, детей – современная эмиграция начинается детьми, уезжающими за образованием) и гражданства либо вида на жительство.

Наиболее бурно растет – не в душевом, а в валютном исчислении, лондонская диаспора. Несмотря на внутренние склоки и

неприятни (достаточно вспомнить такие дуэты как Абрамович-Березовский, Чичваркин-Лужков, Лужков-Березовский и т. д.), это – очень сплоченная группа людей, глубоко и откровенно презирающих свое отечество, его властителей и обитателей.

Велика стала доля полуэмигрантов: зарабатывают в России – живут на Западе или, как ни странно, наоборот.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая эту книгу, сложную по структуре, разнообразную по тематике и методологическим установкам её многочисленных авторских разделов, вмещающую как общетеоретические, науковедческие подходы, так и географическую экспликацию российской (и, прежде всего, русской) культуры на разных уровнях ее пространственного бытия, хотелось бы высказать ряд итоговых соображений. Последние касаются, прежде всего, современного состояния и перспектив географии культуры (культурной географии) в России, места и роли данной исследовательской дисциплины в системе общественно-географического знания.

Оценивая ретроспективу, важно осознавать, что за последнюю четверть века отечественная культурная география (география культуры), проделав довольно основательный путь развития, претерпела значительную эволюцию. Вместе с тем, весьма характерной её чертой была и остается сравнительно высокая степень «автономности» самоидентификации данной научной дисциплины. Конечно, формирование этого географического исследовательского направления происходило, так или иначе, в контексте общих тенденций и трендов развития современной российской общественной географии (да и мировой Human Geography), но, тем не менее, обозначилась и его дистанцированность от других общественно-географических дисциплин. По нашему мнению, такого рода ситуацию едва ли следует оценивать со знаком «плюс». Культурные факторы в современную эпоху играют все более осознаваемую роль (в том числе, в пространственной дифференциации социально-экономического развития разных стран, регионов, городов), оказывая непосредственное (прямое и косвенное) влияние на характер взаимодействия между регионами, на динамику территориальных

пропорций, формирование миграционных, товарных, финансовых, информационных потоков и др. Выбор стратегий развития и путей их практической реализации все более требует учета геокультурных факторов и культурно-географической экспертизы; чрезмерная обособленность географии культуры (культурной географии) от разных направлений общественной географии затрудняет, в этой связи, решение многих конкретных задач как научно-теоретического, так и (что особенно важно!) практического, прикладного характера, существенно лимитируя эвристический потенциал как собственно культурно-географических исследований, так и нашей науки в целом. В этом контексте крайне важен вопрос о *демаркации культурной географии (географии культуры)* как самостоятельного научного направления. В проблеме демаркации можно выделить два аспекта – внутренний и внешний.

Внутренний аспект имеет прямое отношение к вопросу не столько *предметного размежевания*, сколько **взаимодействия** с другими ветвями общественной географии, в том числе такими, как география населения, социальная, экономическая, политическая, рекреационная. На стыке с ними формируются и весьма успешно развиваются междисциплинарные исследовательские направления (география экономической, политической культуры и т. д.). Они в равной мере принадлежат как культурной географии, так и смежным географическим наукам.

Внешний аспект очерчивает гораздо более широкий спектр междисциплинарных взаимодействий. Экспансия географии в предметные области гуманитарных наук (в этнологию, социологию, психологию и особенно в культурологию) сопровождается, как известно, и движением в обратном направлении – привнесением в географию моделей и концептов, наработанных в гуманитарных науках. Вне всякого сомнения, это не только закономерный, но и в высшей степени позитивный, благотворный процесс, способствующий взаимообогащению научных дисциплин. Однако он имеет и обратную сторону. Для куль-

турной географии в качестве таковой выступает, прежде всего, угроза раствориться в смежных гуманитарных науках, утратить в той или иной мере свою идентичность (!). *Отдельные новые исследовательские направления* культурной географии явно представляют собой в большей степени культурологические, чем географические субдисциплины. Параллельно, возрождая традиции прежней антропогеографии, культурная география все более стремится к постижению характерных черт и географических образов стран, мест и местностей. Реалии таковы, что в начале XXI в. именно культурная география становится ядром и основой возрождающегося на наших глазах страноведения России, приобретая все большее практическое, прикладное значение. Сохранение культурного наследия, охрана культурных ландшафтов, «живых» традиций этносов, региональных и локальных культурных групп, инвентаризация информации о социокультурном потенциале разных регионов и территорий – лишь некоторые его грани. Представления о территориях, бытующие в разных группах людей и в разных социокультурных контекстах, в современных условиях непосредственно становятся информационной основой для выбора верных управленческих решений, позитивного межкультурного диалога, обеспечения целостности страны, реализации её геополитических и геоэкономических интересов.

В современную эпоху пространственная организация общества все более зависит не только от объективных, физических свойств географического пространства, но и от его перцепции самим обществом. Разумеется, характер такой социальной трансформации накладывает отпечаток на развитие географической науки, исследовательский фокус которой закономерно должен быть смещён в сторону самого человека и человеческих сообществ разного таксономического ранга, их культурных особенностей. В последние десятилетия о «гуманизации пространства», как своего рода культурном повороте (cultural turn), в географической науке писали многие западные ученые

и мыслители. Развитие культурной географии в нашей стране происходит, в целом, в русле тех же тенденций. Одни направления культурной географии наследуют великим традициям сциентизма, другие же уходят в феноменологию, позиционируют свой отказ от поиска жестких закономерностей в анализе взаимодействия географического пространства и культуры. Но и те, и другие – неотъемлемые звенья, разные ветви, в известном смысле – разные полюса единой культурной географии. Развитие последней, в данном контексте, в огромной мере предопределяется поиском и формированием системного инструментария культурно-географических исследований, интегрирующего уже имеющиеся наработки и подходы и «заточенного», прежде всего, на исследовании российских реалий.

Рассматривая культурную географию как один из наиболее важных «полюсов роста» географической науки, фиксируя всё возрастающий социальный запрос на имманентную культурной географии проблематику, веря в позитивную перспективу российской географии культуры (культурной географии), полагаем, что последняя требует существенно более активной (чем ныне) поддержки со стороны общественно-географического сообщества, особенно нашей научной молодёжи. Речь, разумеется, не идёт о тотальном «уходе» географов-обществоведов от познания крайне важных, в том числе и в современном контексте, исследовательских сфер (например, изучении территориальных систем расселения, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и т. п.) в пользу тех или иных актуальных геокультурных сюжетов и направлений, либо забвении традиционных, успешно зарекомендовавших себя научно-исследовательских парадигм. Поддержка культурно-географического направления – это, полагаем, прежде всего, утверждение гуманистических (культурных) целевых установок и привнесение гуманитарного инструментария во все без исключения общественно-географические исследования. Геокультурные подходы способны (и должны!) стать основой современного районирования

России, расширить представления о критериях эффективности пространственной организации общества (ныне чрезмерно «экономизированные»), получить своё воплощение в таких базовых общественно-географических категориях как «географическое положение», «территориальная организация общества», «территориальная социально-экономическая система», «социально-экономическое районирование» и др., оказаться инкорпорированными в страноведческие общественно-географические характеристики. И, при этом, полагаем, что *культурная география (география культуры)*, одновременно, должна активно развиваться как *самостоятельное направление*, интегрированное в систему общественной географии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абашев В. В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе XX века. Пермь: Изд-во Пермского университета, 2000.

Агафонов Н. Т. О сущности и основных задачах советской социальной географии // Известия ВГО. 1984. Т. 116. №3. С. 205–211.

Агбогачиева М. С-Г., Бабич И. Л. Правовая культура ингушей // История государства и права. М., 2009, № 20. С.34-38.

Азраэль Д. Р., Брукофф П. А., Школьников В. Д. Перспективы миграции и эмиграции из бывшего СССР // Бывший СССР: внутренняя миграция и эмиграция. Вып. I. М., 2005.

Аинса Ф. Реконструкция утопии. Эссе. М.: Наследие, 1999.

Алаев Э. Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь. М.: Мысль, 1983.

Анатомия кризисов / под ред. В. М. Котлякова. М.: Наука, 1999. 239 с.

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001.

Андреев А. А. Культурно-ландшафтное районирование территории Псковской области // Псковский регионологический журнал. № 11. Псков : ПГПУ, 2011. С. 113–131.

Андреев А. А. Опыт культурно-ландшафтного районирования России // Псковский регионологический журнал. № 13. Псков : Изд-во ПсковГУ, 2012. С. 12–25.

Андреева Е. Д. Звуковой ландшафт как реальный объект и исследовательская проблема // Экология культуры: альманах Института Наследия. М: Институт наследия, 2000. 216 с.

Ареал // Большая Российская энциклопедия. 2005 Т. 2, 1985.

Арена. Атлас Религий и Национальностей Российской Федерации. Режим доступа: <http://sreda.org/arena> (дата обращения: 18.06.2013).

Арефьев А. Л. Русский язык на рубеже XX–XXI веков – М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2012. С. 67.

Архипова Н. П., Ястребов Е. В. Как были открыты Уральские горы. Очерки по истории открытия и изучения природы Урала. Изд. Третье, переработанное. Свердловск: Средне-Уральское кн. Изд-во, 1990.

Арутюнян Ю. В. Русские в ближнем зарубежье (по материалам сравнительного этносоциологического исследования в Эстонии и Узбекистане) // Социологические исследования, 2003, № 1. С. 31–40.

Аттиас Ж.-К., Бенбасса Э. Вымышленный Израиль. М.: Изд-во «ЛОРИ», 2002.

Аузан А. А. Долгосрочная экономическая динамика: роль неформальных институтов [Электронный ресурс]: расшифровка лекции НАБ РК, 24.05.2013 / А.А. Аузан. – Режим доступа: <http://www.msu.kz/information/auzan.php>, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.

Бабич И. Л. Иерархия общественных статусов в кабардинском обществе // Этнографическое обозрение. 1994, № 4. С. 44–53.

Бабич И. Л. Эволюция форм гостеприимства у кабардинцев // Этнографическое обозрение. 1996. № 3. С. 23–35.

Бабич И. Л. Клановая структура общества и её влияние на современную политическую ситуацию на Северном Кавказе // журнал «Центральная Азия и Кавказ». М., 2003. № 1, С. 55–74.

Бабич И. Л. Особенности правовой практики на Северном Кавказе // Государство и право. 2003, № 12. С. 14–20.

Бабич И. Л. Республика Адыгея: ислам и общество на рубеже веков // журнал «Центральная Азия и Кавказ». М., 2004. № 6. С. 67–89.

Бабич И. Л. Проблемы сохранения идентичности шапсугов Причерноморья в XXI веке. Исследования по прикладной и неотложной этнологии. М., 2009. № 213.

Бабич И. Л. (отв. ред.). Народные традиции Северного Кавказа и культурная глобализация. М., 2010.

Бабурин В. Л., Битюкова В. Р., Казьмин М. А., Махрова А. Г. Московский столичный регион на рубеже веков: новейшая история и пути развития. Смоленск: Ойумена, 2003.

Бакланов П. Я. Контактные географические структуры и их функции в северо-восточной Азии // Известия Академии Наук. Сер. Геогр. 2000. № 1. С. 31–39.

Баранский Н. Н. О создании серии экономико-географических монографий по республикам и областям // Баранский Н. Н. Экономическая география. Экономическая картография. Изд. 2-е. М.: Географгиз, 1960.

Барт Р. Мифологии / пер. с франц., вступ. ст. и коммент. С. Н. Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2000.

Барт Р. Империя знаков. М.: Праксис, 2004.

Бассин М. Россия между Европой и Азией: идеологическое конструирование географического пространства // Российская империя в зарубежной историографии. М.: Новое издательство, 2005. С. 277–311.

Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Литературно-критические статьи. М., 1986.

Башляр Г. Поэтика пространства // Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. С. 5–213.

Белановский Ю. Строительство мечетей в Москве. «Пусть они лучше молятся, чем курят травку и насилуют девочек» // Аргументы и факты. 21.09.2010. Режим доступа: <http://www.aif.ru/society/20636> (дата обращения: 17.11.2013).

Берг Л. С. Предмет и задачи географии // Известия ИРГО. 1915. Т. 51. № 9. С. 463–475.

Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии. М.: Смысл, 2000.

Бондаренко Г. В. Мифология пространства Древней Ирландии. М.: Языки славянской культуры, 2003.

Богомолов О. Будет ли у завтрашней России научная элита, или еще раз об утечке умов // Российские вести. 2003. 7 мая.

Бодрийяр Ж. Америка. СПб.: «Владимир Даль», 2000.

Бонгард-Левин Г. М., Грантовский Э. А. От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история. 2-е изд., доп. и испр. М.: Мысль, 1983.

Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983.

Будущее, которое мы хотим. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/436/90/PDF/N1243690.pdf>.

Булгаков С. Н. Философия хозяйства. М.: Путь, 1912. 322 с.

Бунге В. Теоретическая география. М.: Прогресс, 1967.

Былов М. Высотное соревнование муфтиятов // НГ – Религии. № 3 (351). 19 февраля 2014.

Вампилова Л. Б. Историко-географическое районирование Карелии // Проблемы этнической географии и культурного районирования: Сборник научных статей. Псков : Изд-во АНО «Центр социального проектирования «Возрождение», 2004. С. 190–200.

Вампилова Л. Б., Манаков А. Г. Природные и культурные признаки историко-географического районирования России // Известия РАН. Серия географическая. 2012. № 6. С. 7–16.

Вампилова Л. Б., Манаков А. Г. Опыт историко-географического районирования территории России // Известия Русского географического общества. Т. 145, вып. 2, 2013. С. 25–36.

Вахштайн В.С. Темпоральные механизмы социальной организации пространства. Анализ резидентальной дифференциации // Социологическое обозрение. 2003. Т. 3. № 2.

Вахштайн В. С. Возвращение материального. «Пространства», «сети», «потoki» в акторно-сетевой теории // Социологическое обозрение. 2004. Т. 3. № 4.

Веденин Ю. А. Проблемы формирования культурного ландшафта и его изучения // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1990. № 1. С. 5–17.

Веденин Ю.А. Культурно-ландшафтное районирование России – ориентир культурной политики // Ориентиры культурной политики. Вып 2. – М.: Министерство культуры РФ, ГИВЦ МК РФ, 1997. С. 3–99.

Веденин Ю. А. Очерки по географии искусства. М.: Институт Наследия, 1997. 224 с.

Веденин Ю. А. Опыт культурно-ландшафтного описания крупных регионов России // Культурный ландшафт как объект наследия / под ред. Ю. А. Веденина, М. Е. Кулешовой. М. : Институт Наследия; СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. С. 133–148.

Веденин Ю. А. Литературные ландшафты как объекты наследия // География в школе. 2006. № 8. С. 15–21.

Веденин Ю. А. Изучение, сохранение и актуализация наследия как фактор устойчивого развития района // Россия и её регионы: интеграционный потенциал, риски, пути перехода к устойчивому развитию. М.: Товарищество научных изданий КМК. 2012. С. 85–111.

Веденин Ю. А., Середина Е. В. Роль культурного потенциала в региональном развитии // География и проблемы регионального развития. М., 1989.

Веденин Ю. А., Туровский Р. Ф. Культурная география, М., 2001.

Веденин Ю. А., Кулешова М. Е. Культурные ландшафты как категория наследия // Культурный ландшафт как объект наследия. М.: Институт Наследия; СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. С. 13–36.

Величковский Б. М., Блинникова И. В., Лапин Е. А. Представление реального и воображаемого пространства // Вопросы психологии. 1986. № 3. С. 103–112.

Вендина О. И. Русские за рубежами России // География. 2011. №1 . Режим доступа: <http://geo.1september.ru/2001/11/6.htm>.

Верлен Б. Общество, действие и пространство. Альтернативная социальная география // Социологическое обозрение. 2001. Т. 1. № 2. С. 25–46.

Верховский А. А. Публичные отношения православных и мусульманских организаций на федеральном уровне // Ислам в России: Взгляд из регионов / науч. ред. А. В. Малащенко. М.: Аспект Пресс, 2007. С. 123–153.

Вишневский А. Г. Серп и рубль. М., 2008.

Воскресенский А. Д. Дипломатическая история русско-китайского Санкт-Петербургского договора 1881 года. М.: Памятники исторической мысли, 1995.

Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 2003.

Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на торжественном открытии III Ассамблеи Русского мира // Официальный сайт Московского Патриархата. Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/928446.html> (дата обращения: 14.01.2014).

Гачев Г. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. М.: Прогресс-Культура, 1995.

Геннеп А., ван. Обряды перехода. М.: Восточная литература, 1999.

Генон Р. Избранные сочинения: Царство количества и знамения времени. Очерки об индуизме. Эзотеризм Данте. М.: Беловодье, 2003.

Географический энциклопедический словарь. Понятия и термины / под ред. А. Ф. Трёшникова. М., 1988. С. 17.

Геопанорама русской культуры: Провинция и её локальные тексты / отв. ред. Л. О. Зайонц; Сост. В. В. Абашев, А. Ф. Белоусов, Т. В. Цивьян. М.: Языки славянской культуры, 2004 и др.

Герасименко Т. И. Проблемы этнокультурного развития трансграничных регионов: монография. СПб, 2005.

Герасименко Т. И. Вмещающий ландшафт и комплиментарность этносов – основа формирования региональной идентичности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Специальный выпуск. 2012. С. 311–39.

Герасименко Т. И., Нуждина Е. Ю. Немцы-меннониты Оренбургской области: культурный след в истории и географии. Оренбург, 2000.

Гладкий И. Ю. Этнические кризисы глазами географа: монография. СПб: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2003. 108 с.

Гладкий Ю. Н. Гуманитарная география. Научная экспликация. СПб.: Филологический ф-т СПбГУ. 2010. 664 с.

Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Регионоведение. М.: Гардарики, 2000.

Глазычев В. Л. Город без границ. М.: Изд. дом «Территория будущего», 2011.

Голд Дж. Психология и география: Основы поведенческой географии. М.: Прогресс, 1990.

Гольц Г. А. Урбанизация как феномен культуры: закономерности социально-информационного разнообразия // Известия РАН. Сер. геогр. 1994. № 3. С. 24–37.

Гоняный М. И., Александровский А. Л., Гласко М. П. Северная лесостепь бассейна Верхнего Дона времени Куликовской битвы. М., 2007. 208с.

Городяненко В. Г. Положение русских в Украине и проблемы их идентичности // Социологические исследования. 2009. №1. С. 89–95. Режим доступа: sociol.uspi.ru/socis/2009/01/Gorodyanenko.pdf.

Горохов С. А. Религиозная идентичность как фактор формирования конфессиональных регионов современного мира // Вестник Московского университета. Сер. 5. География. 2012. № 5. С. 49–55.

Горохов С. А. Измерения исламского мира: исторический анализ пространственной динамики // Вопросы географии. Сб. 136: Историческая география / отв. ред. В. М. Котляков, В. Н. Стрелецкий. М.: Издательский дом «Кодекс», 2013. С. 141–159.

Гране М. Китайская мысль. М.: Республика, 2004.

Гриценко А. А., Крылов М. П. Провинциальное пространство России и Украины: этнокультурное поле и трансформация идентичностей (методологические подходы) // Российская глубинка – модели и методы изучения. Сборник статей. М.: Эслан, 2012. С. 72–90.

Гриценко А. А., Крылов М. П. Этнокультурный градиент: региональная идентичность и историческая память в соседних районах России и Украины // Культурная и гуманитарная география, 2012, Т. 1, № 2. С. 126–140. URL: <http://gumgeo.ru/index.php/gumgeo/article/view/53>.

Гуманитарная география: Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 1–5. М.: Институт наследия, 2004. 2008.

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л.: Гидрометеиздат, 1999.

Дайс Е. Украинский Орфей в московском аду, или Путь поэта // Гуманитарная география. Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 2. М.: Институт наследия, 2005.

Далгатов И. Г. Республики Северного Кавказа в системе российского федерализма (географический подход). Махачкала, 2003.

Дергачев В. А. Раскаленные рубежи: очерки маргинальной комплиментарности / под ред. А. И. Умова. Одесса: Астропринт, 1998.

Дергачев В. А. Геополитика. Киев: ВИРА-Р, 2000.

Дивакова Н. А. Художественно-ассоциативный культурный ландшафт как предмет исследования // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология

и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2011. № 7. Ч. 3. С. 66–69.

Дмитревская Н. Ф., Дмитриевский Ю. Д. Проблемы инфраструктуры в новых направлениях экономической и социальной географии // Социально-экономические и экологические аспекты географии. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983.

Дмитревская Н. Ф., Дмитриевский Ю. Д. География культуры и новое политическое мышление // География, политика и культура. Л.: Наука, 1990, С. 127–134.

Домников С. Д. Литургия «окормленных». Хозяйство. Миф. Культура // Полигнозис, 1 (30), 2008. URL: <http://www.polygnosis.ru/default.asp?num=6&num2=10>.

Дронин Н. М. Эволюция ландшафтной концепции в русской и советской физической географии (1900-е – 1950-е годы). М.: ГЕОС, 1999. 232 с.

Дружинин А. Г. География культуры: теоретико-методологический аспект. (Препринт научного доклада) Ростов-на-Дону: СКФ ГО СССР, 1989. 100 с.

Дружинин А. Г. Методологические основы географических исследований культуры // Известия ВГО. 1989. Т. 121. Вып. 1. С. 59–64.

Дружинин А. Г. География культуры: некоторые аспекты формирования нового научного направления // Известия ВГО. 1989. Т. 121. Вып. 4. С. 307–312.

Дружинин А. Г. Некоторые аспекты географической интерпретации концепции ноосферы // География и природные ресурсы. 1990, № 1.

Дружинин А. Г. Теоретико-методологические основы географических исследований культуры. Дисс. докт. географ. наук. Санкт-Петербург. 1995.

Дружинин А. Г. Теоретические основы географии культуры. Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 1999. 114 с.

Дружинин А. Г. Российская общественная география начала XXI века: старые проблемы, новые вызовы // Экономико-

географический вестник Южного федерального университета. 2008. № 5. С. 3–9.

Дружинин А. Г. От гуманизации к неогуманизации российской социально-экономической географии: тренды, проблемы, приоритеты // Южно-российский форум: экономика, социология, политология, социально-экономическая география. 2011, № 1 (2). С. 34–51.

Дружинин А. Г. Демографо-экономическая динамика регионов Юга России: долговременные тренды и новые тенденции в российском и глобальном контексте // Южно-российский форум: экономика, социология, политология, социально-экономическая география. 2012, № 1 (4). С. 3–16.

Дружинин А. Г. Новая концептуализация Евразии: взгляд географа-обществоведа // Социально-экономическая география. Вестник Ассоциации российских географов-обществоведов. 2013. № 2. С. 25–36.

Дружинин А. Г. «Культурная составляющая» общественной географии в современной России: итоги становления, проблемы и приоритеты развития // Южно-российский форум: экономика, социология, политология, социально-экономическая география. 2013, № 1 (6). С. 3–14.

Дружинин А. Г., Суцкий С. Я. География русской культуры: подходы к исследованию // Известия РГО. 1993. Т. 125. № 6. С. 27–36.

Дьяконов К. Н., Пузаченко Ю. Г. Теоретическое положение и направления исследований современного ландшафтоведения // География, общество, окружающая среда. Т. 2. Функционирование и современное состояние ландшафтов. М.: ИД «Городец», 2004. С. 21–35.

Елисеева О. И. Геополитические проекты Г. А. Потемкина. М.: Ин-т российской истории РАН, 2000.

Епархии Русской Православной Церкви // Официальный сайт Московского Патриархата. Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/organizations/30968/> (дата обращения: 14.01.2014).

Ерофеев Н. А. Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских. 1825–1853 гг. М.: Наука, 1982.

Желева-Мартинс Виана Д. Топогенезис города: семантика мифа о происхождении // Семиотика пространства: Сб. науч. Тр. Межд. Ассоц. Семиотики пространства / под. ред. А. А. Барабанова. Екатеринбург: Архитектон, 1999. С. 443–467.

Зайончковская Ж. Миграционная связи России: реакция на новую политическую и экономическую ситуацию // Бывший СССР: внутренняя миграция и эмиграция. Вып. I. М., 2005.

Замятин Д. Н. Моделирование географических образов: Пространство гуманитарной географии. Смоленск: Ойкумена, 1999.

Замятин Д. Н. Геокультура: образ и его интерпретации // Социологический журнал. 2002. № 2. С. 5–13.

Замятин Д. Н. Гуманитарная география: Пространство и язык географических образов. СПб.: Алетейя, 2003.

Замятин Д. Н. Геокультура и процессы междивизиационной адаптации: стратегии репрезентации и интерпретации ключевых культурно-географических образов) // Цивилизация. Восхождение и слом. Структурообразующие факторы и субъекты цивилизационного процесса. М.: Наука, 2003. С. 213–256.

Замятин Д. Н. Мета-география: Пространство образов и образы пространства. М.: Аграф, 2004.

Замятин Д. Н. Азиатско-Тихоокеанский регион и Северо-восток России: проблемы формирования географических образов трансграничных регионов в XXI веке // Восток. 2004. № 1. С. 136–142.

Замятин Д. Н. Власть пространства и пространство власти: Географические образы в политике и международных отношениях. М.: РОССПЭН, 2004.

Замятин Д. Н. Социокультурное развитие Сибири и его образно-географические контексты // Проблемы сибирской ментальности / под общ. ред. А. О. Бороноева. СПб.: Астерион, 2004. С. 45–60.

Замятин Д. Картографирование географических образов // Diskussionsbeiträge zur Kartosemiotik und zur Theorie der Kartographie. Band 8. Dresden: Selbstverlag der Technischen Universität Dresden, 2005. S. 34–46.

Замятин Д. Н. Гуманитарная география. Материалы к словарию гуманитарной географии // Гуманитарная география: Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 2. М.: Институт наследия, 2005.

Замятин Д. Локальные истории и методика моделирования гуманитарно-географического образа города // Гуманитарная география. Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 2. М.: Институт наследия, 2005. С. 276–323.

Замятин Д. Н. Культура и пространство: Моделирование географических образов. М.: Знак, 2006.

Замятин Д. Геономика: пространство как образ и транзакция // Мировая экономика и международные отношения. 2006. № 5. С. 17–19.

Замятин Д. Н. Имагинальная (образная) география. Материалы к словарю гуманитарной географии // Гуманитарная география. Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 4. М.: Институт наследия, 2007.

Замятин Д. Н. Россия и нигде: географические образы и становление российской цивилизационной идентичности // Россия как цивилизация: Устойчивое и изменчивое; отв. ред. И. Г. Яковенко; Науч. совет РАН «История мировой культуры». М.: Наука, 2007. С. 341–367.

Замятин Д. Н. Вообразить Россию. Географические образы и пространственная идентичность в Северной Евразии // Космополис № 3 (22). Осень 2008. С. 33–40.

Замятин Д. Н. Образный империализм // Политические исследования. 2008. № 5. С. 45–55.

Замятин Д. Н., Замятина Н. Ю. Пространство российского федерализма // Политические исследования. 2000. № 5. С. 98–110.

Замятин Д., Замятина Н. Имиджевые ресурсы территории: идентификация, оценка, разработка и подготовка к продвижению имиджа // Гуманитарная география. Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 4. М.: Институт наследия, 2007. С. 227–250.

Замятина Н. Ю. Зона освоения (фронтир) и ее образ в американской и русской культурах // Общественные науки и современность. 1998. № 5. С. 75–89.

Замятина Н. Ю. Когнитивные пространственные сочетания как предмет географических исследований // Известия РАН. Сер. геогр. 2002. №5. С. 32–37.

Замятина Н. Ю. Использование образов мест в преподавании страноведения и градоведения // Гуманитарная география. Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 1. М.: Институт наследия, 2004. С. 311–327.

Замятина Н. Ю., Митин И. И. Гуманитарная география // Большая Российская энциклопедия. Т. 8. Григорьев – Динамика. М.: Большая Российская энциклопедия, 2007.

Замятина Н. Ю., Митин И. И. Гуманитарная география. Материалы к словарю гуманитарной географии // Гуманитарная география: Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 4. М.: Институт наследия, 2007.

Зенкин С. Ролан Барт – теоретик и практик мифологии // Барт Р. Мифологии / Пер. с франц., вступ.ст. и коммент. С. Н. Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2000. С. 5–53.

Земсков В. Б. Хроники Конкисты Америки и летописи взятия Сибири в типологическом сопоставлении // Латинская Америка. 1995. № 3. С. 88–95.

Иконников О. Экспорт умов продолжает расти//Финансовые известия. 2006. 29 октября – 4 ноября.

Ионин Л. Г. Социология культуры: Путь в новое тысячелетие. М.: Логос, 2000.

Исаченко А. Г. Оптимизация природной среды: географический аспект. М.: Мысль, 1980. 264 с.

Исаченко А. Г. Принципы историко-географического районирования (на примере Северо-Запада Европейской России) // Известия РГО. 2013. Т. 145, вып. 1. С. 3–20.

Исаченко Г. А., Резников А. И. Динамика ландшафтов тайги Северо-Запада Европейской России. СПб, 1996.

Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г. Национальный состав населения Узбекской ССР. – Т., 1990.

Кабо Р. М. Природа и человек в их взаимных отношениях как предмет социально-культурной географии // Вопросы географии. Сб. 5. География населения. М.: ОГИЗ, 1947. С. 16–17.

Каганский В. Л. Ландшафт и культура. М., 1997.

Каганский В. Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство: сборник статей. М.: НЛО, 2001. 576 с.

Каганский В. Л. Регионализация, регионализм, пострегионализация // Интеллектуальные и информационные ресурсы и структуры для регионального развития. М.: ИГ РАН, 2002.

Каганский В. Л. Внутренняя периферия – новая растущая зона культурного ландшафта России // Изв. РАН. Сер. геогр. 2012. № 6.

Каганский В. Л. Ландшафт. Империя. Россия // Международный журнал исследований культуры. Выпуск № 2(11) 2013. Империя: сценарии общности и практики различий. www.culturalresearch.ru.

Каганский В. Л., Родоман Б. Б. Культура в ландшафте и ландшафт в культуре // Наука о культуре: итоги и перспективы (информационно-аналитический сборник). Вып. 3. М.: РГБ (Информкультура), 1995. С. 2–4.

Калуцков В. Н. Проблемы исследования культурного ландшафта // Вестник Моск. ун-та. Сер. 5. География. 1995. № 5. С. 16–20.

Калуцков В. Н. Основы этнокультурного ландшафтоведения. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. 96 с.

Калуцков В. Н. Культурно-ландшафтное районирование Русского Севера: Постановка проблемы // Рябининские чтения-

2007: Материалы научной конференции по изучению народной культуры Русского Севера. Музей-заповедник «Кижи». Петрозаводск, 2007. С. 54–56.

Калуцков В. Н. Ландшафт в культурной географии. М.: Новый хронограф, 2008. 320 с.

Калуцков В. Н. Этнокультурное ландшафтоведение: учебное пособие. М.: Географический ф-т МГУ, 2011. 112 с.

Калуцков В. Н. О типах районов в культурной географии // Культурная и гуманитарная география. 2013. Т. 2. № 1. С. 3–9.

Калуцков В. Н., Иванова А. А., Давыдова Ю. А. и др. Культурный ландшафт Русского Севера: Пинежье, Поморье / Семинар «Культурный ландшафт»: первый тематический выпуск докладов. М.: Изд-во ФБМК, 1998. 136 с.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М. 2000.

Кириллова Е. Эмиграция из бывшего СССР: по страницам отечественных журналов // Бывший СССР: внутренняя миграция и эмиграция. Вып. I. М., 2007.

Кайзерлинг фон Г. Америка. Заря нового мира. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002.

Клоков К. Б. Традиционное природопользование народов Севера: концепция сохранения и развития. Этногеографические и этноэкологические исследования, вып. 5, изд. НИИГ СПбГУ, СПб., 1997, 91 с.

Клоков К. Б. Современное состояние биолого-ресурсной базы и экологические основы управления биоресурсами в традиционном природопользовании Российского Севера // Обычай и закон. Исследования по юридической антропологии. М.: Издательский дом «Стратегия», 2002. С. 21–46.

Кобзев А. И. Особенности философской и научной методологии в традиционном Китае // Этика и ритуал в традиционном Китае. М.: Глав. ред. вост. лит. изд-ва «Наука», 1988. С. 17–56.

Козлов В. И. Основные проблемы этнической экологии // Советская этнография. 1983. № 1. С. 3–18.

Козлов В. И. Хозяйственно-культурные типы и историко-культурные области // Народы России: энциклопедия / гл. ред. В. А. Тишков. М. : Большая Российская энциклопедия, 1994. С. 462–465.

Козловски П. Миф о Модерне. М.: Республика, 2002.

Колбовский Е. Ю. Методы работы с ландшафтным наследием. // Сельские культурные ландшафты: рекомендации по сохранению и использованию. М.: ЭкоЦентр «Заповедники», 2013. С. 74–99.

Колосов В. А., Туровский Р. Ф. Типы новых российских границ // Изв. РАН. Сер. геогр. 1999. №5. С. 39–47.

Колосов В. А., Мироненко Н. С. Геополитика и политическая география. М.: Аспект Пресс, 2001.

Конькова О. И. Ижорский мир: формирование и конструкция. Пространство и время // Поморские чтения по семиотике культуры. Вып. 2. Сакральная география и традиционные этнокультурные ландшафты народов Европейского Севера / отв. ред. Н. М. Теребихин. Архангельск: Поморский университет, 2006.

Консультативный Совет Глав Протестантских Церквей России. Режим доступа: <http://www.g-protestant.com/> (дата обращения: 01.02.2014).

Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005.

Крамп Дж. и др. Совместное управление в Арктике: примеры Канады, Аляски и Скандинавских стран. Приложение к альманаху «Мир коренных народов – Живая Арктика». М.: АКМНСС и ДВ РФ, 2008. 40 с.

Кривонос В. Ш. Гоголь: миф провинциального города // Провинция как реальность и объект осмысления. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2001. С. 101–110.

Кропоткин П. А. Дневники разных лет. М.: Сов. Россия, 1992.

Крупник И. И. Арктическая этноэкология (модели традиционного природопользования морских охотников и оленеводов Северной Евразии). М.: Наука, 1989. 271 с.

Крупник И. И. Этноконтактные зоны в европейской части СССР (вместо предисловия) // Этноконтактные зоны в европейской части СССР (география, динамика, методы изучения). М.:МФГО, 1989. С. 3–6.

Крылов М. П. Понятие «регион» в культурном и историческом пространстве России // География и региональная политика. Часть 1. Смоленск : Изд. СГУ, 1997. С. 32–37.

Крылов М. П. Современная региональная идентичность в Европейской России: север – юг // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2005. № 5. С. 51–60.

Крылов М. П. Региональная идентичность в Европейской России. М.: Новый хронограф, 2010. 240 с.

Крылов М. П., Гриценко А. А. Региональная и этнокультурная идентичность в российско-украинском и российско-белорусском порубежье: историческая память и культурные трансформации // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. № 2, 2012. С. 28–42.

Крым-Гирей. Путевые заметки // Избранные произведения адыгских просветителей. Нальчике, 1992. С. 96–97.

Крысько В. Г. Этнопсихология и межнациональные отношения. М.: Изд-во «Экзамен», 2002.

Кувенева Т. Н., Манаков А. Г. Формирование пространственных идентичностей в порубежном регионе // Социологические исследования («СОЦИС»), 2003, № 7. С. 77–84.

Кулешова М. Е. Особенности формирования природно-культурного каркаса о. Анзер (Соловецкий архипелаг) // Наследие и современность. Вып. 4. М.: Институт наследия, 1996. С. 58–76.

Кулешова М. Е. Природно-культурный каркас и его роль в решении экологических проблем // Материальная база сферы культуры. Информкультура. Вып 1, М., 1999. С. 76–81.

Кулешова М. Е. Принципы и методы оценки культурного ландшафта // Культурный ландшафт как объект наследия – М.: Институт Наследия; СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. С. 37–67.

Культурный ландшафт: вопросы теории и методологии исследований / Семинар «Культурный ландшафт»: второй тематический выпуск докладов. М.-Смоленск: Изд-во СГУ, 1998. 104 с.

Культурный ландшафт: вопросы теории и методологии исследований. 3 юбилейный выпуск трудов семинара «Культурный ландшафт». М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. 172 с.

Культурный ландшафт как объект наследия / под ред. Ю. А. Веденина, М. Е. Кулешовой. М.: Институт Наследия; СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. 620 с., ил.

Культурные ландшафты России и устойчивое развитие / 4 выпуск трудов семинара «Культурный ландшафт». М.: Географический ф-т МГУ, 2009. 270 с.

Культурное наследие России и туризм. М.: Институт наследия, 2005, 172 с.

Культурология. XX век. Словарь / гл. ред. А. Я. Левит; Отв. ред. Л. Т. Мильская. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 248.

Курбатова О. Л. Современные социально-демографические процессы и проблема генетической безопасности городского населения России // Экополис 2000. Экология и устойчивое развитие города. М., 2000. С. 211–216.

Кырлежев А. Постсекулярная эпоха // Континент. 2004. № 120. Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/continent/2004/120/kyr16.html> (дата обращения: 18.05.2013).

Кэмпбелл Дж. Мифический образ. М.: АСТ, 2002.

Лавренова О. А. Географическое пространство в русской поэзии XVIII – начала XX вв. (геокультурный аспект) / науч. ред. Ю. А. Веденин. М.: Институт наследия, 1998.

Лавренова О. А. Новые направления культурной географии: семантика географического пространства, сакральная и эстетическая география // Культурная география / науч. ред. Ю. А.

Веденин, Р. Ф. Туровский. М.: Институт Наследия, 2001. С. 95–126.

Лаврёнова О. А. Пространства и смыслы: семантика культурного ландшафта. М.: Ин-т Наследия, 2010. 330 с. и др.. 210 с.

Лавров С. Б. Становление социальной географии: мнимые противоречия и реальные проблемы // Социальная география Калининградской области. Калининград: Изд-во Калининградского ун-та, 1982.

Лавров С. Б. Интеграционные тенденции в географии // Советская география. Л.: Наука. 1984. С. 28–41.

Ларюэль М. Идеология русского евразийства, или Мысли о величии империи. М.: Наталис, 2004.

Левин М. Г., Чебоксаров Н. Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-географические области // Советская этнография, 1955. № 4. С. 3–17.

Левинтов А. Сняла решительно пиджак наброшенный. www.redshift.com/~alevintov июнь 2003.

Левинтов А. Эми-имми. www.redshift.com/~alevintov июнь 2003.

Левинтов А. Е. Модели освоения и использования территорий и ресурсов // Трансформация российского пространства: социально-экономические и природно-ресурсные факторы (полимасштабный анализ). М.: ИГ РАН, 2008. - С. 43–66.

Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Наука. Гл. ред. восточной литературы, 1985.

Леви-Строс К. Мифологии: В 4-х тт. Т 1. Сырое и приготовленное. М.; СПб.: Университетская книга, 1999.

Лерсарян Т. Бескрайняя равнина конца времён // Отечественные записки. 2002. № 3.

Лихачев Д. С. Заметки о русском. 2-е изд., доп. М.: Сов. Россия, 1984. 64 с.

Ло Дж. Объекты и пространства // Социологическое обозрение. 2006. № 1.

Любавский М. К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до XX века / отв. ред. А. Я. Дегтярев. Вст. статья А. Я. Дегтярева, Ю. Ф. Иванова, Д. В. Карева. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996.

Люсий А. П. Крымский текст в русской литературе. СПб.: Алетейя, 2003.

Максакова Л. П. Внешние миграционные связи населения Узбекистана // Население Узбекистана: состояние, проблемы и перспективы: монография. Т.: Институт экономики АН РУз, 2012. С. 219–232.

Максаковский В. П. Литературная география: географические образы в русской художественной литературе: Книга для учителя / В. П. Максаковский. М. : Просвещение, 2006. 407 с.

Максаковский В. П. Географическая культура. М.: Владос. 1998. 416.

Макисмова И. Е. Естественнонаучные знания традиционных обществ (на примере народов Сибири) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2001. Вып. 3. С. 176–181.

Малахов Д. Басаргин поручил провести тотальную проверку «Белых ночей» // Новость «Информационная группа 59», 18.06.2013. URL: <http://59.ru/text/newsline/667175.html> (дата обращения: 18.03.2014).

Малинова О. Ю. Проблема политически «пригодного» Прошлого и эволюция официальной символической политики в постсоветской России // Политическая концептология. 2013. № 1. С. 114–130.

Малинова О. Ю. Актуальное прошлое: Государственная символическая политика и дилеммы российской идентичности (1990–2000-е гг.). М.: РОССПЭН, 2014, 107 с.

Малявин В. В. Китай в XVI–XVII веках. Традиция и культура. М.: Искусство, 1995.

Маматханов А. А. Вопросы организации регулирования трудовой миграции // Население Узбекистана: состояние,

проблемы и перспективы: монография. Т.: Институт экономики АН РУз, 2012. С. 244–252.

Манаков А. Г. Использование метода балльной оценки в исследовании восприятия человеком городской среды // Вестник Моск. ун-та, геогр., 1991, № 5. С. 44–51.

Манаков А. Г. Перцепционная география как новое направление социально-экономической географии // Теоретические проблемы социально-экономической географии и совершенствование подготовки современного учителя. Тезисы Всесоюзной научно-практ. конф., Смоленск, 1991, часть 1. С. 83–85.

Манаков А. Г. Восприятие расстояний сельскими жителями приграничных районов (на примере Печорского района Псковской области) // Методика и опыт изучения сельских поселений Нечерноземья. Материалы Всесоюзной научной конференции в Твери. М., 1991. С. 84–86.

Манаков А. Г. Региональные и локальные предпочтения проживания молодёжи Псковской области // Известия Русского географического общества. Том 124. Вып. 5, 1992. С. 470–478.

Манаков А. Г. Опыт использования ментальных карт для анализа географических представлений и предпочтений // Известия Русского географического общества. Том 129. Вып. 6, 1997. С. 40–47.

Манаков А. Г. Пространство и мысленные образы: Введение в географию восприятия // География: Еженедельное приложение к газете «Первое сентября», М., 1998, № 8 (311–312). С. 16.

Манаков А. Г. Геокультурное пространство северо-запада Русской равнины: динамика, структура, иерархия. Псков: Центр «Возрождение» при содействии ОЦНТ, 2002. 300 с.

Манаков А. Г. На стыке цивилизаций: Этнокультурная география Запада России и стран Балтии. Псков : Изд-во ПГПИ, 2004. 296 с.

Манаков А. Г. Основы культурно-географической регионалистики: учебное пособие для вузов. Псков : Изд-во ПГПУ, 2006. С. 89.

Манаков А. Г. Структура геокультурного пространства России: подходы к делимитации // Псковский регионологический журнал. № 14. Псков : Изд-во ПсковГУ, 2012. С. 22–35.

Манаков А. Г., Андреев А. А. Культурно-ландшафтное районирование Северо-Запада России // Балтийский регион. № 4 (10). Калининград : БФУ им И. Канта, 2011. С. 134–144.

Манаков А. Г., Евдокимов С. И. Устойчивость границ Псковского региона: историко-географический анализ // Псковский регионологический журнал. № 10. Псков : ПГПУ, 2010. С. 29–48.

Манаков А. Г., Евдокимов С. И., Григорьева Н. В. Западное порубежье России: географические аспекты становления и развития Псковского региона. Псков : Издательство АНО «Логос», 2010. 216 с.

Манаков А. Г., Евдокимов С. И. Скобари: историческая зрелость границ и региональная идентичность в Псковской области // Культурная и гуманитарная география. 2013. Т. 2. № 1. С. 28–38.

Маркес Г. Г. Я здесь не для того, чтобы говорить речи: / Габриэль Гарсиа Маркеса; перевод с испанского С. Маркова. Москва: Астрель, 2013. 157 с. С. 89–98.

Межуев В. М. Культура как проблема философии // Культура, человек и картина мира. Л.: Наука, 1990. С. 320–335.

Метафизика Петербурга (Петербургские чтения по теории, истории и философии культуры. Вып. 1). СПб.: ФКИЦ «Эйдос», 1993.

Миллер А. И. Дуализм идентичностей на Украине // Отечественные записки, 2007, выпуск 1 (34).

Мироненко Н. С. Страноведение: теория и методы: уч. пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2001. 268 с., с. 59–68.

Мирошниченко В. В. Вернакулярные районы города Харькова // Псковский регионологический журнал. № 16. Псков : Изд-во ПсковГУ, 2013. С. 61–69.

Митин И. И. Комплексные географические характеристики. Множественные реальности мест и семиозис пространственных мифов. Смоленск: Ойкумена, 2004.

Митин И. И. Мифогеография [Материалы к словарю гуманитарной географии] // Гуманитарная география: Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 2 / Отв. ред. и сост. Д. Н. Замятин. М.: Институт Наследия, 2005. С. 347–348.

Митин И. И. Мифогеография как подход к изучению множественных реальностей места // Гуманитарная география: Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 3 / Отв. ред. и сост. Д. Н. Замятин. М.: Институт Наследия, 2006. С. 64–82.

Митин И. И. Культурная, гуманистическая и гуманитарная география через призму мифогеографии // Гуманитарная география: Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 5 / отв. ред. И. И. Митин; сост. Д. Н. Замятин. М.: Институт Наследия, 2008. С. 87–110.

Митин И. И. Культурная география в СССР и постсоветской России: история (вос)становления и факторы самобытности // Международный журнал исследований культуры. 2011. №4 (5). С. 19–25.

Митин И. И. Гуманитарная география: проблемы терминологии и (само)идентификации в российском и мировом контекстах // Культурная и гуманитарная география. 2012. Т. 1. №1. С. 1–10.

Митин И. И. На пути к региональной культурной географии: опыт англо-американских географов XX века // Псковский регионологический журнал. 2012 б. №13. С. 3–11.

Миф Европы в литературе Польши и России. М.: Индрик, 2004.

Моль А. Социодинамика культуры. Пер. с франц. М.: Прогресс, 1973. 406 с.

Музеи России. URL: <http://www.museum.ru/mus> (дата обращения 15.01.2014).

Мурашко О. А. Священные места народов Севера: защита по закону и обычаю // Этнографическое обозрение. 2004. № 6. С. 31–41.

Мурашко О. А. Значение традиционных знаний для устойчивого развития коренных народов: пособие по сбору, документированию и применению традиционных знаний для организаций коренных народов. Приложение к альманаху «Мир коренных народов – Живая Арктика». М. : АКМНСС и ДВ РФ, 2007. 60 с.

Надточий Э. Развивая Тамерлана // Отечественные записки. 2002. № 6. С. 147–176.

Народное образование и культура в СССР, М., Финансы и статистика, 1989.

Немчинов В. М. Метафизика города // Город как социокультурное явление исторического процесса. М.: Наука, 1995. С. 234–240.

Нефедова Т. Г. Российская периферия как социально-экономический феномен // Региональные исследования, № 5 (20), 2008.

Новиков А. В. Культурная география как интерпретация территории // Вопросы экономической и политической географии зарубежных стран. Выпуск 13. Проблемы общественной географии. М. : МГУ – ИЛА РАН, 1993, с. 84.

Нойманн И. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М.: Новое издательство, 2004.

Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001–2010): пер. с англ. / под общ. ред. Н. И. Лапина; предисл. Н. И. Лапин, Г. А. Тогунян. М.: Изд-во «Весь мир», 2011. 256 с.

Образование в Узбекистане. Статистический сборник. Т., 2011.

О жизни русских в Молдове – в эфире радио «Эхо Москвы» / Стенограмма радиозэфира // Н. Асадова, Ю. Семенова, С. Эрлих. URL: <http://esp.md/2013/02/11/o-jizni-russkix>.

Окара А. Украинская православная церковь (Московского патриархата): между экзархатом и автокефалией // Православная церковь при новом патриархе / под ред. А. Малащенко и С. Филатова. Моск. Центр Карнеги. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. С. 311–339.

Остапенко Л. В., Субботина И. А. Русские в Молдове: Социально-демографические трансформации // Социологические исследования, 2011, № 5. С. 61–71.

Остапенко Л. В., Субботина И. А. Русский язык в современной Молдове. Реферат – доступно с <http://www.km.ru>.

Павлов К. А. Проблема делимитации и пространственная организация культурных ландшафтов / 4 выпуск трудов семинара «Культурный ландшафт». М.: Географический ф-т МГУ, 2009. С. 89–95.

Павлюк С. Г. Традиционные и исторические районы как форма территориальной самоорганизации общества (на примере США и России): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. геогр. наук М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, 2007. 26 с.

Патеев Р. Россия: проблемы кооптации выпускников исламских вузов в официальное мусульманское духовенство (на примере Дагестана) // Кавказ и глобализация. 2008. № 3. Т. 2. С. 151–160.

Пестель П. И. Русская Правда // Восстание декабристов. Документы. Т. 8. М., 1958. С. 113–168.

Плигузов А. И. Текст-кентавр о сибирских самоедах. М., Ньютонвиль: Археографический Центр, 1993.

Плиев А. А. Кровная месть в Чечне и Ингушетии. М., 1968. Автореф. дисс. С. 10.

Плюханова М. Б. Сюжеты и символы Московского царства. М.: Акрополь, 1995.

Погорелая Е. А. Лингвистическая основа духовного единства и культурно-языкового разнообразия приднестровского сообщества // Языковой суверенитет в контексте политической субъектности самоопределившихся государств. Тирасполь: РИО ПГУ, 2010. С. 148–155.

Подорога В. А. Метафизика ландшафта. Коммуникативные стратегии в философской культуре XIX–XX вв. М.: Наука, 1993.

Портрет электоратов Ющенко и Януковича // Сайт Киевского центра политических исследований и конфликтологии. – Режим доступа: <http://www.analitik.org.ua/researches/archives/3dee44d0/41ecef0cad01e>.

Постников А. В. Схватка на «Крыше мира»: политики, разведчики и географы в борьбе за Памир в XIX веке (монография в документах). М.: Памятники исторической мысли, 2001.

Почти половина российской квоты на хадж в 2013 году придется на уроженцев Дагестана. Федеральная лезгинская национально-культурная автономия. 03.05.2013. Режим доступа: <http://flnka.ru/novosti/2221-pochti-polovina-rossiyskoj-kvoty-na-hadzh-v-2013-godu-prividetsya-na-urozhencev-dagestana.html> (дата обращения: 17.09.2013).

Православие.ru. Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/news/19936.htm> (дата обращения: 14.11.2013).

Программа-200. Строительство православных храмов в Москве. Режим доступа: <http://www.temple.ru/200hramov.php> (дата обращения: 10.02.2014).

Пространство современной России: возможности и барьеры развития (размышления географов-обществоведов) / отв. ред. А. Г. Дружинин, В. А. Колосов, В. Е. Шувалов. Москва: Изд-во «Вузовская книга», 2012. 336 с.

Рагулина М. В. Культурная география: теория, методы, региональный синтез. Иркутск: Изд-во Ин-та географии СО РАН, 2004. 171 с.

Райгородецкий Г. Р. Традиционное экологическое знание и «западная» наука: интегративный подход для решения проблемы глобального кризиса окружающей среды // Живая Арктика: Тематич. сб. Москва: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2000. № 1 (13). С. 24-29.

Райгородецкие Р. и Г. Тропы жизни // Спецвыпуск бюллетеня «Живая Арктика». М., ЦОДП, 2002. № 1 (14). 48 с.

Регионализация посткоммунистической Европы. М.ИНИОН РАН, 2001.

Реклю Э. Земля и люди. Всемирная география. Т. 1–19. СПб.: Изд-во О. Н. Попова, 1898–1906.

Рефлексивный мониторинг публичных мест: логика места и гетеротопология пространства. Проект Центра фундаментальной социологии ГУ-ВШЭ // <http://www.cfs-leviathan.ru/content/view/14/26/>; Urry J. Consuming Places. L. & N.Y.: Routledge, 1995.

Родоман, Б. Б. Территориальные ареалы и сети. Очерки теоретической географии. Смоленск : Ойкумена, 1999.

Родоман Б. Б. Поляризованная биосфера: сборник статей. Смоленск: Ойкумена, 2002. 336 с.

Родоман Б. Б. Государственные границы в СНГ и приграничная политика // Поляризованная биосфера: Сб. статей. Смоленск: Ойкумена, 2002. С. 298–302.

Родоман Б. Б., Каганский В. Л. Русская саванна // География. 2004. № 5 (732).

Каганский В. Л. Россия. Провинция. Ландшафт // Отечественные записки. 2006. № 6.

Российский статистический ежегодник-2012, М., Росстат, 2013.

Российско-украинское пограничье: 20 лет разделённого единства / под ред. В. А. Колосова и О. И. Вендиной. М.: Новый хронограф. 2011.

Россия как цивилизация: Устойчивое и изменчивое; отв. ред. И. Г. Яковенко; Науч. совет РАН «История мировой культуры». М.: Наука, 2007.

Россия увеличит квоты для поступающих в вузы в полтора раза. 25.12.2013. 19:28 // Электронный доступ: [<http://www.uzinform.com/ru/news/20130715/19182.html>].

Русская диалектология / под ред. Л. Л. Касаткина. М.: Просвещение, 1989. 224 с.

Русская провинция: миф–текст–реальность / Сост. А. Ф. Белосусов и Т.В. Цивьян. М., СПб.: изд-во «Лань», 2000.

Саид Э. В. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб.: Русский мир, 2006.

Сайт Конференции католических епископов России. Режим доступа: <http://catholic-russia.ru/structure/dioceses/> (дата обращения: 28.01.2014).

Саушкин Ю. Г. Культурный ландшафт // Вопросы географии. Сб. 1. М.: ОГИЗ, 1946. С. 97–106.

Саушкин Ю. Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. М.: Мысль. 1973.

Сea Л. Философия американской истории. Судьбы Латинской Америки. М.: Прогресс, 1984.

Сельские культурные ландшафты: рекомендации по сохранению и использованию / под ред. М. Е.Кулешовой. М.: ЭкоЦентр «Заповедники», 2013. 220 с.

Семенова Ю. Молдавские парадоксы русского языка // Русский мир, 2013. № 8. URL: <http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/magazines/archive/2013/08/article0003.html>.

Семёнов-Тян-Шанский В. П. Район и страна. Москва-Ленинград. 1928. 312 с.

Серебренников Н. В. Опыт формирования областнической литературы. Томск, 2004.

Середовских Б. А., Булатов В. И. Подходы к историко-географическому районированию Севера Западной Сибири // Вестник Тюменского государственного университета. 2013. № 4. С. 30–40.

Синелина Ю. Ю. Изменение религиозности населения России: православные и мусульмане: суеверное поведение россиян. М.: Наука, 2006. 112 с.

Синцеров Л. М. Длинные волны глобальной интеграции // Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 5. С. 56–64.

Слѣзкин Ю. Арктические зеркала. Россия и малые народы Севера. М.: Новое литературное обозрение, 2007.

Слотердайк П. Сферы. Макросферология. II. Глобусы. СПб.: Наука, 2007. С. 806–1114.

Смирнягин Л. В. Районы США: портрет современной Америки. М.: Мысль, 1989. 380 с.

Соколова Е. Н. Культурно-ландшафтное районирование Вологодской области // Проблемы этнической географии и культурного районирования: Сборник научных статей. Псков: Изд-во АНО «Центр социального проектирования «Возрождение», 2004. С. 179–189.

Соколова А. А. Ландшафт в системе традиционных пространственных представлений: географическая интерпретация диалектных образов. СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2007. 392 с.

Соколовский С. В. Кряшены во Всероссийской переписи населения. 2-е изд. Набережные Челны: КряшИзат, 2009. 247 с.

Соловьева Л. Т. Формы бытования народного ислама // Ислам и право. Правовой статус ислама на Северном Кавказе. М., Вып. 3. 2004. С. 118–159.

Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов вузов / Сост., ред. и вступ. ст. Б. С. Ерасов. М.: Аспект Пресс, 1998.

Статистические данные о Московской (городской) епархии (из доклада патриарха Кирилла на епархиальном собрании Москвы 20 декабря 2013 года) // Интерфакс-Религия. 20.12.2013. Режим доступа: <http://www.interfax-religion.ru/?act=reference&div=93> (дата обращения: 10.02.2014).

Степные шедевры. Антология. Составитель А.А. Чибилев. Оренбург: ООО «Оренбургское книжное издательство», 2009. 320 с.

Сто лет одиночества – роман-эпос / В. Столбов - Г. Г. Маркес. Сто лет одиночества. Пер с исп. Н. Бутыриной и В. Столбова. 400 с.

Стратегии межкультурного взаимодействия мигрантов и населения России: Сборник научных статей / под ред. Лебедевой Н. М. и Татарко А. Н. М.: РУДН, 2009.

Стрелецкий В. Н. Этнические общности в геокультурном пространстве России (историческая динамика и региональная структура) // Вестник исторической географии. Вып. 1. Смоленск: Изд-во Смоленского Гуманитарного Университета, 1999. С. 31–53.

Стрелецкий В. Н. Этническое расселение и география культуры // СССР – СНГ – Россия: география населения и социальная география. 1985–1996. Аналитико-библиографический обзор. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 396–466.

Стрелецкий В. Н. Географическое пространство и культура: мировоззренческие установки и исследовательские парадигмы в культурной географии // Известия РАН. Сер. геогр. 2002. № 4. С. 18–28.

Стрелецкий В. Н. Культурная география в России: особенности формирования и пути развития // Известия РАН. Сер. географическая. 2008. № 5.

Стрелецкий В. Н. Культурный регионализм: сущность понятия, проблемы изучения и система индикаторов // Псковский регионологический журнал. № 14. Псков : Изд-во ПсковГУ, 2012. С. 9–21.

Стрелецкий В. Н. Культурный регионализм в Германии и России. Дисс. доктора геогр. наук. М. 2012.

Суляк С. Г. Русский язык в Молдавии // Русин. Международный исторический журнал. Кишинёв, 2010. № 3 (21). С. 97–104.

Сущий С. Я. Атлас российской культуры. М., Дрофа, 2011, 240 с.

Статистический ежегодник. Т., 2012.

Суций С. Я., Дружинин А. Г. Очерки географии русской культуры. Ростов н/Д: СКНЦ ВШ, 1994. 576 с.

Театры России. URL: <http://www.wikipedia.org/wiki> (дата обращения 15.01.2014).

Теребихин Н. М. Сакральная география Русского Севера (религиозно-мифологическое пространство северорусской культуры). Архангельск: Изд-во Поморского ун-та, 1993. 223 с.

Тернер Б. Религия в постсекулярном обществе // Государство. Религия. Церковь. 2012. № 2 (30). С. 21–51.

Титов Е. Как это видно Оттуда // Новая газета. № 117. 19.10.2011. Режим доступа: <http://www.novayagazeta.ru/politics/49026.html> (дата обращения: 17.12.2013).

Тойнби, А. Дж. Цивилизация перед судом истории / А. Дж. Тойнби. М.-СПб., 1995.

Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: Изд. группа «Прогресс» – «Культура», 1995.

Топоров В. Н. К происхождению и функциям «гео-этнических» панорам в аспекте связей истории и культуры. Тезисы. М. Ин-т славяноведения и балканистики, 1991. С. 86–108.

Трейвиш А. И. Экономические сдвиги и связи в постсоветском пространстве: проблемы дезинтеграции и реинтеграции // Известия Академии Наук. Сер. геогр. 2000. № 3. С. 9–22.

Трейвиш А. И. Город, район, страна и мир. Развитие России глазами страноведа. М.: Новый хронограф. 2009. 372 с.

Трейвиш А. И. Как нас сейчас называть? // Социально-экономическая география. Вестник Ассоциации российских географов-обществоведов. 2012 (1). С. 5–19.

Туровский Р. Ф. Российское и европейское пространства: культурно-географический подход // Известия РАН. Сер. геогр. 1993. № 3. С. 116–122.

Туровский Р. Ф. Культурные ландшафты России. М. : Институт Наследия. 1998. 210 с.

Туровский Р. Ф. Культурная география: теоретические основания и пути развития // Культурная география / Науч. ред. Ю. А. Веденин, Р. Ф. Туровский. М.: Ин-т Наследия, 2001. С. 10–94.

Уваров М. С. Культурная география в культурологической перспективе (аналитический обзор) // Международный журнал исследований культуры. 2011. № 4 (5). Культурная география. С. 6–18. URL: <http://www.culturalresearch.ru>.

Узланер Д. «Постсекулярное»: ставим проблему // Русский журнал. 17.09.2009. Режим доступа: <http://www.russ.ru/pole/Postsekulyarnoe-stavim-problemu> (дата обращения: 24.04.2013).

Федеральный закон Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. N 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» // Российская газета. 03.12.2010. Режим доступа: <http://www.rg.ru/2010/12/03/tserkovnoedobro-dok.html> (дата обращения: 08.02.2014).

Федорова Н. В. Динамика этноконтактного зонирования Крыма (за период 1926–1989 гг. <http://uchebilka.ru/kultura/145727/index.html>).

Филиппов А. Ф. Гетеротопология родных просторов // Отечественные записки. 2002. № 6 (7). С. 48–63.

Филиппов А. Ф. Пространство политических событий // Политические исследования. 2005. № 2.

Фишман О. Л. Китай в Европе: миф и реальность (XIII–XVIII вв.). СПб.: Петербургское востоковедение, 2003.

Флоренский Павел. О страхе Божьем // Богословские труды / Московская патриархия. Сб. XVII. М.: Издательство Московской патриархии, 1977. С. 85–248 (С. 102–103).

Фоменко Г. А. Управление природоохранной деятельностью: Основы социокультурной методологии / Г. А. Фоменко. М.: Наука, 2004. 390 с.

Фоменко Г. А. Институциональные ограничения и регламентации управления природоохранной деятельностью / Г. А.

Фоменко // Проблемы региональной экологии. 2012. № 6. С. 208–216.

Фоменко Г. А. Социокультурное измерение развития природоохранных институтов. Институт «Кадастр», 2014.

Фрай Р. Наследие Ирана. М.: Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1972.

Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999.

Франкфорт Г. и др. В преддверии философии: духовные искания древнего человека. Пер. с англ. М.: Наука, 1984. 236 с.

Фрейденоберг О. М. Миф и литература древности. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издат. Фирма «Восточная литература» РАН, 1998.

Фуко М. Другие пространства // Он же. Интеллектуалы и власть. Часть 3. Статьи и интервью. 1970–1984. М.: Праксис, 2006. С. 191–205.

Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. На пути к либеральной евгенике. М.: Издательство «Весь мир», 2002. 144 с.

Хабермас Ю. Между натурализмом и религией. Философские статьи. М.: Издательство «Весь мир», 2011. 336 с.

Хабермас Ю. Против «воинствующего атеизма» («Пост-секулярное» общество – что это такое?) // Русский журнал. 23.07.2008. Режим доступа: <http://www.russ.ru/pole/Protiv-voinstvuyuschego-ateizma> (дата обращения: 24.04.2013).

Хабермас Ю. Религия, право и политика. Политическая справедливость в мультикультурном Мир-Обществе // Полис. 2010. № 2. С. 7–21.

Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство, 2007; Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. 1994. № 1. С. 33–48.

Харамзин Т. Г. Традиционное природопользование как элемент культуры малочисленных народов Тюменского Севера.

Дисс. на соиск. уч. степ доктора социол. наук. Тюмень, 2003. 369 с.

Харвей Д. Научное объяснение в географии. М., Прогресс, 1974.

Хардт М., Негри А. Множество: война и демократия в эпоху империи. М.: Культурная революция, 2006.

Харючи Г. П. Природа в традиционном мировоззрении ненцев. СПб.: Историческая иллюстрация, 2012, 160 с.

Художественная жизнь современного общества. Т.1 Субкультуры и этносы в художественной жизни. СПб: Дмитрий Буланин, 1996, 237 с.

Художественная жизнь современного общества. Т. 2 Аудитория искусства в России: вчера и сегодня. СПб, Дмитрий Буланин, 1997.

Центр «Русского мира» – не Москва, а Киев? // Релігія в Україні. 21.08.2013. Режим доступа: <http://www.religion.in.ua/main/interview/22356-centr-russkogo-mira-ne-moskva-a-kiev.html> (дата обращения: 20.10.2013).

Цымбурский В. Л. Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2006.

Чалая И. П., Веденин Ю. А. Культурно-ландшафтное районирование Тверской области. М. Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия. 1997. 286 с.

Чепайтене Раса. Культурное наследие в глобальном мире. Вильнюс: ЕГУ, 2010. 296 с.

Чихичин В. В. Комплексный географический образ города: определение понятия и стратегии реконструкции // Гуманитарная география. Научный и научно-просветительский альманах. Выпуск 2. М.: Институт наследия, 2005. С. 206–226.

Чупринин С. И. Новая Россия: мир литературы. В 2-х т., М., «Рипол-классик», 2002.

Чупринин С. И. Русская литература сегодня. М. «Олма-пресс», 2003, 446 с.

Шмит К. Номос Земли в праве народов *jus publicum euro-
raeum*. СПб.: Владимир Даль, 2008.

Шульгин П. М. Историко-культурное наследие как особый ресурс региона и фактор его социально-экономического развития. // Мир России. 2 (XIII), 2004. С. 115–133.

Щукин В. Миф дворянского гнезда. Геокультурологическое исследование по русской классической литературе. Краков: Изд-во Ягеллонского ун-та, 1997.

Элиаде М. Священное и мирское. М.: Изд-во МГУ, 1994.

Эйзенштейн С. М. Метод. Т. 1. М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2002.

Этноконтактные зоны в Европейской части СССР : география, динамика, методы изучения / ред. Е. М. Поспелов: Московский филиал Географического общества СССР (МФГО), 1989.

Баглаєвський А. Місто. Палімпсест / Перекл. Г. Чопік // Ї. 1998. №13. С. 109–131.

Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин. Інформаційні матеріали до Круглого столу на тему: «Державно-конфесійні відносини в Україні станом на 2013 рік: рух до партнерства держави і Церкви чи до кризи взаємин?». К.: Центр Разумкова, 2013. 76 с. Режим доступа: http://www.razumkov.org.ua/upload/Przh_Religion_2013.pdf.

Україна. Історичний атлас. 10-11 класи. К.: МАПА, 2010.

Хмелько В. Є. Лінгво-етнічна структура України: регіональні особливості та тенденції зміни за роки незалежності // Сайт Київського міжнародного інституту соціології. Режим доступа: http://www.kiis.com.ua/materials/articles_HVE/16_linguaethnical.pdf.

Шульга М. Динаміка використання української і російської мов у сімейному спілкуванні // Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг. К.: Інститут соціології НАН України, 2010. С. 449–458. Режим доступа: http://www.i-soc.kiev.ua/institute/smonit_2010.pdf.

Atlas of Global Christianity. 1910-2010 / Ed. T.M. Johnson, K.R. Ross. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2009. 362 p.

Bassin M. Inventing Siberia: Visions of the Russian East in the Early Nineteenth Century // *The American Historical Review*. 1991. Vol. 96. Number 3. P. 763–794.

Bassin M. Visions of empire: nationalist imagination and geographical expansion in the Russian Far East, 1840–1865. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Bauman Z. Liquid Modernity. Cambridge: Polity, 2000; Bauman Z. Liquid Arts // *Theory Culture & Society*. Vol. 24. Number 1. January 2007. P. 117–127.

Benedict, R. Patterns of Culture. / R. Benedict. Boston and NI Houghton Mifflin Company, 1934.

Beyond the Empire: Images of Russia in the Eurasian Cultural Context. Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, 2008.

Boschma R. A., Frenken K. Applications of evolutionary economic geography. In: K. Frenken, (ed.). *Applied Evolutionary Economics and Economic Geography*. Cheltenham / Northampton: Edward Elgar, 2007, pp. 1–24.

Brockmeier J. Texts and Other Symbolic Spaces // *Mind, Culture and Activity*. 2001. Vol. 8. No. 3. P. 215–230.

Bryant A. Liquid Modernity. Complexity and Turbulence // *Theory Culture & Society*. Vol. 24. Number 1. January 2007. P. 127–137.

Conforti J. A. Imagining New England: Explorations of Regional Identity from the Pilgrims to the Mid-Twentieth Century. Chapel Hill and London: The University of North Carolina Press, 2001.

Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. UNESCO. 2003. //UNESCO World Heritage Center //www.whc.unesco.org.

Corbin H. *Mundus imaginalis* or the imaginary and the imaginal // Spring 1972.

Cosgrove D. E. *Social Formation and Symbolic Landscape*. London: Croom Helm, 1984.

Cosgrove D. E. Social Formation and Symbolic Landscape. Totowa, NJ: Barnes and Noble Books, 1984.

Cosgrove D. E. Models, descriptions and imagination in geography // Remodelling geography / Ed. by B. MacMillan. Oxford: Blackwell, 1989. P. 230–244.

Crang M. Cultural Geographies. L.: Routledge, 1998.

Creative cities, Cultural Clusters and Local Economic Development». Ed. By P.Cooke, L.Lazzeretti. Edward Elgar. 2008. 367p.

Cultural Geography: A Critical Dictionary of Key Concepts / Ed. by D. Atkinson, P. Jackson, D. Sibley, N. Washbourne. L. – N.Y.: I.B. Tauris, 2005.

Culture, Globalization and the World-System. Contemporary Conditions for the Representation of Identity / Ed. by A.D. King. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997.

Cultural Turns/Geographical Turns. Perspectives of Cultural Geography / Ed. by S. Naylor, J. Ryan, I. Cook and D. Crouch. N.Y.: Prentice Hall, 2000.

Daniels S. Place and Geographical Imagination // Geography. 1992. No. 4 (337). P. 310–322.

Davie G. Religion in Britain Since 1945: Believing Without Belonging. Oxford: Blackwell, 1994. 226 p.

Inglehart R. Culture Shift in Advanced Industrial Society. - Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1990.

Inglehart R. Modernization and postmodernization: Cultural economic and political change in 43 societies. – L.: Princeton; N. J., Princeton University Press, 1997. 168 p.

Hantington S. The Clash of Civilizations? «Foreign affairs». 1993. Vol. 72. № 3. P. 22-49. Ibid, 1993. Vol. 72. № 5. P. 186–194.

Harvey D. Social Justice and the City. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973.

Hofstede G. Culture`s consequences: Intern Differences in work-related volues. - Beverly Hills, L., 1980.

House R. Cultural influences on Leadership and Organizations. Project GLOBE / R. House, P. Hanges // Advances in Global Leadership. – 1999. – Vol. 1. P. 171–233.

Geography and National Identity / Ed. by Hooson D. Oxford, Cambridge (Mass.): Blackwell, 1994.

Global Index of Religion and Atheism – 2012. WIN-Gallup International. URL: <http://redcresearch.ie/wp-content/uploads/2012/08/RED-C-press-release-Religion-and-Atheism-25-7-12.pdf> (дата обращения: 18.10.2013).

Gregory D. Human agency and human geography // Transactions of the Institute of British Geographers. New Series. 1981. Vol. 6. No. 1. P. 1–18.

Jens D. N. Some literally examples of humanistic descriptions of places // Australian geographer. 1979. Vol. 14, № 4. p. 209.

Jordan T. G., Domosh M., Rowntree L. The Human Mosaic: A Thematic Introduction to Cultural Geography. Sixth Edition. N.Y.: Harper Collins College Publishers, 1994.

King M. Postsecularism: The Hidden Challenge to Extremism. Cambridge: James Clarke and Co, 2009. 324 p.

Klokov K. B. Diversity of Adaptive Strategies of Endangered Herders' Communities in Tundra and Taiga Areas in Russia. In Histories from the North. Environment, Movement, and Narratives. / Ed. by Ziker J.P. and Stammler F. - Boise State University and Arctic Centre, University of Lapland, 2011. P. 60–63.

Kroeber A. L., Kluckhohn C. Culture, a critical review of concepts and definitions // Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology - Cambridge (Mass.): Harvard University. 1952. Vol.47 (I). P. 1–223.

Lacoste Y. La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre. Paris: François Maspero, 1976.

Lacoste Y. Rivalries for Territory // Geopolitics. 2000. Vol. 5. No. 2. P. 120–159.

Lefebvre H. The Production of Space. Oxford: Blackwell, 1991.

Lefebvre H. Writings on Cities / Selected, translated & introduced by E. Kofman & E. Lebas. Oxford: Blackwell, 2000.

Lowenthal D. Geography, experience and imagination: towards a geographical epistemology // Annals of the Association of American Geographers. 1961. Vol. 51. No. 3. P. 241–260.

Massey D. Spatial Divisions of Labour: Social Structures and the Geography of Production. London: Macmillan, 1984.

Meinig D. W. Introduction // The Interpretation of Ordinary Landscapes: Geographical Essays / Ed. by D.W. Meinig. New York – Oxford: Oxford University Press, 1979. P. 1–7.

Management Guidelines for IUCN Category V Protected Areas: Protected Landscapes/Seascapes. (Adrian Phillips). Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 9. IUCN 2002, 122 p. Электронный ресурс: режим доступа <http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAG-009.pdf>.

Mitin I. Palimpsest // SAGE Encyclopedia of Geography / Ed. by B. Warf. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2010.

Nation-building in the Post-Soviet Borderlands. The Politics of National Identities, Cambridge University Press, 2000, 293 pp.

Norris P., Inglehart R. Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide. New York: Cambridge University Press, 2004. 329 p.

Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. Annex 3. UNESCO. WHC. 08/01, January 2008. – P. 85–92. Электронный ресурс: режим доступа <http://whc.unesco.org/en/guidelines/>.

Price M., Lewis M. The reinvention of cultural geography // Annals of the Association of American Geographers. 1993. Vol. 83. No. 1. P. 1–17.

Pollock G. Liquid Modernity and Cultural Analysis: An Introduction to a Transdisciplinary Encounter // Theory Culture & Society. Vol. 24. Number 1. January 2007. P. 111–117.

Ratzel F. Anthropogeographie / F. Ratzel – Stuttgart: J. Engelhorn, 1912.

Relph E. Phenomenology // Themes in geographic thought / ed. by M.E. Harvey, B.P. Holly. NY.: St. Martin's Press, 1981. P. 99–114.

Schein R. H. The Place of Landscape: A Conceptual Framework for Interpreting an American Scene // Annals of the Association of American Geographers. 1997. Vol. 87. No. 4. P. 660–680.

Schama S. Landscape and Memory. N.Y.: Vintage Books, 1996.

Smith N. Uneven Development: Nature, Capital, and the Production of Space. Oxford: Blackwell, 1984.

Soja E. W. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social theory. London: Verso, 1990. Thrift N. Spatial formations. L. etc.: SAGE, 1996.

Soja E. W. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Oxford: Basil Blackwell, 1996.

Studing Cultural Landscapes / Ed. By I. Robertson and P. Richards. N.Y.: Oxford University Press, 2003.

The Interpretation of Ordinary Landscapes: Geographical Essays / Ed. By D.W. Meinig. N.Y., Oxford: Oxford University Press, 1979.

Taylor, M. and Ersoy, A. (2011) Understanding Local Industrial Growth: From Theories to Pragmatic Local Policies. Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV), Ankara, pp. 61-99, Oct 2011.

Thrift N. Space // Theory, Culture & Society. 2006. Vol. 23. No. 2-3. P. 139–155.

Tuan Yi Fu. The City as moral universe // The geographical review. 1988. Vol. 12. № 1.

Tuan Yi-Fu. Topophilia: A study of environmental perception, attitudes, a. values / With a new pref. by the author. N.Y.: Columbia University Press, 1990.

Tuan Yi-Fu. Perceptual and cultural geography // Annals of the Association of American Geographers. 2003. Vol. 93. No. 4. P. 878–881.

Urbanc M., Printsman A., Palang H., Skowronek E., Woloszyn W., Gyuró E.K. Comprehension of Rapidly Transforming Landscapes of Central and Eastern Europe in the 20th Century // Acta Geographica Slovenica. 2004. Vol. 44. No. 2. P. 101–131.

Usher P.J. Traditional Ecological Knowledge in Environmental Assessment and Management // Arctic 2000. Vol. 53. № 2 (June). P. 183–193.

Vervloet J.A. Inleiding tot de historische geografie van de Nederlandse cultuurlandschappen. Wageningen, 1986.

Wissler C. American Indian: an Introduction to the Anthropology of the New World. N.Y., 1917.

White L. The science of culture //The science of culture: A study of Man and Civilizationalization. NY., 1949. P. 379–415.

World Heritage Cultural Landscapes / Ed. by Ana Luengo, Mechtild Rossler. UNESCO. WHC. Ayuntamiento de Elche, Spain. 2012. 362 p.

ОБ АВТОРАХ

Бабич Ирина Леонидовна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН (Москва)

Веденин Юрий Александрович, доктор географических наук, профессор, главный научный сотрудник Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва (Москва)

Герасименко Татьяна Ильинична, доктор географических наук, профессор, заведующая кафедрой географии и регионоведения Оренбургского государственного университета (Оренбург)

Гладкий Юрий Никифорович, доктор географических наук, профессор, член-корр. РАО, заведующий кафедрой экономической географии факультета географии Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена (Санкт-Петербург)

Гнатюк Алексей Михайлович, аспирант кафедры экономической и социальной географии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (Киев, Украина)

Горохов Станислав Анатольевич, кандидат географических наук, доцент, докторант Института географии РАН (Москва)

Гриценко Антон Алексеевич, кандидат географических наук, научный сотрудник Института географии РАН (Москва)

Дружинин Александр Георгиевич, доктор географических наук, профессор, директор Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального университета (Ростов-на-Дону)

Замятин Дмитрий Николаевич, доктор культурологии, главный научный сотрудник Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева (Москва)

Замятина Надежда Юрьевна, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Географического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (Москва)

Каганский Владимир Леопольдович, кандидат географических наук, старший научный сотрудник Института географии РАН (Москва)

Калуцков Владимир Николаевич, доктор географических наук, профессор Географического факультета и Факультета иностранных языков и регионоведения Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (Москва)

Клоков Константин Борисович, доктор географических наук, профессор кафедры региональной политики и политической географии Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург)

Кулешова Марина Евгеньевна, кандидат географических наук, руководитель сектора правовых проблем управления культурными ландшафтами Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва (Москва)

Левинтов Александр Евгеньевич, кандидат географических наук, старший научный сотрудник Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва)

Любичанковский Алексей Валентинович, кандидат географических наук, доцент кафедры географии и регионоведения Оренбургского государственного университета (Оренбург)

Манаков Андрей Геннадьевич, доктор географических наук, профессор кафедры географии Псковского государственного университета (Псков)

Мезенцев Константин Владимирович, доктор географических наук, профессор кафедры экономической и социальной географии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (Киев, Украина)

Митин Иван Игоревич, кандидат географических наук; зам. начальника отдела проектов ГБУК г. Москвы «Центр культурных инициатив Новой Москвы» (Москва)

Пилясов Александр Николаевич, доктор географических наук, профессор, директор Центра экономики Севера и Арктики Совета по изучению производительных сил (Москва)

Салиев Абдусами Салиевич, доктор географических наук, профессор кафедры общественной географии и демографии Национального университета Узбекистана имени М. Улугбека, Президент Географического общества Узбекистана (Ташкент, Узбекистан)

Стрелецкий Владимир Николаевич, доктор географических наук, заведующий отделом социально-экономической географии Института географии РАН (Москва)

Сухинин Сергей Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального университета (Ростов-на-Дону)

Суций Сергей Яковлевич, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института социально-экономических и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН (Ростов-на-Дону)

Федорко Виктор Николаевич, магистр географии, учитель географии в средней общеобразовательной школе №233 г. Ташкента (Ташкент, Узбекистан)

Фоменко Владимир Григорьевич, кандидат географических наук, доцент, заместитель декана по научной работе естественно-географического факультета Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко (г. Тирасполь, Молдова)

Фоменко Георгий Анатольевич, доктор географических наук, профессор, Председатель правления научно-исследовательского проектного института «Кадастр» (Ярославль)

Научное издание

**Феномен культуры в российской общественной географии:
экспертные мнения, аналитика, концепты**

Монография

Под редакцией
проф., д.г.н. *А. Г. Дружинина* и д.г.н. *В. Н. Стрелецкого*

Над подготовкой монографии к изданию работали:
к.г.н., доцент *С. С. Дружинина*,
А. О. Дайкер

Подписано в печать 08.07.2014.
Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Calibri.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,16. Уч.-изд. л. 22,8.
Тираж 500 (первый завод 100) экз. Заказ 3690.

Издательство Южного федерального университета.

Отпечатано в отделе полиграфической, корпоративной и сувенирной продукции
Издательско-полиграфического комплекса КИБИ МЕДИА ЦЕНТРА ЮФУ
344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1. Тел. (863) 247-80-51.